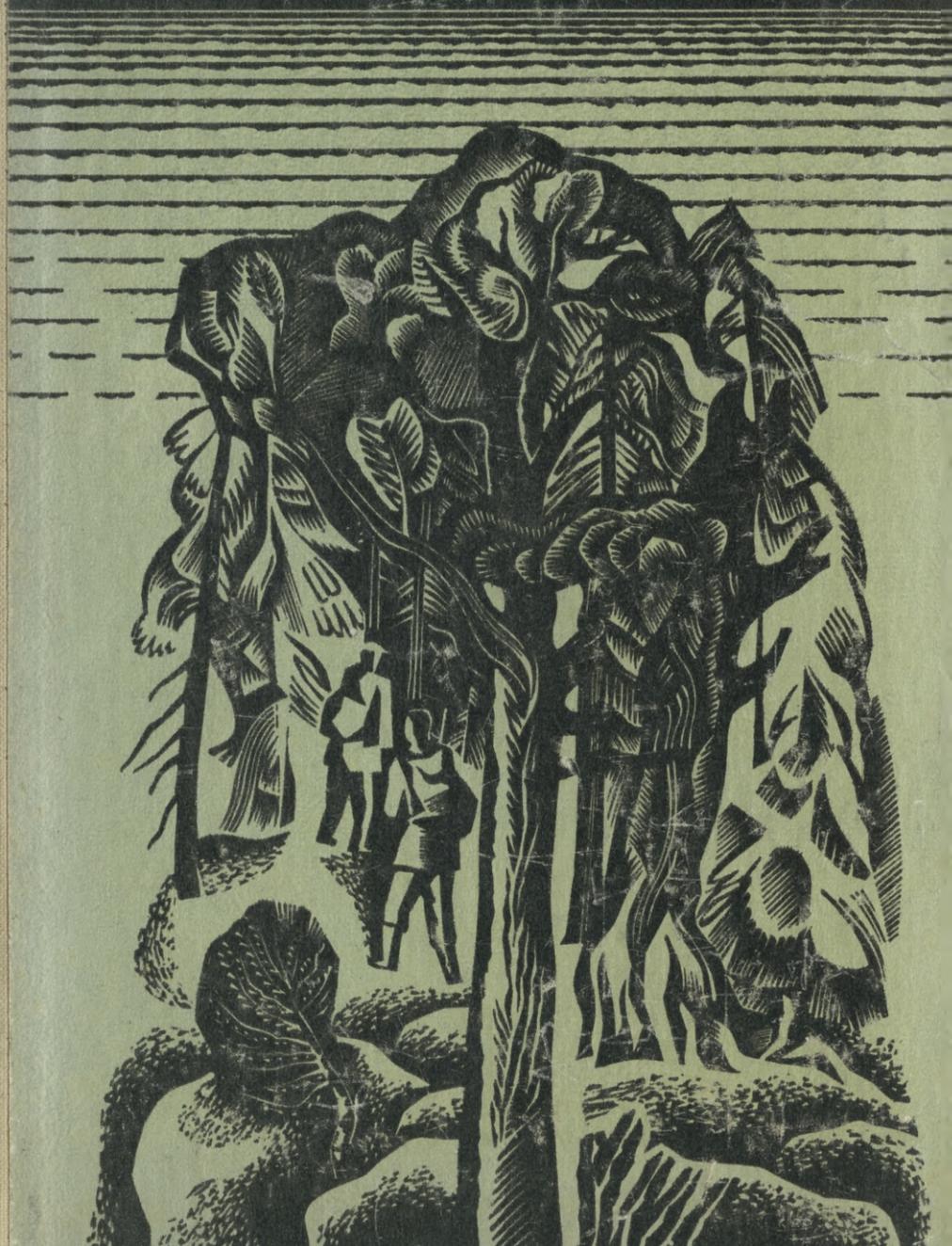


СЕРГЕЙ ВОРОНИН | ДВЕ ЖИЗНИ

СЕРГЕЙ | ДВЕ
ВОРОНИН | ЖИЗНИ



СЕРГЕЙ | ДВЕ
ВОРОНИН | ЖИЗНИ

ЛЕНИЗДАТ 1980

ДВЕ ЖИЗНИ

РОМАН



Как-то, перебирая старые рукописи, альбомы фотографий, я натолкнулся на толстую кипу связанных веревкой тетрадей. Они были в пыли, потренированные, с пожелтевшими страницами, с рисунком «Дуэль Пушкина» по картине А. Наумова.

Это были мои дневники. Дневники младшего техника изыскательской партии. С чувством светлой грусти я стал их перелистывать. Много вспомнилось, и радостное и печальное.

Теперь, когда прошло более двух десятилетий, когда многих из участников таежной экспедиции нет в живых, а моя юность безвозвратно осталась там, мне показалось возможным и нужным открыть эти дневники. Может, они послужат доброму делу и позовут кого-нибудь в дорогу.

Тетрадь первая

19 апреля 1937 года

Не знаю, чем все кончится, но будь что будет... Из вестибюля тянет прохладой, которая в теплую погоду всегда ютится в каменных зданиях. Темный коридор ведет в большой зал. Свет в этот зал падает сверху, через стеклянную крышу. В его мягком, ровном потоке видны склоненные над столами фигуры людей.

Это изыскатели. Я о них много слышал от своего брата, инженера-путейца. Бесстрашные люди. Они ничего не боятся. Им не страшны морозы и ливни, голод и холод. Город их томит. Он узковат для характеров этих людей. Их тянет на Северный полюс! В тундру! На Колыму! Там раздолье. Там настоящая жизнь...

Мимо меня прошла высокая, подстриженная под мальчишку девушка.

— Ирина! — позвал ее широкогрудый, похожий на спортсмена, изыскатель.

— Что тебе, Лыков? — весело спросила она.

Такого лица, как у нее, я еще никогда не видел — будто однажды солнечный луч осветил его и навсегда остался в ее карих с золотыми искорками глазах.

— Ничего. Рад на тебя смотреть.

Она улыбнулась и пошла дальше. А я почувствовал, как сердце охватила замирающая боль, и почему-то стало и радостно и грустно.

— Новый вахтер? — Лыков насмешливо смотрел на меня, сдвинув густые шелковистые брови.

— И-нет... почему же...

— Тогда какого черта стоите у дверей?

— Ах вот что... — Я отошел и спросил, где находится начальник экспедиции.

— Зачем?

На меня пытливо смотрели серые дерзкие глаза. Обычно люди с такими глазами в приключенческих повестях выдаются за людей отважных.

— У меня к нему письмо от инженера Коренкова.

— От инженера Коренкова? А кто это?

— Мой брат.

— Ваш брат... То-то я не знаю такого крупного деятеля. — Он усмехнулся. — Ну что ж, спешите. Лавров уходит.

По узкому коридору шел в сером плаще, с прямой трубкой во рту, могучего сложения человек.

— У меня к вам письмо, — сказал я ему, как только он поравнялся со мной.

Он вскрыл конверт. На его крупных, слегка вывернутых губах появилась улыбка. Тут же на моем заявлении он наложил резолюцию и, не вынимая трубки изо рта, сказал:

— В третью партию. Спросите Мозгалевского Олега Александровича. А брату сердечный привет.— И, обдав меня вкусным запахом дорогого табака, ушел.

Я и не предполагал, что так все просто и быстро решится. Я думал, Лавров будет расспрашивать, где работал, в каких экспедициях бывал,— а я нигде не бывал: брат кое-что рассказал мне, сунул книжку «Справочник изыскателя», и на этом мое геодезическое образование закончилось. Меня так легко было уличить во лжи: ведь в заявлении я назвал себя младшим техником,— но, слава счастливому случаю, Лавров ничего не спросил.

Мозгалевский оказался маленьким старичком с пушистыми, чуть ли не до самых ушей, усами. У него тоже во рту трубка, но не прямая, как у Лаврова, а изогнутая, коротенькая, дымившая ему прямо в нос.

— Чудненько,— посмотрев на мое заявление с резолюцией начальника экспедиции, сказал Мозгалевский.— Очень кстати подоспели. Вот вам калька, тушь, готовальня. Снимите с планшета эту кривую.

Все совершалось как в сказке. Никто ни о чем не спрашивал. Просто чудо какое-то!

Калькировать я умел, и мне не стоило большого труда снять кривую. Я уже заканчивал работу, когда ко мне подошел Лыков.

— Ого, вьюнош уже старается! — сказал он.

— Меня зовут Алексеем,— сказал я.

— Это не имеет значения. К тому же запоминать имена не моя профессия... Вьюнош, коротко и ясно...

Справа от меня раздалось фырканье. Смеялась смугленькая девушка, тоже, как и Ирина, подстриженная под мальчишку. Встретившись со мной взглядом, она опустила голову, отчего ее короткие черные волосы, как шторка, закрыли глаза.

Тут подошел Мозгалевский. Он бросил на стол пачку синек и строго спросил:

— В чем дело, Аркадий Васильевич?

— Я к лаборантке Калининой. Не так ли, Тася?

Шторка поднялась и тут же упала.

— Шли бы вы на свою геологическую половину. Не мешайте работать,— сказал ему Мозгалевский и, забрав от меня готовую кривую, дал переписать какую-то ведомость.

Я переписал ее быстро.

— Чудненько! — обрадовался Мозгалевский.— Очень кстати вы подоспели. Теперь попрошу вот это...— Но зазвенел звонок,

рабочий день кончился, и Мозгалевский с сожалением и горечью посмотрел на гору папок, планшетов и калек.— Остались считанные дни до отъезда, начальника партии все нет, а работы по горло.

— Я могу задержаться.

Из-под седых бровей выглянули ласковые глаза.

— Думаю, мы с вами сработаемся,— улыбнулся Мозгалевский.

Так прошел первый день.

Скорей, скорей бы уехать! Там, в тайге, за тринадцать тысяч километров, будет поздно от меня освободиться. Там заменять меня будет некому, и волей-неволей будут меня учить, и я стану техником-изыскателем. Только бы уехать! Но, как и всегда, чем больше мечтаешь, тем труднее сбывается мечта. Провалиться так просто.

— Надо снять карту бассейнов,— раскладывая передо мной планшет, сказал на другой день Мозгалевский.— Все протоки, речки, ручьи на кальку. Пригодится в поле.

— В поле?

— Да.

— А разве мы будем работать не в тайге?

— А вы что, не знаете, что всякие изыскания называются полем? Полевые изыскания,— ответил Мозгалевский и пристально посмотрел на меня.

Скорей, скорей бы уехать!

Сегодня мне выдали аванс — пятьсот рублей. Дали железнодорожную форму: китель и брюки — и две «гаечки». Вечером я оделся, ввернул в каждую петлицу по «гаечке» и беспрепятственно прошел без перронного билета на вокзал. Походил по перрону и вернулся домой. А там всюю собирают меня в путь-дорогу. Хлопочет мама, укладывает белье. Невестка, жена брата, всегда злая и не улыбочивая, помогает матери и ласково смотрит на меня. Как только я уеду, она сразу же переберется в мою комнату.

Я уже купил ружье-однстволку, порох, дробь. Купил прямую трубку и несколько пачек «капитанского» табаку (такой табак курил Лавров). Я хоть сейчас готов в путь. Но нет команды. И приходится ждать, ждать, ждать. Я плохо сплю: то мечтаю, как буду охотиться в тайге,— там много всякого зверья,— то со страхом думаю о том, как меня разоблачат и с позором выгонят из экспедиции...

— Рад вас видеть,— сказал Мозгалевскому высокий, с приплюснутым черепом, пожилой изыскатель в великолепном

костюме. Это начальник участка Градов. В экспедиции шесть партий, по три на участок. Мы подчиняемся Градову.

— Как отдохнули? — спросил Мозгалевский, поднимая на лоб очки.

— Как отдохнул? Превосходно отдохнул. — Градов окинул взглядом планшеты, кальки. — Думаю, что вам по сравнению с другими партиями повезло, — сказал он, постукивая мундштуком папиросы о большой плоский ноготь.

— Вы имеете в виду правобережный вариант?

— Да, имею в виду правобережный вариант. Я его изыскал три года назад.

— А левый берег совершенно не в счет?

— Левый берег? Да, совершенно не в счет.

— А пойменный?

— Что пойменный? — Градов округлил ноздри и чуть вздернул голову.

— Возникает еще пойменный вариант. Надо ознакомиться с ним.

— Знакомьтесь. Но знайте, что будет принят только правобережный, — строго сказал Градов.

— А я и не возражаю, — неожиданно мягко улыбнулся Мозгалевский, — больше того: полагаю, что и впрямь нам нечего мудрить. Надо брать ваши рекогносцировочные изыскания и переводить в окончательные.

— Да, это будет самое правильное, и тут я ваш первый помощник.

— Чудненько! — сказал Мозгалевский и опустил на переносье очки.

Я уже почти всех знаю, кто входит в нашу партию. Шесть путейцев, четыре геолога, завхоз и радист. Радист живет в Москве и прямо оттуда поедет на изыскания. Лыков в нашей партии. Ирина, та высокая девушка с веселыми глазами, тоже с нами. Я рад этому. С нами и смугленькая Тася. Среди путейцев два молодых инженера — Зацепчик и Покотилов. У Покотилова в левой черной брови пучок белых волос. Он рослый, флегматичный. Зацепчик, несмотря на молодость, уже лысоват, все лицо у него в угрях. По-моему, с таким лицом надо быть скромнее, но он держится надменно. Есть еще старший техник-путеец Коля Стромилов. Мозгалевский его зовет ласково Коля Николаевич. Коля Николаевич немногим старше меня. Ему двадцать три года. Но он уже был в двух экспедициях, может вести пикетаж, нивелировать. В свое время он кончил курсы геодезистов.

— Целый год в тайге — это не зонтик раскрыть. Если у кого несуживчивый характер, пропадет! Тебе говорил Олег Александрович: «Мы с вами работаемся?» — спрашивает он меня.

— Говорил.

— Он это всем говорит. И имей в виду: если не сработаетесь, то будешь виноват только ты.

— Почему?

— Так это ж ясно, как пирог с брусникой: он старый изыскатель, а ты?

Я тут же с ним соглашаюсь, опасаясь, как бы разговор не пошел по линии уточнения моего изыскательского стажа.

И сегодня не уехали. Но все идет к тому, что скоро тронемся в путь. Вот о чем говорил Мозгалевский с завхозом партии Сосниным.

— Вы составили опись имущества? — спросил Мозгалевский.

— Никак нет! — ответил Соснин. Длинный, он ходит в немозгалимых бриджах, в шинели, подметающей пол.

— Составьте, немедленно составьте. Один экземпляр положите в вагон с грузом, другой дадите мне, третий — себе в бумажник. Вдруг крушение, и иск не примут. Описи-то нет!

— В каком поезде пойдет груз?

— В вашем. Вместе с ним поедете.

Соснин задумался.

— Тогда зачем же три? — в раздумье сказал он. — Если будет крушение, то и мой экземпляр и тот, что пойдет с грузом, одновременно погибнут. Значит, хватит и двух. Вам один и мне один.

— Насчет крушения я на всякий случай сказал. Бог милостив.

— В бога не верю. Значит, крушение возможно? — Соснин опять задумался.

— Да нет, что вы, голубчик, я просто так... — извиняющимся тоном сказал Мозгалевский.

— Значит, пошутили? Проверяете, не трус ли Соснин? Смею вас заверить... — повысил голос завхоз.

— Да нет, что вы, — стал успокаивать его Мозгалевский.

— Трусом никогда не был! — загремел под стеклянными сводами голос Соснина.

— Очень рад, очень рад, — поспешно сказал Мозгалевский. — Успокойтесь и, пожалуйста, составьте три экземпляра описи.

— Все же три?

— Три.

— Есть! — Соснин щелкнул каблуками и ушел.

— Какой темпераментный, — удивленно произнес Мозгалевский и пошевелил усами, — нельзя ничего сказать.

Тася фыркнула и посмотрела на меня из-под шторки. Я засмеялся.

— Между прочим, мы едем тем же поездом, каким и Соснин, — сказал Коля Николасвич. — Лавров звонил из наркомата и дал распоряжение отправить первую группу: завхозов, буровых мастеров и техников.

— Честное слово? — крикнул я и стал трясти ему руку.

— Вот чудак-рыбак, я говорю, что ехать будет опасно, а он...

— Да это ты чудак! Ехать! Да это же прекрасно!

24 апреля

Ура! Ура-а! Все дальше уходит поезд. Свежий ветер врывается в окно. Он пахнет землей, водой, лесами. Откуда он примчался? Ветер-бродяга, странник, путешественник, изыскатель... Где только он не бывал! Пожалуй, весь земной шар облетел и теперь, как голубь, бьется у меня на груди...

Поезд идет! Впереди Череповец, Пермь, Свердловск, Новосибирск, Чита, Ерофей Павлович, Волочаевка, Хабаровск. Ни в одном из этих городов я не бывал. Теперь они все мои. Я их увижу... Но это еще не все. Это только начало пути. Дальше самое главное, дальше тайга!

Поезд идет. В купейном вагоне (только подумать, в купейном вагоне!) едет Алексей Павлович Коренков. Кто он? Как, разве вы не знаете? Это младший техник таежной экспедиции. Такой молодой — и уже техник? Да, ему всего двадцать один год, но он уже исследователь далеких земель. На него возложена ответственной миссии — он будет изыскивать в условиях суровой тайги железнодорожную магистраль. Молодые женщины в белых передниках и кружевных наколках любезно предлагают ему из своих корзинок вино, шоколад, папиросы. Нет-нет, папирос ему не надо... Он вынимает из кармана трубку. Кха-кха-кха! Черт, еще не привык к ней. Хорошо бы купить плитку шоколада. Но не уронит ли это авторитет изыскателя?! Нет, нет, шоколад не нужен. Вино? Что ж, рюмочку можно. Коньяк? Тем лучше... Да, налейте рюмочку. Надо же отметить начало пути... Кха-кха-кха! Не в то горло попало. Тася Калинина смотрит на него осуждающе... Лучше ему выйти из купе.

За окном несутся, мелькают поля, леса, перелески — скромный привет северной земли. Уезжаешь? Что ж, уезжай, но нас все равно никогда не забудешь. Сейчас ты рад, но пройдет время — и затоскуешь, потянет тебя обратно в родные места... «Да-да-да-да», — стучат колеса. «Все-таки уехал, все-таки уехал», — стучит сердце. Я стою и смотрю, и все новое мчится ко мне, и нет этому новому конца. И не устаешь смотреть, и не замечашь времени. И даже черные скучные пни на болотах интересны, и жиденький лесок красив.

Мелькают полустанки. Встречают и провожают деревни. Надвигаются и остаются там, в прошлом, леса, поля, реки, люди.

Поезд мчится в будущее. Все, что знакомо, — не жизнь. Только новое, пусть опасное, пусть трудное, пусть мучительное, только оно нужно настоящему человеку. Мчится поезд. Его провожают ребяташки. Босые, склонив головы, они машут ручонками.

Чем ближе Пермь, тем больше появляется холмов. И вот они уже идут один за другим, похожие на океанские волны. И вдруг все оборвалось. Кама. Мы тихо въезжаем на мост. По широкой реке медленно плывет солнце. Вдоль правого, пологого берега пробирается пароход. А на холмах над рекой раскинулся город. Белеет церковь.

Я хожу по перрону вдоль состава. Пассажиры бегут с чайниками за кипятком. Тут же торговки продают шаньги с картошкой, вареные яйца, соленые огурцы.

— Правда, хорошо? — спрашивает Тася. Она идет со мною рядом.

— Что хорошо? — строго спрашиваю я.

— Все, — улыбается Тася и смотрит на высокое голубое небо, на белые облака, надутыми парусами плывущие к солнцу, смотрит на меня. Но мне нет никакого дела до ее улыбок. Изыскатель — это человек суровой души. Он рожден для подвига. Впереди ждут его великие испытания. И поэтому нет для меня этой девушки.

— Я вас не понимаю, — сухо говорю я.

— Что ж тут непонятного? — недоуменно пожимает узенькими плечами Тася. — Все так необычно. Словно во сне. Хотя вам это не впервые. Расскажите, где вы были, на каких изысканиях?

К счастью, раскатисто и тревожно гудит паровоз. Скорей, скорей в вагон. Я подсаживаю Тасю. У нее упругая теплая рука. Но мне нет никакого дела до ее руки.

— Спасибо. Как он сразу взял с места... Ну, рассказывайте. Мы стоим у окна.

— Я не люблю рассказывать о том, что было.

— Если оно было тяжелым?

— Все равно. Рассказывать о прошлом — удел стариков.

— Какой вы серьезный... А что вы думаете об изысканиях?

— Думаю, что будет не легко. Морозы там доходят до пятидесяти градусов. Помните рассказы Джека Лондона?

— Но ведь мы будем жить в зимовках.

— А работать? Впрочем, вы лаборантка. Вы-то будете в зимовке. Другое дело трассировщики.

— А трассировать трудно?

— Конечно. — И я иду в купе, раздраженно думая о том, что у каждого человека должно быть чувство внутреннего такта, к тому же каждый должен быть хорошо воспитан, только тогда возможно взаимное уважение.

В купе, кроме меня и Таси, едут еще двое — Соснин и буровой мастер Зырянов. Зырянову лет под пятьдесят, но он подтянут, каждый день бреется и обтирает лицо и шею цветочным одеколоном. Сейчас они сидят за столиком и неторопливо потягивают пиво.

— Руины — это цель, — уверенно говорит Соснин.

— При чем же тут цель? — отвечает Зырянов, и в голосе его слышится усмешка. — Руины — это разрушенное здание, может быть даже целый город.

— Все равно цель, остатки там или не остатки. Цель!

— Тут дело не в цели, — свешиваюсь я с верхней полки, — руины — это всегда что-то разрушенное, что-то...

— Вот, если не знаешь, то и не лезь в спор. Что-то разрушенное, а что?

— Да это неважно. Может быть и дом, может быть и деревня.

— Все равно, и дом и деревня — это цель. Го-го-го-го-го! — Он не смеется, а гогочет, будто гусак. — И не спорь со мной.

— Это почему же еще?

— Потому что я бог войны!

— При чем здесь бог войны? — в запале крикнул я, видя, как фыркает и закрывается черной шторкой Тася.

— А при том, что я артиллерист. А артиллерия всегда была, есть и будет богом войны. Го-го-го-го-го!

Ему хорошо. Ему весело. Он впервые едет на изыскания и не скрывает этого. По-моему, он не очень умен, но, наверно, честен. А это в тайге главное. Там должно быть полное доверие друг к другу. А как же я? Поверят ли мне, когда узнают, что я самозванец? Но только бы добраться до тайги. Там бы я показал, на что способен. Работал бы больше всех и никогда не говорил об усталости. Работал бы? Но я никогда не ходил с мерной лентой, никогда не заполнял пикетажную книжку. Это же все сразу обнаружится, как только мартия приступит к изысканиям. Что же делать? Может, открыться? Нет, сейчас рано... Чтобы нечаянно не раскрыть себя, я стараюсь уединиться, а если в компании заходит речь об изысканиях, то тут же отхожу в сторону.

Я могу неотрывно, часами глядеть в окно. Километры летят назад, как прожитые дни. А дни могут быть прожиты по-разному, и по-разному они проходят. Одни — быстро, другие тянутся. Я не пойму, как проходят мои нынешние дни, — то мне кажется, что они мелькают, как километровые столбы, то ползут нудно и бесконечно, как казахстанские степи.

— Смотрите, мазанки! — кричит мне Тася и становится рядом. — Я не была на Украине, но они очень похожи, такие же, как на рисунках. Здесь, наверно, живут украинцы. Смотрите, смотрите, казах!

Тетрадь вторая

Неподалеку от насыпей тянется дорога. По ней едет на лохматой лошаденке человек в куполообразной, с висячими ушами, шапке.

— Почему вы сторонитесь всех? Вы гордый, да? — спрашивает Тася.

— При чем здесь гордый? Просто люблю смотреть в окно.

— И молчать? И ни с кем не разговаривать?

— Да. И молчать. И ни с кем не разговаривать.

— И не скучно?

— Нет.

— От Москвы три тысячи восемьсот пятьдесят четыре километра, — отметила вслух очередной километровой столб Тася. — Как далеко!

— Вы думаете, это далеко?

— Почему вы так обрадовались?

— Обрадовался? Что вы... Чего мне радоваться?

— Я даже не могла представить себе такое расстояние. Ну, это я... Вы-то, конечно, привыкли. Вы много ездили?

— Смотрите, весенний пал, — говорю я.

По земле тянется густой траурный дым, словно натягивают черную ткань, а впереди несе бегут красноватые огни. Трава кланяется огню. Упадет на колени и почернеет.

Ночью приснилось, будто целовал Тасю. Только почему-то Тася была похожа на Ирину. Целовал крепко, долго. И радовался, смеялся от счастья: Проснулся: поезд идет и идет, постукивает на стыках. В купе светло от луны. Я перегнулся, посмотрел вниз на Тасю. Увидел ее темную голову, срезанную наискось пододеяльником. Не понимая, что такое произошло со мной, я долго лежал с открытыми глазами, думая об Ирине, о Тасе, о любви, и заснул только под утро.

Проснулся от громкого галоса Саснина.

— Какой же это коридор? Это ущелье, — настаивает завхоз.

— Ущелье естественного происхождения, — доносится снизу голос Зырянова, — а коридором у путейцев называется вот то, что вы видите сейчас за окном. Не так ли, Алеша? — Он заметил, что я проснулся, и ждет моего подтверждения.

Я смотрю в окно. Енисей, большой, мутный, разлился, затопив какое-то селенье. На улицах лодки, плоты. На одном берегу Красноярск, на другом — сочки. Они стоят плечом к плечу, как бы загораживая тайгу от людей. Поезд бежит к ним по кривой, и они расступаются перед ним, маленьким, живым. Они высоки, и, как я ни пригибаюсь, все же не могу увидеть их вершин. Они с обеих сторон обжимают путь.

— Да, это коридор, — солидно говорю я.

— Ну вот, видите, — говорит Зырянов.

— Ущелье. В артиллерии именно так обозначается разрыв между скалами.

Мне бы молчать, а я лезу в спор:

— Послушайте, ведь Зырянов — старый изыскатель. Он же лучше вас знает!

— Смотри, он опять со мной спорит, — удивляется Соснин, — и опять зря. Зырянов — старый изыскатель, а я старый артиллерист! Кому больше веры? — И загоготал. Ему весело. Всего неделю в пути, а он уже отпустил бороду и усы. Сейчас его лицо в рыжей щетине, нос лаптем, маленькие глаза сверкают от удовольствия. — И не спорь со мной. С артиллеристами спорить не рекомендую, потому что берем прицел точный. Го-го-го-го!

Ну как ему докажешь? Это бесполезно. Но не проходит и нескольких часов, как я опять влезаю в спор. Это было на станции Ключвенная. На остриженных деревьях сидели сотни воробьев. Даже не верилось, что их так много. В вечерних сумерках на голых ветвях они были как листья..

— Вот ляпнуть бы их из ружья, и сразу воробьиный суп, — как всегда громко, говорит Соснин, — а то, еще лучше, заложить штук сорок в котелок и закрыть. Чтоб томились. Получается полная и неподдельная красота. Одного жиру стакан. А воробьишки становятся румяные, пальцы проглотишь...

— Оближешь, — поправил я.

— Именно проглотишь. Го-го-го-го-го!

— Суслики! Суслики! — кричит Тася и зовет меня к себе в коридор.

Сусликов много. Они прыгают, смешно выглядывают из нор. Один стоит на задних лапках и, словно путевой обходчик, провозжает наш поезд.

— Правда, занятные? — спрашивает Тася и смотрит на меня весело и открыто.

— Да.

— Зачем вы всё с ним спорите? Ну его... И смех у него дикий.

Впервые за эти дни в поезде около нас оказался Коля Николаевич. Он бледен, утомлен. Смотрит в окно и безостановочно курит. Затянется, выпустит дым и опять затягивается.

— Черт, проигрался, — крутит он головой. — Слушай, у тебя есть деньги?

— Сколько?

— Ну давай сотню.

Я дал сто рублей. Он повеселел и сразу же ушел в другой вагон.

— Зачем вы дали ему деньги?

— Он же попросил.

— И эти проиграл. Так выручать не по-товарищески.

— А если выиграл?

— Я не люблю картежников, вы неправильно поступили.

Я гляжу на нее и улыбаюсь. Еще совсем девчонка, а пытается делать замечания, как взрослая.

— Что вы улыбаетесь?

— Видел вас во сне,— сам не зная почему, вдруг признался я.

— Да? — обрадовалась Тася.

— И целовал.

Тася вспыхнула и опустила черную шторку.

— Но странно, когда поцеловал, то оказалось, что это не вы, а какая-то другая девушка...

— Вот как? — Тася почему-то покраснела и ушла в купе.

— Но ведь это было во сне! — крикнул я.

Проехали Иркутск. И вот она, Ангара. Уже вечер. Темно-зеленая вода кажется светящейся при голубом свете луны. Поезд врывается в тоннель. Тьма. Из тьмы липнет к окну длинный белый поток паровозного дыма, бьется о стекло. Постепенно черная пустота рассеивается, стук колес становится более отчетливым, и далекие бледные звезды бегут ко мне навстречу. Тоннели... тоннели... тоннели... Им нет конца.

Осторожно открываю дверь в купе. Все спят. Горит синий ночник, освещает съезженную фигурку Таси, свешенную руку Зырянова, широко раскрытый рот Соснина. Из рта вырываются урчащие, рокочущие, свистящие звуки. Я беру со стола чайную ложку, сую ее в рот Соснину и начинаю там ею болтать, как в стакане. Соснин захлопывает рот. Наступает благословенная ночная тишина.

— Спасибо, Алеша,— доносится до меня шепот.

Я гляжу на Тасю. Но глаза у нее закрыты, и ничем она не выдает себя.

Байкал появился на рассвете. Солище вразяжку лежало на нем. Встревоженный весной лед переливается, искрится, прижатый ветром к берегу. Над водой чайки, гагары, утки. Вода в том месте, где они полощутся, горит ярче льда.

Тоннели... тоннели... тоннели...

Все уже встали, давно попили чаю, а тоннели все еще идут. и поезд, вырываясь из одного, ныряет в другой.

Байкал то прячется за густой кустарник, то выходит на чистое. Лед и небо.

Тоннели... тоннели... тоннели...

Незаметно Байкал отдалается. И вот уже скрылся.

— Прощай, Байкал! — сказала Тася.

— И здравствуй, Селенга! — сказал Зырянов.

Река, широкая, с зелеными островами, с отмелями, песчаными косами, бежит рядом с поездом.

— Буран! Закройте окна! — кричит проводник.

Быстро, за какую-нибудь минуту, небо затянулось черной тучей, и вот уже ничего не видно. Густая, непробиваемая пыль серой полосой движется за окном.

— Монголией пахнет, — говорит Зырянов, — каких-нибудь двадцать километров до границы.

А поезд идет и идет. Проехали Улан-Удэ, а буран все сильнее. Скучно. В окно глядеть не на что. Читать не хочется. Остается одно: забраться на свою полку и спать.

— Искали хохлы-переселенцы деревню в этих краях, — слышу я голос Зырянова. — Нашли. Стали гадать: «Чи та? Чи не та?» Оказалось, та. Отсюда и пошло название — Чита.

— Чи-та, — раздельно повторяет Соснин и гогочет. Видимо, эта старая история ему в диковину. — У нас тоже деревня есть, называется Ольховка. Ольхи много, потому и прозвали так.

Неожиданно раздается звонкий смех Тася.

— Здорово, да? — спрашивает ее Соснин. — Го-го-го-го-го! Я таких историй сам знаю много.

Тут уж мы начинаем смеяться все. Смеемся до слез. С нами вместе хохочет и Соснин.

— Я веселый, — говорит он, — могу покойника расшевелить. Го-го-го-го-го!

А поезд идет и идет. Как петляет дорога! Она тянется среди сопок. Метрах в ста от нас извивается еще один путь. Неужели мы поедем по нему? Да, да, вот уже паровоз сворачивает в ту сторону, выгибаются вагоны. Я вижу весь состав. Паровоз вовсю намахивает лоснящимися локтями. Проходит какое-то время, и невдалеке появляется тот путь, по которому мы недавно ехали.

— Эсовое вписывание, — говорит Зырянов.

— Эсовое, — хохочет Соснин.

— Да, похоже на латинское «эс».

— Латинское. Знаю. Это значит, приехал из учения сын к отцу. Вот отец и спрашивает его: «Чему научился?» А сын отвечает: «Латыни». Ну, отец велит: «Потолкуй». Сын говорит: «Пожалуйста, папаша. Видишь ложку?» Отец говорит: «Вилку». — «Так по латыни она будет называться ложкус». — «Хорошо, — говорит отец, — а как же будет печка?» — «Печкус», — отвечает сын. — Соснин гулко загоготал. — Здорово? — И замолчал.

— Это все? — спросила Тася.

— Ага, — удовлетворенно ответил Соснин.

— Да нет, позвольте, есть же конец, — вмешался Зырянов.

— Ну! — удивился Соснин.

— Конец таков. Отец спрашивает: «А как называются вилы?» Сын отвечает: «Вилкус». — «А навоз?» — «Навозикус». — «Так вот, — говорит отец, — бери вилкус и отправляйся возить навозикус».

— Го-го-го-го-го! Навозикус! А я всем рассказываю без конца. И ничего, го-го-го-го-го, смеются!

В окна заглянули пухты, но, испугавшись нашего смеха, отскочили назад.

Поезд, как время, что бы ни случилось в вагоне, идет и идет. Проехали станцию Мих. Чесноковскую. Неподалеку от вокзала — Зей. Отлогие, равнинные берега. Вода цвета неба, а небо как глина. Все это быстро мелькает, исчезает, появляется, прячется. За Зеей простирается степь, голая, без кустарника, без деревца. Даже не верится, что были сопки, леса. Но вот тоннель, и, как перевернутая страница, опять сопки, они тянутся зубчатой грядой, поросшие густым, вековым лесом.

С утра уже стали говорить об Амуре.

— Один мост больше двух километров, — говорит Зырянов, — здесь земля большая. Под стать ей и река, и леса, недаром их называют тайгой. Здесь все крупно.

— Скорей бы приехать, — капризничает Тася, — надоело. Даже не знаешь, что и делать.

— Почитай книгу, — советует Зырянов.

— Почитала бы ты отца с матерью, а не книги, — говорит Соснин, и после этого следует неизбежное: — Го-го-го-го-го!

И я жду не дождусь Амура. Я уже видел Каму, Обь, Енисей, Иртыш, Ангару, но не взволновали они меня. А вот Амур, чувствую, покорит. Амур-батюшка! Я вспоминаю Невельского. Вспоминаю первых землепроходцев русских и засыпаю.

Проснулся в Хабаровске. И Амур позади и мост позади.

— Что же вы не разбудили? — с укором сказал я Зырянову.

— Сознательно не велел! — басит Соснин, вытаскивая из купе вьючную суму, до того набитую вещами, что она стала круглой, как шар. — Пускай, думаю, хоть Амур не опишет. А то прямо сплошную инвентаризацию ведет, а я ревизоров терпеть ненавижу. Го-го-го-го-го! В писатели, что ли, готовишься?

Поезд подошел к платформе и остановился.

В Хабаровске увидел начальника партии. Он прилетел самолетом. Зовут его Кирилл Владимирович Костомаров. Ему лет тридцать пять. Все в нем сильное: и руки, и глаза, и плечи.

— Попрошу прийти ровно через час, — сказал он мне.

Я вышел из гостиницы, где остановился Костомаров, и пошел по улице. Я видел китаянок с изуродованными ногами. Они не ходили, а переваливались с боку на бок, как утки. На спине у них сидели малыши, прихваченные фланелевыми одеялами. Видел корейцев в белых одеждах. Видел Амур, стоя на берегу в городском саду. Но ничто меня не интересовало. «Что же мне делать? — думал я. — Если он разоблачит, то сразу выгонит. И тогда...» Дальнейшее я не представлял себе.

Ровно через час я был снова в гостинице и минута в минуту вошел в номер. Костомаров вынул карманные часы, и, когда посмотрел на меня, взгляд его был приветлив.

— Прошу,— густым, несколько глуховатым голосом сказал он, подвигая мне стул.

Кроме меня, в комнате находились Зырянов и Соснин. Было бы, конечно, лучше, если б их не было. Еще легче было бы, если б тут находился Мозгалеvский. Все же как-никак, а старик хоть пемного, но знает меня по работе и мог бы замолвить слово... Но мало ли чего хочет человек... Если б все наши желания сбывались, не было бы нужды выдумывать рай.

— Значит, груз уже на пристани? — спросил Костомаров.

— Так точно! — вскочил со стула Соснин.

— Когда отвечаете, вставать не надо. Здесь не армия, — сказал Костомаров и посмотрел на дверь. Там стоял Коля Николаевич. — Я вас просил быть в четыре, а сейчас?

Коля Николаевич посмотрел на свои часы.

— Десять минут пятого, — ответил он.

— Почему же вы решили, что я должен дарить вам свое время? — строго спросил Костомаров, и взгляд его серых глаз стал холодным.

— Внизу задержался, покупал газету, — ответил Коля Николаевич и показал газету.

— Вы считаете это уважительной причиной? По-моему, лучше извиниться и впредь не нарушать моих указаний.

— Извините...

— Садитесь. Итак, я вас собрал, чтобы сообщить о том, что вы являетесь членами передовой группы. Начальником назначаю Соснина. Вы, Константин Семенович, — Зырянов уважительно наклонил голову, — вы, Николай Николаевич, и вы, Алексей Павлович, — это он меня назвал по имени и отчеству! — будете помогать Григорию Фомичу. — Соснин, услышав эти слова, так широко раскрыл от удовольствия рот, что стали видны все желтевшие от табака, крупные, плотные зубы. — Что делать — Григорий Фомич знает. Если у вас есть какие вопросы ко мне, прошу.

— Какие же вопросы? Никаких вопросов нет! — сказал я.

Костомаров внимательно посмотрел на меня:

— Вы излишне восторженно относитесь к делу. Поясняю: изыскания в таежных условиях — это не веселая прогулка, не пикник, это работа, сопряженная с риском для жизни. — Глаза у него потемнели. — Будьте серьезнее. И если вопросов нет, тогда желаю успеха. Завтра в путь.

Ночь. В ушах еще стоит гомон посадки: крики мужчин, визг женщин, плач детей, голоса матросов. Я не разоблачен и еду дальше. Теплоход раздвигает воды Амура. Две волны за его кормой бегут к берегам, а за ними еще две, и еще, и еще. И на всех

подпрыгивают тысячи лун. Далеко, влево от Амура, белеет облако. Оно сидит на зубчатой вершине сопки.

— Хинган,— говорит Зырянов.— Этот хребет берет начало с Алтая.

— Вы были здесь? — спрашиваю я.

— По ту сторону хребта работал. Глядите на мост. Видите самый маленький, темный пролет? Он сделан взамен взорванного в гражданскую войну.

Я всматриваюсь: и верно — один из пролетов темнее других.

— Ну что, пошли спать, что ли? — зевая, говорит Коля Николаевич.— На этот раз скучная мне попалась компания. Сурьезная.

— А вам бы все в карты играть? — улыбнулся Зырянов.

— Не обязательно. Можно по рюмке выпить; неплохо, если б девчата были. Надо жить, а не зябнуть у костра.

Он в настроении. Мои сто рублей помогли ему: он не только отыграл свои деньги — а их у него было больше пятисот,— но еще и выиграл двести рублей.

— Значит, надо жить? — иронически смотрит на него Зырянов.

— Абсолютно. Как пьяница в винном погребе. Так, Алеша?

— Не знаю.

— Это ты брось: «Не знаю». А сам уже с Таськой Калининой контактовался. Скучаешь, наверно? Ага, молчишь! Большого доказательства не требуется. Теперь можно и на боковую. Только где же наш завхоз и где мы будем спать?

Соснин пришел деловой и озабоченный:

— Каюту не удалось отвоевать. Придется ехать в третьем классе.

— Лишь бы спать,— сказал Коля Николаевич.

Третий класс — это большое общежитие. Пассажиров больше, чем мест. Лежат даже на полу. Широко раскинув руки, спит красноармеец, к нему приткнулась ветхая старушонка, на одну полку каким-то образом умудрилась лечь мать с тремя детьми. Каким чудом отвоевал Соснин нижнюю полку, мы не знаем, но эта полка ждет нас. Мы можем спать сидя.

— Вообще-то надо бы заявить протест,— говорит Коля Николаевич,— завхоз не обеспечил койками. Сидя спят только куры, собаки и те лежат.

— Нытик! Го-го-го-го-го!

— Занимай и мое место. Я спать не буду,— говорю я.— Половины лавки тебе хватит.

— Гуд бай, как говорят французы.

— Англичане.

— Именно французы. Если англичане, то не смешно. Ну, давай иди, буду спать.

Я стою на палубе. Рассвет наступает медленно. Луна вяло

катится к вершинам сопок. Но вот появляется сразу и на небе и на воде оранжево-розовая полоса, она все шире, шире, и вдруг — солнце! Амур мгновенно вспыхивает, будто подожженный. Он раскален, и золотой и красный. Я долго смотрю на воду, на сопки, на небо. Теплоход идет старательно, хотя и не очень быстро. Останавливается у пристаней, меняет пассажиров, одних выпускает, других берет. Солнце припекает все сильнее. Тянет в сон. Я сажусь на пол и засыпаю...

Вечером пришли в Комсомольск. На берегу деревянные домики. Это и есть новый город? Коричневый туман висит над крышами. Тускло-красными огнями горят окна, отражая застрявшее в седловине хребта солнце.

— Это не туман, а дым,— говорит Зырянов.— Где-то горит тайга.

— Ну и Комсомольск,— разочарованно тянет Коля Николаевич.— Звону было...

— А это и не Комсомольск, а старое село Пермское. А Комсомольск отсюда не увидишь.

Я с удивлением гляжу на Зырянова.

— Откуда вы все знаете?

— Спросил у матросов,— мягко улыбаясь, ответил он.

В Комсомольске порядочно вышло народу; но все равно тесно.

— К черту! Надо скорей переходить в инженеры. Вон Зацепчик, Покотилов, Лыков небось поедут в каюте, а тут грязь, вонь. К черту! — негодует Коля Николаевич.

— Нытик! Хлюпик! — на весь третий класс кричит Соснин.

— Иди ты к черту! — отмахивается от него Коля Николаевич.

— И грубиян. Грубиянов на губу! Марш, марш! Го-го-го-го-го!

В Николаевск-на-Амуре мы прибыли утром. Городок маленький, всего два извозчика стоят у пристани. Пыльный. Временным жильем оказался подвал. В нем десяток топчанов, стол и длинная скамейка. Это позаботились о нас гидрометристы второй партии. Сейчас они в пути, выехали отсюда три дня назад.

Нам нужны лодки. Штук двадцать. Соснин покупает их так.

— Водонмещением лодочка не более пятисот килограммов,— говорит он, критически оглядывая широкую плоскодонную лодку.

— Пятсот? Да она всю тонну подымет! — говорит и обиженно и возмущенно хозяин лодки.

— Нет, тонну никогда не подымет. Килограммов шестьсот еще туда-сюда.

Тетрадь третья

— Тонну! Верь, гражданин, хороший. И прошу всего — полтораста.

— Нет, нет, про тонну и говорить нечего. Мы артиллеристы, у нас прицел точный.

— Да ей-богу же, тонну!

— Ну ладно, пусть тонну, уступаю тебе. А ты уступи мне. Девяносто рублей, и по рукам. — И Соснин подает ему длинную, узкую ладонь.

Не сразу учуяв подвох, хозяин подает свою руку. Соснин радостно трясет ее, тут же отсчитывает деньги, я в это время сую владельцу лодки счет, он расписывается, и лодка наша.

Соснин устремляется на хозяина следующей лодки. Разговор тот же.

— Полтонны? — насмешливо тянет хозяин. — Да ты что, спишь или дремлешь? Меньше чем тонну не возьмет.

— Ну ладно, ладно. Если ты настаиваешь, уступаю, но и ты мне должен уступить. Вот и будет как надо. И в счете так и запишем: грузоподъемность — тонна, цена — девяносто рублей.

— Побойся бога!

— Бога нет и не будет. Это уж точно, верь мне, папаша. — Соснин сует хозяину длинную узкую руку, тот нерешительно подает свою, и сделка совершена.

— Черт ты, а не человек! — спохватясь, кричит хозяин и трясет полученными деньгами. — За девяносто рублей такую лодку, а?

— Не себе, не себе, папаша, государству. К тому же чертей нет. Го-го-го-го-го! — разносится веселый смех по берегу Амура. — Марш, марш! Полный вперед! Прицел точный!

3 июня

И вот у нас флотилия. Впереди катер «Исполкомовец», за ним халка «Камбала», за «Камбалой» восемнадцать плоскодонных лодок.

Перед нами большой водный путь. Я счастлив. Вышли из бухты на Амур, и первая же волна, сочно поцеловавшись с бортом «Камбалы», обдала нас брызгами, словно благословила в далекий путь. Это, пожалуй, и не зря, — Амур на середине сердит. И вот уже тяжелые серые волны с глухим рокотом бьют в нашу халку. Она прыгает с волны на волну. Скрипит руль. Все дальше берег. Чернеет небо. Будет гроза. И что-то во мне пробуждается отважное. Я не боюсь ни ветра, ни надвигающейся грозы. Больше того — я жду бури. Я готов с ней схватиться. Я не знаю, откуда это у меня, может, зов далеких предков? Были у них и моря, и паруса, и бури. Скрипели мачты, обрушивались на

суденышки ливни. Все это было. И все это звенит сейчас в моей крови.

С неба срываются первые капли. Каждая, как гвоздь, пробивает пиджак до тела. Ну и, пусть! Все сильнее завывает ветер. Мачта уже стонет. Ну и что ж, так и должно быть! На то и буря!

— А ну, нагните головы,— командует лоцман халки, черно-волосый, с раскрытой грудью и серебряной серьгой в ухе старик, и накрывает меня вместе с Колей Николаевичем и Зыряновым, как куриц, большим парусом. И сразу будни: нет ветра, нет дождя. Тепло и тихо. Сидим, говорим, молчим, спим.

К вечеру ветер пролетел, и Амур, как голубое небо, без единой морщинки. И вдруг неподалеку от нас что-то шумно всплеснуло.

— О, сполуху наделал. Кто это? — спросил Баженов, поворачивая удивленное, простоватое лицо на шум.

— Сазан,— ответил лоцман. Его серебряная серьга багровеет в лучах закатного солнца.

— Вполне возможно,— согласился с ним Яков Сторублевый.

И Баженов и Яков — наши рабочие. Баженов наивен, робок. Он готов сделать все, чтобы только на него не сердились. Где-то далеко уральская деревенька, далеко жена с ребятишками, которой он посылает от случая к случаю деньги. У Якова Сторублевого во всю голову плешь, но там, где волосы остались, они вьются кольцами. Яков не один, с женой. Она его называет Яша, он ее Шуренка. Шуренка маленького роста, складенькая, курносенькая бабенка. У нее пухлые, всегда влажные губы, будто она только что долго и крепко целовалась. По словам Якова, занесла их сюда нелегкая вот почему. Жили они в Кировской области. Наступила неурожайная година. Заколотил Яков дом и пошел с Шуренкой на заработки. Думали, чем дальше, тем лучше, вот и забрались в Николаевск-на-Амуре. Тут их Соснин и прихватил. Шуренка будет у нас поварихой, Яков — рабочим на трассе. Кроме этих троих, есть еще четвертый рабочий — Перваков. Он малоречлив, все думает какую-то свою думу. Ему уже за пятьдесят, но он крепок, на любом ветру стоит с открытой грудью.

Попыхивает катер, тащит наш флот. Как мачта, возвышается на его корме Соснин. До сих пор все его считали завхозом. Оказывается, ошибались. Заместитель начальника партии по административно-хозяйственной части. Вот кто он! Поэтому и едет на катере.

Приплыли в какую-то бухту. Из бухты попали в протоку. Теперь Амур в стороне, за островом. По протоке движутся лодки. На берегу дома. Они стоят чуть ли не в воде.

— Кто здесь живет? — спрашиваю я лоцмана.

— Рыбаки.

— Русские?

— Русские.

— Эва куда упалили,— со вздохом сказал Баженов.

— Да,— вздохнул и Зырянов,— куда только не забрасывает судьба русского человека! И плохо и тяжело другому живется в таких местах, а не бежит, осваивает такую глушь. Иного туда и золотом не заманишь.

— Это сколько угодно,— сказал Яков Сторублевый,— нашему брату не положено выбирать.

— Это почему же не положено? — хмуро спросил Перваков.— И кем не положено?

— А нам неведомо,— легко ответил Яков.— Кому надо, тот знает.

— Ты должен сам знать. Для этого революцию делали.

— Партийный будешь? — спросил Яков, и в голосе у него прозвучало уважение.

— Нет.

— Чего ж тогда говоришь так,— с досадой сказал Яков,— в сомнение вводишь.

— Чем же я тебя ввел в сомнение — тем, что учу быть хозяином в жизни?

— Шуренка, пора вечерять, да и на покой! — крикнул Яков жене и отошел от Первакова.

Перваков пристально посмотрел на него и осуждающе усмехнулся.

Опять откуда-то прорвался ветер, резкий, холодный. От него никуда не спрятаться. (Катеришко оказался слабосильным, пришлось помочь ему — подняли парус.) Все кутаются, жмутся друг к другу, только один Перваков стоит на корме во весь рост, с открытой грудью.

— Идите сюда, тут теплее,— зову я его на нос халки, под защиту паруса, но он только усмехается.

Небольшая деревенька Тахта. Мы вышли на берег. У сельмага стоят гиляки. Впереди, отставив ногу, смотрит на меня узкими, как прорези, глазами пожилой гиляк. Из-под шляпы у него свисает черная, довольно неопрятная коса. Он повернулся к женщине и что-то быстро сказал. Она закачала головой, улыбнулась. У нее в ушах серебряные кольца, ноги тонки, как прутики. С ними старуха. Серые волосы расплзлись по ее плечам, глаза красные — трахомные, что ли? Изо рта у нее свисает трубка с полуметровым мунштуком.

— Народ,— снисходительно говорит Яков.

— Хороший народ. Со своими порядками. Зря человека не обидят,— уважительно говорит лоцман.— Давно, еще мальчишкой, был я у них на празднике медведя.

— Что это за праздник такой? — любопытствует Яков.

— Живого медведя привязывают к дереву и стреляют. Сначала надо выбить венец над мишкиной головой. Если кто коснется кожи — вон из игры. Потом простреливают уши...

— Какое издевательство, — говорит Зырянов.

— Ничего... Зверь ведь, — миролюбиво говорит лоцман. — Самому меткому дозволяется ударить в медвежье сердце. Это как награда.

— А как же они живьем медведя берут? — поинтересовался Перваков.

— На пеньках, со стрелами. Запустят три стрелы в задницу, и мишка готов.

— Как это? — усомнился Перваков, и что-то похожее на улыбку раздвинуло его толстые обветренные губы.

— Тут дело происходит таким фертom: гиляк отыскивает большую поляну с брусничником, куда повадился медведь по ягоду. Срубает в разных местах три лиственницы так, чтобы высокие пеньки остались. Одевает эти пеньки в разное тряпье и ложится с подветренной стороны. Ждет. Ну, приходит мишка. Начинает слизывать ягоду. Охотник выцеливает его из лука и пускает стрелу в зад. Мишка вскакивает, выдергивает стрелу, вертит башкой, ищет, кто ж это ему ее запустил. И видит пенек в тряпье. Несется на него что есть духу. Лупит так, что щепки летят. Расправится с этим пеньком, только хочет отойти, а гиляк ему вторую стрелу пускает в зад. Мишка ревет от злости. Второй пенек выскивает, на него несется, но не так уж прытко, — силы-то поубыло. Все же и с другим пеньком расправляется, хотя и не сразу. Лиственничка-то сухостойная покрепче железа будет. Только расправился, а охотник ему третью всаживает. Тут уж медведь орет на все трубы, но силы в нем, считай, никакой. Выдохся. Все же трусит на третий пенек. Ударит его, и сам тут же валится, подняться не может. Тогда охотник идет из своего укрытия и хочет — живьем его берет, хочет — ножом бьет под левую лапу.

— Ловко, — доверчиво качает головой Баженов, — медведь-то — беспелюха. За всяко просто и взял его гиляк. Хитрый ты, — сказал он гиляку.

Гиляк засмеялся и хлопнул Баженова по плечу:

— Сам хитрый!

— Ты хитрый! — хлопнул его по плечу Баженов.

И оба хохотали, били друг друга по плечу, и, глядя на них, смеялись мы.

— Вперед! — донесся голос Соснина, и мы побежали на «Камбалу».

И опять мы плывем. Надо будет получше познакомиться с лоцманом. Интересный он дядька. Наверно, тысячи всяких историй знает. Но что это с катером? Чухал, чухал и остановился.

— Разгрузить халку! Груз в лодки. Марш, марш! — командует Соснин.

И вот мы идем без «Камбалы». Течение подхватило ее. Лоцман махнул рукой. В последний раз сверкнула его серьга. И всё, расстались навсегда. Лодки, связанные по две, идут за катером на буксире. Мы неплохо устроились, даже удобнее, чем на «Камбале», — у каждого свой корабль. Можем ходить друг к другу в гости. И ходим. Угощаем табаком.

Жара. Как печет солнце! Сидим в трусах. Яков повернул Шуренку к нам спиной, чтобы не «оскоромилась».

— Шура! — кричит Коля Николаевич. — У тебя спина сзади.

Шуренка оборачивается, испуганно косит глазом на спину. Коля Николаевич доволен, хохочет, шуря зеленоватые глаза. Яков что-то бормочет себе под нос.

— Тонем! — орет Коля Николаевич, и опять Шуренка оборачивается, и опять он хохочет, а Яков еще злее что-то бурчит: — Да оставьте вы их в покое, — говорит Зырянов.

— Пускай приобщаются к цивилизации...

Бах! Бах! Что такое? Соснин стоит на корме катера с двухстволкой. Из обоих стволов вытекает густой белый дым. Оказывается, это салют в честь того, что мы распрощались с Амуром и свернули на Элгунь. Вот и еще одно расставание. Кто знает, доведется ли когда повидать Амур... Грустно, но впереди неизведанное, и оно мирит с потерей прекрасного. Быть может, то, что впереди, будет во много раз хуже, может, никогда не принесет радости, но все равно оно интереснее того, что знаешь... Отныне будем плыть по Элгуни. Дойдем до ее истоков... Это далеко, очень далеко, около тысячи километров в глушь, в тайгу.

Элгунь не Амур. Он величавый, широкий, мудрый, она же, как болтливая бабенка, мечется от косы к косе. Плыть по ней труднее. К тому же на Амуре был ветерок, а тут знойное затишье. Но весело постукивает катерок; журчит вода, по берегам — лес, и поэтому настроение чудесное.

Бах! Бах!

Над моей головой проносится ошалелая от перепуга утка.

Бах! Бах!

Утки поднимаются стаями, парами, поодиночке.

Соснин стреляет направо и налево. Ему хорошо. Я же весь дрожу от нетерпения. Сжимаю ружье так, что ноют пальцы. Жду, когда на меня налетит утка.

Бах! Бах! Соснин бьет дуплетами, но проку мало. Артиллерист мажет. Бах, бах! Мимо. Мне смешно.

Бах! Это ударил я. Между прочим, тоже мимо. А в лесу уже темнеет, оттуда выползают хмурые сумерки. Они ложатся в воду. С Элгуни мы свернули в протоку. Она становится все уже, уже. Ветви дерзевьев задевают по лицу. Со всех сторон, трубя в горны, к нам летят эскадрильи комаров. Темнеет. И вот уже

тьма. И в ней, как сердце, стучит мотор катера. И вдруг затих. И такое ощущение, будто я оглох,— такая наступила тишина.

— Буксир! — раздается голос механика катера, рябого толстого человека.

— Эгей! — отвечает Баженов.

— Отвязывайся.

— Пошто? — уже встревоженно спрашивает он. Дело в том, что Баженов не умеет плавать и всякое осложнение в пути пугает его.

— Заехали, — доносится хриплый голос с катера.

— Пошто заехали?

— Иди ты к черту под мышку, — хрипит голос. — Отвязывайся!

— Лодки! — раздается звучный баритон Соснина. — Заряжай ружья!

— Пошто? — кричу я.

— Для обороны и готовности к внезапному нападению.

— Есть! — кричу я и пуляю в небо.

Катера не видно, замечен только зеленый глазок на его мачте. Он похож на далекую звездочку.

— Все на разворот! — хрипит механик.

— Все на разворот! — любитесь своим голосом Соснин.

Лодки медленно перемещаются по спирали, освобождают место для катера. Катер, озабоченно пофыркивая, проходит в свободную воду. Все это освещает выглянувшая из-за туч луна. Баженов и Перваков крепят канат, и флотилия трогается в обратный путь.

Хорошо спится под мерное постукивание мотора, под шелест воды. Ветерок овеивает голову. Проснешься, посмотришь — вокруг дикие берега, тишина, поблескивает волна, а впереди, как заветная звездочка, зеленый глазок катера. Он смотрит в ночь, он все видит, и поэтому так спокойно и хорошо, будто ты и есть тот самый счастливый на земле, который наверно же должен быть.

Если смотреть на воду с кормы, то вода бурлит, пенится, несется с невероятной силой, и можно подумать, что это наши лодки несутся на такой скорости. Но стоит лишь перевести взгляд на берег, как сразу станет ясно: мы стоим на месте, а вода с бешеной быстротой несется мимо наших лодок. Мы попали на перекат. Механик гоняет катер туда-сюда, туда-сюда. Кое-как добираемся до острова. Медленно, очень медленно поднимаемся. Нет, не пройти. Надо к левому берегу. Свернули. Дошли до берега и остановились.

— Все на канат! — хрипит механик.

— Все на канат! — поет Соснин.

— Быстрей, быстрей! — хрипит механик.

— Быстрей, быстрей! — кричит Соснин. — Марш, марш! Вперед! Го-го-го-го-го! — И хохочет так, что трясется рыжая борода. Он просто счастлив, что может командовать.

Что ж, привязали канат к передней двойке, впряглись в петлю и потянули. Впереди Баженов, за ним Перваков, самый сильный из нас. Силу его я видел. Потребовалось ему зачем-то во время хода перебраться с головной двойки на последнюю пару, расстояние же между лодками такое, что не перепрыгнешь. Как быть? Он сел на переднюю двойку, подтянул к себе все шестнадцать лодок и перескочил на вторую двойку. Пока перескакивал, остальные четырнадцать заняли свои места. Он опять уперся, подтянул эти четырнадцать и перепрыгнул в третью двойку, и так все время, пока не добрался до конца. Позднее мы втроем пытались сделать то же, и ничего у нас не получилось. За Перваковым идет Яков Сторублевый, за ним Коля Николаевич, я, за мной Зырянов, и замыкает наш бурлацкий отряд Соснин.

— Марш! Марш! — подбадривает он.

Мы идем, прижимаясь к скалам. Берег завален валунами, крупной галькой. Ноги срываются, подметки скользят. Нелегко тащить по-бурлацки. Катер пытит изо всех сил. Мы пытим из всех сил.

— Цивилизация! — кричит Коля Николаевич.

— Цивилизация! — кричит Соснин.

И вдруг в одном месте, в другом, в третьем из-под больших валунов выползают змеи. Свиваясь в кольца, они широко разевают пасть, трясут тонким раздвоенным языком и, быстро виляя хвостом, скрываются в расщелинах скал.

— Господи Иисусе! Господи помилуй! — испуганно приговаривает Баженов.

Перваков на змей не обращает внимания. Канат врезан ему в плечо. Из-под его ног выворачиваются камни. Яков не столько тянет, сколько старается обойти крупные валуны, где могут затаиться змеи. В руке у него палка.

Тянем мы долго, больше километра. Постепенно берег переходит в скалистый обрыв. Такие обрывы Зырянов называет прижимами. Здесь к скалам действительно прижимается вода, течение усиливается. Дальше идти нельзя. Мы останавливаемся, и тут до нас доносится хриплый голос:

— Бросай канат!

С какой радостью мы его бросили. Скорей в лодки! Плыдем!

...Четыре часа утра. От воды подымается теплый туман, цепляется за кусты, прочесывает их. Катер отдыхает, приткнувшись к берегу. Мы не спим. Мы — это Коля Николаевич и я. Теперь, когда нет преферансистов, нет иной компании, он дружит со мной. Коля Николаевич привязчив, легко сходится с людьми, наверно легко и уходит, но — что ясно — он не может быть один. Мы удим рыбу. Никогда мне еще не доводилось ловить с такими удобствами. Не выходя из дому, забрасываем удочки. Как ловить на дальневосточных реках, научил нас Перваков. Ловля идет на закидушку. У меня в руке конец тридцатиметрового

шнура. На другом конце шнура груз. От груза отходят два поводка с крючками. Поплавка нет, да она и не нужен. Ловим на палец. Дернет рыба — дергай и ты. И я дергаю. Клюет часто, то и дело слышны всплески падающих грузил. Рыбы здесь много, самой разной, есть такая, про которую я никогда и не слышал. Одни названия чего стоят: таймень, ленок, хариус, касатка, чебак, голянь, конь, горбуша. Есть и наши знакомые: щука, окунь, пескарь, только пескари тут различаются — длиннотелый, губач, носатый, восьмиусый. Есть и сазан, зовут его здесь толстолобик. Пока все спали, мы натаскали столько рыбы, что ее хватило всем.

— Когда ж вы ее спроворили? — собирая в таз хариусов, чебаков, касаток и пескарей, спросила Шуренка.

— Пока вы, миледи, изволили почивать, — ответил Коля Николаевич.

— А ты не обзывайся, — неожиданно обиделась Шуренка, — может, это у вас там всякие, а я сплю с мужем.

— Чего? — От смеха Коля Николаевич чуть не вылетел из лодки.

Пришлось вмешаться Зырянову, чтобы успокоить Шуренку. Он растолковал ей, что означает слово «миледи».

— А я думала, он обзывается, — заулыбалась Шуренка.

— Значит, порядок? — спросил Коля Николаевич, лукаво поглядывая на нее зеленоватыми глазами.

— Порядок, — смеется Шуренка.

— Тогда можешь бесплатно отдохнуть... на моей груди, — милостиво разрешил Коля Николаевич.

Шуренка лукаво взглядывает на него и прыскает в кулак.

— А ну, уйди, — строго говорит ей Яков, — я сам отберу рыбу.

— Да я уж отобрала...

— Тогда неси, не прохлаждайся.

Соснин, глядя на целый таз трепещущей рыбы, почесал пятерней рыжую бороду и объявил нам благодарность.

— И впредь буду щедр на поощрения, если того заслужите, — важно сказал он и взял самых крупных хариусов и золотистого чебака.

— Голой благодарности мало, нужна премия, спиртешко. Наверно, во вьючной суме не одна бутылка?

— Видел? — настороженно спросил Соснин.

— Догадываюсь.

— Ничего у меня нет, — успокаиваясь, сказал Соснин.

— Неужели ничего?

— А зачем, я непьющий.

— Понятно. Значит, я попал в вагон для некурящих. В таком случае гуд бай, как говорят французы.

— Французы? — спросил Соснин.

— Да.

Тетрадь четвертая

— Надо будет запомнить: Ты мне почаще такие слова говори. Могут понадобиться. Гуд бай, как говорят французы. Понятно...

Коля Николаевич задыхается от смеха.

До чего же хороша жизнь!

Из расщелины скалы, пенясь и звеня, падает родник. Светлый, холодный. С удовольствием моюсь родниковой водой. От нее заходятся руки. Полощу рот — стынут зубы. Обливаюсь — горит тело, будто меня в печь бросили. А на берегу, стеля по реке дым, работает костер. Варят уху. «Бедные горожане, — думаю я, — вместо леса им достаточно парка, вместо реки — бассейн, вместо пустыни — пляжа. Как же они обворовывают себя!»

— По лод-кам! — разносится над рекой зычный голос Соснии. Он кричит с кормы катера, приложив руки ко рту.

— Мы еще не ели, — машет ему в ответ руками Коля Николаевич.

— Будете кушать в пути. По ло-о-од-кам! Марш! Марш!

Ах, какой молодчина Соснии! Ну конечно, надо есть в пути. Катер пыхтит; лодки плывут, вода журчит, по сторонам лес, над головой синее небо, а под носом миска с дымящейся ухой. Если есть счастье, то оно рядом со мной. Но, к сожалению, счастье никогда не продолжается долго. Одна из лодок первой двойки текла, — видно, вовремя не отлили воду или течь усилилась, но лодка захлебнулась и стала тонуть. И потянула на дно напарницу.

— Тонем! — истошно закричал Баженов.

На катере уже заметили аварию.

— Руби буксир! — срывая голос, прохрипел механик.

А нас уже несет. И катер несет, его тащат лодки. Механик бросил якорь. Но все равно несет. А лодки уже разворачивает, ставит поперек реки, и как только поставит, так тут и конец. Это всем ясно, даже Шуренке: Якорю же никак не ухватиться. Дно галечное, не во что запустить ему свои когти. Нас несет на мыс. Там водоворот. Там нам могила.

— А-а-а-а! — кричит Баженов.

Яков сбрасывает с ног сапоги.

— Яша, что ж делать, Яшенька? — жметя к нему Шуренка.

— Не лезь! Отцепись, говорю! — отталкивает он ее от себя.

— Надо рубить канат, — спокойно сказал Перваков.

— Да, иного выхода нет, — согласился Зырянов. — Якорь, по всей вероятности, не зацепится.

— Это не поможет, — сказал Коля Николаевич, собирая в узел свое барахлишко.

— Нам — да. Но катер не погибнет. Это ведь наши лодки его тащат, — сказал Зырянов.

— А нам, значит, погибай? — закричал Сторублевый. — Значит, тонуть?

— Небось, дерьмо не тонет, — усмешливо-враждебно сказал Перваков и достал из ножен широкий, сделанный из японского штыка нож. Он пошел к передней двойке, чтобы полоснуть канат. Но тут закричал Соснин:

— Якорь встал! — И в наступившей тишине стало слышно, как журчит у бортов вода.

— Подтягивай лодки к берегу! — донесся голос механика.

— Понятно, понятно, — пробурчал Перваков и отвязал ближайшую лодку. С канатом переправился на ней к берегу, привязал канат к лиственнице. После этого буксир перерезали. Течение понесло нашу флотилию, но канат ее держал, и она стала поджиматься к берегу. «Исполкомовец», словно обрадовавшись, что наконец-то отвязался от лодок, быстро пошел вверх и скрылся в протоке. Не прошло и получаса, как к нам явился Соснин.

— Километрах в полутора отсюда, в районе протоки, стоит избушка бакенщика. Туда. Ясно? А я поеду в Чирпухи, есть такой поселок, буду говорить с Хабаровском, с Костомаровым. Ясно? Прошу выполнять приказ. В избушке я оставил свою вьючную суму. Прошу присмотреть. Марш, марш!

— Ловко получается, едят те в уши: катер не осилил, а мы должны тягать. Какая плата будет? Тягать лодки не наша обязанность, — сказал Яков и вытянул шею, повернув ухо к Соснину.

— Любая работа входит в обязанность. Ясно? Марш, марш! И не разговаривать, иначе уволю. Ясно? — И побежал по косе к протоке.

— Так, нас шесть мужиков, вот по три лодки и выходит на каждого, — сказал Перваков. Он выстроил гуськом три лодки, впрягся и легко зашагал.

— Эй, может, и наши прихватишь заодно? — крикнул ему Коля Николаевич.

Перваков не ответил.

— Давай и мы так, — сказал я.

Но у нас ничего не получилось. Больше того — каждую лодку мы переправляли вдвоем, потому что, если одному — ее заносит то на берег, то на быстрину; поэтому один из нас толкал в корму, а другой тянул лодку за нос. Так незаметно подошел вечер. Хотели мы быдо устроиться на ночлег в домишке, но окно в нем без стекол, потолка нет, просто крыша со щелястым фронтоном. Конечно, в таком помещении комары съедят заживо. Остались ночевать в лодках. Отъехали на середину. Бросили камни-якоря. И спать. Уже давно ушел дневной свет, уходят и сопки. Подымается луна. Все затихает, только за кормой журчит вода да где-то далеко от реки считает года кукушка.

Разбудил дождь. Тяжелые, редкие капли стучат по одеялу.

Неприятно. Самое верное в таких случаях — быстро встать и заняться делом. Дело у нас есть: надо привести в порядок дом. Кто знает, сколько придется здесь жить. К тому же глухо заворчал гром. Я гляжу в небо. Из-за Дальянского хребта сначала выползло клочковатое облако, оно перевалило через зубчатый кряж и, опускаясь к тайге, потянуло за собой длинный шлейф мрачноватых туч. В глубине их беззвучно посверкивали молнии. Тайга притихла. Вода в Элгуни почернела. Слышнее стал доноситься ее рокот с ближнего переката. Змейкой скользнула из тучи в тучу тонкая молния. И сразу вслед за ней ринулась, как большая рыжая лисица, другая, и грянул гром. Подобно гигантским чугунным шарам, толкающим друг друга, прокатился он над тайгой. И не успел рокот затихнуть, как новый, еще более яркий взблеск озарил небо, бросив бледные отсветы на противоположный берег, с его кривой, как мусульманский полумесяц, песчаной косой, с мгновенно побелевшей водой в Элгуни. Размерно и неторопливо посыпались крупные, с картечину, капли дождя. Они щелкали по листве, по крыше домика. И вдруг все смешалось. Это из-за кривуна налетел ветер. Деревья встревоженно загудели. Облака скрыли хребет. И ливень обрушился на тайгу.

Он озорно и грубо, будто плетью, наотмашь хлестал домишко по стенам, по крыше. Гудела тайга. Даже сквозь закрытые веки были видны всполохи разыгравшихся молний. Жалобно и надсадно, будто прося тепла, ныли над головой комары.

— Теперь надо ждать паводка,— сказал Зырянов, устраиваясь в домике.

— Паводка? — спросил я.

— В это время паводки — обычное явление. Со всех логов, распадков вода стекает в общий бассейн, в данном случае — Элгунь. Четыре года назад неподалеку от бухты Тетюхе прошел сильнейший ливень. Начался паводок. Вода в реке Киндүхэ поднялась выше телеграфного столба, стоявшего на берегу реки. Представляете?

— Этак недолго и загинуть,— обеспокоенно сказал Баженов.

— Там — да. Но здесь таких высоких паводков не бывает.

— Откуда вы все знаете? — удивленно спросил я Зырянова.

— Читал соответствующую литературу,— взбивая в стаканчике мыльную пену, ответил он.

— А вы не настоящий таежник,— сказал ему Коля Николаевич,— настоящий таежник отпускает бороду, усы.

— Это только те, кто впервые попадает в тайгу.— У Зырянова на это есть четкие, словно заранее продуманные, ответы.

Паводок начался через час. Вода стремительно стала подыматься. Пришлось лодки подтаскивать ближе к домику. А на том месте, где они только что стояли, уже катилась пенистая, грязная вода. Но на этом паводок и кончился: за последнее время дождей не было, земля высохла, да и солнце стало греть всюю.

Спали в домике. Нельзя сказать, чтобы тут было лучше, чем в лодке. Но зато не страшен дождь. Пускай идет сколько хочет. По крыше скатится. Но дождя, конечно, не было. Если бы мы спали на открытом месте, то он был бы тут как тут, но зачем же ему теперь, если над нами крыша?

20 июня

Сегодня Коля Николаевич сказал, что у него день рождения и что он намерен угостить всех спиртом. Рабочие с радостью подставили свои кружки. Зырянов выпил немного, ради компании. Выпил и я.

— Об одном прошу, дорогие гости, Соснину ни слова,— сказал Коля Николаевич,— не люблю, когда начальство делает замечания. А я сегодня хочу угостить вас как следует. Пейте за мое здоровье и за свое, в частности.

А когда выпили, он наклонился ко мне и сказал:

— Спирт-то Соснина.

— Как Соснина?

— Очень просто. Нашлись две поллитровые бутылки в середине вьючной сумы. Вылил спирт в чайник, залил бутылки водой, замазал пробки расплавленным сургучом, и извольте бриться.

— Но это же нечестно!

— Врать не надо, милай! Кто врет, того надо жечь живьем на костре. Я еще добрый. Но тебе говорю не для того, чтоб ты меня воспитывал, а чтоб знал и терпеливо ждал часа, когда великий замначпохоз обнаружит подделку. Представляю его искреннее изумление. Гуд бай! — И налил всем еще.

В этот день было весело. Пели песни, сидели у костра, много смеялись. И все было бы ладно, если бы Коля Николаевич не пошел к вечеру в лес с ружьем. Утром разбудил нас истошный крик Шуренки:

— Горим! Пожар!

Метрах в двухстах от нас горела тайга. Хорошо, что пожар невелик. Горят трава и валежник. Трава горит по-разному: сухая вспыхнет и тут же опадет седым пеплом, сырая сначала окутывается темным дымом, потом покажется кусочек пурпура и только уж после этого станет седой. Валежник горит весело. Огонь вприпрыжку бежит по нему. Но красивее всего горят березы. Пламя мгновенно с земли до вершины охватывает бересту, и вот уже пылают все дерево. При малейшем ветре оно гудит, и пламя, как тончайшего шелка флаг, развевается на ветру.

В наказание за гибель берез нам пришлось не разгибая спины бить ольховыми ветвями по пламени, глушить его. Мы хватаем ртом удушливый дым. Кашляем. Задыхаемся. С нас льет пот. Хочется пить. Во рту пересохло. Руки уже еле-еле поднимают

ветви. Сколько мы в дыму — час, два, три? Этого никто не знает. Но долго, очень долго. Я шкгогда еще так не работал. Мы уже черны от копоти. На зубах скрипит уголь. Но все больше шприт-ся за нами полоса почерневшей земли, на ней нет огня, только кое-где смрадный дым. Наконец убили огонь. Вернулись к своему домику, молча повалились на землю и лежа пили воду. Пили много. Потом кунались, мылись. Потом захотели есть. Но тут выяснилось, что продукты подходят к концу: хлеба нет, соль только у Зырянова и Шуренки, но зато есть экспедиционное добро: свинобобовые консервы, бисквитное печенье, сахар и сливочное масло, упакованное в ящик и закрытое брезентом.

— Ура! — закричал Коля Николаевич. — Бисквитного печенья могу съесть багажный вагон и еще маленькую тележку. И свинобобовые консервы люблю. И чай люблю, и сахар...

— Вообще-то вас бы следовало оставить без обеда, — сказал ему Зырянов. — Баловник вы.

— Ага, люблю баловаться.

— Смотрите, добалуетесь, чуть тайгу не сожгли.

— Ах, оставьте, не пугайте!

Когда вокруг нас уже валялось больше десятка пустых консервных банок, над рекой пронесся густой замирающий звук.

— «Комиссар» кричит! — определил Перваков.

Это единственный пароход, который курсирует по Элгуни от Николаевска-на-Амуре до Герби. Гудок еще раз прозвучал, еще, и мы поняли — нас зовут. Бежим что есть духу на мыс. И вот он идет, пошлепывая плечами, таежный корабль. На мостике капитан с металлическим рупором:

— Ждите... приедем... заберем... ждите... приедем... заберем.

И тут же я увидел Костомарова и рядом с ним Мозгалевского. Увидел Ирину, Лыкова, Тасю. Но на Лыкова я не смотрел, да и на остальных-то мельком. Я глядел только на Ирину.

— О-но-но! — крикнул что есть силы Коля Николаевич.

— О-сё-сё! — ответила Ирина и помахала рукой.

— О-сё-сё! — донесся Тасин голос.

Оказывается, такая переключка — это условный знак взаимного приветствия.

И все. Проплыл пароход, будто его и не было. Лишь на сердце легкая грусть и какое-то непонятное, совсем незнакомое мне чувство, когда и грустно, и весело, и хочется быть с людьми, и поскорее остаться одному.

— Ирина просхала, — задумчиво глядя вслед ушедшему пароходу, сказал Коля Николаевич.

— Ты хорошо ее знаешь? — спросил я.

— Хорошо ее знать нельзя. Она ни на кого не похожа... — тихо ответил он и вдруг толкнул меня. — А ты что, влюбился в нее? Ага, ага, покраснел! Вот я скажу ей, вот скажу. Смеху будет, смеху.

- Пошел ты к черту!
- Засек! Схвачен бобер, и колодка на шес.
- Говорить с тобой...
- Ага, ага, говорить! Попался бурбон. По уши влип.

Только вернулись, как к домику подъехал на лодке Соснин. И не один, с какой-то женщиной. Она молода, лет двадцати шести, темноглазая, с большим ртом.

— Прошу знакомиться: Нина Алексеевна,— сказал Соснин.— Будет работать поваром для инженерно-технического персонала.

— А Шуренка?— испуганно спросил Яков.

— Для рабочих.

— Здравствуйте, мальчики,— сказала Нина Алексеевна.

— Для кого мальчики, а для кого и техники-путейцы,— сказал Коля Николаевич и пощипал свою бородку, еще, видимо, не решив, как относиться к этой женщине.

— Господи, как строго,— сказала Нина Алексеевна и усмехнулась.— Вы тоже не хотите, чтобы я вас называла мальчиком?

Не понимаю, отчего я краснею. Стою, смотрю на нее и чувствую, что даже уши горят.

— Какой я вам мальчик? — сказал я и пошел в домишко.

Коля Николаевич отправился за мной.

— А она ничего, занятная,— сказал он, расставляя шахматы.

Напевая, Нина Алексеевна вошла в домик:

— Мальчики, прошу не смотреть. Не оглядываться. Я буду переодеваться.

— А что, другого места нет? — сказал я.

— Ну, мальчики, хватит сердиться. Честное слово, я не такая уж плохая. Я добренькая...

— Нас это не касается!

— Бу-бу-бу-бу-бу,— передразнила она меня и стала переодеваться.

Я понимаю, нехорошо подсматривать, но если бы прибывшая не сказала: «Не смотрите», то я бы и не стал смотреть. Теперь же у меня даже шея ноет от напряжения, потому что я ее все время отворачиваю, а она сама поворачивается к прибывшей.

— Ай-ай-ай,— покачала она головой,— но если уж вы такой нескромный, тогда застегните мой лифчик.— И надвигается на меня голой спиной.

Я пулей вылетел на берег. Думал, что и Коля Николаевич выбежит вслед за мной. Но идут минуты, а его нет. Я успел выкурить две трубки, и его все нет. Что за черт? Что он там делает?

Наконец вышел. Курит. Смотрит в небо. Напевая, мимо меня прошла прибывшая.

— Алеша,— сказала она,— несите скорее хворост, будем готовить обед.

— Что я вам, кухонный мужик?

Она подошла ко мне и, блестя глазами, протяжно сказала:

— Бедный мальчик ревнует. Не надо было убегать...

— Да пошли вы к черту! — кричу я и быстро ухожу от нее. Я не понимаю, как можно сходитья с женщиной, не любя ее. Мерзость какая-то! Я ушел из лагеря. Бродил по тайге, сидел на берегу реки. А когда вернулся, меня ждала новость: Соснин каким-то образом узнал, что произошло между Ниной Алексеевной и Колей Николаевичем, и, долго не думая, отправил прибывшую обратно в Чирпухи.

— Бытового разложения не потерплю! — гремел его голос. — Думаете, ко мне не приставала? Но я не поддался. У меня жена, ребята. А вы почему не устояли?

— Потому что холостой, — смеясь, ответил Коля Николаевич.

— Стыд и позор! Неужели вы могли допустить мысль, что замначпохоз будет обеспечивать сотрудников женщинами?

— А почему бы и нет? Я бы не возражал, — ответил Коля Николаевич.

Шуренке вся эта история очень понравилась.

— Когда Григорий Фомич велел ей, чтобы она обратно верталась, — рассказывала она, прыская в кулак, — то Нина Алексеевна обзвала его уродом и сказала, что у нас ни одного мужчины нет, все сопляки.

— Порочная женщина, — сморщившись, покачал головой Зырянов. — Это хорошо, что мы избавились от нее теперь. В тайге она могла бы перессорить многих. И я не понимаю, Шурочка, что здесь смешного.

— А я вот пройдуся дрыном вдоль хребта, так сразу перестанет скалиться, — сказал Яков и сердито посмотрел на нее выпуклыми, с желтым налетом на белках, глазами.

— Ну зачем же, — с укором сказал Зырянов. — Так нельзя.

— А я не больно-то и боюсь его. Он только страшает, а сам мухи не обидит. Верно, Яшенька? — И, засмеявшись, легко побжала, взблескивая тугими загорелыми икрами.

— Шаловлива? — спросил Зырянов.

— Ниче... Шуткует, — нахмурившись, ответил Яков.

...В полдень пришел «Комиссар». Приложив ко рту металлический рупор, капитан сказал:

— Подымитесь на два километра выше. Здесь взять не могу. — И, махнув рукой, ушел в рубку.

Соснин плюнул и закричал:

— Коренков, Перваков, Баженов, в лодку! Вперед! Марш, марш!

Рабочие гребли изо всех сил. Я помогал им рулевым веслом. Соснин стоял на носу и командовал:

— Марш, марш! Достойны поощрения!

Пароход дождался нас на широком плесе. Соснин поднялся по веревочной лестнице на палубу. Его не было с полчаса.

— Мы вам это припомним! — кричал он, появляясь. — Пять тысяч за транспортировку лодок — грабеж государства!

— Не ори, не себе беру, — спокойно отвечал ему капитан, застегивая старый китель.

Пассажиры внимательно слушали перебранку.

— Знаю. Но за персыполнение финансового плана получишь премиальные. Вот в чем грабеж! Сам с усам! — Он прыгнул в лодку. — До скорой встречи! Гуд бай, как говорят французы, — махал он рукой капитану.

— Вы заявите на него? — спросил я.

— Это зачем же? Стукачей терпеть ненавижу. Пригрозил, и ладно. Теперь он наверняка нас возьмет. Вперед! Марш, марш! Масло тает, сахар подмок. Надо спасать!

25 июня

Пять дней полного безделья. «Комиссар», видимо, нас и не думает брать. Дни стоят жаркие. Безветренные. Свинобобовые консервы с бисквитным печеньем опротивели нам. Печенье со сливочным маслом вызывает отвращение. Картошки бы! Селедки! Хлеба! Одно спасение — рыба. Солн привез Соснин из Чирпухи, и теперь мы варим уху, жарим что покрупнее.

На рыбалку я обычно выезжаю один. Становлюсь то под обрывистым берегом, то против галечной косы, то на середине реки. Берет везде. Но некрупная, а хотелось бы выдернуть килограмма на два, на три, а то и на пять. Течение быстрое. Веревка с грузом дрожит от напряжения. Не успеваю забрасывать закидушку, как тут же налетает мелочь.

Сегодня выехал с Сосниным. Рыбалку он считает делом несерьезным, придуманным для лентяев, но рыбу всегда ест с удовольствием. Он сидит на корме в трусах, читает книгу. Коля Николаевич как-то сказал: если Соснин читает книгу, то это значит, что делать ему совершенно нечего. Я держу на пальце шнур. О чем-то задумался. И вдруг вопль, и Соснин летит за борт. Я смотрю на воду, ищу, но его нет. Я кричу, мне страшно, но тут, слава богу, метрах в пятнадцати от лодки, появляется из воды голова помначпохоза.

— Помоги! — кричит он.

Тетрадь пятая

Я сорвал со дна якорь. Лодку понесло вниз. И Соснин ухватился за борт. Тяжело дыша, влез. И сразу же, сдернув трусы, стал смотреть на свой зад. На белом полушарии розовел с грецкий орех величиною желвак.

— Что это? — спросил я.

— Кто-то кусил... Ты смотри, а? Как долбануло. Думал, штыком! — И вдруг, схватив меня за руку, к чему-то стал прислушиваться.

Сначала тихо, а потом все явственнее стало доноситься чоханье. Я пагнул к воде, теперь все слышнее: «Чох-чих-чих». Так чохать может только «Комиссар». Скорей, скорей к берегу.

Я кричу что есть силы: — «Комиссар!» — Переполох начался страшный. Каждый ищет свои вещи. За десять дней мы обжились, почувствовали себя как дома, а это значит, что вещи могут оказаться в самых неожиданных местах. В воздухе летают полотенца, чьи-то брюки. Со стола падает зубной порошок, подымающая снежное облако. Летит кружка.

— Николай Николаевич, да вы ж мои брюки суете в свой рюкзак, — говорит Зырянов.

— Фу черт, а где же мои?

— Го-го-го-го, смотрите, он связывает постель, а сам сидит на подушке!

— Так это ж ваша, — хохочу я.

— Моя? Хамство!

Чоханье все слышнее. И вот из-за кривуна торжественно и плавно показывается нос парохода, рубка, труба. И вот уже весь пароход на виду. Он идет быстро. Сравнялся с нами.

— Здесь категорически отказываюсь брать! — разносится из рупора голос капитана. — Спускайтесь вниз! До Тахты!

— Лодку! — кричит Соснин. И вдвоем с Перваковым отчаливает от берега. — Марш, марш!

— Только поблазнило нас, — разочарованно тянет Баженов, — один омман...

— Не стоит огорчаться, — говорит Зырянов. — На изысканиях столько всяких неожиданностей...

Мы сидим у костра, курим, ждем Соснина. И почему-то не волнуемся.

— Скажите, вы любите изыскания? — спрашиваю я у Зырянова.

— Да ведь как же не полюбить? Тут тебе и поясные, и полевые, за камеральную обработку материалов кое-что перепадет. К тому же в тайге мало расходуетя, соблазнов нет, так что и подкормить можно...

— Но неужели только это? — с горечью спрашиваю я. — Неужели природа, приключения, путешествия вас не манят?

— Почему же не манят? Манят. Да ведь если бы не платили хорошо, маловато было бы одной природы. У меня семья... — Он помолчал и, вздохнув, сказал: — А вообще-то ничего интересного в нашем деле нет. Изю дня в день, из месяца в месяц без выходных, без родных, без городов, без бани, без кино. По пояс

в снегу, спим на земле, едим как придется, отсюда и катары, и ревматизмы, и сердчишки сдают...

— Что ж, в этом есть и своя прелесть,— сказал я.

— В трудностях?

— Да!

— Жизнь бы обеднела, если б не было трудностей, не правда ли?

— Конечно!

— Человек, идя к заветному, должен страдать, мучиться, терпеть, не так ли?

— Конечно!

— Нет, это неправильно. Это все от неустройства, порой от неумения. Вы еще очень молоды, проживете и перестанете увлекаться трудностями.

— А для меня их вообще нет, это они для вас существуют.

Он снисходительно посмотрел на меня и ничего не сказал.

Приехал Соснин:

— Все в лодки! «Комиссар» нас возьмет, черт ему в затылок. Быстрее, быстрее! Прицельный огонь! Марш, марш!

И «Комиссар» нас взял. Но прежде чем идти вверх, мы спускаемся в Тахту. Все, что было нами достигнуто, весь этот путь, с бурлацкими переходами, с жарой, с комарами,— все это теперь не в счет: Я смотрю на Зырянова и невольно вспоминаю его слова: «Это все от неустройства, порой от неумения». Нет, я не жалую и не считаю потерянным то время, те силы, которые ушли на этот путь, я увидел много интересного. Я доволен. Только одно смущает меня: пользы-то делу от этого нет. А если нет пользы, то зачем трудности?

В Тахту мы идем за второй партией заключенных (первая уже в Герби). До сих пор я еще не говорил о том, что у нас будут работать заключенные. Это люди с первыми судимостями, с маленьким сроком, осужденные за растрату, превышение власти, хулиганство по пьянке, халатность, служебное злоупотребление.

30 июня.

Они сидели на берегу. Их было человек сорок. Берег казался грязным от темных рубах и бесцветных лиц. С парохода сбросили на берег сходни, и заключенные, вскинув на плечи небольшие мешки с вещами, стали подыматься по трапу медленным, тягучим шагом. С ними вместе на пароход вступил уполномоченный. От него мы узнали, что заключенные совсем не те, кого мы ждали, а мелкое жулье, воришки. Но есть среди них и по-

крупнее птицы, человек двенадцать, судившиеся неоднократно, имевшие побеги, даже убийства.

— Зачем нам они? — сказал Зырянов. — Нам надо работать, а какие из них работники?

И действительно, не успели сесть на пароход «уркачи», как у капитана пропали плащ и китель.

— Я не повезу их, на кой они мне черт? Сейчас же даю команду к берегу и ссаживаю всю эту дрянь! — возмущается капитан.

— Найдется ваш плащ, — успокаивает его уполномоченный.

— Вы меня не утешайте, а ищите!

Соснин озадачен. Он чешет свою рыжую бороду, она у него уже отросла, и теперь он похож на норвежского шкипера.

— Вот что, товарищ уполномоченный, самое главное, чтобы была ясна цель. Так у нас принято говорить в артиллерии. А поэтому вы должны ознакомить меня с документами на заключенных. Бандитов и им подобных мне не надо. Я помощник начальника изыскательской комплексной партии по административной части. Будьте здоровы!

На этот раз Коля Николаевич не возмущается тем, как себя превозносит Соснин.

— Пожалуйста, никакой военной тайны здесь нет, — отвечает уполномоченный.

— Тем болес. Прошу заняться изучением документов вас, товарищ Стромиллов, и вас, товарищ Коренков. По окончании доложите мне.

— Есть! — говорит Коля Николаевич.

— Есть! — говорю я.

И вот мы сидим в каюте и изучаем формуляры и прочие документы, которые входят в личное дело заключенного. Нас интересует статья Уголовного кодекса, срок заключения, возраст, судимость. Отбираем, чтобы сроки были маленькие, чтобы ребята были молодые. Потом идем в трюм, к заключенным. Но, оказывается, они бродят по всему пароходу. После воровства у капитана «уркачи» вытащили из буфета двадцать бутылок коньяку. Выпили.

— Ну, нам мало показалось, — беззастенчиво говорит сутулый, остролицый парень, — так мы взяли еще десять бутылок.

— А потом еще обиднее стало, и мы совсем накрыли ларек, — добавил круглолицый, синеглазый парень лет восемнадцати. И спросил Соснина: — А что пужно веселому нищему?

— Фамилия? — коротко спрашивает Соснин.

— Нинка.

— Что «Нинка»?

— Это кличка его такая, — говорит остролицый парень.

— Ясно. Как твоя кличка?

— Бацилла.

— Хорошо. Я вас беру к себе. Обонх.

— Зачем? — толкаю я в бок Соснина.— У Бациллы пять судимостей. Его фамилия — Седой, он же Андреев, он же Куделин...

— Тем более. Запишите его в наш список. Итак, никаких Бацилл. Будешь отзываться на свою фамилию Седой.

— А если я — Андреев?

— Тогда Андреев.

— А если я — Куделин?

— А если я тебя сейчас выброшу за борт? Ты что думаешь, я тебе Макаренко? Ты думаешь, я тебя буду перевоспитывать? Дай-ка руку.— Соснин взял его ладонь в свою и стал жать. У Бациллы сначала глаза стали круглыми, а потом медленно полезли на лоб.

— Ай! — заорал он.

Соснин отпустил его руку:

— Между прочим, настоящие мужчины никогда не кричат, когда им больно. Го-го-го-го!

Нас окружил человек двадцать, и все они дружно засмеялись, глядя на Соснина и посрамленного Бациллу. Но всех громче смеялся молоденький парнишка с густыми черными ресницами, белозубый, с ямочками на щеках. Я подошел к нему, спросил фамилию.

— Пугачев я... Михаилом звать,— сразу же ответил он мне и спросил: — Это правда, что в экспедицию берут? Возьмите меня. Я буду хорошо работать. Я не могу больше здесь. Честное слово, я не вор...

Я посмотрел свой список. Там был Пугачев Михаил. Он осужден на три года за соучастие в ограблении квартиры. Судимость первая.

— Рассказывай все подробно,— сказал я ему.

— Все расскажу, все...

Мы идем на корму. Пугачев рассказывает о себе, как он попал, как судили, как он ехал этапом. Все это очень интересно. Я никогда такого не видел и не слыхал. Я расспрашиваю его. Мне хочется знать все детали. Он охотно, а главное, толково отвечает. И передо мною проходят дни из его жизни, как яркие страницы в книге. Ночью я долго не могу уснуть, меня что-то тревожит, в глазах стоит Мишка Пугачев и все рассказанное им. И не уходит, преследует. И тогда, чтобы отвязаться, я сажусь и начинаю записывать все, что услышал от него и что вычитал в формуляре. Писал я ровно два часа, просто наотмашь. Вот что у меня получилось.

«В поезде было тридцать восемь товарных вагонов. Через крыши этих вагонов тянулся провод телефона. На больших

станциях охранники бегали по крышам, бросая свое тело то на правую, то на левую ногу, надеясь, что нога провалится в крышу, и тогда будет открыт преднамеренный побег. На каждой станции охранники били деревянными молотами в стены вагонов, надеясь, что подрезанные стенки провалятся и тогда будет обнаружено преднамеренное бегство заключенных.

В пятом головном вагоне готовились к побегу. Боковая, выходящая на буфера стенка была подрезана между нижними и верхними нарами. Ждали ночи, густого леса по левую сторону хода поезда (там нет второй пары рельсов) и крутого склона. Колька Колхоз, староста вагона, учил, как надо прыгать на полной скорости. Он шел первым. За ним Баццилла, узкогрудый, остролицый парень с близко посаженными к переносью глазами, острыми как буравчики. Он не слушал Кольку Колхоза, он знал, как надо прыгать. «Шакаль» — воровская мелочь — с любопытством смотрело на старосту. Подыргивало, пригибая к груди колена, поджимая ко лопаткам голову так, чтобы тело превратилось в комок. Мишка Пугачев не собирался бежать. На его счету была единственная и последняя кража. За месяц, который он провел в тюрьме, и за пять дней этапа он полностью разобрался, куда его привел поиск интересной жизни. Дома было скучно. Отецпил, ругался с матерью. Мать выбивалась из сил, работая на заводе, подымая, кроме Мишки, еще двух ребят. Вечная ругань, вечные недодхватки. На улице было лучше. Там никто его не ругал. Улица была полна веселых занятий. Можно было, сидя в воротах, выбросить на панель кошелек и, давись от смеха, наблюдать, как прохожий внезапно останавливался, быстро, будто его толкали в шею, сгибался и тянул руку к находке. Но в ту же секунду кошелек вдруг начинал ползти к подворотне. Это его тянул за ниточку Мишка. Прохожий, еще ничего не понимая, бежал за ним в наклон. Кошелек — от него. И тут раздавался хохот. Ребятня вопила от восторга, видя растерянное лицо солидного человека в каракулевой шапке.

— Хулиганы! — возмущался солидный человек.

— Побирושка! — неслось ему вслед.

Если рисковать, то улица все удовольствия предоставляла бесплатно. Можно было прицепиться к колбасе трамвая и ехать куда вздумается. Можно было пройти зайцем в кино. Можно сколько угодно толкаться по магазинам, но без денег там неинтересно. А деньги порой бывали очень нужны. Не все же подбирать окурки или таскать у отца папирсы.

В том же доме, где жил Мишка, жил и Васька кривоногий. У него всегда были деньги. Он снисходительно угощал ребят толстыми папирсами. Однажды он угостил Мишку и как бы между прочим сказал: «Давай сыграем в подкидного». Мишке было лестно такое внимание. Они ушли на задний двор, сели за поленицей. День стоял тихий, солнечный. И все, казалось, было

прекрасно. Сначала выиграл Мишка, потом Васька, потом несколько раз подряд Мишка. Тогда Васька сморщил свой коротенький нос и сказал, что играть неохота, потому что без интереса.

— Это тебе неинтересно,— сказал, смеясь, Мишка,— а мне так очень интересно. Я уж сколько раз выиграл?

— Ничего ты не знаешь,— сказал Васька,— когда играют на интерес, это значит — играют на деньги или на что другое. У тебя есть деньги?

Но откуда же у Мишки могли быть деньги? Тогда Васька пехотя сказал:

— Ну, давай хоть на моляшки.

— А что такое моляшки?

— А это вот: если я проиграю, то должен встать, перекреститься, потом опуститься на колени, стукнуться лбом в землю и выпрямиться. Вот тебе и моляшка.

— Давай на моляшки,— сказал Мишка и засмеялся, потому что это показалось ему смешным.

И они стали играть по пять моляшек за проигрышного дурака. Сначала выигрывал Мишка. Потом опять стал выигрывать Васька. Он выиграл пятьдесят моляшек и сказал:

— Молись.

Мишка представил, как он будет стоять и молиться, а Васька смеяться, и упросил его еще поиграть.

— Вообще-то мне некогда. Ну да ладно, давай сыграю еще,— нехотя согласился Васька.— Только играем по крупной, штук по двадцать пять.

Мишка с радостью согласился. И через несколько минут он уже был должен Ваське двести моляшек. Дальше игра пошла еще крупнее. И не успел он оглянуться, как уже был должен тысячу. Он даже вспотел от волнения и только об одном думал: как бы Васька не перестал играть. А Васька будто и позабыл, что не хотел играть.

— Сдавай, сдавай,— посмеиваясь, говорил он. Когда счет дошел до пяти тысяч, Васька спокойно убрал карты в карман и сказал:

— Молись.

— Да разве столько отмолишь,— волнуясь, сказал Мишка.

— Не будешь молиться — поколочу. Молиться надо без отдыха. Упадешь — снова начинай.

— Давай еще поиграем,— попросил Мишка.

Васька закурил толстую папиросу и не угостил Мишку:

— Молись. Я буду считать.

Мишка начал молиться. Он отбил двадцать поклонов и понял, что пяти тысяч ему никогда не одолеть.

— Вот видишь, заигрался,— жмуря глаза, сказал Васька.— Пожалеть если мне тебя?

- Пожалей,— чуть не плача, попросил Мишка.
- Ладно. Играй на свои ботинки. Сто моляшек за них даю.
- На ботинки нельзя. Дома ругаться будут.
- А ты, может, выиграешь...

И Мишка сел играть на ботинки. Он их проиграл быстро. Потом проиграл пиджачишко, решив, что дома скажет, будто его обокрали, пока он купался у Петропавловской крепости. Потом проиграл перочинный нож. После этого Васька перестал играть. Он сложил карты и убрал их в карман:

— Давай барахлишко.

Мишка представил, как он вернется домой разутым и раздетым, и ему стало страшно.

— Вася, прости, а?

— Давай, давай,— поторопил его Васька.— Время-то вон уже сколько.— Он вынул часы, да не какие-нибудь, а золотые (богат был Васька) и показал: начало шестого.— А у меня еще дел до черта.

— Мы же понарошку играли... Прости.

— Ну что мне с тобой делать? — Васька о чем-то подумал и сказал: — Ладно. Пойдем.

— Куда? — встрепенулся Мишка.

— Идем, идем...

Тетрадь шестая

И Мишка, словно привязанный, пошел за ним. Они постояли на остановке, дожидаясь трамвая. Мишка хотел было ехать на колбасе, но Васька не позволил. Он купил билеты. И Мишка ехал как порядочный. На Обводном они вышли. Васька угостил Мишку толстой папиросой. Но Мишке не хотелось курить. Он смотрел сбоку на Ваську и думал: «А что, если убежать?» Он мог бы легко убежать, Васька ни за что бы не догнал на своих кривых, коротких ногах. Но бежать почему-то было некуда.

На Обводном они вошли во двор старого дома. Поднялись по темной лестнице на третий этаж. Васька зачем-то посмотрел вниз и только после этого негромко стукнул три раза костяшками пальцев в дверь.

— Кто? — послышался из-за двери сиплый голос.

— Красенький.

— Зачем?

— Озяб.

Дверь открылась, и на пороге встал высокий небритый дядька с подпухшими глазами.

— Чего тебе? — сердито спросил он Ваську.

— Дело есть.

— Давай.

Они прошли по узкому коридору в маленькую комнату. В ней было грязно и тесно. На столе стояли бутылки из-под водки и пива, валялись объедки, окурки.

— Вот рассудите, Павел Семенович, заигрался парнишка. Что теперь делать? — спросил Васька, держа в руках шапку. И рассказал, как было дело.

— Заигрался, говоришь? — спросил Павел Семенович и внимательно посмотрел на Мишку. Увидел его встревоженные глаза и мягко сказал: — Зачем же ты пугасшь паренька? Пугать не надо. Он по глупости заигрался. Конечно, того, кто заигрывается, бьют. Бывает, даже до смерти. Потому что это нечестно — садиться играть и не отдавать долг. Но Мишу не надо обижать. Ботишки и пиджачок пусть останутся ему. И ножичек отдай... Отдай ножичек! — крикнул Павел Семенович.

Васька нехотя отдал.

— Ну вот... Хорошо я посоветовал? — спросил Павел Семенович Мишку.

Мишка улыбнулся.

— Но надо сделать так, чтобы и Ваське не было обидно. А то ведь тоже нехорошо. Он выиграл, а ему ничего не отдают. Не годится. Давай сделаем так: ты у него будешь в долгу. Пусть будешь ты ему должен. Ладно?

Мишка кивнул головой.

— Ну вот и славно. Ребятки вы хорошие. Ссориться не надо. И если Васька тебя уж что попросит, ты должен сделать. А не сделаешь, тогда будем бить. Я тоже буду бить. Потому что ты заигранный. Понял? Заигранных бьют, случается — даже убивают. А теперь бегите домой, ребятки...

И ребятки побежали. Мишка был очень доволен, что так все хорошо окончилось. Только одно ему было невдомек: о чем его может попросить Васька?

— Ну мало ли о чем, — ответил Васька, угощая его толстой папиросой.

А через неделю Мишка уже сидел в тюрьме. К нему никого не пускали, потому что он был под следствием. Следовательно, полный, добродушный дядька, жалел Мишку.

— Вот видишь, дурачок, — говорил он ему, — к чему может привести неразборчивость. Друзей надо выбирать.

— Какой он мне друг...

— Как же не друг, если он тебя три раза просил стоять на стреме?

— Откуда три раза? Врет он! Всего один раз и постоял...

— Ну что ж, если один — так один. Я тебе больше верю, чем ему. Так и запишем, стоял один раз. И достоялся. Теперь судимость получишь. Эх, Пугачев, Пугачев, не сберег ты честь смолodu. И сколько же ты разиков так стоял?

— Так я же сказал — один раз!

— Ах да, один раз... Ну тогда распишись тут.— Следователь вызвал дежурного: — Приведите Виноградова.

Мишка расписался в протоколе допроса и с любопытством посмотрел на дверь, не зная, кто это такой Виноградов и зачем его зовут.

Вошел Васька кривоногий. Он равнодушно скользнул взглядом по Мишке и остановился перед следователем.

— Чего ж ты, Виноградов, время у меня зря отнимаешь? — сказал следователь.— Говоришь, не знаешь Пугачева, а сам его на стрему ставил?

— Не понимаю, о чем вы говорите,— спокойно сказал Васька и пожал плечами.— Я сидел дома, читал книжку. Вдруг пришли и забрали. По какому такому праву? И даже санкции прокурора не показали.

— О, какой ты грамотный,— удивился следователь.— А скажи-ка, Мишку-то ты ставил в переулке?

— Первый раз слышу.

— Может, ты и не знаешь его?

— Видал во дворе. Ну и что?

— А зачем ты говорил, что не в первый раз меня ставил? — не выдержал Мишка.— А теперь отказываешься от меня. Ты что, хочешь на меня все свалить? А еще сам говорил, чтобы я не выдавал никого. Я-то не выдам, а вот ты как?

Следователь засмеялся.

— И не стыдно тебе, Виноградов, такого необстрелянного хлопчика обманывать? Моляшки... Ай-ай-ай-ай...— Следователь позвонил и велел дежурному увести Мишку.

Через неделю был суд. Павлу Семеповичу и Ваське дали по семь лет. Мишке — три года. Мать плакала. Отец, трезвый и похудевший, виновато смотрел на сына. Говорить было не о чем. Только уже перед тем, как уводили подсудимых, Мишка сказал матери:

— Ты не думай, я не вор. Это уж так получилось, что меня заставили стоять. А я и не знал, зачем это...

Нет, Мишка не собирался бежать. За то время, пока он побывал в тюрьме, в досталь нагляделся на воруе. Ему были противны их повадки, блатной язык, густая, омерзительная матерщина. Они ничего не делали просто и естественно — всегда с ужимками, с какими-то вывертами. И говорили не просто, а с придыхом, скороговоркой. И все у них было фальшиво. Они хвастались и не верили друг другу. Мишка с неприязнью смотрел на Кольку Колхоза, со страхом — на Бациллу, оттачивавшего на камне нож. И боялся — а что, если его спросят: «Собираешься бежать?» Он ответит: «Нет», и что тогда будет? Сказать же, что собирается, он не мог. Скажут: «Давай!» Выпустят на буфера. Скомандуют: «Прыгай!» А зачем ему прыгать, если он не хочет быть воровом?

Смеркалось. В вагоне становилось темно. Разговоры притихли. Все настороженно ждали удобного часа. Бацилла, лежа на верхних нарах у окна, неотрывно смотрел сквозь решетку. Ленечка, двадцатипятилетний парень, выдававший себя за малолетку, примерял сапоги, отобранные у посаженного за растрату.

Поля сменялись перелесками. В деревьях зажигались огни. Все тише становилось в вагоне. Поезд шел, не останавливаясь на полустапках. Потянулся подлесок. Вырос лес. Большие, темные деревья закрыли небо. Как по заказу, обрисовалась высокая насыпь.

Бацилла соскочил с нар. И тут же раздался выстрел. Еще... Еще... За окном стало светло как днем. Это метнулась в небо ракета. Как большая стеклянная люстра, она повисла над лесом, освещая темную зелень елок и словно эмалированную листву берез. Паровоз протяжно загудел и, пройдя с разгона метров двести, остановился. Все кинулось к окнам. Снаружи донесся лай собак, отрывистые голоса конвоя. Еще одна ракета повисла над лесом. Голоса затихли вдали. Бацилла с досадой выругался. Еще бы минута, и он был бы на воле. А тогда ищи-свищи в лесу... Определили!

— Замазывай порез! — скомандовал Колька Колхоз.

Ленечка схватил комок хлеба, смешанного с пеплом от махорки, и полез под нары. Снаружи донеслись голоса. Мишка Пугачев в край окна увидел конвойных с фонарями. Они несли за руки и за ноги человека.

— Товарищ начальник, бежали из этого вагона, — доложил кто-то снизу.

Мишка еще больше изогнулся и увидел освещенного фонарем начальника конвоя. Он стоял у соседнего вагона.

— Староста! — позвал начальник конвоя и осветил лежавшего у рельсов беглеца. — Ваш человек?

— Наш! — удивленно-радостно ответил староста. — Моргунов-конокрад.

— Расстрелять Моргунова-конокрада, — спокойно сказал начальник конвоя.

Охранники подхватили бежавшего за руки и за ноги и понесли в лес. Они скрылись во тьме.

Наступившая тишина вдруг огласилась криками. Кричали из Мишкиного вагона, из соседних, из других.

— Не имеешь права! — надрывался Бацилла. — Это тебе не беломорские пеньки.

— Мослы! — вопил Ленечка.

Начальник конвоя погасил фонарь и пошел к лесу. «Неужели расстреляют?» — испуганно думал Мишка. Он вздрогнул, словно это по нему ударили, когда гулко, по-лесному звонко, прогремел выстрел. «Убили!» — в ужасе прошептал Мишка и показался себе таким беззащитным, что начал тоненько скулить, предста-

вив, что вот так же и его могут пристрелить и никто не вступит-ся, как будто так и надо.

А из лесу волнами шел смешанный густой запах хвои и берез. Из туч показалась луна и свободно, легко покатила над землей. Ей не было никакого дела до того, что произошло на глухом перегоне.

С хвоста эшелона подошли еще конвойные.

— Ну что? — раздался из темноты голос начальника.

— Ушел, — ответил один из конвойных. — Далеко успел.

— Кто ж это подорвал-то? — и с завистью и с восхищением спросил Бацилла. И, не вытерпев, крикнул: — Князь, кто подорвал?

— Гришка Семафор, — донеслось из соседнего вагона.

— Ну, погуляет теперь Семафор. Ух, погуляет теперь! — хотопул Бацилла и оскалил зубы. Они влажно блеснули, освещенные луной. — Э, кусок мяса, не успел я с ним вместе рвануть... — И с досады изо всей силы ударился головой о железную решетку.

Паровоз протяжно и часто ревел, напоминая конвою: пора в путь. Рядом стучали молотки — заколачивали дыру, в которую пролезли Семафор и конокрад Моргунов.

Мишка Пугачев лежал, свернувшись в комок. Он ни о чем не думал, ни о чем не мечтал. Ему было страшно».

На этом я закончил рассказ о Мишке Пугачеве. Лег спать и сразу же уснул.

Первая мысль, как только я проснулся, была о написанном ночью рассказе. «Неужели мог быть такой произвол? Неужели убили Моргунова?» — думал я.

2 июля

Лодки тихо покачивались на волне, выстраиваясь гуськом. И все было спокойно и не вызывало тревоги. Но стоило «Комиссару» тронуться в путь, как стало ясно: лодкам несдобровать. От кормы парохода шла большая волна. Она натыкалась на лодки. Ей нужен простор, а тут преграда. И тогда она врывалась в промежутки меж лодок и, как фонтан, поднявшись, падала, заливая плоскодонки. Борта постепенно сравнивались с Элгунью. А канат тащил и тащил их. Они зарывались в реку, всплывали, снова уходили под воду. Самая последняя лодка сорвалась с буксира. Вслед за нею отцепилась двойка, и, как два неразлучных приятеля, обнявшись, они пошли вниз.

Элгунь извилиста. На каждом повороте флотилия разворачивалась, бортовая волна захлестывала лодки, и добрая половина их скрывалась в воде. Неожиданно одна из лодок последней тройки отошла в сторону. Волна ударила ей в нос. Вздрыбила ее так, что стало видно ободранное днище. Пройдя несколько метров

стоя, лодка свалилась набок и пошла бортом. Элгуль то топала ее, то отпускала, словно для того, чтобы она смогла отдышаться. Но вот, подкинув и перевернув лодку, волна бросила ее на соседнюю. Та накренилась, стала захватывать носом воду и захлебнулась. И тут началось: лодки, словно поплавки, стали подпрыгивать и скрываться. Отваливались борта, раздирались носы. Соснии скрипел зубами. Мы с Колей Николаевичем молча глядели на гибель флотилии. Очень пехорошо нам было в эту минуту. Не из-за этих ли лодок мы двадцать дней добирались по Элгуни, чтобы доставить их в Герби, тащили волоком, тащили канатом? И все, выходит, напрасно.

— Капитан, нельзя так,— страдая, говорит наконец Соснии.

— Сейчас ничего не могу сделать. Перекат,— отвечает капитан.— Вот пройдем...

Когда мы прошли перекат, от лодок ничего не осталось. Только болтался за кормой длинный конец каната. Так погибла наша лодочная флотилия.

— Я тебе этого не прощу! — кричит на капитана Соснии.— Ты мне ответишь!

— Откуда ж я знал, что так обернется,— расстроено отвечает капитан.— Хорошая лодка должна идти по воде...

— Ты мне не крути траекторию. Ты не только вернешь деньги за транспортировку, а и стоимость лодок оплатишь.

— Откуда ж я такие деньги возьму?

— Возьмешь.

— И на черта я связался с вами! — стонет капитан...

Взволнованный, я ходил по палубе. В таком состоянии встретил Пугачева. Мишка, увидев меня, обрадовался. Он сидел на том самом месте, где мы разговаривали с ним вчера.

— Значит, так Моргунова и расстреляли? — спросил я, отвлекаясь от горьких дум.

— А зачем это вы спрашиваете? — настороженно спросил Пугачев.

— Да так, вспомнил сегодня...— почему-то остерегаясь сказать правду, ответил я.

— Нет, его тогда не убили. Все это сделали, чтобы поугубить нас, чтобы мы забоялись бежать... А Моргунова я видел потом в Иркутске, когда нас в баню водили...— Он оглянулся.— Что скажу вам — не берите Бациллу. Честно говорю...

Я и без него знаю, что Бациллу брать не следует. Но Соснии заупрямился, вбил себе что-то в голову и не хочет отказываться от Бациллы.

4 июля

«Комиссар» шел очень хорошо. Шел с такой скоростью, с какой, наверно, не ходил со дня своего рождения.

— К черту, поскорей выбросить вас с вашими заключенными, да подальше, подальше от вас,— говорил капитан. Китель и плащ ему вернули, но зато пропали вещи у команды, у пассажиров. Ларек ограблен начисто.— Это ж головорезы, а не пассажиры,— говорит он про заключенных.— И откуда такая шантрапа набралась? Озолоти меня, не стал бы и дня работать...

Не доезжая шести километров до Герби, уже можно хорошо видеть этот последний населенный пункт с деревянными русскими домами, с почтой, с улицами, с пристанью. Видя все это, думаешь, что вот уже и приехали, но пароход резко сворачивает в сторону, и Герби скрывается. «Комиссар» проходит шесть километров узким рукавом. Но вот кончился и рукав, пароход идет мимо палаток, белеющих на обрывистом берегу. Я вижу Костомарова, он смотрит на нас в бинокль. Рядом с ним Мозгалевский в своей форменной железнодорожной фуражке, с трубочкой, маленький, всего по плечо Кириллу Владимировичу. Вот из палатки выбежала Ирина. Она в белом платье, с оголенными руками, смеется, что-то кричит нам, машет платком. Рядом с ней Тася. Они бегут к пристани.

— О-но-но! — кричит им Коля Николаевич.

— О-сё-сё! — отвечают они.

— О-но-но! — кричу я.

— О-сё-сё! — доносится голос Таси.

Все ближе, ближе пристань. И вот наконец «Комиссар» остановился. Я бегу с рюкзаком на берег:

— Здравствуйте, Ирина!

Удивительные у нее глаза. Всем даны, чтобы видеть, но мало кому для украшения. Ей и для украшения: чистые, очень ясные. Мне кажется, она и видит-то своими глазами иначе, чем мы. Я смотрю ей в глаза и смеюсь.

— Это и есть Алеша Коренков? — спрашивает Ирина у Таси.

— Да. Здравствуйте, Алеша,— говорит Тася.— Как долго вы ехали...

— Да. Очень... Я вас видел, когда вы плыли на пароходе,— говорю я Ирине.

— Мы тоже вас видели,— смеется Тася,— ну, теперь будем вместе.

— Это хорошо! — радуюсь я.

— А, вынош приехал,— к нам подошел Лыков. Накомарник у него подвернут и посажен набок, и получается не накомарник, а белая шляпа с широкими полями. На нем длинные золотонкасельские шаровары. Хотя я его и недолюбиваю, но, надо честно сказать, он красив и напоминает собой героев из брет-гартовского романа.— Кого-нибудь встречаешь, Ирина?

— Да нет, так просто... Зырянов приехал...

— Тогда пойдем.

И они ушли.

— Хотите, я вас провожу, Алеша? — говорит Тася.

— Пойдемте... — Но мы не успели и шагу шагнуть, как остановились, потрясенные тем, что разыгралось в течение нескольких минут на наших глазах.

По трапу с ножом в руке сбежал на берег коренастый, с распахнутой рубахой, наголо обритый человек. Это был Колька Колхоз. И в ту же минуту, как только он показался, другой человек, как позднее выяснилось — Коломиец, выхватил нож из кармана и бросился ему навстречу. На мгновение они замерли и тут же кинулись друг к другу. И вот уже Коломиец бежит, лицо его белое, как солнце. На него страшно смотреть. Из спины струей бьет кровь. Он бежит по кругу и падает. Мертв.

К Кольке Колхозу подходит уполномоченный.

— На́, на́,— спокойно отдавая ему нож, говорит Колька Колхоз. Оказывается, у него были давние счёты с Коломийцем, да все как-то пути не пересекались. А тут сошлись.

— Какой ужас,— говорит Тася. Она крепко держится за мою руку.— Идемте, идемте скорее отсюда...

В этот день только и разговоров было о смертоубийстве. Костомаров сам лично проверил по формулярам всех заключенных, вызывал каждого к себе и отправил назад с уполномоченным восемь человек. Отправил бы и Бациллу с Нинкой, но Соснин упросил его оставить.

— Увидите, и Бацилла и Нинка будут делать чудеса,— заверил он Костомарова.

— Хорошо. На вашу ответственность. Хотя и не понимаю ваших симпатий к ним.

Костомаров меня вызвал перед ужином. Кроме Мозгалевского, в палатке был Соснин.

— Нет, вам нельзя поручать ответственные задания,— сурово говорит ему Костомаров.— Хорошо, что в Герби можно купить лодки, а не то вы сорвали бы сроки изысканий.

— Разрешите спросить? — вытягивается во весь свой длинный рост Соснин.— А зачем было покупать лодки в Николаевскена-Амуре, если их можно было достать здесь?

— А вы знали, что в Герби есть лодки?

— Никак нет!

— Ну вот, и я этого не знал, поэтому и поручил вам их купить в большом населенном пункте.

— Ясно. Виповат.— И Соснин становится еще длиннее.

— Можете идти.

— Есть идти! — И Соснин уходит.

Костомаров добродушно смеется:

— Ничего не скажешь, военный человек.

— Давненько мы с вами, Алексей Павлович, не виделись,— ласково сказал Мозгалевский.

— Настолько давнешко, что за это время у него успели вырасти бакенбарды,— осуждающе глядя на меня, заметил Костомаров.

— Таежная болезнь, вроде кори у ребятишек,— снисходительно заметил Мозгалевский,— каждый ею переболсет, пока станет настоящим изыскателем.

— Молодость,— сказал Костомаров. Ему тесно в палатке. Он может только сидеть. Стоя не помещается.

— И молодость, конечно,— соглашается Мозгалевский.

Я не знаю, куда деваться от стыда. Мне тем более стыдно, что, по рассказам, Костомаров — настоящий «сухопутный волк», но он побрит, от него еле уловимо тянет «Шипром», он не терпит нерях.

— Ну, и то, что он занимается литературой.

Я удивленно посмотрел на него: откуда он знает?

— Искусство, литература. В свое время я много думал об их назначении и пришел к выводу, что, за небольшим исключением, они нужны человеку. Если рабочие построили зимовку, то я хочу, чтобы в ней было тепло. Того же я хочу и от литературы. Тепла моему сердцу. К сожалению, многие книги я закрываю на середине. В них нет ни глубокой мысли, ни большого чувства. Нет той музыки, которая делает область литературы недостижимой для каждого любителя портить бумагу. И самое удивительное в том, что бездарная литература не вызывает гласного возмущения.—Он помолчал и сказал: —У нас мало хороших книг.— Подумал и еще сказал: — Для меня талантливо то, что я запоминаю на всю жизнь.

Я стою и молчу, не зная, что ответить Костомарову.

— Вы любите стихи? — спросил он.

— Да.

Тетрадь седьмая

— Это хорошо.— Он скупо улыбнулся.— Если бы не было поэтов, мир был бы груб. Поэту немного надо — только правду сказать. Я не знаю ваших литературных способностей, но вы здесь увидите много интересного. Мы будем работать в таких местах, где не ступала нога человека. И в этой глуши со временем помчатся поезда, будут жить люди. Тут богатейший, нетронутый край. И мы первые, кто проложит к его сердцу дорогу. Если вам нужна будет помощь, разъяснения в инженерном деле, обращайтесь к Олегу Александровичу и ко мне.

— Спасибо,— взволнованно сказал я.

— Здесь, в Герби, живет интересный человек. Возможно, вам пригодится. Он плотник. Выпивоха. Но в прошлом был командиром партизанского отряда. Побеседуйте с ним.

Я гляжу Костомарову в глаза. Нет, он не смеется надо мной. Он смотрит серьезно и благожелательно.

— Хорошо.

Наша партия расположилась на берегу Элгуни. Палаточный городок. На самом берегу пылает костер. На нем Шура готовит обед. Играет патефон. Много солнца, много воздуха, много воды — жизнь! Я послонялся по лагерю. И решил сходить к командиру партизанского отряда. Зовут его Иван Семенович, живет он в конце поселка.

На улице сухо, пылит ветер. Идти надо мимо двух магазинов «Рыбкооп», кинотеатра, где показывают только немые фильмы, мимо домов; уныло похожих один на другой. Заселяют Герби русские, но живут здесь и эвенки.

Я дошел до самого конца и остановился у окраинного дома. Здесь, кажется, живет бывший командир. Дом хороший, с тремя окнами по фасаду, с крыльцом.

— Скажите, Иван Семенович дома? — спросил я пожилую женщину, вешавшую во дворе белье.

— А откуда я знаю? — сердито ответила она.

— Ну как же, ведь он в этом доме живет?

— Жил, да выгнали. Вон, через дорогу, в чуме обитает.

Я посмотрел через дорогу и увидел конусообразный, сделанный из бересты чум. Пошел туда. Постучал в легкую дверку. Ко мне вышла женщина. Странное это было существо: с ввалившейся грудью, с выпирающим животом, лет пятидесяти пяти, повязанная платком по самые брови.

— Чё? — спросила она как-то в нос.

Я сказал, что мне надо видеть Ивана Семеновича. Женщина махнула на меня рукой:

— Завтра, завтра приходи... пораньше. Пьяный он сейчас, спит.

И ушла.

На другое утро я опять был там. Опять вышла эта странная женщина и, махнув мне рукой, ввела в чум.

Он перегороджен ситцевой занавеской на две половины. В правой за столом сидел лохматый, с набрякшими глазами, седой мужик. В левой, за пологом, наверное, находилась постель. Я поздоровался. Иван Семенович с трудом поднял на меня глаза, махнул рукой на скамейку.

— Кукушка! — произнес он в нос.

Из-за полога показалась та самая женщина:

— Чё?

— У! — Он показал руками, расставив их не меньше чем на полметра.

— О! — простонала жена.

— У! — уже более грозно протянул Иван Семенович.

— О! — жалобно простонала Кукушка и вышла из чума.

Я воспользовался тем, что наступило молчание, что Иван Семенович ничем не занят, и спросил:

— Расскажите, пожалуйста, Иван Семенович, как вы воевали с японцами; я слышал, вы были командиром партизанского отряда.

— Молчи! — сквозь зубы ответил Иван Семенович и опустил голову на грудь.

В молчании прошло не меньше четверти часа — пока появилась Кукушка. Она поставила на стол литровую бутылку водки, две тарелки — одну с клюквенным киселем, другую с молоком, положила две столовые ложки и сняла со стены две поллитровые кружки.

Иван Семенович молча раскупорил бутылку, разлил по кружкам и тряхнул головой в мою сторону, приглашая пить.

Я растерянно посмотрел на кружку. Она была налита доверху. Я не знал, что делать. Отказаться боялся. А вдруг он обидится и выгонит меня из своего чума, и тогда я никогда не узнаю, как он командовал партизанским отрядом. Ведь, наверное, не зря мне порекомендовал с ним поговорить Кирилл Владимирович, и я решил выпить ради знакомства, надеясь, что успею кое-что расспросить, а чего не успею, то расспрошу в другой раз, уже на правах доброго, хорошего знакомого. И выпил. И сразу же набросился на кисель. Кое-как отдышался. Достал записную книжку и карандаш.

— Иван Семенович, вы были, я слышал, командиром партизанского отряда. Воевали с японцами. Расскажите, — ловя минуты, спросил я.

— Молчи, — махнул на меня рукой хозяин и о чем-то задумался.

У меня плавно кружились в глазах стол, хозяин, маленькое окошко. Было такое ощущение, будто я на палубе «Камбалы» в ветреную погоду.

— Кукушка!

Из-за полога вышла его жена:

— Чё?

— У! — он показал руками.

— О! — простонала жена.

— У! — уже более грозно протянул хозяин.

— О! — жалобно простонала Кукушка и вышла из чума.

Наверно, прошло столько же времени, но мне показалось, не успела Кукушка выйти, как уже снова оказалась у стола. Рядом с тарелками появилась вторая литровая бутылка. Иван Семенович снова разлил ровно, не обронив ни одной капли.

— Я больше не могу, — сказал я.

Он махнул рукой и выпил свою кружку. Похлебал десхотя киселя с молоком, вперемежку. Потом ткнул пальцем в мою кружку: дескать, давай пей!

— Нет, нет, я не могу. А вы расскажите, как были...

Он отлил из моей кружки половину водки в свою, чокнулся и выпил. Я отказался.

— Иван Семенович, я слышал, вы были командиром... партизанского отряда. С японцами воевали... Расскажите, а?

Он ткнул пальцем в мою кружку. Я отказался. Тогда он вылил из моей кружки все в свою и выпил.

— Иван Семенович, я слышал, вы были...

— Молчи! — Он повел глазами по чуму: — Кукушка!

Она вышла из-за ситцевого полога:

— Чё?

— У! — он опять показал руками.

— О! — простонала Кукушка.

— У! — грозно протянул хозяин.

— О-о... — И Кукушка вышла из чума.

— Иван Семенович, я слышал, вы были командиром...

— Молчи!

Мы молчали долго, но Кукушки все не было. За окном шел дождь. Я чувствовал себя неважно: все больше пьянел.

— Иван Семенович, я слышал...

Но он меня не слушал, встал и начал что-то искать в шкафчике, где хранилась посуда, в столе, потом начал перерывать постель, вещи в сундуке.

— Чего вы ищете? — спросил я его.

— Водку на медвежьей желчи... Кукушка прячет. Бонится... Тебе, молодому, не надо, а я как выпью — тоже себя молодым чувствую.

После этого я понял, что мне тут делать нечего. На улице шел дождь. Бежали мутные, бурные ручьи. Дорога была скользкая, глинистая. Я падал. С трудом взбирался на пригорки. (И откуда только они взялись? Когда шел туда, вроде их не было.) Шел долго. В палаточном городке повстречался с Костомаровым. Вернее, он увидел меня, пьяного, грязного, и вышел навстречу.

— Что это такое? — строго спросил он.

— А ничего... С Иваном Семеновичем познакомился...

— Идите спать!

— Так я и иду...

8 июля

Спал и не выснулся. Гудит в голове. Во рту какая-то гадость. Скорей бы выкупаться, освежиться холодной водой. Но последние дни шли дожди. Элгунь разбухла, стала подыматься. Мутная, быстрая, она с бешеной скоростью пронесется мимо меня.

— Моя разлив не ходи, — слышу я за своей спиной тонкий

голос. Оборачиваюсь. Это проводник эвенк Покенов. Он мал ростом, ширококул, глаза у него оттянуты к вискам, лицо безбородое, точнее безволосое, как у скопца.

— Почему? — спросил я.

— Однако трудно. Моя пятьдесят четыре лета... Сорок лета охота. Моя не стреляй мимо. Лодка ходи вверх. Так ходи вверх. Много ходи. Моя знай все.— Он поднимает с земли длинный шест.— С ним ходи.

— А весла?

— Весла, однако, нет... Шест ходи, вода сильный...

Шуренка зовет к столу: пора завтракать. Но мне не хочется встречаться с Костомаровым. После вчерашнего стыдно. И я уйду. Иду к сельмагу. Там сидит старуха и продаст из ведра солсные огурцы. Вот то, что нужно сейчас. Я покупаю три огурца и с удовольствием их ем. Они завернуты в тетрадный лист. От нечего делать я читаю, что там написано: «На тысячи километров раскинулась вековечная тайга, глухая на горе и скупая на радости. Высоки ее островерхие сопки...» Что это? Я первернул страницу. Какая-то рукопись.

— Ну-ка покажи, что это у тебя за тетрадка,— сказал я старухе.

— А чего?

— Дай посмотреть. Кто это написал?

— Внучок мой.— Старуха шмыгнула дряблым носом.

Я полистал тетрадь. Это была какая-то повесть или рассказ.

— А еще есть? — спросил я.

— Было пять скипочек, последняя уж...

— А где внучок?

— Потонул он.— заплакала старуха.

Я забрал от нее тетрадь, сунул ей рубль, чтоб не обиделась, и, испытывая непопятное волнение, ушел на берег и стал читать.

«На тысячи километров раскинулась вековечная тайга, глухая на горе и скупая на радости. Высоки ее островерхие сопки, поросшие могучим лесом, уходящим в просторное синее небо; быстры труднопроходимые реки, с вселим галечным дном, с завалами из подмытых деревьев, с водокрутами, в которые не приведи судьба попасть, с паводками, выходящими из берегов, когда по колёна стоят в воде лиственницы, когда песчаные косы становятся дном и река широким мутным валом крутит воронки, уходя все дальше в тайгу.

А тайга черна. Не пробьется солнечный луч, так панцирно переплелись метелками пихты, лиственницы, сосны и ели. Млеют в душном настое багульника кровавые пласты брусники, годами лежат, поверженные бурями, толстенные, в три обхвата, ство-

лы деревьев, ступи на них — и легкий коричневый прах взмоет ввысь.

Там не увидишь пня. Не встретишь человеческой тропы. Мари — болота на вечной мерзлоте — выпятывают тайгу. Безмолвие царит в этом краю. Только изредка прокартавит разноперая сойка да плеснет в тихой заводи таймень, встревоженный тенью белокрылого орлана. Глушь... Безлюдье.. Тайга...

Проходило лето.

Старый эвенк Покенов стоял на песчаной косе рядом с молодым оленем.

Олень шл медленно и лениво.

Покенов неторопливо сосал хриплую, обкуренную трубку.

— Однако дождь будет, трубка сипит,— подумал он вслух и взглянул на небо.

Но голубым было небо. Чистым. Покенов презрительно усмехнулся. Он не верил гладкой голубизне полуденного неба. Трубка не могла обманывать.

— Домой надо... Трубка сипит... Дождь будет.— Покенов посмотрел на оленя. Поправил на его спине кожаный мешок с пойманной рыбой.— Добрая река, рыбу дает... Кононова угощать буду. Прокошку угощать надо ли? Пускай сам ловит... Старуха умрет скоро. Зачем кормить? Много рыбы... Много есть буду.— Покенов тихо засмеялся.

Олень поднял голову. Светлые капли падали с его влажных губ.

Стремительно пролетела с испуганным криком серая утка. Она летела низко, ее можно было достать рукой. Покенов проводил утку равнодушным взглядом:

— Глупая птица, всего пугается. Бурундук ее испугает.

Он дернул оленя за ременный поводок.

Пролетела еще утка.

Далеко, в низовье реки, раскатился выстрел.

— Заряда на утку не жалко, почему так?

Покенов сел на оленя. Ударил его ногами. Поднялся на заросший серебристым тальником обрыв. Стая лодок выплывала из-за кривуна реки.

— Русские едут!

Покенов сжал в кулаке поводок:

— Наверно, голод у них, если заряда на утку не жалко.

Он прислушался, повернув к лодкам большое обветренное ухо.

Кто-то пел веселую песню.

Торопливо попукая оленя, Покенов прыгнул к луке седла, словно ему опустили на старческие плечи мешок с юколой. Ударил оленя.

— От людей куда уйти? — быстро бормотал он. Глаза его беспокойно смотрели то вперед, то в стороны.— Жадные едут люди, дома им мало места, наверно. Сюда едут. Эти совсем выгонят... К морю прогонят. У моря мох плохой... Олени умрут... Бедняк я буду... Один раз ушел, второй раз куда уйти?

Олень быстро бежал по узкой извилистой тропе. Покенов качался в седле.

— Река быстрая... Сегодня не пустит их. Однако скорей надо... Пускай Сашка Кононов тоже боится.

Покенов бил оленя ногами. Тропа вилась меж высоких коричневых лиственниц. Игольчатые ветви, тесно переплетаясь, давали теннистую прохладу. Но не приносила прохлады успокоения, не было прежней уверенности, лиственницы казались чужими, уходящими от него. Покенов закачался в седле. Закрыв глаза. Может, сон... Откроет глаза — все по-старому будет.

С палету ударился об его лоб черный жук.

— Куда уйти? — шупая лоб, затосковал Покенов.— У моря рябчик не свистит, бурундук не бегаёт... Сохатому зачем кричать... Нет их там... Комар, наверно, есть... Мох плохой, что делать буду?

Можжевеловая колкая ветвь спружинила от оленьей ноги, ударила по лицу старика, оцарапала щеку.

«Плохое время», — размазывая кровь, подумал он.

В прошлом году, в солнечный март, в стойбище Малая Елань возвратился из Москвы комсомолец Микентий Иванов. На его ногах были серые валенки. Люди обступили Микентия, чмокали губами, разглядывая диковинную обувь; трогали валенки пальцами. Нюхали.

— Какой зверь? — тихо спросил старик Юрынов. Много зверей он знал, много охотился, и стыдно ему было спрашивать Микентия Иванова. Он спросил тихо.

Микентий хлопнул валенком по валенку, стряхивая снег.

— Овца.

— Не знаю такого. Никогда не видал.

— Сестра гурану будет. Домашняя она, как олень. Много их в России.

Покенов засмеялся:

— Глупые люди, волос взяли, кожу бросили. Крепче разве будет?

— Кожа на овце осталась, волос срезали, опять вырастет. Там не глупые люди.— Микентий улыбнулся, показав белые, крепкие зубы.

— Зачем вернулся к глупым? — сощурив глаза, спросил Покенов. Он сплюнул и повернулся спиной.

Вечером в тесном доме Микентия собрались мужчины и женщины. На низком столе горела свеча. Женщины робко жались к дверям, а старики, важно покуривая трубки, сидели на

жердяных нарах, заменявших кровать Микентию. Они с любопытством смотрели на сидевшего против свечи хозяина, но, встретясь с его быстрым взглядом, равнодушно отворачивались. Нехорошо быть нетерпеливым.

Микентий начал с того, как он уехал из стойбища, потом рассказал о Москве.

— Языком бегаешь быстро. Я что-то устал понимать тебя, — перебил его Юрынов. Он всю жизнь прожил в тайге один, и бедное воображение старого охотника не могло воспринимать рассказы.

Покенов сурово покосился на Юрынова и, не вынимая трубки изо рта, раздельно сказал:

— Зачем говорить мешаешь? Микешка в большом стойбище был. Там кормили его, учили говорить его там, сюда послали. Зря кормить не станут. Пускай говорит. Мы послушаем, а ты кури трубку.

Когда свеча сгорела наполовину и в воздухе стоял смрад от выкуренных трубок, Микентий начал сравнивать жизнь большой семьи с маленькой. Он говорил о колхозах.

— Скажи, Агапня, твоего мужика медведь сломал, кто помог тебе растить дочку?

Агапня, сухая старуха, вздрогнула, втянула голову в острые плечи и не ответила. Откликнулась ее дочь Санко:

— Кто поможет, если отца нет?

Она обвела сидящих взглядом черных продолговатых глаз, как бы вспоминая, помогал ли им кто, и не нашла ни одного: бедность была у всех, кроме Покенова. Но Покенов жадный.

Он встретился с ней взглядом и отвернулся. Выбив трубку о край стола, задал вопрос Микентию. Он понимал: надо Микешку сделать посмешищем всего стойбища. Тех не уважают, над которыми смеются.

— Скажи мне, ты много видал, умней всех ты... Скажи: если все вместе колхозом будем, — Покенов сделал паузу, — рыбы в реке больше будет?

— Больше не будет, — ответил Микентий.

— Может, в тайге зверя больше будет?

— Больше не будет.

Люди притихли. Санко подошла к столу. Юрынов позабыл о трубке.

— Может, люди в два раза меньше есть будут и потому богаче станут? — смеясь, спросил Покенов.

— Меньше есть не будут, — ответил Микентий.

Покенов выпрямился. Большая улыбка лежала на его вялых губах.

— Зачем колхоз тогда? Агапию кормить? — Покенов плюнул и отошел от стола. — Я буду кормить Агапию. Я колхоз буду!

Люди с уважением расступились перед ним, — что из того,

что он злой и жадный, он умный. Микешка внук против Покенова. Санко грустно качала головой. Как ловко провел нехитрого Микешку старый Покенов.

— Раньше надо было кормить, теперь сам приходи — накормим! — злясь на Покенова, крикнула Санко.

— Я буду кормить. Мясо никогда не будет лишним.

— Разве летом мороз нужен? — зло засмеялась Санко.

— Не надо кормить меня, — уныло отозвалась Агапия и еще глубже втянула голову в острые плечи.

Покенов напыжился:

— Что говорить с женщиной? У нее голова — сетка дырявая, что войдет, то и выйдет. Однако ночь. Спать надо. — Он поклонился Микентию и пошел к двери, важный и толстый.

Микентий поднял руку:

— Подожди. Я хочу спросить тебя... Если колхоз будет, рыбы в реке больше будет?

Покенов усмехнулся:

— Нет.

— Зверя в лесу больше будет?

— Нет.

— Люди в два раза меньше есть будут?

— Нет.

— Так же все будет?

— Так! — словно вбил гвоздь Покенов.

— Нет! — Микентий послуянил два пальца и оборвал нагоревший кончик фитиля. Свеча разгорелась. — Раньше рыбак не мог себе купить большую сетку. Так?

— Так!

— Будем вместе — купим!

— Большую сетку! — радостно, как ребенок, вскричал скуластый черноволосый парень.

— Рыбы в большую попадет больше, чем в маленькую?

— Больше! — ответили люди.

Юрынов молча кивнул головой, но, заметив, что его мнения не слышали, крикнул после всех:

— Больше!

— Рыба крупнее будет? — спросил Микентий.

— Крупнее! — заражаясь азартом, крикнули все.

— Крупнее! — взмахнул руками Юрынов и чуть не вышиб изо рта трубку. Он опять опоздал крикнуть вместе со всеми.

— Жить хуже будет?

— Хуже! — напрягая голос, прокричал Юрынов и закашлялся. На этот раз он не хотел быть позади всех.

— Почему хуже? — спросил Микентий.

Был слышен только хриплый кашель; Юрынов, не отнимая от груди рук, кивком головы показал на улыбающегося Покенова.

— Ему хуже!

Покенов нахмурился, а люди, все, даже старая Агапня, засмеялись.

Утром Покенов стоял у маленького дома Юрынова. На крыше, засыпанной землей, росла трава. Окна были узкие, затянутые сохатышим пузырем. Микентий Иванов сидел на корточках и перебирал руками тонкие, словно осенняя паутина, сети. А во дворе громко кричал Юрынов — он бегал между дымчатыми оленями, проверял нарты, растягивал ременные упряжки.

Эвенки снаряжали первый караван за продуктами. Теперь они решили сами заботиться о себе. Покенов сдержанно смеялся и, не обращая ни к кому отдельно, а одновременно ко всем, кичливо говорил:

— Вас много, и вы богатые, на каждого по три оленя. А я бедняк. Один я. У меня всего только... пятьсот оленей!

Но когда вернулся караван и привез продукты, Покенов перестал смеяться: ему ничего не продавали из кооператива. Даже спичек не продавали.

— Как же я буду жить, если огонька у меня нет? — заискивающе смотря в лица колхозникам, спрашивал он и трогал их руки.

— Как же я жил, когда у тебя была лавка? — освобождая свои руки из потных пальцев Покенова, гневно говорил Юрынов. — Ты мне ничего не продавал, и у меня умер сын.

— У тебя не было чем платить.

— Да, один год был голодный. Зверь ушел, рыба не пришла... Да, правда, у меня не было денег. Но ты зачем просишь? Ты богатый. У тебя есть олени. Поезжай за перевал. У нас колхоз, ты тоже «колхоз». — Юрынов хитро, с наслаждением разглядывал Покенова. — Поезжай. У тебя пятьсот оленей. Ты много привезешь.

— Дурак ты, — горячился Покенов, забывая, что перед ним уже не тот покорный Юрынов, на которого он всегда кричал. — Как я поеду, если я один? Мне пастухов надо...

— А, тебе пастухов надо, — весело говорил Юрынов, — мы тебе дадим пастухов. Они тебя стеречь будут!

Он громко смеялся, наслаждаясь умением смеяться над Покеновым.

— Санко!

Из дверей лавки выходила Санко.

— Смотри, Санко, Покенов просит у нас огонька. В лавку к тебе хочет идти.

Санко клала на грудь две тонкие черные косы и звонко смеялась:

— Пускай идет, мы ему дадим такого огонька, что даже ночью ему будет светло, как днем.

Поконов злой уходил от них. Шел к Микентию. Открывая двери, вытягивал губы в заискивающей улыбке, почтительно, но не теряя достоинства, кланялся и садился, с уваженным смотря на бумаги, заполнявшие стол.

Курил трубку, вспоминал время, когда Микентий Иванов был у него пастухом-мальчишкой.

— Мы с тобой, Микешка, мирно жили, только один раз ударил я тебя палкой, но ты от этого умней стал. Тогда ты плюнул мне в глаза и ушел. Вернулся умным. Если б я не ударил, не ушел бы ты, умным бы не был... Я всегда говорил: «Смелый человек Микешка, хозяину плюнул в лицо». Мы старые друзья с тобой. Ты умный, умру я скоро, отдам оленей тебе. «Нá, скажу, Микешка, будь богатым». Мы старые друзья. Сейчас оленя дам тебе. Лучшего дам. Сын ты мне. Помоги старому отцу. Скажи в лавке, чтобы дали мне муку, соль, сахар, огонек...

Микентий отодвинул от себя лист бумаги, схватил Поконова за воротник, оторвал от земляного пола и выбросил за дверь. Ни слова не сказал Микентий Иванов, зато Поконов долго кричал ему в открытое окно:

— Ты и пастух-то был самый плохой. Глупый пастух!

На голых, пробуждающихся от весеннего солнца лиственницах сидели хохлатые вороны. Они громко каркали. Раскрыв крылья, падали на черную талую землю.

— Смотрите,— качая головой, говорила Агапия.— Поконов глухой вороной стал. Кричит в небо. Кто его слушает?

Поконов торопливо прошел в свой дом. Страх появился у него. Он не узнавал людей: кроткий, всегда послушный Юрьнов стал смеяться над ним; глупая старая Агапия назвала вороной. Рушились спокойствие и уверенность, накопленные долгими годами хитрой жизни. Что будет завтра, если его сегодня выгнал Микешка?

Рано утром (в небе была еще ночь) Поконов толкнул острым локтем в рыхлый бок жену:

— Уходить надо. Оленей отнимут, вещи отнимут, с голоду умрем. Собирай вещи...

Старуха, не поворачиваясь, ответила:

— Уходи, мне оленей не жалко и вещей не жалко. Я только мучилась с тобой. Сам мясо ел, мне кости давал. Уходи...

Поконова удивила разговорчивость жены, он даже подумал, что она не спала, а всю ночь, так же как он, думала, но о чем-то другом, совсем не похожем на его думы.

— Глухая стала,— рассердился Поконов,— оленей не жалко, вещей не жалко... Мужа не жалко... Поедем, прошу тебя. Что я один?

— Умрешь скоро. Зачем тебе оленю? Родилась здесь. Умру здесь. Отдай людям.

Поконов рассердился:

— С такой глупой всю жизнь прожил. Бедняк я...— Он ударил жену ногой. Старуха промолчала. И внезапно Покенов почувствовал огромную жалость к себе. Все ушло от него. Жена и та спиной на него смотрит. Тупое бессилие охватило его. Ему вдруг показалось, что он совершенно один ходит среди черных от лесного пожара деревьев и тишина, не нарушаемая даже криком кукушки, окружает его.

— Поедем,— притронулся он к плечу жены.— Мы с тобой много жили... Ты все же баба ничего... Что я один? Лепешки кто печь будет? Торбаса починить некому...

— Уходи.— Старуха сбросила его руку со своего плеча.— Меня зачем звать? Тут буду, не трогай, или скажу Микешке Иванову, что ты убегаешь.

— Совсем дура стала, на мужа жаловаться хочет... Умирай скорей!

И, поспешно собрав все, что было в доме, даже платья жены, он навьючил оленей, погнав с пастбища стада, ушел по звериным тропам далеко вверх по реке, к безлюдным, нетронутым местам.

Кононов сидел на бревне. Перед ним лежала гряда бревен, сухих, потрескавшихся. Давно выступившая смола застыла янтарными каплями. В прошлом году Кононов, так же как и Покенов, сбежал со своего стойбища Лысая Сопка, тоже в верховья реки, и здесь начал строить дом.

Дом строил не он, строил Прокошка, тихий маленький парень. Сруб почти был готов, оставалось сделать плоскую крышу и набросать на нее землю. Но Прокошка был слабый, а бревна тяжелые. Кононов уходил на берег реки и сидел там, разглядывая гладкую воду в заводи. Однажды Прокошка попросил его помочь. Кононов жалобно, тонким, ребячьим голосом сказал:

— Посмотри на меня, Прокошка, разве ты не видишь, как у меня болит спина? Как подниму я бревно? Ты, однако, хочешь, чтобы у меня спина сломалась.

И бревна спалились на земле, а Прокошка ушел пасти оленей.

В те дни, когда он приходил с пастбища, Кононов горестно вздыхал:

— Какой ты человек, если не можешь сделать крышу...

Жена Кононова, глухая старуха, поджимала тонкие губы и тыча в небо коричневым пальцем, униженным тремя белыми кольцами, говорила:

— Гуси полетели. Торбаса шить надо.— Ее голос был грубый и громкий.

Кононов не слушал ее, тоскливо ныл:

— Лентяй народ стал. Кукушкой стал... Гнезда не хочет делать себе. Где жить будем, если земля как белые сопки станет?

Прокошка молчал. Что он мог говорить старому Кононову? Он мог только слушать его.

Старуха подошла к маленькому окну. Сквозь натянутый пухляк она увидела оленьи рога. Одни, другие, потом их стало сразу много. Она заметалась по зимовке.

— Домой поедем,— бормотала она.— Давно думаю. Хорошо дома... Внук посмотрит в глаза...

Кононов оттолкнул ее, выскочил из зимовки и увидел среди множества оленей лицо старой женщины, закутанное в черную матерью. Он видел только нос и глаза. Нос был плоский, глаза маленькие, злые.

— Ты кто? — спросил громко Кононов. Он спросил нарочно громко, потому что боялся.

— Ты кто? — спросила его женщина. У нее был такой же грубый голос, как у его жены.

Тетрадь восьмая

«Глухая, наверно», — подумал Кононов.

— Твой олень? — чувствуя нарастающую робость, тихо спросил Кононов, но женщина не ответила, подошла ближе и еще громче спросила:

— Ты кто?

— Кононов я...

— Кононов? — Женщина поправила темное, с красными квадратами, платье. Оно топорщилось у нее на груди.— Ты, верно, Сашка Кононов с Лысой Сопки. Слышал тебя... Знаю... Я Покенов с Малой Елани.— И, размотав платок, Покенов подошел к изумленному Кононову.

— Зачем носишь? — трогая платье, спросил Кононов.

— Если взял, носить надо...

И они вошли в дом. Так повстречались Покенов с Коновым.

— Скажи, Покенов, как живут люди в колхозе? Прокошка не хочет делать крышу. Пускай едет в колхоз тогда.— Кононов подвинул Покенову маленькую чашку крепкого и черного, как уголь, чая.

— Много людей умерло уже,— с грустью говорил Покенов, не забывая пить чай.— Скоро все умрут. Жить как же? Один убьет зверька, делить надо шкурку, одному лапку, другому хвост, десятому тоже дать надо. Много всех. Зверек один. Делят. А кто купит шкурку по кусочкам? Пусть идет...

— Иди,— толкал Прокошку в спину Кононов,— иди. Дом сделать не можешь, какой человек?

Прокошка виновато улыбнулся:

— Зачем колхоз мне? Не гони... С тобой жить хочу.

— Лентяй, однако! Дом почему не сделал? Ладно. Вот приехал Покенов, теперь сделаем.

Но и с приездом Покенова бревна остались лежать там, где их положил Прокошка.

Настало время дождей.

В открытом доме стояли лужи. В них плавали осенние красные листья. Старики натягивали на головы оленьи шкуры и сидели неподвижно, уныло раскуривая трубки.

Покенов любил вспоминать. Давно-давно приезжал к нему купец. У него была белая борода. Он садился к печке, и борода у него становилась черной. Покенов услужливо заглядывал ему в глаза. Звал к столу. Купец не садился, ругал холод. Чтобы порадовать гостя, Покенов высыпал из кожаных мешков шкуры зверей. Купец лениво пагубался, шохал, мял короткими пальцами меха и равнодушно бросал в сторону. Потом садился за стол. Угощал Покенова водкой и сам пил. От вина Покенов веселел:

— Я самый лучший охотник. Всех зверей я убил... Наши мужчины хуже женщин, только рыбу умеют ловить...

— Ну-ну, не ври,— смеялся купец.— Ты ловкий.— И ласково глядел на большую кучу шкур, подливал Покенову еще водки и хвалил его.

А Покенов радовался: «Водка есть у меня, табак. Много еще шкур будет».

Утром купец, бережно встряхивая, аккуратно укладывал шкурки в кожаный мешок, а Покенов еле стоял на ногах от выпитого вина и удивлялся, куда подевались две шкурки соболя.

Уезжал купец, а Покенов садился за стол и пил водку. Хотя он и дешево продал шкурки, но ведь купил их еще дешевле...

«Нет хороших людей»,— вздохнул Покенов и задремал.

Неугасимо горел костер у задней стены дома. Стена обуглилась. Иногда она загоралась. Тогда Кононов плескал на нее водой. Стена шипела.

Приходил с пастбища Прокошка, озябший, с лиловым лицом. Он говорил, что оленей много, а он один, волки ходят, олень режут. Покенов и Кононов ругали волков, но не особенно огорчались,— люди отняли бы все.

— Там ли ходить, тут ли сидеть. Будь дома, крышу из лап делай...

Прокошка нарубил сосновых ветвей, набросал их на сруб, засыпал землей. Морозы сковали крышу. Но с потолка, оттаивая, падали густые, жирные капли грязи. Иногда отваливались целые куски. Старуха ворчала:

— Зачем уехали?.. Дом хороший был...

Но ее никто не слушал.

Раз в неделю Прокошка уходил на пастбище и приводил оттуда оленя. Связывал его, опрокидывал на землю. Кононов

торжественно выходил из дому, вынимал из деревянного чехла узкий, светлый нож и вспарывал живому оленю живот, запуская туда голую руку, нащупывал сердце и отрезал его. Вытирая нож о лощенные от грязи и жира штаны, говорил:

— Совсем крови мало вышло... Сочное мясо будет...

Иногда они ругались. Покенов приставал к старухе, Кононов махал перед ним руками.

— Все равно умрет. Чего жалеть...

Старуха сердито ворчала.

Так прошли зима, весна. Проходило лето.

Кононов сидел на бревне и строгал ложку. Жена стала плохо видеть и утром, вместо палки, бросила ложку в костер. Кононов побил ее. Старуха закричала и расшвыряла палкой костер.

— Совсем глупая стала,— покачал головой Покенов,— умирала бы скорей.— И, взобравшись на оленя, поехал проверять сетки. Он их поставил в заводи, за три кивуна от зимовки.

Белые, как пена, стружки лежали у ног Кононова. Три часа он сидел, испортил много дерева, вспотел, а ложка не получилась.

— Прокошка! — закричал Кононов.— Какой ты человек, если ложку не можешь сделать? Не видишь, у меня глаза плохие.

Прокошка сидел у порога и готовил петли.

— На, сделай ложку... Когда тебя еще не было, отцу твоему ложку дал. Скажи, отдал он ее? Ты — сын, отдай долг... Ложку делай!

Прокошка, неслышно ступая, подошел к Кононову, взял у него нож, стал строгать деревяшку. Кононов пошел в зимовку. Но только он прилег на трипье, как за окном послышался храп оленей и на пороге показался Покенов. Часто дыша, отирая с лица пот рукавом меховой куртки, он огляделся и шепотом сказал:

— Русские едут... Много... Совсем прогонят нас... К морю прогонят. У моря мох плохой, олени умрут.

Покенов никогда не жил у моря, но был твердо уверен, что там жить нельзя. Слезящиеся глаза Кононова округлились, нижняя губа оттянулась.

— Бежать надо! Сейчас бежать,— сорвался он с места.— Надо оленей гнать...

Покенов поймал его за ремешок, стягивающий штаны:

— Сядь. Бежать не надо. Надо убить людей! — И оттолкнул от себя Кононова, увидя, как сморщилось лицо старика — лист осенний.

— Много убить успеешь ли? Нас убьют,— простонал Кононов.— Пусть едут, скажем им — бедняки мы...

Покенов зло сплюнул:

— Если весенние птицы прилетели, тайга шумит? Гусь, утка в небе кричат? Вода живет? Нельзя пускать. Убить надо!

— Ой! — схватился за живот Кононов и опять заметался по избе. Кончик ремешка, как хвост, крутился из стороны в сторону. Покенов опять ухватил ремешок:

— Сядь. Река злая?

— Злая.

— Пусть едут. Пусть тонут...— Покенов придвинул к себе дощечку с мясом и, выбрав кусок побольше, стал есть. Он нашел выход и успокоился. Но Кононов волновался: а вдруг не утону люди?

— Пусть едут, — зажав зубами мясо и ловко отрезая его около губ, говорил Покенов.— Проводника дадим...

— Зачем проводник, тогда не погибнут.

Покенов засмеялся. Его смех был отрывистым, хриплым, словно кашель.

— Глупый ты... Проводник поведет их по плохим местам.

— Кто будет проводник?

— Прокошка будет проводник.

Кононов оживился:

— Умный ты, хитрый!

Старуха протянула руку к Покенову:

— Ты плохой муж. Зачем сына нет? Дочь зачем ушла?

Покенов плюнул в ее сторону:

— Совсем дура стала. Умирала бы скорей. Зови, Сашка, Прокошку.

Прокошку посадили на подушки. Покенов горько вздохнул:

— Старик я, умру скоро... Зачем мне олени, сундуки с вещами зачем? Будь сыном мне, отцом тебе буду... Умру скоро. Смотри, Кононов, не обижай Прокошку, он сын мой. Береги добро, Прокошка. Я его берег, теперь ты береги. Люди отнять хотели, не дал я людям. Ушел...— Покенов еще больше сморщился, будто его мучила боль.— Молодой ты, не дай обмануть себя людям. Много жадных людей есть...— Он замолчал, искоса посматривая на Прокошку, с удовольствием отмечал действие своих слов. Прокошкино лицо вытянулось, рот полуоткрылся, грудь часто подымалась и опускалась. Прокошка приложил руки к груди: совсем он не знал Покенова, хороший человек оказался, отцом стал.

— Живи, отец. Умирать не надо,— попросил Прокошка.

Покенов нахмурился: «Глупый какой!»

— Сын ты мне, слушать должен, все бери. Все твое! Устал я, однако. Умру, наверно. Положи меня, Прокошка, лежать хочу...

Прокошка положил его на кучу стеганых одеял, сел в ногах. Покенов полуоткрыл глаза:

— Хочу спросить тебя. Если отнимать станут оленей у тебя, что будешь делать?

— Убью! — сразу стал злым Прокошка.

— Хорошо... Хороший сын. Ездил я сейчас, сетки смотрел. Вынул сетку — рыба мертвая в ней. Что такое? Сохатый мимо пробежал, шерсть сгорела у него. Что такое? Выстрел услышал. Лодки увидал. Русские едут. Тайгу жгут. Воду портят. Оленей у тебя отнимут. Сейчас не отнимут — потом отнимут. Бедный ты будешь...

— Ай, ай, отец, научи, что сделать?

— Ладно, научу. Проводником будешь у них. По злым местам будешь вести лодки. Пусть тонут. Иди!

— Пойду, отец!

— Иди!..»

На этом рукопись обрывалась. Что было дальше — неизвестно. Но не это волновало. Прежде всего было горько, что погиб способный парень. Кто он? Успел ли еще что написать? Печатался ли? Я еще раз сходил к старухе. Но проку от нее добился мало. Ни матери, ни отца у этого парня не было. Жил он с неграмотной бабкой. И она ничего не могла про него сказать, кроме того, что лет ему было двадцать, что ездил он рабочим с экспедицией, вернулся домой и вскоре утонул, непонятно как. Плавал хорошо. Элгунь запросто переплывал, а тут у берега утонул. Когда врач осматривал, нашел на голове рану от камня. Парень он был тихий, смиренный, вряд ли кто злонамеренно ударил. Скорее всего камень сорвался с кручи.

Второе, что взволновало меня, — наш проводник. Ведь его фамилия была тоже Покенов. А что, если это тот? Хранить про себя эту тайну я не мог и решил отдать тетрадь Костомарову.

Прочитал он быстро.

— Странная история. Действительно, здесь были три года назад рекогносцировочные изыскания, начальником одной из партий был Градов. Но что это — правда или вымысел в рукописи? Позовите Покенова.

Я позвал.

— Ты где родился? — спросил его Костомаров.

— Стойбище Байгантай.

— Сашку Жононова знаешь?

— Внук мой... маленький. — Покенов приветливо улыбнулся. — Откуда знаешь?

— Я все знаю, — многозначительно сказал Костомаров. — Где Прокошка?

Покенов пожал плечами.

— Которому ты своих оленей обещал отдать. У тебя их было пятьсот штук. Где твои олени?

Покенов тоненько засмеялся и, качая головой, отошел от нас. Наверно, весь разговор он принял за шутку над собой.

Костомаров досадливо хмыкнул, видимо поняв, что получилось нескладно, и строго сказал мне:

— Как вам не стыдно так напиваться! Вы вчера пришли на бровях.

— Такие создались обстоятельства...

— Сильного человека никакие обстоятельства не заставят делать то, что ему противно. Где вы работали, с кем, до этой экспедиции?

Вот наконец-то и наступил тот неизбежный час, которого я так боялся. Соврать или сказать правду?

— Что же вы молчите?

— Это мои первые изыскания, — с трудом ответил я.

— Вот как? — Костомаров с любопытством смотрел на меня. — Но, надеюсь, вы хоть курсы кончили?

— Нет. — Я почувствовал, как у меня на лбу выступил пот. В стороне от нас на раскладном стульчике сидел Мозгалевский, посасывал свою трубку и читал газету.

— Вы знаете, Коренков никакой не техник, — сказал ему Костомаров.

— Да, я это сразу определил, еще в Ленинграде, — спокойно ответил Мозгалевский. — Уж очень он старался. Готов был дни и ночи работать, лишь бы уехать в экспедицию. А я люблю старательных. — И пошевелил усами, пряча улыбку.

— Та-ак! Все это очень мило. Но, смею думать, у нас подобных техников больше нет в партии?

— Этот единственный, — ответил Мозгалевский.

— Сюрпризики. Вы хоть имеете представление, чем мы будем заниматься? — спросил меня Костомаров.

— Имею. У меня брат — инженер-путеец...

— Слава богу, хоть тут удача. Но, так или иначе, коли вы зачислены техником, то я с вас и буду спрашивать как с техника. А что касается вчерашней пьянки, не делает вам чести. Стыдно должно быть!

— Да, это никуда не годится. Такой молодой — и уже пьяница, — сказал Мозгалевский.

— Я не хотел, так получилось...

— Слабоволие — характерная черта пьяниц, — чуть ли не сочувственно сказал Мозгалевский.

— Вы полагаете, он слабовольный человек? — совершенно серьезно, даже встревоженно спросил Костомаров.

— Да. Если не устоял перед водкой — значит, любит ее. Значит, слаб.

Они оба пытливо посмотрели на меня.

— А жалко, совершенно молодой человек, — сказал Мозгалевский.

— Неужели вы полагаете, это настолько серьезно в нем? — спросил Костомаров.

— Да это же случайно! — закричал я им. — Я мог бы и не пить. Но надо было познакомиться. Расположить его к себе...

— Не надо объяснять, — сердито сказал Мозгалевский. — У пьяниц найдутся причины выпить.

— Да не пьяница я, что вы! — Мне было стыдно. Я стоял перед ними красный, униженный.

Костомаров посмотрел на меня, скупно улыбнулся и сказал:

— На первый раз попробуем поверим, не так ли, Олег Александрович?

— Вы думаете, можно поверить ему? — с сомнением спросил Мозгалевский.

— А что, вы воздержались бы?

— Да, я бы пока воздержался. Посмотрим. Зачем верить?

— Ага... Ну что ж... Пусть будет так. Посмотрим. Можете идти.

Я выскочил словно из бани. Фу, даже спина вспотела. И все же я был счастлив. Наконец-то мне не надо больше танься. Не надо скрывать. Бояться. Какая страшная жизнь, когда человек скрывает! Теперь обо мне все известно, и лишь от меня зависит — быть или не быть мне изыскателем.

Навстречу шла Ирина, в белом платье, как всегда с непокрытой головой, с веселыми, родниковой чистоты глазами.

— Что это такой у тебя сияющий вид? — спросила она.

— Жизнь хороша! — ответил я и впервые откровенно посмотрел ей в глаза, не скрывая того, что она мне нравится.

— Ты зачем так на меня смотришь? — спросила Ирина и нахмурилась.

— Как?

— Так. Я не знала, что ты такой. Думала, лучше...

— Я ничего плохого не сделал.

— Чтобы так смотреть, надо иметь право, а у тебя его нет.

— Почему знать...

— Что?

Но тут подбежала Тася.

— Ну идем... Пошли! — сказала она, беря Ирину под руку.

— Куда это? — спросил я.

— Кататься на лодке. Пошли, Алеша.

— Нет. Он нам будет мешать, — сказала Ирина. — Мы будем купаться.

— И я с вами.

— Нет, нет, мы будем одни.

К нам подошел Лыков.

— Интересно, зачем это некоторые молодые люди смазывают вазелином бакенбарды, — громко сказал он, рассматривая мое лицо. — Для того, чтобы лучше росли, что ли? Как вы думаете, вьюнош?

— Если вы еще раз меня назовете «вьюнош», жалуйтесь

сами на себя,— сказал я, чувствуя, как кровь тяжело и сильно начинает толкать сердце. Я не знаю, чего ему надо, чего он все время ко мне привязывается?

— Выюнош,— медленно произнес Лыков. Его серые глаза смотрели на меня наигранно холодно. В детстве мне приходилось немало драться, и часто я узнавал смелость противника по глазам. В глазах Лыкова пряталась тревога.

Коротким тычком я ударил его в солнечное сплетение. Это я сделал так быстро, что ни Ирина, ни Тася даже не заметили. У Лыкова же остекленели глаза, он несколько раз, как рыба на сухом, дернул ртом, вгоняя в себя воздух.

— Это непорядочно,— наконец сказал он.

— Что случилось? — спросила Ирина, с тревогой глядя на Лыкова.

— Пинч,— сказал Лыков и криво улыбнулся.— Выюнош — простите, Коренков — хотел меня нокаутировать.

— Это не так уж трудно сделать...

— Еще бы, врасплах...

— Не поэтому. Не умеете защищаться.

— А ты умеешь? Ты боксер, Алеша? — спросила Тася и сложила на груди руки ладонями, словно собираясь молиться на меня.

— Ничего... Ещё впереди год в тайге. За это время многое может случиться,— с угрозой сказал Лыков и отошел.

Ирина как-то неопределенно посмотрела на меня и пошла вслед за ним.

— Значит, ты ударил его, Алеша? — спросила Тася.

— Да. Он мне надоел своими приставаниями.

— Ну что ж, так ему и надо, чтоб не корчил из себя фон-барона.

— Почему фон-барона?

— А потому, что я ненавижу фон-баронов. А Ирину мне жалко, зря она полюбила Аркадия. Она вся открытая, а он как черепаха под панцирем. И ехидный...— Она что-то еще говорит, но я не слушаю ее.— Что с тобой, Алеша? — Она трогает меня за руку.— Ты побледнел...

Я ничего ей не отвечаю, иду в свою палатку. Какой же я ненаблюдательный! Конечно, она любит Лыкова. И он любит ее. Только поэтому и ко мне пристаёт. И сразу же на сердце становится так безотраднo, грустно, что впору заплакать.

Ветер. Палатки кричат и стонут, того и гляди обрушатся. О берег с сильным всплеском бьют волны. Элгунь разъярена. Ветер врывается в палатку с пылью, с мусором, сдувает со стола бумаги. За стеной сидит Покенов. Он поет. «Ооо! Ууу! Ооо!» — монотонно повышается и понижается вой. Он тянет

долго. Иногда умолкнет на несколько минут, потом, словно спохватясь, начинает снова громко выть. Его вой сливается с воем ветра.

Проходит день, второй, третий. Наконец-то мы трогаемся. Лодки просмолены, связаны тройками. Мы купили в Герби двадцать штук. И опять впереди катер, только он раза в два сильнее «Исполкомовца», за ним халка без названия и лодки. На лодках — буровое оборудование, мука, соль, консервы, сахар, сгущенное молоко в бочках, сухие кисели, свечи, палатки, геодезические инструменты, чертежные доски, ватман и многое другое, без чего трудно обойтись экспедиции на изысканиях.

В последнюю минуту я увидел бывшего командира партизанского отряда. Прощаюсь с ним. На этот раз он трезвый.

— Жаль, что так и не удалось с вами поговорить. Все же интересно,— говорю я.

— А про это все записано. Есть в Хабаровске, в краеведческом музее...— ответил он и с невеселой улыбкой добавил:— Да, было... Все было...

Мне хочется спросить его, почему он, уважаемый в прошлом человек, так сильно пьет теперь. Но спрашивать неудобно да и некогда.

С носа катера раздался печальный удар в колокол. На берегу чуть ли не все население. Как опустел лагерь! Колья да мусор. Катер развивает ход. Лодки медленно выравниваются и отходят от берега. Костомаров не отрываясь смотрит на них. На лодках, кроме груза, рабочие. Многие пьяны. Поют песни. Вон какой-то стоит на корме, качается, машет рукой стоящим на берегу. На другой лодке двое обнялись, поют. Все это видит Костомаров. Он смотрит исподлобья, навесив на глаза широко, тяжелые брови. Он глядит сурово и настороженно. Он даже слегка бледен. Его тревожит судьба буксира. Но пока все благополучно. Элгунь сворачивает в сторону, и Герби скрывается за густым кустарником.

Итак, мы пошли в последний поход. Теперь будем идти до устья речушки Меун. Там начало трассы. Мы должны протянуть линию в сто километров: это протяженность нашего участка между второй и четвертой партиями.

Вокруг солнце, сверкающая быстрая вода, зеленые берега. Плыдем... Мне трудно передать то состояние, какое я испытываю. Но мне очень хорошо.

Постепенно воздух начинает синеть, а это уже подвечерье. Небо из синего делается пепельным. От берега на воду ложится черная тень. На халке горит фонарь. А катер идет и идет. Постукивает мотор. Я сижу в каюте на вещах. Хорошо дремлет под стук движка, когда тебя покачивает на воде.

Разбудили громкие голоса. И тут же стало тихо. Светало.

Катер стоит у берега. Дальше он не пойдет. Надо быстрее разгрузить его и халку.

— Старшину, что ли, вспомнить, — глядя, как рабочие таскают с халки на берег по узкой доске мешки, сказал инженер Зацепчик. — Давайте поможем.

Мы с Колей Николаевичем взойшли на халку, подставили под мешки спины.

— Впрочем, не стоит, — сказал Зацепчик, — иначе рабочие могут подумать, что мы обязаны им помогать. — И ушел.

— Ну и черт с ним, — подкинув мешок, чтобы он лучше лежал на спине, сказал Коля Николаевич. — Тоже мне барин.

Я с ним согласен. Мы работали до тех пор, пока не разгрузили халку. А теперь сидим, курим. Ко мне подошел Мишка Пугачев. У него под глазом синяк, похожий на подкову.

— У вас есть гребцы? — спросил он.

— Пока еще нет.

— Теперь, говорят, на лодках пойдем. Возьмите меня.

— Хорошо, я поговорю с начальником партии, — ответил я, а сам подумал: «Надо бы Баженова и Первакова взять». — А кто это угостил тебя?

— Баццлла, — нехотя ответил Мишка. — Любит сказки слушать. Пока не уснет, чтоб я говорил ему... А я не захотел. Вот он и побил. Только вы не вмешивайтесь, а то он еще хуже сделает.

Я иду к Костомарову. У костра на корточках сидит Баццлла. Он азартно рассказывает рабочим:

— Меня на пересылку. Там два рыжих клыка выломал у штымпа.

— Это что ж такое? — спросил Баженов.

— Золотые зубы, — небрежно пояснил Нинка.

Меня обратно на штрафную, век свободы не видать. Триста граммов хлеба и кружка воды. Доходить стал. В команду выздоравливающих свезли. Лагерным придурком определился. Ночью к бабе хожу. Житуха! Век свободы не видать. Накрыв хазу. Шмотки загнал барыге. Спирту — во! Засыпался. Опять прошкандыбал на штрафную. Заигрался. Пошел на пальчик. Не вышло. Во! — Баццлла показал руку, на указательном пальце не было фаланги. — Отрубил. Ха!

— Господи Иисусе, — проговорил Баженов, — эх как ты изварначился...

— Что сказал, гад? — повернулся к нему Баццлла.

— Ничё, — оробело отнекнулся Баженов.

— Смотри, а то глаз вырву! — На губах у Баццллы закипела слюна, гипловатые зубы оскалились. Он быстро взглянул на меня. Глубоко посаженные его глаза сошлись к переносью так близко, что у меня начало ломить в висках. — Чего, начальникек, смотришь?

Я ничего не ответил и быстро пошел к Костомарову. Вслед

мне донеслось гундосое: «Всю я рожу растворожу, зубы на зубы помножу...»

— Зачем ты взял Бациллу? — сказал я Соснину. Он стоял рядом с Костомаровым.

— Так падо,— сразу ответил Соснин.— Он верхушка. Ему все подчиняются, все боятся. Уважь его, и все остальные будут работать. Прицел точный.

— Не нравится мне ваш прицел,— сказал Костомаров,— но пока не вмешиваюсь. Что вам?

Я попросил к себе Баженова и Первакова гребцами.

— Где же вы раньше были? Первакова я взял себе, а Баженова — Лыков.

— А кого же мне?

— Выбирайте сами.

Я взял вольнонаемного рабочего Афоньку и Мишку Пугачева. Мишка был рад, но я досадовал на себя за то, что упустил тех, кого хорошо знал и к кому успел привыкнуть.

Всю ночь лил дождь. К утру перестал, но небо было серым, непроницаемым.

...Дует ветер, подымая на Элгуни волны. Катер уходит обратно.

— Счастливейший путь, капитан,— говорит Костомаров.

— Счастливейший и вам. Отличной работы, благополучного возвращения,— говорит капитан.

Катер оттягивает от берега халку и, взбурлив воду, выходит на середину.

— Прощайте! — доносится из рупора.

— Прощайте! — Я машу кепкой.

Катер пабирает ход, сворачивает за кривун... И все... И нет ничего, кроме серой быстрой воды. И становится как-то неуютно. Но тут же глухо раздается выстрел, и через минуту к нам подходит Покенов. Он протягивает Костомарову рябчика:

— Возьми, пачальник...

Так начинается жизнь в тайге.

Первый день у нас уходит на то, чтобы равномерно распределить на все лодки груз. На другой день утром Костомаров дал мне задание пройти берегом, изучить реку. Я понимаю: он знакомится со мной, испытывает. Что ж, ладно. Я пошел.

Тайга начинается сразу же после палаток. Густущая трава доходит до пояса. Под ногами валежник, как-то ямы. Комарья невпроворот. На пути попадаются огромные колоды. Я взбираюсь на одну из них и проваливаюсь, подымая желтое облако. От великана осталась только кора, наполненная сгнившей древесиной. Все время идти берегом нельзя: попадаются ручьи, протоки, их надо обходить, и невольно все дальше отклоняешься от реки.

И все гуще тайга. И становится уже не по себе. А тут еще на берегу протоки стоят наклонно ели и сосны, того и смотри — рухнут. Вся протока завалена нагроможденными деревьями. Перейти на другой берег просто невозможно, и приходится все дальше углубляться в тайгу. И все труднее, куда ни ступлю — вода. Откуда она берется? Надо обратно. А воды все больше и больше. И все гуще завалы из деревьев. Но вот полянка. Но какая мрачная. На ней, как телеграфные столбы, стоят умершие деревья. Прислушался. Тишина. Какая-то мертвая тишина... Не сразу я вышел к лагерю. Еще около часа плутал, прежде чем забелели палатки. Костомаров меня ждал.

— Я не смог с берега установить путь по реке. Много проток, они отжали меня от Элгуни, — сказал я.

— Не заблудились?

— Немного.

— Хорошо.

— Что хорошо?

— То, что вы не боитесь говорить правду.

Вечером вся наша стоянка утонула в тумане. Он так густ, что палаток совсем не различить, а костер так тускло мерцает, будто его закрыли десятком матовых стекол.

За ночь Элгунь еще больше поднялась.

— А что, если нам на ту сторону перебраться и там идти? — спрашивает Костомаров Поконова.

— Однако нет... вода большой. Давай сюлюкать...

«Сюлюкать» — это пить чай. Костомаров улыбается. Он знает — Поконов готов «сюлюкать» день и ночь.

— Ирина, вы сможете перевезти меня на ту сторону? — видя Ирину в оморочке у берега, спросил Костомаров.

«Оморочка» — от слов «омо рочи» — один человек. Это легкая берестяная лодка на одного человека.

— Садитесь. — Ирина легко взмахнула веслом и направила оморочку к Костомарову.

Он стал осторожно садиться.

— Вы боитесь? — спросила Ирина.

— Ну что вы... — ответил Костомаров.

— Совсем не боитесь?

— Конечно.

Тогда Ирина нарочно качнула в сторону, и оморочка чуть не захлебнулась. Костомаров ухватился за борта.

— Осторожно! — крикнул он.

— Так вы же не боитесь!

— Не валяйте дурака!

— Какого дурака? — Ирина еще сильнее накренила оморочку и вместе с Костомаровым полетела в воду.

— Это вы нарочно сделали? — стоя по пояс в воде, спросил Костомаров.

— Конечно,— ответила Ирина и поплыла к берегу.— Тася, дай руку!

Тася протянула ей руку, и тут же оказалась рядом с ней в воде. Это ее сдернула Ирина. Хохот стоит над берегом. Смеются рабочие, смеется Коля Николаевич, смеюсь я. Но Кириллу Владимировичу все это, наверно, мало нравится.

— Вы бы ваши шуточки приберегли для кого другого,— вылезая на берег, сказал он.

— Что, с вами шутить нельзя, потому что вы начальник? — спросила Ирина.

— Да, и поэтому,— сердито ответил Костомаров, но, видимо, понял, что в таких историях нельзя быть серьезным, подошел к Ирине, схватил ее и, легко подняв, бросил в воду. Ирина ушла с головой, вынырнула и весело закричала:

— О-сё-сё!

— О-но-но! — сказал ей Костомаров и пошел в палатку переодеваться.

Ирина подплыла к берегу.

— Аркадий, дай руку! — крикнула она Лыкову. Он стоял рядом со мной и смотрел на нее.— Ну дай же!

Он повернулся и пошел в сторону. Я подал Ирине руку. Она вылезла на берег и недоуменно посмотрела вслед Лыкову. Мокрое ситцевое платье плотно облегло ее округлые плечи, высокую грудь. С волос стекала на щеки вода.

— Аркадий! — крикнула она и побежала за ним.

Элгунь за сутки поднялась еще выше. Теперь уже подбирается к палаткам. Так или иначе, а надо сниматься.

— Приготовиться к отъезду! — дал команду Костомаров.

По берегу забегал народ, зазвенели котелки, ведра. Лодки, одна за другой, под команду Соснина: «Марш, марш! Зрело, зрело!» — стали отходить от берега.

Итак, у меня гребцами — Мишка, Пугачев и Афонька, мужик лет тридцати, чубатый, косящий на левый глаз. Мы везем три мешка муки и личные вещи. Впереди на оморочке Покенов, за ним Костомаров. Я иду пятым. Вдоль берега тянутся тальники. Они в воде. Там, где течение особенно сильное, мы хватаемся за ветки и протаскиваем лодку. И все идет хорошо, но черт дернул Бациллу выскочить вперед. Он захотел всех обогнать, отъехал от берега, и тут же течение мгновенно завернуло нос лодки и потянуло назад. Гребцы не успели задержать ее веслами, и она налетела на борт ближней. Раздался треск. На эти лодки налетела другая, на нее следующая, четвертая, пятая, и еще, еще... Крики, ругань, яростные взмахи веслами. И всех громче орет Бацилла. Голова у него повязана красной косынкой,— видимо, он из себя корчит

пирата, — хрящеватый, острый, как ребро ладони, нос согнут, из орущего рта летит во все стороны слюна...

Кос-как разобрался и пошел дальше.

Жарко. Потные, с раскрытыми воротами рубах, облепленные комарами, мошкой, залезающей в рот, в уши, в нос, мы продвигаемся вперед метр за метром. Так продолжается долго... Идем без отдыха до вечера. В сумерках ставим палатки. В темноте едим. И спать... Из-за сопок поднимается багровая луна. Глухо шумит Элгунь. Вода прибывает.

Утром водомерный столб показал 19. Это значит, на девятнадцать сантиметров поднялась вода. Мутной, желто-грязной стала Элгунь. Солнце тусклыми бликами отражается на ней, не ослепляя глаз. Вода катится кругами, нарастая, расходясь в длинные полосы, как бы наслаивая одну на другую.

Костомаров подошел к своей лодке. Перваков затягивает канатом мешки. Второй рабочий, лысоголовый Вайя, стоя спиной к начальнику партии и, конечно, не видя его, наблюдает.

— Да не завязывай дуже, чему тонуть — тому так и быть, чему плыть — выплывет, — говорит он.

— Недолго закрепить, зато душа спокойна, — побряхтывая, отвечает Перваков, натягивая канат так, что трещат борта. Тут он заметил начальника партии, отер со лба пот, спокойно посмотрел на него.

— Готово? — спросил Костомаров.

— Иначе и быть не может, — лихо ответил Вайя, сгоняя с носа лысины паута, — у нас как начал, так и кончил. Нам январь, февраль не надо, нам получку подавай.

Костомаров не посмотрел на него, он ждал, что скажет Перваков. В каждой изыскательской партии есть такие рабочие, на которых можно смело во всем полагаться. Они получают столько же денег, сколько и остальные, едят из одного котла со всеми, но резко отличаются от всех. Что бы они ни делали, делают всегда прочно, с мыслью, с любовью. И счастлив тот изыскатель, которому достанется такой рабочий.

Перваков внимательно осмотрел груженую лодку, поправил брезент, прихватил его свободным концом веревки и только тогда ответил:

— Можно трогаться.

А Элгунь набухает. Ее вода подымается на глазах. Прибрежные деревья стоят по пояс. Это по одну сторону. А по другую, там, где обрывистые берега, вода с глухим шумом размывает серые суглинки. Тяжелые глыбы вместе с высокими лиственницами срываются в реку. Течение подхватывает деревья, несет их, кружит и выбрасывает на кривунах, образуя большие завалы.

Лодки идут вдоль обрывистого берега. Впереди Покенов. Он легко гребет двухлопастным веслом, сидя на дне оморочки. В по-

гах у него собака. За ним, как всегда, Костомаров. За Костомаровым весь караван.

Вперед, подняв столб желтой воды, упала подмытая сосна. Поконов тонким голосом закричал:

— Ходи нельзя!

Сосна, мерно покачивая ветвями, словно прощаясь, проплыла мимо Костомарова. Ее толкнул шестом лысоголовый Вайя, и сосна пошла быстрее. Поконов махнул Костомарову рукой и направил оморочку на другой берег. Но Кирилл Владимирович остерегся туда переплывать и дал команду тянуть бечевой. Рабочие достали канаты, взобрались на берег и, обходя деревья, стали тянуть лодки по-бурацки.

Лыков догнал лодку Ирины и, держась за борт, стал о чем-то разговаривать.

— Лыков! Покровская! Сколько раз буду говорить, — строго сказал Костомаров и откинул с лица накомарник. — Сейчас же по местам!

Лыков засмеялся, что-то сказал Ирине и отпустил борт лодки. Ирина взглянула на Костомарова, похожего в своем накомарнике на пчеловода, и тоже засмеялась.

Прошли бечевой еще не меньше километра, но уперлись в марь. На ней растет «пьяный лес». И верно, лес как пьяный — в разные стороны клонятся деревья, много уткнувшихся в землю. Тогда Костомаров велел перебираться на ту сторону. Далеко против нас на песчаной косе виднелась маленькая фигурка Поконова.

— Остерегайтесь плывущих деревьев! — крикнул Костомаров и направил лодку против течения.

Лыков опять подъехал к Ирине.

— Кирилл Владимирович-то не велел ставить лодки рядом, — сказал Баженов.

— Да, да, ты, как всегда, прав, — ответил Лыков, не глядя на Баженова: он следил за лодкой Костомарова.

— Бонгесь, Баженов? — спросила Ирина.

— Умирать-то за всяко-просто кому охота... Вон как емко их несет. Тут надо зорить да зорить...

Тетрадь девятая

Лодку Костомарова несло как скорлупу. Гребцы отчаянно махали веслами. Сам Кирилл Владимирович согнулся в дугу. Их сносило. Сносило здорово! Лыков, сощурился глаза, следил за его лодкой. За время пути я успел, как мне кажется, разобраться в нем. Он любил покрасоваться, быть лучше других. И сейчас, наверно, прикидывает, как сделать так, чтобы лодку почти не снесло. Тем более что лодка Костомарова чуть ли не на

полкилометра ткнулась ниже того места, где стоял Поконов. Теперь очередь переправляться Коле Николаевичу. Гребцы подняли весла. Коля Николаевич кивнул головой. Весла упали на воду, и лодка быстро пошла к середине. Но не дойдя, круто свернула и понеслась вниз по течению. Она летела так быстро, будто у нее было двадцать подвесных моторов. Быстрину Коля Николаевич пересек под острым углом и спокойно пристал к берегу.

— Сначала взял хорошо, но потом струсил,— сказал Лыков.

— Ты думаешь, он струсил? — спросила Ирина и посмотрела на Лыкова большими веселыми глазами. (У нас все чаще поговаривают, что они скоро поженятся. Эти слова я пишу с горечью. Я не понимаю, почему она должна любить Лыкова? Не понимаю...)

— Я уверен, что он струсил.

Баженов умоляюще посмотрел на Лыкова.

— Так бы и нам плыть-то,— сказал он и судорожно дернул острым волосатым кадыком.

— Да, да, ты, как всегда, прав, Баженов,— ответил Лыков и тронул Ирину за руку.— А речонка действительно разыгралась.

— Если буду тонуть — спасай,— смеясь, сказала Ирина.

— Тогда я с тобой ильву. Удобнее спасать,— ответил Лыков.

Но тут вмешался Зацепчик.

— Я попросил бы вас быть несколько серьезнее,— сказал он.— Не забывайте, что могут быть несчастные случаи.

— Совершенно правильно,— глухим голосом заметил Поконов.

— Счастье и смелость! — сказал Лыков и толкнул лодку Ирины.

Она пошла тем же путем, что и лодка Коли Николаевича.

— Нет, я так не пойду,— прищурился Лыков,— я перережу горло этой речонке под прямым углом.

— Так бы и нам плыть,— сказал Баженов.

Лыков ничего не ответил.

— День-то какой парун,— чуть ли не простонал Баженов и страдальчески улыбнулся.

Костомаров взмахнул платком. Теперь моя очередь переправляться. Если говорить откровенно, то и мне хотелось так переплыть Элгушь, чтобы не потерять ни одного пройденного метра.

На середине реки дул сквозной ветер. Его несло, словно по коридору. Мишка Пугачев греб, стиснув зубы и закрыв глаза. Афонька дышал хрипло и тяжело при каждом рывке весел. Он неотрывно глядел мне в глаза, по ним определяя: опасно или нет? А я глядел поверх рабочих, наметив на противоположном берегу точку, которая находилась много выше приставшего к песчаной косе Костомарова, и не выпускал ее из виду. Она быстро приближалась, превращаясь из черного пятна в корягу. Я уже миновал середину, и теперь на коряге легко можно было различить

застрявшие в корнях валуны. Стало быстро сносить. Я еще круче поставил лодку. И мы благополучно ткнулись в берег... рядом с Костомаровым. Значит, как ни хитри, реку не перехитришь.

Кирилл Владимирович снова взмахнул платком. От берега отделилась лодка Лыкова. И сразу же стало ясно, что он мудрит. Он поставил лодку поперек течения. Ее чуть не опрокинуло волной. Тут надо бы ему сменить угол, но он не захотел. Лодку еще раз ударило волной. Неожиданно метрах в пяти от нее всплыло дерево. И то, чего боялись, свершилось. Лодка налетела на дерево и перевернулась. На просмоленном днище ярко вспыхнуло солнце. Кружась, как в хороводе, поплыли вокруг лодки ящики, мешки с мукой, чемоданы. «Спасит...» — разнесся оборванный водой крик. И тишина.

— Разгрузить лодку! — крикнул Костомаров.

Но он мог бы и не приказывать. Рабочие уже сбрасывали груз, толкали лодку с косы в воду.

Костомаров вскочил на корму. Я на нос лодки.

Когда мы уже отплыли от берега, в воду вбежала Ирина.

— Назад! — крикнул Костомаров.

— Там же Аркадий, — ответила Ирина и полезла ко мне. — Алеша! — просяще сказала она, и я не смог оттолкнуть ее, подал руку.

Она забралась в лодку и тут же забыла про все, неотрывно глядя на плывущего Лыкова. Его несло по самой стремнине. Он плыл саженками, высоко держа над водой голову.

— Аркадий! — крикнула Ирина.

Но он не обернулся. И лодка, и рабочие, и Лыков скрылись за кривуном. Гребцы Перваков и Вайя нажали на весла. Ирина сдернула с себя платье.

Кривун налетел мгновенно, открыв громаду завала. Костер намытых паводками деревьев занимал чуть ли не половину реки. Вода с ревом неслась на оголенные, наваленные друг на друга, ободренные дерьва. С размаху била в них. Ревела, вздымая пену. И, разворачивая воронку, втягивала под завал все, что попадало в ее поток.

Цепляясь за осклизлые бревна, карабкался к вершине завала Баженов. А на вершине уже стоял Лыков. Всегда такие пышные шаровары сейчас липко обтягивали его ноги, мокрые волосы жидкими косицами лежали на висках.

— Аркашка! — и засмеялась и заплакала Ирина.

— Приготовиться! — подал команду Костомаров.

Лодка летела прямо на завал. И не было той силы, которая могла бы отвести ее в узкий проход свободного русла. Рабочие встали, готовясь к прыжку.

Лодка со всего хода врезалась в завал. И я, как пущенный из рогатки, вылетел на бревна. Помнится, даже засмеялся каким-то нервным смехом.

Ирина! вдруг раздался не крик, а вопль.

Это кричал Лыков. Ирины не было. Вода, пенясь, гудела меж бревен. Из водоворота выскочили обломки весла. И тут же скрылись, втянутые воронкой. Потом появилось что-то белое и, растягиваясь, поплыло вниз по течению.

- Платье! Ее платье! — закричал Вайя.

Мне было страшно. Я глядел на Лыкова, ожидая, что он вот-вот бросится спасать Ирину, свою любовь. Но, увидев его широко раскрытые побелевшие глаза, понял, что он ни за что не бросится в воду. И тогда я стал остервенело сбрасывать сапоги, рубаху... Но прыгнуть не успел. Костомаров, вскрикнув, бросился вниз головой в слепящий пенный водоворот.

— Господи Иисусе... спаси и помилуй,— часто-часто закрестился Баженов.

— Пронал человек,— убежденно сказал Перваков.

Я неотрывно смотрел в пучину, видел белую пену, взлетающую большими хлопьями, слышал, как стонала в урочищах завала вода, и думал только об одном: «Неужели она погибнет?» Мне показалось — прошло много времени, прежде чем я услышал крик Баженова:

— Эвои! Эвои они!

И верно, метрах в пятидесяти от нас плыл Костомаров. Одной рукой он подгрребал к берегу, другой поддерживал Ирину. Я сорвался с места и понесся к нему, отлично понимая, что он теперь и без меня справится, и все же не мог бездействовать. На пути попалась заболоченная лужа: не обегая ее, я с размаху врезался и чуть не завяз в густой ржавой жиже. Еле выбрался и побежал дальше, перепрыгивая через валежины, прорываясь сквозь густые кусты. Выбежал в тихую заводинку. По узкой, незатопленной песчаной окоемке обеспокоенно бегал куличок. А в стороне от него сидел Костомаров. На его груди полулежала с закрытыми глазами Ирина.

Что-то бесконечно светлое хлынуло на меня, когда я увидел их. И хотя по-прежнему шумела Элгунь, но теперь в ее шуме слышались веселые всплески воды. Хрустальным звоном они окружили маленькую косу и двух спасшихся людей. Добродушно раскачивались на ветру высокие лиственницы, как бы говоря: «Ну, вот все и обошлось... Для смелых смерти нет. Она приходит к тем, кто слаб. Тайга слабых не любит». Кулик, не боясь людей, стал беспечно прохаживаться по песку, оставляя веточки следов. Из тальников донеслось звонкое цвыркание камышовки. С высокой лиственницы поднялся белохвостый орел. Поднялся высоко, выше гряды сопок, словно открывая мир двоим, продолжающим жить.

Я вышел к ним и остановился, услышав голос Ирины. Он прозвучал слабо.

— Это ты, Аркадий? — спросила она, и на ее губах появилась улыбка.

— Н-нет... Это я, — не сразу ответил Костомаров.

И тут случилось то, чего я никогда не забуду: Ирина порывисто поднялась, всмотрелась со страхом в лицо Кирилла Владимировича и, резко отвернувшись, упала грудью на землю.

Костомаров встал и пошел краем воды. Под его ногами хрустела ветка, но мне показалось — обрушилась гора. Костомаров взглянул в мою сторону и махнул рукой, чтобы я шел за ним.

У ржавой лужи нам встретился Лыков.

— Где она? — спросил он.

Костомаров посмотрел на него презрительно и вскользь, и я понял, что Лыков больше для него не существует. Он вычеркнул его из своего сердца. Вычеркнул и я. Больше он в моем дневнике ни разу не появится.

Когда мы пришли, переправа еще продолжалась. Уже приблились Зацепчик, кухня с Шуренкой и Яковом, Зырянов. Лодки подходят одна за другой. Люди ставят палатки, выгружают мешки, выючные сумки, разводят костры. Жизнь идет своим путем. Шуренка уже хлопочет. Хорошо вдыхать сытный запах прихваченных огнем пресных лепешек. И я вдыхаю его. Хорошо курить и знать, что все в порядке. И я курю! Могла быть смерть, но ее нет. Мог погибнуть прекрасный человек. Но он не погиб! Жив! И я счастлив. И вокруг счастье. С другого конца бивака несется веселый хохот. Так может смеяться только Савеллий Погоняйло, белозубый парнишка с васильковыми глазами. Он смеется над собакой Покенова. Это еще молодой пинна, добродушный и глупый. Прямо на него лезет из травы большой изумрудный жук с рогами на голове.

«Нга! Нга!» — мечется, то прижимаясь к земле, то подскакивая на четырех лапах, щенок.

Жук ползет, поводя своим рогами, как олень.

— Возьми, возьми его, Сулук! — науськивает Савеллий.

Сулук быстро и коротко взглядывает на Савеллия и заносит лапу. Но жук, увидав врага, подымается на задние ноги и раскрывает челюсти. Сулук отскакивает назад, кладет морду на лапы и, не решаясь и всей своей собачьей душой стремясь схватить жука, отрывисто, тонко лает. Савеллий доволен, хохочет до слез.

«Нга! Нга!» Сулук с визгом набрасывается на жука, бьет его лапой. Жук опрокидывается и беспомощно шевелит тонкими волосатыми ножками. Тогда Сулук прижимает его обеими лапами, сует морду. И вдруг вся поляна оглашается отчаянным визгом. Жук ухватил его за нос. Сулук трясет башкой, но ему не освободиться. Жук болтается, впившись ему в нос. И тогда Сулук обалдело несется, полный ужаса, мимо палаток, мимо костров и так визжит, что разноперые кукушки взлетают над лесом.

— Ой, не могу! Ой, не могу! — катается по земле Сарелий.

Но пришла Ирина, и мне уже не весело. Ни на кого не глядя, она скрылась в своей палатке.

— Говоря по совести, я не люблю работать с женщинами, — говорит Костомаров Мозгалевскому, глядя на палатку Ирины, — и то, что в нашей партии две юбки, я воспринимаю как неизбежное зло. Что ж, если девицы учатся на геологов, то, по всей вероятности, должны бывать в экспедициях. Вот случай, когда женская эмансипация идет против дела. Я совершенно согласен с Белинским, только расширил бы его категорическое суждение о назначении женщин. Не то что в литературу, но и на изыскания не допускал бы их. В конечном счете женщина-изыскатель всегда обрывает семью и сидит дома. Я еще ни разу не видел старух изыскательниц. — И Костомаров, вздрагивая плечами, смеется.

— Действительно, — смеется и Мозгалевский.

Мне бы подойти к ним, сказать: «Как вы можете смеяться? Ведь она же страдает. Она потеряла любовь. Разве можно над таким смеяться?» Но я ничего не могу сказать, потому что Костомаров спас ей жизнь.

И опять плыли...

Всходило и скрывалось за зубчатой грядой солнце. Леса то подступали вплотную к реке, то уходили к подножию гор. Иногда река разветвлялась на множество протоков, и трудно было решить, где главное русло. Карта обманывала. Покенов пищал тонким голосом и разводил руками, доказывая, что надо идти только по реке. В одной протоке мы потеряли три дня. Протока оказалась слепой, без выхода. Пришлось возвращаться. Стало еще больше аварий. Не было того дня, чтоб не перевернулась на быстрине чья-либо лодка. Пропало больше половины запаса сахара. Подмок табак. Хорошо, что не тонет мука. Мешки с мукой плавают, как поплавки. У вольнонаемных утонула палатка. Аварии теперь каждый день. А путь еще далек. И чем выше, тем труднее. Скоро начнутся перекаты...

Иногда на быстрине попадают, преграждая путь, полуватонувшие деревья. Всего лучше в таких случаях ехать прямо на них. Течение как бы гасится множеством ветвей, и получается тиховодье. Но обходить его надо осторожно, а то чуть что — и течением сразу швырнет на дерево, а тогда уж наверняка дно вверх.

Пльвем. Иной раз за один взмах весел лодка проходит метров пять, а иногда за десять ударов — один метр.

— Алексей Павлыч, вон, где пузырьки пены, туда не правьте, там самая быстрина, — говорит Афонька, — я эти реки знаю...

Теперь и я их немного знаю. Пльвем. Начинаются скалистые

берега — значит, надо на правую сторону. Переправились. И снова вперед.

Половина третьего пополудни. Причаливаем к маленькой песчаной косе: Привал. Над костром висят три ведра, невдалеке разостлана клеенка, на ней — лепешки, сахар, масло.

И, как уже в обжитом месте, появились вороны. Где только нет этих вороватых птиц! И вот уже ругается Баженов. Стоило ему отойти за полотенцем, как ворона успела схватить с камня розовый обмылок и, тяжело, торопливо махая крыльями, поднялась на ветку старой пихты.

— Вот я ж тебя, заворуйка! — кричит снизу Баженов. — Ты думаешь, мыло в тайге растет? Отдай, черная душа!

Раздается выстрел. Ворона камнем падает к ногам Баженова.

— Го-го-го-го,— смеется Соснин, вытаскивая из ствола пустой патрон.

Через час едем дальше. На другом берегу прижим, здесь тихий плес. Надо сказать, что тихой воды на Элгуни нет, но по сравнению с быстринной на плесе тишина, тут хоть с трудом, но можно вести лодку на веслах, а на быстрине только на шестах, да и то не всегда управишься.

Опять переправа. Опять плес. Опять быстрина. Опять переправа. Уже наступает вечер. Солнце опускается за острую вершину гряды сопок, разливая по ее глубоким впадинам фиолетовые тени. Впереди виднеется коса. От нее подымаются два дыма.

— Вот и привал...

Оба, и Мишка и Афонька, улыбаются. Все же досталось сегодня.

— Алеша,— зовет меня Коля Николаевич,— смотри, что тут есть.

— Да, да, Алеша, тут медвежьи следы,— бежит ко мне Тася.

Я никогда раньше не видал их. Вот они. На мокром песке видны отчетливо. Какие большие. Когти ушли в землю.

— Вот такими если проведет по черепу, сразу скальп снимет,— говорит Коля Николаевич.

— Страшно,— говорит Тася, и глаза у нее становятся большими, круглыми.

А на рассвете случилось вот что.

Медведь пришел пить. Ветер дул ему в затылок, и он ничего не учуял. И только подойдя к палатке Покенова, заметил что-то новое, чего не было никогда. И в ту же секунду раздался отчаянный визг, вой, лай! Это визжал Сулук. Это он выл, лаял, увидев рядом с собой хозяина тайги. Он кинулся бежать, но от страха отнялись задние ноги. Метров двадцать он перебирал передними, уходя от смерти, и все двадцать метров загажены. С ним приключилась медвежья болезнь.

Покенов вышел из палатки, поглядел на следы и убежал. Рабочие кричали ему, чтобы он стрелял, но старик был настолько напуган, что даже не отвечал, и только утром важно заявил:

— Моя охота один ходи не могу.

На Сулука без смеха нельзя смотреть. Пробежит несколько шагов и упадет: задние ноги подкашиваются. Покенов хотел пристрелить его, ладно вовремя вмешался Мозгалевский.

И опять плыли...

Как-то после полудня Баженов, гребя, выхлестнул веслом большую горбатую рыбу. Она вяло вильнула хвостом и шлепнулась в воду. В этом месте было мелко. Баженов выпрыгнул, хотел схватить ее и вдруг бросился назад, в лодку.

— Дивно рыбы! — кричал он, карабкаясь на борт.

— Кета идет! — выдохнул Афонька и, оглянувшись через плечо на перекат, ударил веслами. Лодка дрогнула и тягуче пошла вперед. Мишка его понял и тоже всюю начал грести. Все быстрее, быстрее. На волосатых Афонькиных руках тугими валками перекатывались мускулы: дышал он коротко, со всхлипами, широко открывая рот с крупными зубами.

Рванув еще несколько раз веслами, он снова перегнулся через борт. Теперь уже лодка шла перекатом. До дна можно было достать рукой. Афонька прыгнул в воду и подхватил обеими руками плоскую, испятнанную, крупную рыбку. Бросил ее в лодку. Выхватил из воды еще горбоносую рыбку. Мишка метнулся на другую сторону. И к своим ногам полетела третья рыбина. Тяжело плюхнувшись на мостки, она стала биться, открывая рот. Багрово-фиолетовые пятна шли у нее по всему телу. Вокруг лодки творилось невероятное. На мелководье бурлила вода. Заостренные гребни плавников, качаясь из стороны в сторону, виднелись над водой. Рыба шла сплошняком. Отовсюду неслись крики:

— Горбуша!

— Симка идет!

— Кета!

Ее бросали в лодки, словно поленья.

У нас уже все дно было завалено рыбой. Кета подсакивала на мостках, хлестала меня по ногам, из ее живота бледно-красной струей вытекала икра.

— Баская рыбка! — слышался голос Баженова.

— Стой! Сто-ой! — вдруг раздался голос Соснина. Замиячпоз бежал по косе, по всему ряду лодок, и кричал: — Отставить! Соли нет. Зря пропадет. Стухнет. Отставить!

Это верно, соли у нас почти нет. А рыба идет. Сотни, тысячи рыб прут косяком. Они идут в верховья реки на икромет. Идут из моря, бьются на перекатах, ломают плавники. Они ничего не едят. Их много гибнет, не доходит до заповедных мест. Один закон, великий закон продолжения жизни, заставляет наперекор всему двигаться вперед. У самцов брачный наряд: фиолетово-си-

зые пятна, верхняя губа заострена, как клюв. Самки злы, кусают самцов. Самцы от ярости бросаются в стороны, рвут хариусов: касатоқ, чебаков, подбирающих оброненную самками икру. Пройдет немало дней, пока измученная рыба достигнет верховьев реки и выметет икру. Выметет и погибнет...

— А жаль,— вздохнул Афонька и отбросил обратно в реку рыбку,— была б соль, можно на весь год запасться. Дармовая жратва, хошь в соленом, хошь в вареном, хошь в жареном, хошь в вяленом...— Он что-то хотел еще сказать, но меня отвлек голос Ирины.

— Не смей! Как тебе не стыдно! — кричала она.

Неподалеку от нее стоял Баццлла. Он держал на ладони большую рыбку и вычищал из ее брюха в ведро розовую икру. Вычистив, бросил кету обратно в реку. Выскакивая из воды, вихляясь, она пошла вверх. А Баццлла, как из бочки, достал из реки еще рыбку.

— Слышишь! Не смей! — закричала Ирина.

Баццлла искоса посмотрел на нее и вспорол рыбу ножом. Ирина выпрыгнула из лодки, выхватила рыбку из рук Баццллы и ударила его по лицу. Баццлла хотел отшатнуться, но поскользнулся, упал, тут же вскочил и с ножом кинулся на Ирину.

— Баццлла! — закричал Мишка Пугачев.

В какую-то долю секунды я понял, что случится неоправданное, если кто-нибудь не вмешается, не остановит Баццллу. Я подхватил покрупнее рыбку и запустил ею в него. Ишиб! Вскочил он так же быстро, как и упал, и, хитро ослабаясь, ссутулясь, пошел на меня, размахивая ножом.

— Убьет! Убьет! — закричал Мишка.

Но тут Афонька слегка толкнул Баццллу веслом.

— Куда, куда прешь? — проговорил он.

Тетрадь десятая

— Кусок мяса буду, если забуду.— скороговоркой сказал Баццлла.— Права покачаем!

— Вали, вали, не таких видали да через плечо кидали,— закатывая косою глаз, сказал Афонька.— я ведь тоже могу нарочно зашибить насмерть.— И ударил веслом в грудь Баццллу.

— Ладно, гад. Расчет будет! — И, ссутулившись, Баццлла отошел.

За ужином, у костра, Кирилл Владимирович сказал Соснину:

— Баццллу надо отправить вниз.

— Это никак невозможно,— тихо ответил Соснин.

— Не понимаю вашей симпатии к нему. Только из-за того, что он главарь, или, как вы называете «верхушка», и ему все

подчиняются, мы должны держать бандита. Мы едем работать, а не заниматься перековкой соцредов.

— Это я понимаю. Но и отправить его одного, без охраны, никак нельзя,— виновато сказал Соснин.

— Кошмар! — возмутился Зацепчик.— Отправить без охраны нельзя, а чтобы он здесь махал ножом, можно. Я категорически настаиваю на изоляции этого социально вредного элемента! Отправить, и все!

— Нельзя! — подумав, твердо сказал Костомаров.— Соснин прав. В первом же населенном пункте Бацилла займется разбоем.

— Он и у нас в любую минуту может заняться тем же,— почему-то шепотом сказал Зацепчик.

— Ну что вы,— снисходительно глядя на него, ответил Костомаров.— Неужели вы допускаете мысль, что мы с ним не сможем справиться?

И снова плывем...

Скрипят весла в уключинах, гнутся шесты, упираясь в каменное дно. Солнце светит то справа, то слева — так извилисто русло Элгуни. Все чаще стали попадаться завалы. Как трудно их обходить! Прوماхнись шестом, сломайся весло, и течение швырнет лодку на бревна, затянет под завал. У меня в сердце до сих пор та авария, когда чуть не погибла Ирина...

Я часто и много думаю о ней. Я знаю, что люблю ее, но твердо знаю и то, что никогда не осмелюсь ей об этом сказать. Никогда не осмелюсь ее поцеловать. Я знаю, что я не для нее... Мне хорошо, когда я ее вижу. Мне грустно, если ее нет рядом, но я знаю — она есть, и мне уже хорошо. То, что Лыков ее обидел, это плохо только для него. Он обидел мечту, но разве от этого мечта может быть хуже?

Сегодня Ирина подошла ко мне.

— Ты был на завале, когда я тонула? — спросила она.

Я посмотрел ей в глаза. В них не было прежнего веселья. Будто там погасли солнечные фонарики.

— Был.

— Почему же ты меня не спас? Почему спас Костомаров?

— Я хотел, но он опередил меня.

Она горько усмехнулась и стала смотреть на реку.

От Элгуни поднимался туман, другого берега не было видно. И Элгунь казалась бескрайней, как море. К ногам набегали волны, оставляя на сером галечнике желтую пену.

23 июля

Вот уже ночь, а Ирины нет! И нет лодки Бациллы. Мы волнуемся. Через каждые пятнадцать минут я стреляю. Идет дождь,

но на берегу горят костры. Кирилл Владимирович не находит себе места. Я боюсь думать: неужели что случилось с Ирриной? В голову лезут мысли о Бацилле.

— На кой ты черт его взял? — ругаю я Соснина.

Соснин, против обыкновения, молчит.

Коля Николаевич уже охрип от крика. Шуренка плачет.

— Да перестаньте наконец, что вы раньше времени оплакиваете! — кричит на нее Мозгалеvский.

Уже час ночи. Теперь я сам готов плакать.

— С каким удовольствием я переломал бы ноги этим туристам, — сердито говорит Костомаров.

— Однако у вас сердце, — осуждающе заметил Зацепчик. — И вас не тревожит, что люди могут погибнуть?

— Меня тревожит одно: если подобные пикники не прекратятся, я не ручаюсь, что в срок проведу изыскания. Забота о людях — это не сентиментальная штучка, которая может умилять некоторых. — Он сурово посмотрел на Зацепчика. — Не следует думать, что все добрые — непременно полезные люди. Это ошибка так думать. Часто такая ошибка причиняет много бед. Она разоружает. Но все же, кой черт дернул ее оторваться от нас?

Она хотела только хорошего. Быстро проскочить проток, выйти на Элгунь, потом вернуться и указать маршрут, сокращающий путь вдвое. Откуда она узнала про этот проток? Накануне смотрела пленшеты аэрофотосъемки. Только и всего. Нет, она не шла вслепую. Проток должен быть коротким, за ним река. И вдруг вместо реки — озеро. А за ним опять проток. Но не возвращаться же назад. Рабочий — широкоплечий, длиннорукий Иван Цибуля — легко взмахивал веслами. Лодка шла быстро. Вода была спокойной, по ней плыли облака, отражались тонкие стволы берез. Неслышно перелетали через проток кукушки. Было тихо. И неожиданно в эту тишину ворвался подвывающий голос:

Ды-вепадцать лет тыгда мне, братцы, было.
Когда меня принял преступный мир...

К нему присоединился другой, легкий, уходящий ввысь жаворонком:

Волною жизни новой охватило,
Я ревизором стал чужих квартир...

Ирина резко оглянулась. За ней плыла лодка Бациллы. Это он пел подывая, а ему жаворонком вторил Ложкин, молодой, но уже начинающий лысеть парень. Как получилось, что они увязались за ней? Неважно как, но это было неприятно и могло окончиться плохо, если Костомаров заметит исчезновение лодок.

Когда до выхода на реку оставалось не больше ста метров, течение стало усиливаться и впереди показался завал. В узкий проход, пенясь, врывалась вода. Бурлила. Гудела. Цибуля греб с такой силой, что весла гнулись, но лодка еле продвигалась вперед.

— Шест! — выдохнул он. Его лицо и грудь лоснились от пота.

Ирина подала ему четырехметровый шест с железным наколочником. Цибуля вскочил на ноги, ухватился обеими руками за его середину, уперся им в дно. Шест задрожал. Лодка тягуче пошла вперед.

Позади с таким же упорством боролись на лодке Бациллы.

— Раз... еще разик... еще раз,— доносился приглушенный волнением голос Пинки, и неожиданно взлетел полный животного ужаса голос рабочего Ложкина:

— Спасите!

Крутой разворот, и лодка Ирины несется вдогон утопающим людям.

— По-мо-ги-те! — доносится снизу голос Бациллы.

Вот барахтается в тальниковых зарослях Нинка, он уже у берега. Спасется сам.

— По-мо-ги-те! — слабеет голос Бациллы.

Отряхивается на берегу Ложкин. Мокрая рубаха плотно обтягивает его худенькое тело, торчком, словно железные, стоят брезентовые штаны. Лодка Ирины проносится мимо. Она мчит туда, где просит помощи Бацилла. Ольховые и тальниковые заросли сливаются в темно-зеленую сплошь.

Мыс... Излучина... Тихая заводь.

По колено в воде, придерживая одной рукой лодку, другой — сползшие на обвислый зад штаны, стоит Бацилла, сутулый, костлявый. Он истошно орет, запрокинув лицо к небу.

— Чего ты кричишь? — удивленно глядя на него, спросила Ирина.

Бацилла замолчал, пасмешливо посмотрел на Ирину:

— А чего ж делать, если в воду попал?

Савелий Погоняйло коротко хохотнул.

— Ну вот что,— сурово сказала Ирина,— дурачком нечего прикидываться. Гоню лодку к завалу. Надо спасти имущество.

— А может, что еще скажешь?

Ирина выскочила из лодки, подошла к нему:

— А может, ты ударишь меня? Ведь ты хотел ножом ударить. Бей!

Бацилла не выдержал ее взгляда и потянул лодку к завалу.

Ложкин, трясаясь от холода, отжимал штаны. Увидев выходящую из кустов Ирину, растерянно засуетился, прикрыл штанами тощие ляжки. Нинка разводил костер. Ирина остановилась

у края kloкочущей воды, возле потемневших от сырости бревен. Где-то здесь опрокинулась лодка Бацциллы.

— Ребята, надо спасать имущество,— сказала Ирина, подходя к ярко пылавшему костру.

Никто не посмотрел на нее, будто и не слышали, только лысая голова Ложкина подалась ближе к огню.

— Ребята, чего же вы молчите?

Баццилла пошевелил над огнем растопыренными пальцами, повернулся спиной.

— Мы тонуть не желаем,— сказал он.

— Что было в лодке? — спросила Ирина.

— Тю! Мне следователи еще в детстве осточертели,— ответил Баццилла и подошел к Цибуле: — Один раз начальник фаланги не пустил меня к бабе. «Уйду»,— говорю. Он услышал, посадил меня в кандейку. Я бритвой вспорол себе брюхо. Ору. Меня в околоток. Сорок швов. Ночью ушел. С околотка легко уйти — нет охраны, на то и был расчет. Всю ночь провел у бабы. Утром заявился на фалангу. «Зря, говорю, начальничек, не пустил. Зря, говорю, Баццилла брюхо попортил. Когда Баццилла чего хочет, всегда добивается...»

— А зачем ты мне это говоришь? — спросил Цибуля, беспокойно глядя на Бацциллу.

— Если все мои сроки сложить, больше ста лет выйдет. Га! Понял? — И отвернулся.

— Я спрашиваю, что было в лодке?— строго сказала Ирина.— Ложкин, отвечай!

Ложкин начинает быстро-быстро говорить, приплетает много ненужных слов, но все же удается выяснить, что утонуло.

— Надо спасать!

— Видишь, в чем остались.— Баццилла поднял рубаху и показал длинный живот.— Все наши шмотки нафрылись, и то не жалеем.

— Да вы просто трусы! — с презрением говорит Ирина. Она прошла к завалу, разделась и кинулась в воду. Течение подхватило ее, выбросило наверх и прибило к берегу.

Упали первые капли дождя, и сразу, без молний, без грома, хлынул ливень. Встревоженно засвистели вершинами лиственницы. Проток потемнел, накатил волны на песок: шипя, они погасли у ног подбежавшего Цибули.

— Веревку! — крикнула ему Ирина.

Пока он доставал из лодки канат, Ирина отыскала на берегу увесистый валун. Обвязав себя веревкой, кинула конец Цибуле и, прижимая камень к груди, снова вошла в воду.

Ливень нарастал. Рядом разворотила небо прямая, как штык, молния, и не успела погаснуть, как оглушительно грянул гром. Небо стало черным. Еще полыхнула молния, где-то за Элгуницу осветило сопку с четкими тоненькими стволами деревьев. Цибу-

ля стоял под ливнем, по его лицу текла вода, рубаха стала тонкой, сквозь нее просвечивало белое тело. Жесткий канат рывками шел по шершавой ладони все дальше, дальше... Вот Ирина погрузилась по грудь, еще шаг — и видна лишь ее голова с короткими мальчишечьими волосами. Еще шаг. И вода сомкнулась над ее головой, и, переваливаясь, катится волна в том месте, где только что была Ирина. Канат остановился, ослаб, туго натянулся. Ирина всплыла.

— Тяни! — крикнула она.

Цибуля потянул канат, помог ей прибиться к берегу. Из воды показалась штанга.

— Бери!

Цибуля подхватил ее и, тоскуя, сказал:

— О це погане дило, не умию плавать.— Он вытащил штангу, а Ирина снова ушла в воду.

А ливень все сильнее, все чаще грохочет гром. Опять показалась Ирина. На этот раз она достала палатку. Озябшая, усталая, вышла на берег. И тут до нее донесло запах сырого дыма. Поставив лодку вверх дном, рабочие спасались от ливня, сидя под ней, как под крышей. Рядом с ними горел костер.

Ирина подошла к лодке, напрягаясь опрокинула ее. Костер зачадил, зашипел.

— Ай, напрасно, ай, напрасно,— закривлялся Бацилла, сжимая костлявые кулаки,— такой уют нарушить...

— А ну, хватит! — крикнула на него Ирина.— Марш домой! Теперь налегке не утонете!

И, странное дело, Бацилла молча подчинился.

Опасаясь риска, Ирина пошла обратным путем, добралась до прошлой стоянки и уже оттуда стала подниматься вверх по Элгуни.

Это я узнал из ее рассказа Костомарову и от рабочих; Бацилла отмалчивался.

— Ну вот что,— сказал Костомаров Ирине. Голос у него приглушен, и зрачки от сдерживаемого гнева то сокращаются, то расширяются.— Еще раз провинитесь, будете отправлены вниз.

— Этого никогда больше не будет,— неожиданно покорно и тихо сказала Ирина.

Я вышел вслед за ней из палатки. Плотный туман лежал на реке, звероватый гуд доносился от ближнего переката, вся коса словно висела в зыбком молочном воздухе, и в нем, как дикие камни,— палатки.

— Ты что, испугалась его? — спросил я Ирину.— Думаешь, и верно отправит вниз?

Она остановилась, внимательно посмотрела на меня:

— Ты ничего не знаешь, Алеша. Спокойной ночи...— И ушла. Ничего не знаю... А что надо мне знать? Верно как-то сказал Коля Николаевич: «Ирину не сразу поймешь». И все же обидно. Вот если бы теперь подвернулся случай спасти ее. Черта с два я бы упустил его. И как это тогда получилось, что Костомаров опередил меня? Ну ладно, спать, спать! Ночная птица кричит: «Киу-киу». Значит, пора на боковую...

Утро, как и всегда, началось обычными делами: сбором палаток, погрузкой лодок, завтраком. На берегу уже весело полыхал костер. Он облизывал большой чугунный котел, в котором обычно варили кашу, заправленную мясными консервами.

Уже взошло солнце, и туман, клубясь, словно попыхивая из гигантской трубки, стал быстро подниматься к небу, сгущаясь в облако. На высоте его подхватило сквозным ветром и погнало за реку, в таежную глушь.

Вышел из палатки Мозгалеvский. На плече у него махровое полотенце. Освещенная солнцем, прикрывая рукой глаза, прошла к реке Ирина. Стала мыться неподалеку от меня. Рядом с ней расположился Соснин:

— Видел сон, будто я на учебных артстрельбах и нами командует Зырянов. Я ему говорю: «Ты же буровой мастер». А он мне: «Я, говорит, сейчас из тебя сделаю снаряд». И тянет ко мне руки. Проснулся в холодном поту.

Ирина словно и не слышала его. От воды ресницы у нее стали еще чернее, они прикрывают потемневшие, грустные, без веселых искорок глаза.

— Да брось ты переживать,— сердито сказал Соснин.— Был бы Аркашка парень, а то слизник какой-то. Его в артиллерию, сразу сделали б человека!

Ирина слабо улыбнулась и сказала:

— Ты стал совсем рыжим, Соснин. Тебе не очень жарко?

— Готов сгореть, лишь бы ты улыбалась. Го-го-го-го! Главное — не унывать! Ни на минуту. Иначе гибель. Не унывать!

Ирина засмеялась. И вдруг все нарушилось.

— Ограбили! Ограбили! — кричал Вайя, носясь по берегу. Он махал длинными руками.

Рабочие выбегали из палаток, смотрели на него. Вышел и Костомаров.

— Замолчите! — крикнул он.— Кто вас ограбил?

— А я знаю? Костюм был в елочку, денег триста рублей, баpетки желтые. Все накрыли!

К Костомарову подошел Зырянов.

— Заключенные Пугачев, Ложкин и Нинка сбежали,— сказал он и улыбнулся так, будто осуждал кого-то другого, только не их.

— Сбежали? — скорее удивленно, чем гневно, спросил Костомаров.

— На лодке сбежали, — сказал Зырянов. — Вернее, уплыли.

— Так это ж они мое и уворовали, сволочи! — завопил Вайя.

Поднялся шум. Каждый стал проверять свое имущество. Выяснилось, что вещи пропали не только у Вайи, пострадали и Перваков, и Афонька, и Погоняйло, даже у Баженова пропала новая рубаха.

— Вот тебе и Мишатка Пугачев, а ведь такой ласкобай, — покрутил головой Баженов.

— Устацуйте, что пропало из казенного имущества, — приказал Костомаров Соснину.

— Есть! — козырнул Соснин и побежал проверять.

Я все это видел, все слышал и стоял как оглушенный. Я ничего не мог понять. Мишка Пугачев, этот хороший парень, хотя и осужденный за воровство, но честный, бескорыстный, совершил такое злое дело? Как же тогда верить людям?

— Помню аналогичный случай на кавказских изысканиях. Так там так обчистили, что одни палатки остались, — посмеиваясь, сказал Зацепчик. У него все цело. Поэтому он и спокосил.

— Из казенного ничего не обнаружено в отсутствие! — доложил Соснин.

— Что, все цело? — спросил Мозгаевский.

— Так точно!

— И сказали бы так, а то черт знает, и не поймешь сразу...

— Сзовите рабочих, — велел Костомаров.

— Есть созвать рабочих! — Соснин побежал к палаткам.

Через десять минут все рабочие были в сборе. Костомаров пристально всмотрелся в лицо каждому.

— Вот что, — сказал он, и голос у него стал жестким. — Мы едем выполнять большое, нужное стране дело. В этом глухом краю пройдет железная дорога. Для нее мы должны изыскать трассу. Нам эту работу доверила партия. И никто не сорвет нам это ответственное задание. — Он помолчал и продолжал еще более сурово: — Здесь нет милиции, нет суда, но здесь мы — коммунисты! И мы сумеем справиться с теми, кто будет нам вредить! Сегодня сбежали трое. Украли у наших товарищей вещи. Они будут пойманы. Но не о них речь. Я спрашиваю, есть среди вас такие, кто не хочет работать? Говорите! Я отпущу. У нас впереди большой путь, и только честные, сильные будут нужны.

Он замолчал. Молчали и люди. И вдруг, впервые за все время пути, я понял, какое же на самом деле большое и ответственное дело выпало и на мою долю. Только честные, только смелые, только сильные нужны изыскателям.

— Что ж вы молчите? — спросил Костомаров.

Молчали.

— Никто или притаились?

— Да что ж это вы, товарищ начальник, так с нами говорите,— подымаясь с корточек, сказал Перваков.— Если сбежала сволочь, так, по-вашему, и все остальные вроде них, что ли? Как же так можно грязнить всех... Внезапно он замолчал и растерянно оглянулся.

С реки доносилась песня, веселая воровская песня:

А через речку, а через Волгу,
А скоро мост построятся.
А разрешите, а уркаганы,
А с вами а познакомьтесь!

Пел Нинка.

— Едут! — закричал Соснин и захохотал.

Прозвонило замешательство. Кто-то протяжно свистнул. Все подошли к берегу.

— Э, стой! Куда? Ребята! — закричал Перваков.

Все оглянулись и увидели Вайю, пробиравшегося к палаткам. Вайя остановился. Глядел исподлобья, растерянно улыбался. На него смотрели враждебно и холодно.

— Чего вы, ребята? Хотел за табачком сходить...

— Успеешь, сходишь,— глухо сказал Афонька и встал с ним рядом.

Лодка пришла к берегу. Мишка выскочил первым. Виновато улынулся:

— Думали, быстро обернемся, успеем до отъезда, а задержались. Глубоко там... Вот ящик и трубы достали...

Нинка подошел к Ирине и, ставя у ее ног теодолит, сказал:

— От трюсов.— И подмигнул.

— Заело, — сказала Ирина и засмеялась. — Спасибо, ребята!

Соснин был очень доволен Нинкой. «Прицел точный», — похотывал он.

А через несколько минут происходила иная сцена. Били Вайю. В его мешке нашли все украденные вещи. Он первым обнаружил, что нет Мишки Пугачева, Нинки, Ложкина, и решил, что они сбежали. И под их марку украл тряпье у своих товарищей. Били его молча. Баженов не рукоприкладствовал, простил. Но не простил Костомаров. Он дал ему расчет и в тот же день отправил вниз.

12 августа

...Караван продвигался вдоль правого берега, вилотную поджимаясь к высокому утесу. Вдали зеленые, словно одетые в бархат, сопки. Тихо. Но с прежней яростью мчит свои воды Элгунь. От дождей все выше вода.

За утесом Элгунь отделила от себя проток. Только мы хотели свернуть в него, как раздался крик. Я увидел в воде Зацепичка.

— Гребни! — крикнул я и, повернув лодку на середину, взмахнул веслом. Высокий вал с размаху ударился в борт и, плюхнув-

шись на дно, чуть не затопил нас. Афонька в замешательстве закатил глаза под лоб. — Гребите! — снова крикнул я. И лодка пошла прямо на Зацепчика. Я подал ему с кормы руку и втащил в лодку. И тут же увидел подпрыгивающий на быстрине мешок. — Гребите!

— Давайте к берегу! — закричал Зацепчик.

Но я стал тащить мешок в лодку.

— К берегу! — завопил он.

— Втащивай! — закричал я Афоньке. И мы втащили. — Гребите! — И опять на быстрину. Догнали чью-то фуражку. «Откуда же фуражка? Чья это?»

— Моя фуражка! — закричал Зацепчик. — Сейчас же подымите фуражку!

— Только не командовать! — сказал я.

Он было нагнулся, но лодка качнулась, и Зацепчик в страхе отпрянул назад.

— Черт с ней, — сказал он. — Ищите чемодан...

— Что? — На него неприятно смотреть. Он посинел, трясется.

— Чемодан ищите... Вернее, лодку. Чемодан привязан к ней.

— А что еще было?

— Это не имеет значения. У меня чемодан, в нем все...

— К берегу, к берегу, — машет нам рукой Мозгалеvский. Он стоит на маленьком островке — с одной стороны Элгунь, с другой — проток. Островок гол: ни травинки, ни куста.

Мы пристали к берегу. Мозгалеvский, плотный, в черной кожаной куртке, напряженно смотрел в бинокль.

Подошла лодка Соснина. Скрежеща, вползла на берег. Помначпохоз, стоя, сказал:

— Ваша лодка, Тимофеев Николаевич, обнаружена.

— А чемодан? — сразу взбодрясь, спросил Зацепчик.

— Лодка под корягой. Глубоко. Поедемте, нырнете...

— Что вы! Я не могу. Я и так уже себя плохо чувствую... Там у меня есть бутылка водки. Тому, кто достанет чемодан...

Я видел, как Бацилла отозвал Мишку Пугачева, и через минуту Мишка уже говорил:

— Я поеду.

Мы быстро мчимся вниз. Спустились на километр и остановились у большой черной коряги. Рядом с ней торчит из воды корма лодки Зацепчика. Подъехали к ней, держась за корягу, стали подымать утопленницу. Вода ревет в корнях коряги, обдает нас брызгами и, урча, проносится дальше.

— Сначала надо достать вещи, а то ломаем лодку и все пропадет. Миша!

Вода холодна. Свеж вечерний воздух.

Мишка Пугачев разделся. Опустился в воду меж лодок. Нырнул. И скоро показался.

— Есть чемодан. Давайте веревку...— И опять ушел в воду. Теперь его не было долго. Вынырнул.— Дайте нож, у него привязан... не развязать...— И снова скрылся с ножом. Прошло не меньше минуты, и Мишка, цепляясь за борт руками, вылез из воды.— Тяните.

И вот чемодан показался из воды.

— Григорий Фомич, там водка есть, мне ее,— сказал Мишка, трясясь от холода. Он сидел скорчившись.

— Хорошо. Что есть еще в лодке?

— Сейчас посмотрю,— и Мишка опять нырнул.— Больше ничего нет,— еле выговаривая синими губами, сказал он, появляясь из воды.

Стали тащить лодку, но сразу же поняли: бесполезно, нос лодки был разворочен.

— Ремонт исключен,— определил Соснин, пуская лодку на волю реки, и, подумав, многозначительно проговорил: — Там бабушка в кожаном кресле, как изваянье страшна, слепая, сидит без движения, и слова не молвит она.

— Что это за стихи? — удивленно спросил я.

Тетрадь одиннадцатая

— Мои. Марш! Марш! В обратный путь! Зрело! Зрело!

Я решил обязательно поговорить с ним. Если он пишет стихи, даже такие странные,— это интересно.

— Итак, товарищ Зацепчик Тимофей Николаевич, радуйтесь. Ваш чемодан спасен,— сказал Соснин, как только мы приблизились к берегу.— Благодарность можете объявить юноше Пугачеву.

Зацепчик кинулся к лодке, схватил обеими руками раздутый от воды чемодан и потащил его, сгибаясь, к палатке.

— У вас там водка, отдайте ее,— сказал Мишка.

Зацепчик промолчал.

— Тимофей Николаевич...

— Не дам,— помрачнел Зацепчик.

— Вы обещали...

— Отстань!

— Нехорошо,— вмешиваюсь я.— Ведь это он лазал в холодную воду, да еще на быстрине...

— Вы что, хотите спонть рабочих?

— Да вы с ума сошли!

— Вы не смее так разговаривать со мной! Я инженер, и извольте мне подчиняться!

— Обманщику — никогда!

— Коренков! Коренков! — кричит Мозгалевский.— Сейчас же ко мне! — И когда я подошел: — Я вам запрещаю так разгова-

ривать с инженером. Вы младший техник и не должны забывать этого.

— Даже если он не прав?

— Да. Даже если он не прав.

— Субординация, — пожав плечами, сказал Коля Николаевич. — Скорее ринись, Алеша, в начальники партии, тогда будешь всем командовать и наводить справедливость.

— Покончим с несправедливостью, — сказал Соснин, появляясь с бутылочкой в руке. Не надо было обладать великолепной памятью, чтобы вспомнить о той самой бутылке, которую в свое время Коля Николаевич заполнил водой. — Смелчаку и справедливости всегда иду навстречу, — важно сказал Соснин. — Зовите его.

Коля Николаевич смотрел на него и затаенно улыбался.

Пугачев прибежал с кружкой. Вслед за ним пришелся Баццлла. Соснин щедро наполнил половинку кружки из своей бутылки.

— Пей!

— Я тут не буду... — сказал Мишка. — Я в палатке...

— Буду поощрять и впредь благородный подвиг, — сказал Соснин, удерживая за рукав Баццллу. — А вот вы, — это он уже говорил ему, — могли бы тоже заслужить мою благодарность, но не оправдали доверия. Впрочем, все впереди.

— Ладно, ладно, борода. Авось и мне отколетса, — благодушно сказал Баццлла и исторопливо пошел к палатке заключенных, где находился Мишка.

А спустя короткое время Мишка стоял перед Сосниным. Он закрывал рот рукой, но все равно кровь протекала у него сквозь пальцы.

— Что такое? — кричал Соснин.

— Нате, нюхайте, — неожиданно зло сказал Мишка и сунул Соснину кружку. — Зачем обманывать-то? Вода ведь...

Соснин недоуменно взял кружку, понюхал ее. И рванулся к своей палатке. Вышел оттуда растерянный. В руках у него была бутылка.

— Кто же это?.. Кто? — горько улыбаясь, сказал он.

Ладно, что ему было не до меня. Но все же на всякий случай я отвернулся. И увидел Баццллу. Он стоял неподалеку и криво усмехался, глядя на Мишку Пугачева. Коля Николаевич стоял потупившись.

Бледно-голубое, чистое, свежее небо, и по нему — барашки облаков. Будто мылось оно, да не всю пену смыло. После пасмурных дней радостно видеть солнце! Но снова пошли тучи. Затянуло все. На соседней сопке, в гуще деревьев, как собаки, лают вороны. Пасмурно и холодно. Высоко кружатся два орла. Вдруг

один из них падает камнем, исчезает и минуту спустя взмывает вверх, плавно опоясывая невидимыми нитями вершину сопки. Дует ветер.

— Инда-бира-бей! Инда-бира-бей! Взяли! Взяли! — кричит кто-нибудь простуженным голосом, и люди, до предела напрягаясь, сволакивают на полшага по каменистому дну тяжелую лодку... Нескладные наши лодки. Пусть плоскдонные, пусть с заданными носами, но какие тяжелые, какие неуклюжие!

Впереди всех, толкая лодку обеими руками в корму, раскидывая брызги, до пояса мокрый, бороздит воду Костомаров. Его светлые волосы раздувает ветер. Днище лодки скрежещет о гальку. По ногам, как мелкая рыбешка, бьются окатанные камешки. Перекат. Как он выматывает силы! Воды по щиколотку, а люди мокрые по грудь.

— Инда-бира-бей! Инда-бира-бей! Взяли! Взяли!

Пять километров в день, больше не пройти. И то еще хорошо!

После переката лодки дали течь. Надо шпаклевать, смолить. Мне делать нечего, взял ружье, пошел на охоту. Один шаг от реки — и сразу же вековой, дремучий лес. Тихо, сумрачно. В ногах путается нсраздираемая, диковинно сочная трава. Опьяняюще дурманят болиголов и багульник. Но лес пуст. Даже удивительно, такая глушь, тут, как говорится, и нога человека не ступала, и вдруг нет зверя, нет птицы. Только над оранжевой калужницей кружатся большескрылые голубые бабочки. Это на маленьких не то чтобы полянках, а просто проплешинках леса. Но что это? Качаются ветви. Тихо, а ветви качаются! И тут же я различаю голову с ветвистыми рогами.

Сохатый! Я никогда его не видал, но сразу же определил, что это он, только он! У меня куда-то вниз покатилося сердце, руки затряслись. Не помню, как я вскинул ружье, как навел мушку (хорошо, что патрон был заряжен жаканом!), как грохнул выстрел.

Эхо, усиливаясь, забралось, словно по лестнице, вверх и далекими раскатными отголосками затихло вдали у сопки.

Когда дым рассеялся, я увидел сохатого. Он бился, храпя, плотно прижимая голову к земле, ерзал передними ногами, вырывал траву. Удивленно косился на меня его влажный агатовый глаз. Не веря своему счастью, я стоял над ним. Но тут послышался какой-то шум.

Ко мне бежал старик в рваной меховой куртке и черных штанах.

— Мой олень! — сказал он тонким голосом. — Твоя зачем стреляй?

Все это было похоже на какой-то дурацкий сон: вместо сохатого оказался олень, да к тому же домашний, но мало этого, тут же его хозяин — старик с красными слезящимися глазами.

— Я не знал... я думал, это сохатый...

— Какой твой люди?

— Техник я... экспедиция мы...

— Твоя зачем стреляй?

— Так не знал же я, что это олень. Думал, сохатый... Идемте к нам, тут недалеко. Мы дадим табак, сахар. Я вам дам порох, дробь...

Старик оживился:

— Однако ладно... — Он вытащил длинный узкий нож и стал свежевать тушу. Снял шкуру, кинул ее мне, потом вырезал окорок, взвалил себе на плечи, и мы пошли. Чувство тревоги не покидало меня: я не знал, как в лагере отнесутся к этому происшествию. Но все обошлось хорошо. Костомаров даже обрадовался: солонина была на исходе, рыба поднадоела, а тут свежее мясо. Соснин отрядил рабочих, и они ушли с эвенком за тушей. Тася глядела на меня большими глазами.

— Если хочешь — возьми, — сказал я. Нет, этого я не хотел, но получилось так, что я раскинул перед ее ногами оленью шкуру.

— Спасибо. Я тебе очень благодарна...

За обедом только и разговоров было, что обо мне.

— Тут, знаете ли, хладнокровие надо иметь, выдержку, так сказать, — говорил Зацепчик, управляясь с большим бковалком мяса, — другой растеряется и ничего не убьет.

— Хорошо, если б это почаще случалось, — сказал Коля Николаевич, — тогда совершенно дармовой харч был бы. Верно, Тимофей Николаевич?

— А как же, это замечательно, — согласился Зацепчик. — А при чем здесь смех? Молоды еще смеяться надо мной! Ах вот как, всем смешно. Странные люди.

Со стариком был разговор такой.

Он сидел в палатке Костомарова. Пил чай, ел печенье, курил трубку.

— Значит, колхозник? — подвигая банку с сахаром, спросил Костомаров.

— Да, — мотнул головой старик, всовывая в рот кусок сахара.

— Где же ваш колхоз?

— Там, — махнул рукой на север старик, — в сопки ходи.

— Как зовут тебя?

— Кононов я...

— А где Прокошка?

Кононов удивленно посмотрел на меня.

— Ты Сашка Кононов? — спросил я.

— Я Васька Кононов, — важно сказал старик и стал пить чай.

— Не мешайте, Алексей Павлович, — сказал Мозгалевский. —

А стойбище Байгантай где?

— Туда ходи. — Кононов показал вверх по реке.

— Далеко?

— Да.

— А ты что здесь делал?

— Ягель ищи...

— Пастбища для оленей искал, — пояснил Мозгалеvский, хотя все и так понимали, что говорит старик.

— Поконова знаешь? — спросил я.

— Да, — важно ответил Кононов.

— Кирилл Владимирович, вы понимаете, в чем дело? Помните рукопись? — сказал я.

— Конечно, — ответил Костомаров и спросил Кононова: — Откуда вы знаете Поконова?

— Однако председатель наш, — с важностью ответил Кононов. — Однако пойду.

— Опять не тот, — смеясь, сказал Костомаров.

Кононов вышел из палатки. На берегу его интересовало все. Он нюхал развешанные для просушки вещи, щелкал пальцами по расставленным треногам, пробовал муку. Увидав Ирину, зачмокал толстыми морщинистыми губами. Его узкие глаза почти совсем скрылись в набухших веках.

Ирина стояла у реки, о чем-то думала. В последнее время я часто видел ее задумчивой. Кононов подошел к ней и осторожно взял в руку прядку светлых волос:

— Ай-ай, какой волос, паутина осенью... Дай, рыбку солнечную из волос делать буду, хариус поймаю. — Он по-детски наивно прищелкнул языком и достал из чехла нож.

— На мои волосы рыбу ловить будете? — улыбнулась Ирина. — Вот никогда не думала. Режьте! — И склонила голову.

Легко взмахнул ножом Кононов и отошел от Ирины, держа на ладони светлую прядь. Но остановился и в раздумье посмотрел на Ирину.

— Еще надо? — засмеялась Ирина.

Кононов грустно покачал головой:

— Жаль мне тебя... Молодая, красивая... Умрешь скоро.

Ирина вздрогнула. Но тут же рассмеялась.

— Откуда ты знаешь? — спросила она.

— Река злая, всех берет, и тебя возьмет, и его возьмет. — Он кивнул на вышедшего из палатки Костомарова. — Старик я, один. Жена была, рыбу на реке мыла — утонула. Сын был, играл на берегу — утонул. Брат-охотник плавал по реке — утонул... Все тонут, и ты утонешь... Молодая ты... Мужик есть? Он твой мужик? — Кононов ткнул пальцем в Костомарова.

Ирина вспыхнула. Быстро взглянула на Костомарова, на меня и, сердито сказав: «Какие ты говоришь глупости, бабушка!», отошла к своей палатке.

Я смотрел на старика. У меня из головы не выходило слово, каким он охарактеризовал реку. «Злая»! Так же называли реку в рукописи Поконов и Кононов.

— Слушай, дед,— подошел я к Кононову,— ты знаешь Поконова из Малой Елани?

Тут к нам подошел Поконов.

— Вот Поконов,— засмеялся Кононов и показал проводнику прыдку волос.

— Где Малая Елань? — спросил я.

Кононов пожал плечами.

— Стойбище Малая Елань?

— Стойбища Малая Елань нет. Так, Поконов?

— Так,— сказал Поконов.

— А Микентий Иванов где? — спросил я.

— Стойбище Байгантай. Председатель он.

Я почувствовал, как у меня начинает кружиться голова. Все перепуталось. И я не знал, где правда, где выдумка. Из своей палатки выглянул Соснин и позвал Кононова. Я машинально пошел за ним.

В палатке у Соснина — наиболее ценное из казенного имущества. Поэтому она забита связанными попарно сапогами, хлопчатобумажными костюмами, брезентовыми куртками и штанами, остатками сахара, последним ящиком махорки.

— Наряжайся, старик! — Соснин бросил Кононову хлопчатобумажный костюм, брезентовую куртку и дал еще табаку и сахару.

Кононов с удовольствием оделся во все новое, погулял по лагерю, поговорил с Поконовым, причем оба тоненько посмеялись, и ушел от нас.

— Чудной старик,— сказал Коля Николаевич.

— Несчастный,— усмехнулся Зацепчик,— хотя счастье — вещь относительная. Возможно, он и счастлив: получил табак, сыт. Что ему еще надо?

— Оригинальное у вас понятие о счастье,— заметил Зырянов.

— А в чем я не прав? Тунгус-старик не знает, что такое театр, что такое ресторан. Города никогда не видел. Но он о нем и не грустит, потому что не знает. И не надо ему города, как, например, нам с вами. По-моему, чем больше человек знает, тем больше ему надо для счастья. Потому что счастье — это полное удовлетворение всех потребностей. Но для большинства людей это невозможно.

— Даже при коммунизме? — спросил Зырянов.

— Зачем вы такие вопросы задаете? — настороженно спросил Зацепчик.

— Хочу до конца проследить вашу мысль.

— А вы свою прослеживайте. А меня не трогайте. Знаю я эти штучки. И не желаю с вами разговаривать! — визгливо выкрикнул Зацепчик.

— Да вы с ума сошли,— сказал Зырянов.— Как вам не стыдно.— И вышел из палатки.

— Действительно, — сказал Мозгалеvский, — еще год работы в тайге, а вы уже теперь нервничаете. Стыдитесь...

По ночам рабочие кашляют. У многих чирьи. Все время вода. Холодная вода. Одежда не успевает просыхать. Даже в коротком забытьи послеобеденного сна люди сжимают пальцы так, будто в их руках шесты или весла.

Идет дождь. Знобкий, порывистый ветер с силой бросает холодные капли в лицо. Будто и не середина лета, а самая неприятная осень.

Заболел рабочий — опухли от воды ноги.

— Тут недолго и подохнуть к чертовой матери, — злобно ругается он.

Тащимся. Надоела вода. Надоело мокнуть. Поскорей бы к устью Меуна. Уже ничего романтического я не вижу. И все чаще думаю о тех, кто завоевывал Советскую власть. О тех, кому на долю выпало мучиться от ран, страдать от голода и холода, умирать в тифу. Вряд ли они видели во всем этом романтику. Но проходило время, оставались позади страдания, и выкристаллизовывалось то благородное, имя чему — подвиг, и дети отцов принимали его в наследство и скорбели, что не жили сами в то романтическое время и не были участниками этого подвига. И не замечали, что сами живут под флагом романтики, не думали о том, что пройдут годы и их дети будут сожалеть, что не жили во времена своих отцов. И так всегда было и будет: романтика для человека, живущего сегодня, — это времена прошедшие.

Наверно, кто-то будет завидовать и мне и говорить: «Вот это было время! Это была жизнь!» Что ж, я не отказываюсь от той жизни, которой живу. Но я знаю только одно: нам трудно. Впереди еще труднее. И ничего уже романтического в этом трудном я не вижу.

На одном из перекатов с чьей-то лодки упал ящик.

— Лови! Держи! Печенье!

По быстрине, подкидываемый волнами, несется ящик. Я как был — в одежде, в свитере, в сапогах — бросился его ловить. Течение сбило с ног. Вплавь я все же догнал ящик. А он пустой...

С лодок несется хохот. Смеется Бацилла! Опять Бацилла! Что-то слишком часто я стал встречаться с ним. Если так и дальше пойдет, то должен скоро наступить этим встречам конец. Какой? Не знаю... Боюсь ли я Бациллы? Нет. Скорее, отвращение у меня к нему, чем страх.

Бечева. Брод. Бечева. С косы на косу, с берега на берег. Лодки разваливаются, и хотя уже немало потоплено груза, все же остальной размещается по другим лодкам, и моя так нагружена,

что при малейшем крене вода переливается через борт. Трудная экспедиция. Тяжелый путь... Заветное устье Меуна все еще остается в стране желаний. До него не меньше ста километров, а мы от силы проходим в день десять.

Дома почему-то предполагалось, что каждому рабочему должно на неделю хватить пары рукавиц, на самом же деле брезентовых рукавиц хватает только на день. К вечеру они уже превращаются в тряпки. Дома почему-то казалось, что весь речной путь можно покрыть за месяц, но вот уже месяц на исходе, а впереди...

— Я не понимаю, неужели нельзя было перебросить нас на самолетах? Ведь это же какой-то кустарно-первобытный способ — так добираться, — возмущается Зацепчик. У него не сгибается шея. На ней прочно сидит чирей.

— Глухие места тем и трудные, что к ним приходится добираться либо пешком, либо на лодках, либо на лошадях. Что такое самолет в тайге? Это человек без ног. Ему нужен аэродром или хорошая водная площадка. А тут столько перекатов, — спокойно говорит Костомаров. — Но ведь на то мы и изыскатели. Самое трудное выпадает на нашу долю, после нас будет легче.

— Да, но от ваших объяснений не легче, — фыркает Зацепчик. — Верно, Юрий Степанович? — Это он к Покотилову.

— Вполне с вами согласен, — отвечает Покотиллов.

Плывем...

Над каждой лодкой табун комаров. Кто нас только не ест! Появились слепни разных мастей: черные с желтыми тигровыми полосами, величиною с орех; пепельно-серые с изумрудными глазами, ярко-коричневые мохноногие. И все они плотным кольцом окружают нас, вгоняют в шею, руки гребцам толстые тупые хоботки. Цевкой на груди стынет кровь. Кроме того, появился мокрец. Его еле глазом различишь, настолько он мал. Дымок какой-то. Эта мошкара проникает даже в сапоги, в накомарники. Особенно страдает Яков. У него лицо вздулось. Расчесы превратились в язвы.

Небо затянуло тяжелыми серыми тучами. Комары до того озлеели, что кажется, будто на лицо и руки сыплются раскаленные искры. А это верный признак дождя.

Караван растянулся на полкилометра, потребуется по меньшей мере час, пока все подтянутся. Для ночлега выбрали небольшой островок, заросший тальником. Не очень-то удачное место, лучше бы открытое. На открытом месте, при ветре, комара нет. Но что же делать? Немного выше стоянки — громадный завал, он почти преграждает протоку. Вода с силой устремляется в узкую горловину, в ушах стоит непрерывный рокот.

Ночью пошел дождь, во всех углах слышалось лopotанье капель, будто за палаткой работал маленький паровичок: «Тук-тук-тук-тук». Тайга шумела. Было темно. Под соседним пологом вре-

мя от времени вскрикивал Коля Николаевич и что-то быстро-быстро бормотал. Он болен. Наверное, простыл, а врача нет.

Костомаров оторвался от нас. Мы едем по его следам. На каждой развилке реки, на каждом протоке Кирилл Владимирович оставляет нам шест, воткнутый в воду, с бумажкой: «Надо плыть влево. К. К. 14 августа».

Он решил исследовать пойму. Накануне отъезда он так говорил нам:

— Есть два варианта: правобережный и пойменный. Правобережный приемлем, но дорог. На нем семь мостовых переходов, два больших тоннеля. Пойма же не исследована. Возможно, трасса на ней будет более экономичной.

— Градов уверен, что единственно правильный вариант — правобережный, — сказал Мозгалевский.

— Тем лучше, но все же пойму надо знать. Тем больше будет и у меня уверенности в градовском варианте.

Мы уже отстали на три дня от Костомарова. У меня такое ощущение, что он плывет и ночью.

— Да, это на него похоже, — говорит Мозгалевский. — Ему все нипочем, лишь бы дело сделать. Я бы даже сказал, он немного одержимый какой-то...

— Это плохо? — спросил я.

— Это рискованно, — ответил Мозгалевский.

Тетрадь двенадцатая

Чем выше в верховья, тем короче протоки. Час едем по протоку, час по Элгуни и опять попадаем в проток. До сих пор у Соснина аварий не было, но сегодня и ему фортуна изменила. Его лодка перевернулась. Спасли все, кроме весов. Соснин стоит на берегу и недоуменно разводит руками:

— Какой же я заведующий хозяйством, если одни гири остались?

Удивительная вещь: каждый день тяжел, и, казалось бы, не до веселья, но сколько у нас смеха! Стоит Соснин, говорит насчет гирь, и мы хохочем. Сегодня загорелась наша палатка. У входа в нее лежал дымокур, трава высохла, вспыхнула, и огонь перебросился на палатку. Зацепчик в это время сидел и брился. Ему и ни к чему было, что начинается пожар. А Шуренка заметила, схватила ведро с водой и плеснула на палатку. Но кто ж знал, что именно в эту минуту Зацепчику придет мысль высунуть свою голову. Он высунул, и Шуренка окатила его. Он выскочил мокрый, с намыленной бородой и закричал:

— Хулиганство! Я буду жаловаться!

Шуренка до того смеялась, что дважды посолила суп, и есть его, конечно, было нельзя.

— В кого-то вы влюбились,— сказал Зырянов, возвращая ей полную тарелку.

Неподалеку стоял Яков.

— Не сумлевайтесь, это мы быстро поправим,— сказал он.

— Разведете?

— Разводиться не будем, а вот как пройду разок-другой дрыном, сразу в порядок войдет и про любовь забудет,— мрачно пошевеливая бровями, ответил Яков.

— Вы меня совершенно не поняли, я имел в виду, что суп водой разведете,— сказал Зырянов.— Станный вы человек.

— Ничего, поняли. Для себя мы не странные...

Ну что же, конечно, опять был хохот.

Сегодня я весь день не вылезал из воды. Как болят руки и грудь! Голова тяжелая, и все время тянет в сон. Так не только со мной. Единственное желание у всех — отдохнуть. Многие рабочие клянут тот день, когда согласились ехать в экспедицию. Почти нет соли. Пшено стало затхлым, не раз перетопленное сливочное масло отдает какой-то гадостью. Все чаще раздаются не особенно-то лестные слова о руководителях экспедиции. Достается и Лаврову. Но я не могу согласиться. Перед моими глазами стоит высокий человек с трубкой во рту. Нет, нет, он тут ни при чем, просто тяжелая экспедиция.

Аварии. Каждый день аварии.

Тянули лодки бечевой. Час, другой, третий... На одной из лодок канат лопнул. Лодку потащило течением. В ней остался только рулевой. По берегу бегут гребцы, кричат. Особенно смешон один, в ватных штанах: он бежал босиком по острой гальке, словно по горячим углям, подпрыгивая. Пока рулевой с кормы перебирался на весла, лодку отнесло не меньше чем на триста метров. Такова скорость реки.

Солица нет. Дует ветер, срывает с верхушек волн пену. Большую часть пути бредем по воде. Все мокрые, окостенелые. Иногда рабочие падают; ругаясь, встают и бредут дальше.

До устья Меуна осталось шесть дней пути. Скорей бы приехать. Из продуктов осталась только мука. Рабочие слабеют. Все чаще и чаще требуют перекура.

Сегодня приехали в Сонохи: так называется маленькое стойбище эвенков. В густой тальниковой заросли укрылись четыре фанзы. Одна из них берестяная, другая из сосновой коры, две бревенчатые. Пол устлан берестой. Обстановка бедная: только самые необходимые вещи. По берегу растянута на колышках сеть, рядом висят нарезанные для вяления пласты кеты. Эти пласты ярко-красного цвета, они похожи на языки, и кажется, будто кусты дразнятся. На берег вышли все жители

стойбища. Взрослых мало, но ребят человек двадцать. У большинства детишек рахит, два мальчика и девочка горбатые. Горбатый у эвенков — не редкость. Сидят на берегу женщины, у одной корзинка с заплетенным до половины верхом. В ней ребенок. Мужчины важно посасывают трубки, изредка подают советы, как лучше переправиться на другую сторону.

Впервые увидел бат. (Бат — это выдолбленный ствол лиственницы с закругленными концами, древняя выдумка туземцев. Он легко поднимает до тонны груза.) Его ведут двое: один эвенк стоит на носу, другой на корме. Они отталкиваются шестами и идут так быстро, будто для них река с ее бешеным течением — мирное озеро. Конечно, Соснин не мог остаться равнодушным к ладье и купил ее, заплатив табаком, дробью и деньгами. Разгрузили три лодки. И сразу же отправили вниз пятерых заключенных. Они лодыри. Я настаивал, чтобы отправили и Бациллу. Но Соснин, упрямая душа, и слышать об этом не хочет. А между тем творится что-то неладное. Мишка Пугачев становится все угрюмее, замкнутее. Как я ни допытываюсь у него, ничего добиться не могу.

20 августа

Сегодня день отдыха. Надо же в конце концов хотя бы отоспаться. Нельзя больше дело превращать в проклятие. Если мы закончим свою работу на день позже, ничего не случится. Примерно такие слова сказал Мозгалеvский и дал команду отдыхать. И вот теперь выспавшиеся, взбодренные и даже веселые люди сидят у костра, курят; кто чинит сапоги, кто рубаху, кто моется горячей водой. А я пошел бродить. В километре от нас возвышается сопка. А что, если на нее взобраться? Посмотреть с ее вершины на тайгу?

На вершине дул ветер. По небу быстро шла тяжелая туча, и там, где она проходила, все меркло. Необозримая тайга лежала внизу. Увалы чередовались с хребтами, леса — с болотами, озерами. Темной змеей извивалась в берегах Элгунь. Пуста, неприютна тайга. На вершине нагромождены камни. Среди них корчится горный дубняк. Постоял я, посмотрел и стал спускаться к реке. И вдруг услышал отдаленный гул мотора. Гул увеличивался, нарастал, и, подобно стреле, из-за верхушек деревьев вылетел самолет. Я не верил глазам. Безудержная радость овладела мной.

— Самолет! — закричал я и бросился за ним. Он исчез так же быстро, как и появился. Я бежал, падал, перескакивал через валежины, перелезал через завалы, раздирал руками заросли. Не знаю, что меня заставляло так нестись, но мне казалось: если я промешкаю, то самолет улетит, не найдет нас, и я буду виноват в этом.

Когда я наконец выбрался к биваку, было уже сумеречно. Самолет стоял на берегу. Меж крыльев, как бы на его спине, стоял мотор. Окружив летчиков, люди шумели, галдели, кричали, перебивая друг друга, безудержно смеялись. Летчики, в кожаных пальто, гладко выбритые, по сравнению с нами — оборванными, обросшими, обгоревшими — казались молодыми, почти юношами, хотя каждому из них было далеко за сорок.

Самолет вылетел из Комсомольска на разведку. Вслед за «шаврушкой» — так ласково называют Ж-19 — прилетит грузовой самолет, но для него нужна посадочная площадка. Узнав, что мы только отряд, а Костомаров впереди, летчики решили лететь к нему. Рабочие помогли им спустить самолет на воду. Заработал мотор. «Шаврушка» прошла немного вниз, развернулась против течения.

О, если бы наши лодки ходили так, как делал разгон этот самолет-амфибия. Только большие валы развороченной воды оставались позади, а он все быстрее, быстрее рвался вперед. Отделился от Элгуни и взмыл вверх. Как в сказке он появился, как в сказке и исчез. Мы с таким трудом преодолеваем каждый метр, а он легко сделал за несколько секунд то, что нам не одолеть и за час.

22 августа

Уже поздняя ночь, но мне не спится. Не спится потому, что из головы не выходит Тася. Да, это было в полдень. Мы пристали к косе на обед. Я схватил ружье и побежал в лес. Уже далеко отошел от лагеря, и не моя вина, что Элгунь, сделав петлю, повернула близко к тому месту, где я продирался сквозь тальник. Я услышал всплеск и подумал, что это утки. Раздвинув ветки, я увидел Тасю. Она выходила из воды. Ее платье лежало почти у моих ног. Она шла на меня. Я тихо отступил и ушел. Позднее, когда я встретился с нею в лагере, я уже не мог смотреть на нее, как раньше. Что-то изменилось... Неужели и так начинается любовь? Но я не хочу такой любви! Тогда почему я не сплю? Почему перед глазами стоит она, освещенная солнцем, бронзовая от загара? Даже темно-бронзовая...

Над палаткой летает ночная птица, и крик ее протяжен. Он тревожит. Я вышел из палатки. Светила луна. Птица пролетела над головой так близко, что меня опанула ветром. Но сколько я ни всматривался, не увидел ее. Она, наверное, сливается с серым небом, с темно-серым, обесцвеченным небом...

23 августа

Сегодня утонул Бацилла. Я ненавижу этого парня. Он был мне мерзок, но то, что произошло, — страшно. Страшно потому, что к нам заглянула смерть.

Было так: мы подъезжали к устью Меуна. Уже большая часть лодок стояла у берега. Не верилось, что путь окончен. И вдруг раздался отчаянный вопль: «Тону!»

Я еще не успел сообразить, откуда несется крик, как Мишка Пугачев, опередив Первакова (Костомаров оставил его Мозгалевскому, как надежного человека), вскочил в оморочку и, оттолкнувшись от берега, помчался на выручку.

— Бацилла, Бацилла тонет! — понеслись крики.

В этом месте Элгунь была не так чтобы и широка, но очень быстра. Высокие лиственницы стояли на противоположном, подмытом берегу. Он весь перепутан всякими корнями. Вода, то гладкая, с расходящимися кругами, то вся из острых гребешков, стремительно пронеслась мимо меня. Уже ни Баццаллы, ни Мишки не было видно. Только раз, один только раз, донеслось: «Спасите!» — и после этого полчаса, не меньше, стояла тишина.

Мы ставили палатки, разгружали лодки, но все это делали невнимательно. Смотрели на реку, тут же бросали начатое, ждали. И вот показался Мишка. Он с трудом греб двухлопастным веслом, подымаясь к нам.

Мы придвинулись к воде. Баццаллы в оморочке не было. Это мы сразу увидели. Может, Мишка помог ему выбраться на берег?

— Утонул Бацилла! — каким-то звенящим голосом выкрикнул Мишка, и не понять было — то ли он нервно рассмеялся, то ли всхлипнул.

— Не спас? — спросил Мозгалевский.

— Разве спасешь?.. Не успел... Река-то какая... Затянула... Не успел... — вытягивая оморочку на берег, не глядя ни на кого, ответил Мишка.

Как же получилось, что Бацилла оказался в воде? Очень просто: ему надоело сидеть в лодке, и он пошел пешком. А когда увидел на нашем берегу костры, решил реку переплыть. Плавал он неплохо. Течение подхватило его, вынесло на быстрину и завертело.

— Как же ты не спас-то? — спросил Афонька.

— Не успел, — хмуро ответил Мишка и стал курить, жадно затягиваясь.

— Эх ты, беспелюха, — сказал Баженов.

— А что, нужен тебе Бацилла или как? — грубо спросил Баженова Яков. — А может, что утоп, так это и хорошо?

— Как же ты можешь такое? Человек он...

— Что ж, и искать не станут? — спросила Тася.

— Сейчас его искать, милая барышня, зряя время терять... Всплывет. На корягу нанесет, тогда и возьмем, — ответил Перваков и пошел ставить палатку.

И все, и больше разговора о Баццалле не было. Мне его не жаль, и я согласен с тем, что «может, что утоп, так это и хоро-

шо». Кто знает, сколько вреда принес бы он людям, а так — нет его, и точка.

Наш лагерь расположен на круглой сухой поляне. Звонкий ручей делит поляну надвое; на одной стороне — путейцы, на другой — геологи. Палатки, словно маленькие сопки, стоят побелевшие от дождей и солнца. Сегодня выходной, завтра — проверка инструмента, а послезавтра — в поле. В центре лагеря вывесили на самом высоком дереве белый флаг. Даже вечером его должен заметить самолет. Ветер хлопает им.

У ручья горят жаркие костры. Хлопотливо перебегает Шуренка от котлов к ручью и от ручья к столу, стоящему под брезентовым тентом.

После полудня сверху показалась оморочка. Через несколько минут она пристала к нашему берегу. Приехал эвенк. Он передал письмо Мозгалевскому от Костомарова.

— Вот тебе на! — восклицает Мозгалевский. — Радист к нам добирался через перевал и в верховьях Элгуни утопил свою рацию... Чудненько! «Пойменный не вызывает энтузиазма, — прочел вслух Мозгалевский. — Соснина пошлите вверх, к рыбакам».

Через полчаса Соснин уехал.

Вечереет. Белесое небо чуть тронуту синькой. Но Элгуни достаточно и этого. Она начинает темнеть.

Флаг бесильно свисает на шесте. Тихо и ясно, но самолета нет. Когда же он будет? У нас нет соли...

Ночью развалилась постель. Сделал я ее наспех, поленился срубить столбики потолще, и вот среди ночи очутился на полу. В темноте стал пристраиваться. А это не так-то просто. Озяб — ночи пошли холодные. Кое-как улегся, а утром проснулся от хохота. Смеялись надо мной. Ноги мои лежали на подушке, а голова уткнулась в рукав шубы. Даже Покотиллов смеялся, подергивая седой бровью. А это человек совершенно серьезный. Значит, хорош я был.

После завтрака принялись проверять инструмент. Замелькали вешки, прочно встали на земле раскоряченные треноги. На другой стороне ручья геологи укладывают на жердяной настил буровые трубы и змеевики.

— Итак, — начал Мозгалевский, усадив меня на поваленную сухую лиственницу рядом с собой, — начнем с азов. Наша партия — одно из звеньев экспедиции, которой надлежит изыскать линию железнодорожной магистрали. Что такое самая короткая линия?

— Прямая между двумя точками, — ответил я.

— Правильно. У изыскателей она называется воздушной линией. Только в воздухе может быть такая прямая. На земле

всегда что-нибудь да помешает ей. Итак, нам надлежит изыскать линию Усть-Меун — Байгантай протяженностью в сто километров. Я пойду с теодолитом, буду трассировать. Вы идете сразу же за мной с мерной лентой. Знаете, что такое лента?

— Знаю, но не работал с ней.

— Значит, ничего не знаете. Чудненко. Возьмите ленту, протрите ее маслом, не сливочным, конечно, а машинным. После этого я вам преподам наглядный урок.

Я все сделал, как он велел. После этого начался урок. Мозгалевский установил теодолит, направив трубу в лес. Послал туда Якова с вешками и велел ему двигаться к теодолиту, устанавливая вешки по створу. Получилась линия. Баженов — он уже теперь считался рубщиком — быстро очистил топором эту линию от кустов и мелких деревьев, и засветлела просека.

— Вот от этой точки, где стоял теодолит, начинайте мерить линию, и через каждые сто метров вбивайте свою точку, деревянный колышек, и идите дальше...

— А сторожок? — спросил Коля Николаевич.

— И сторожок, — сказал Мозгалевский, — это тоже деревянный колышек...

— А железного колышка не бывает, — сказал Коля Николаевич.

— Уходите вон, — в тон ему сказал Мозгалевский. — На деревянном колышке, на затеске, пишется номер пикета. Рабочим у вас будет Перваков. Перваков! — К нам подошел Перваков. — Сделайте сторожок и точку.

— А я уже сделал, — сказал он.

— Чудненко! Точки забивайте вровень с землей. По ним будет идти нивелировка... Теперь идемте сюда, давайте заплюсуем этот ручей...

Мы заплюсовали ручей. Потом я зарисовывал ситуацию в пикетажную книжку. Все оказалось просто.

— Но главное — внимательность, — сказал мне Мозгалевский, — а сейчас попрошу пойти в тайгу. Примерно в пяти километрах отсюда должна быть просека. Она узенькая, уже, чем эта, — он указал на просеку, сделанную Баженовым, — там проходили рекогносцировочные изыскания три года назад. Так вот, необходимо найти на берегу устья Меуна полевой пикет. Возьмите компас. Запомните путь. Завтра поведете всю партию.

— Есть, — говорю я и ухожу.

Метрах в ста от палаток меня догоняет Тася...

— Алеша, можно с тобой?

— Нет.

— Почему?

— Потому что меня одного послал Олег Александрович.

- Я не буду мешать... Я буду идти сюда.
— Нет, нет... Я пойду быстро.
И я уйду. Зачем мне, чтобы она шла за мной?

Тетрадь тринадцатая.

Сквозь верхушки березняка мне видны вершины сопок, и я иду к ним. Препреждают дорогу буреломные завалы. Быстрые ручьи заставляют прыгать с камня на камень. Попадаются глубокие лога с высохшими руслами и каменистым замшелым дном. Остаются позади лога, и начинаются кочковатые мари. Тускло отсвечивают коричневые лужи. Тишина. Все время тишина. Говорят, с ума может сойти непривычный к ней человек. Он старается не замечать ее, но она постоянно напоминает о себе, таит в каждом кусте, вывороченной коряге что-то стережущее, готовое броситься на тебя, смять, уничтожить...

Но вот наконец-то и просека! Она заросла, но еще хорошо различима, тянется вдоль подножия сопок. Я иду по ней и наткнулся на сторожок. На нем написано: «Пикет № 23». Это значит, два километра триста метров до полевого пикета, до устья Меуна. Но теперь уже идти весело. Я все-таки нашел трассу. Не такой уж я глупец. И я иду к полевому пикету. Иду, насвистываю, пою. Так веселее идти, не замечаешь тишины. Но вот стал доноситься глухой рокот. Ага, тут, кроме как Меуну, некому шуметь. Верно, вот и он! Меун, как и все речонки этого края, неглубок, но быстр и каменист. Поверх воды торчат валуны. Вода с силой проносится меж ними. Вот и полевой пикет — начало нашего участка. Теперь надо возвращаться к лагерю и запоминать путь. И я уже хотел было повернуть обратно, как увидел тропу. Она была хорошо натоптана. Я прошел по ней метров пятьдесят, не больше, и сквозь деревья различил зим. Это был бревенчатый домик с маленьким окном, с плоской крышей, на которой росли трава и кусты. Дверь была приперта колом. У домика закопченный котел, шесть.

Я отбросил кол и вошел. Чуть ли не половину зима занимали жердяные нары. В углу икона с тусклым венчиком. Под ней ларь. На полках посуда — железные кастрюли, два глиняных горшка. Я уже хотел было уйти, как вдруг раздался лай. В дверях стояла собака и, взъерошив на загривке шерсть, скалила на меня зубы.

— Валет! — раздался хриплый голос, и тут же в раме дверей показался суховатый рыжебородый старик с кожаным мешком в руке, в поршнях, с ружьем, висевшим на плече.

— Здравствуйте! — смутившись, сказал я.

— Здравствуй. — Старик вошел, бросил на пол мешок, поставил к стене карабин. Закурил, молча разглядывая меня.

- Я из экспедиции... — сказал я.
- Геолог?
- Нет, мы путейцы, хотя и геологи есть...
- Золото-тка искать будешь?
- Железную дорогу будем изыскивать.
- Так, значит, Назарке опять надо уходить.
- Зачем?
- Люди пришли — зверь уйдет.
- А вы откуда?

— С Темги. Лет двадцать там прожил. Один. Хорошо. Пришли геологи, ушел я. Мир велик, а людям жить тесно. Это так. Живут, как бурундуки. Наготовят на зиму рыбы, мяса, ягод столько — и в жизнь не съесть. Все боятся, что зверь уйдет, рыба задохнется или утренник ягодный цвет побьет. Изюбр ли закричит, сохатый ли стороной пройдет — нет чтоб одному выйти да меткой пулей поймать: все идут. И всяк другому недруг. Девка ли красивой вырастет — парням опять же ссора. Всяк норовит на свою сторону завлечь, обабить торопится, дескать — тогда уж не уйдет. Может, теперь и не так, но, когда я в парнях ходил, люто, тесно было жить... — Он замолчал, о чем-то подумал и быстро прошел к мешку. — Пожрать надо. — И высыпал из мешка на пол десятка два крупных золотистых карасей.

— Разве караси в тайге есть? — присев на корточки и разглядывая рыбу, спросил я.

— А это что, или не карась? В тайге все есть... — ответил Назарка, ловко орудуя ножом.

Костер уже горел, на тагане стояла большая сковорода, на ней потрескивали караси, крепко посыпанные солью.

— А как отца вашего звали? — спросил я, когда мы уже ели рыбу.

— Илларион. Хорошо звали...

Караси были вкусны. Нежные, соленые, жирные.

— А у нас соли нет, — сказал я, — всю утопили.

— Плохо ваше дело. Цинга съест...

— Не успеет. Самолет ждем. А как же так получилось, что вы живете один?

— Захотел — и живу.

— Расскажите...

— Чего уж, — отмахнулся он рукой.

Я уже не раз замечал за собой: стоит только натолкнуться на какое-нибудь препятствие, как непременно захочется преодолеть его. Так получилось и тут. Мне очень хотелось узнать, что за человек этот таежный охотник, почему он живет один в тайге.

— Расскажите...

— Да нет уж...

— Назар Илларионович...

И тут случилось чудо: старик широко раскрыл свои тусклые глаза, улыбнулся и растроганно посмотрел на меня:

— Как ты кликнул меня?

— Назар Илларионович.

— Назар Илларионович,—с каким-то удивлением и радостью сказал старик.— Это так! А то меня все Назаркой кличут... А что, расскажу тебе. Слушай.

— Стоял наш поселок на приветливом месте,— начал он,— на елани. А по сторонам его реки текли. Одна-то из них Амур. Народ все охотники, они же и рыбаки.

В те времена я ловким парнем был. Один по тайге ходил, и медведя брал, и сохатого ловил. Но это потом, когда уж я в силу вошел, а мальчишкой с Петькой все бегал. Хорошо мы тогда с ним жили. Мальчишкам много не надо, волюшки побольше, и ладно. Отцов у нас не было. Моего сохатый смял, а Петькин в Амуре утонул.

В тайге все есть, только надо найти да суметь взять. Жили хоть и не жирно, а сытно. Рыбу ловили. Рыбу ловить просто. Заездок мы ставили. Попадало помногу, но мы не жадничали. Но и это потом, заездок-то, когда уж постаршели. А так-то, по мальчишеству, каряками промышляли. Добрая она птица, каряка-то. Обличьем вся в рябчика, только чуть поменьше да ободок вокруг глаза не такой. Каряк просто ловить. Ружья не надо. Удилище срежешь подлиннее, на конце из волоса петлю наладишь, накинешь каряке на шею и сдернешь. Глупая птица. С утра и дотемна мы по тайге шмыргали. Глаз приручали. У каждого по луку, и рябчика нам сбить или голубя — раз вздохнуть.

Петька чуть повыше меня, но тонкий на кость. А я как пек-нек: откуда ни ухватись, все кругло. Но только как парнями стали — сравнялись. Петьку в кость роздало, а меня вытянуло. Ловкие мы с ним были. На дерево ли влезть, зайчонка ли поймать — пустое нам дело. И скажи, тесно не было. Потому глаза хоть и видят, да ум-то малый, и кажется все просторным. Ду-мали, конца-краю этому простору не будет, а вышло так, что и воздуха не хватило. И все из-за девки... Хороша была, Степанидой звали. Стали с нею встречаться. И видим с Петькой — мешаем друг дружке. А дело к зиме тянет. Пора белковать.

«Кого ждешь будешь?» — спросил ее Петька.

Она посмотрела и говорит:

«А того, кто больше соболей принесет». Да с тем повернулась и ушла.

Ладно. Собрались мы на охоту. Друг на дружку не поглядели, разошлись.

Как зима прошла, я тебе говорить не буду. Но чуть не подох я, лова соболюков. Только о них и думал. А как засинело

небо, так и к дому повернул. Гоню вовсю. Гляжу — ждет Степанида.

«Нá, говорю, получай двадцать восемь!» Соображаешь, столько соболей поймать одному. Да и выбросил на землю перед нею из мешка всю добычу.

А она и не посмотрела.

«Не тебя, говорит, жду. Петр где?»

Слова я не сказал, ушел. И не был я лет двадцать дома. А все ж пришел. На родные места всегда тянет. Ну, матери нет. Умерла. Дай, думаю, посмотрю, как Петька живет. А Петьки тоже нет. С того раза так и не вернулся. Потом уж охотники нашли его в землянке. Ногу, вишь, сломал. С голоду помер. А может, еще с чего, не знаю. А Степаниду другой обабил — Галактион Седых. Плонул я и подался в тайгу. И скажи на милость, и там ведь из-за бабы неприятность вышла. Ну, да это другая история...

Он замолчал. Начинало уже темнеть, и надо было мне идти, но не хотелось расставаться с этим рыжебородым, таким интересным стариком.

— А что же это за история? — спросил я.

— Была такая, нечистая кровь. Тому лет пятнадцать будет. — Он раскурил трубку и стал рассказывать.

А я не знаю, как это получилось, но перед глазами вдруг стали появляться отчетливые картины, и все, что рассказывал Назар Илларионович, я увидел так, будто вместе с ним жил на Темге.

Вот что сложилось в моем воображении.

«Стояло лето, жаркое, неподвижное.

У берега тихой реки лениво плескалась разморенная рыба. Звенели желтобрюхие пауты и пепельные оводы. Никло висели вялые листья берез, и трава не тянулась к небу, а склонялась к земле.

Рыжебородый, багроволицый Назарка, посасывая короткую трубку, сокрушенно рассматривал прогорелый бок жестяной печки. Он колупнул коротким пальцем проржавленный пластик железа, посмотрел на него и задумался. И вздрогнул: с реки донесся крик.

Назарка прислушался, пригнув обросшую голову. Всколыхнув густую тишину, крик повторился. Тогда Назарка медленно поднялся, прошел к обрывистому берегу реки.

Перед ним струилась вода. На дне тускло мерцали темно-серебряные спинки чебаков, а ближе к поверхности — стаи резвившихся гальянов. Дальше река неожиданно круто сворачивала в сторону, исчезала. В том месте возвышался завал. Деревья угрожающе щетинились остриями стволов.

Крик раздался снова, протяжный, жуткий. Словно белый платок, взметнулась от воды речная чайка. Кто-то тонул.

Назарка сбежал к пологому берегу, столкнул долбленку, поплыл на крик. Гребя двухлопастным веслом, он быстро двигался вперед. Шел против течения. Миновав желтую, кривую, будто полумесяц, песчаную косу, оставил позади изгрызенный водой крутой берег, где в прошлом году догнал изюбра (ошалелый от страха зверь прыгнул тогда с обрыва в затягивающий водокрут и вынырнул далеко ниже косы).

— Ой... Ох!..— пронеслось по воде, и на середине реки показался человек.

— Э-гей, держись! — крикнул Назарка, заметив, что человек все слабее машет руками. Подплыв, он разочарованно сморщился, увидев на воде вздувшуюся синюю юбку.

— Баба...— презрительно сплюнул он и досадливо крикнул:— Хватайся!.. Да не дюже... Да не лезь!

Женщина крепко ухватилась за борт оморочки. Она не отпустила рук и тогда, когда оморочка с размаху ткнулась в шуршащий песчаный берег. Несколько секунд женщина растерянно сидела в мелкой воде, потом поднялась и, шатаясь, пошла к Назарке.

— Счастье твое, что бог придумал вашему роду юбки, а не то кормить бы тебе касаток...

Уцепившись за его локоть, женщина ничего не ответила. Она дрожала от холода и еще не прошедшего испуга. Назарка отвернулся: «Поди-ка, не одна была, наверно, с мужиком?» Но спросить не захотел, зная, что за этим пойдут слезы, причитания. В зыме женщина, вздохнув, села на лавку и уткнулась лицом в ладони почерневших рук.

«Ну, верно, с мужиком...» — подумал Назарка и грубовато проговорил:

— Кто же это плачет, ежели от смерти ушел? Радоваться надо, а не гневить судьбу...

Он говорил медленно, с натугой, подыскивая слова. Давно не приходилось говорить с людьми, а тут успокаивать надо. Он даже усмехнулся...

Было жарко и тихо. Женщина чуть слышно плакала.

— Ну хватит... Хоть век плачь, не воротишь... Обсушиться тебе надо, да и чайком согреться.

— Как же без одежды-то? Утоплю все.

«Ну и дура,— удивился Назарка. Он решил, что утонул у нее муж, а оказалось — одежонка.— И как это люди от такой мелочи могут в печаль входить?»

Через полчаса они пили густой кирпичный чай. Когда говорить не о чем, чай заменяет разговор. Назарка делал большие глотки, изредка покрякивал, женщина пила торопливо, обжигаясь. Обоим казалось, что они делают нужное дело. Назарка

усердно подливал в потемневшую чайную глиняную кружку. Женщина степенно благодарила. Она была в Назаркиной ситцевой рубашке и его же миткалевых штанах. В открытую дверь виднелось платье, висевшее на растянутой сетке. Легкий ветер раскачивал сетку, и по платью прыгали солнечные блики.

— Будя...— перевернув чашку дном вверх и положив на нее кусочек сахара, сказала женщина.

— Чего там! Пей... Чайник большой. Выпьем — река рядом. Тебе по нутру сейчас горячее-то.

— Куда там, и так уж как барабан!— Она засмеялась, блеснув белыми зубами.

Назарка улыбнулся и, наливая в свою чашку, спросил:

— Как кличут-то?

— А как назовешь, так и ладно.

Она уже отогрелась, перенесенный страх остался позади, и хотелось теперь смеяться, глядя на этого незнакомого волосатого мужика.

— А взабыль?

— Настей.

— Настасья. Что ж — это имя!— словно взвешивая его на руке, определил Назарка.— Имя! Только ничего не говорит оно, вот вроде как мое. Что оно может обозначать — не угадано. Сорок лет живу с этим именем, а как его толковать — непонятно. Вот, к примеру, собака моя, Пальма,— ясность имеется: дерево такое в жарких странах есть, тепло, значит, любит. Или Валет — тоже имя, сам прозвал так. Это чтобы о моей глупости напоминал. Память на худое коротка у человека. Когда еще на лесосплаве был, тому более годов с десятков, в карты никогда не игрывал, а сел, ну и проиграл все, что было. Там все один говорил, ловкий такой парень: «Валет, говорит, самая распрекрасная карта, к нему, говорит, любая хороша». Валет-то и поддел меня. Да дело не в валете даже, а глупость это одна, как и пьянство...

— Неужто не пьешь?

— Нет.

— А мой мужик и пил и картежничал к тому же. Иной раз дня по три глаз не казал. На принске и помер, в своем шурфе землей завалило,— тягуче говорила Настасья и сухими глазами глядела в окно.— Все думал: золото — глубже в земле... А другие, не в пример ему, находили, чуть копнув... Ну и поехала я,— сложив на высокой груди руки, продолжала Настасья.— Так-то бы и осталась, мужика бы нашла, да побоялась: а ну опять пьяница на мою голову навяжется. И поехала. Думаю, баба я молодая, непорченная, место свое в жизни всегда найду. Да так ли хорошо надумала, что в одночасье и собралась. Еду, а сама всё песни пою. Хорошо, когда волюшку почувствуешь и все-то впереди, будто праздник... Да вот и приехала. -- Губы

ее дрогнули, на глаза навернулись слезы.— Куда я теперь-то безо всего?

И этот простой, совершенно естественный вопрос заставил Назарку нахмуриться. Несмотря на краткость знакомства, он как-то успел уже свыкнуться с присутствием этой женщины в своем зиме. Вся его жизнь, прожитая в тайге, показалась ему не то чтобы скучной, но лишенной смысла. И если Настасья уйдет, то как-то уж слишком неинтересна будет эта жизнь. Он почувствовал досаду, какая появлялась у него в тех редких случаях, когда уходил хороший зверь. Назарка настороженно посмотрел на Настасью.

— Н-да...— протянул он.— Это верно, куда ты теперь-то? А куда бы ты плыла теперь, если б не я? Но что было, то было, поросло, а вот голая ты, без документа к тому же... Запутанный след получается.— Назарка хитрил, старался, как на охоте, незаметно отрезать все пути. Настасья заплакала.

— А ты не реви. До зимы как-никак перебежься, а там в Найденовском прииске документы справишь да с караванами и уйдешь по реке.

— До зимы? А теперь куды денуть? — В голосе Настасьи послышалось отчаяние.

— Живи здесь,— вроде как бы и равнодушно ответил Назарка и, увидя строго сжатые губы Настасьи, торопливо добавил: — Муки много и зверя всякого, до зимы-то...

Настасья задумалась. Иногда она морщила брови, иногда улыбалась, чуть прикрыв глаза.

— Ну что ж,— тихо проговорила она,— ты не парень, да и я не девка, авось не поцарапаемся.

Назарка схватил в горсть рыжую бороду.

— Валетка, Пальма!— кричала звонким голосом по утрам Настасья, держа в руках куски мяса.

Собаки срывались с обогретых за ночь мест, перескакивая через кусты, летели, распластав длинное тело, и с ходу ловили брошенный кусок, рыча рвали его, прижимая лапами к земле.

Холодало солнце. Падали сморщенные, умершие листья.

Жизнь, казалось Настасье, шла так же медленно и неуловимо, как и на прииске. Часто по нескольку дней она оставалась одна. Назарка пропадал на охоте. Настасья часами просиживала на берегу, подавленная, грустная, ничто не радовало ее и не волновало. Даже приход Назарки не вызывал радости и покоя.

— Соболек-то... Тебе на обнову. Поживем, всего вдосталь будет,— говорил Назарка, удовлетворенно оглядывая прибранный зим.

Единственное окно, на восток, казалось невидимым,— настолько оно было чистым. Стол набело выскоблен, а после еды на нем появилась старая, хорошо выстиранная миткалевая скатерть, и в консервной банке стояли поздние осенние цветы, окруженные бессмертниками.

Назарка уже не мог долго быть без Настасьи, его тянуло домой.

Как-то в один из дней, в конце безлистного октября, он вернулся возбужденный и слегка испуганный. Теребя бороду, торопливо рассказывал:

— Где соболька-то поймал, у ручья, пошел опять туда... И сразу на сохатого наскочил. Выстрелил, а сохатый улегся по ручью. Собаки за ним. И всюду, где гнались, кровавый след, а он все уходит. Ладно. Дело к вечеру, лег спать, а ночью и приснился сон, будто сохатый в ручье лежит. А ручей тот золотой... Утром догнал сохатого. А он и верно лежит в ручье. Оттащил его, вспомнил сон. Зачерпнул горстку со дна, промыл.— Назарка вытащил из кармана тряпицу и показал Насте несколько крупинок.— Золото ведь!

Настасья только взглянула и сразу закивала:

— Ага... Золото...

— Много людей погибло через него,— не сводя глаз с крупинок, проговорил Назарка.

— Ну, оно тем плохо, кто жадный, а нам только для хозяйства. Мыть-то умеешь? Инструмент есть?

— Никогда в жизни и не трогал проклятого.

Настасья рассмеялась:

— Ну вот, а испугался. И я не умею... А так-то разве возьмешь?

Вскоре с Найденковского прииска приехали трое. Все они были загорелые, с опухшими от вина лицами.

— Вот ты где, красавица! — увидев Настасью, удивленно закричал рябой, коренастый старатель.

— Ну и дьяволы, никуда от вас не уйдешь,— засмеялась она.

— Смотри, Савка, землячку нашел! — крикнул он высокому тощему парню, стоявшему у лодки.

Тот коротко свистнул и, вытянув шею, кривляясь, подбежал:

— Наше вам с кисточкой!

Назарка хмуро смотрел на пришельцев. «Черт их занес!» — думал он. Настасья разводила огонь, резала мелкими пластами мясо, суетилась.

— А ты, Матюха, чего рот разинул? — набросился Савка на плешивого мужика.— Тащи подливку, чуешь, мясом несет в нашу сторону? А ты, хозяин, прости нас, грешных, выпьем

мы — и вниз по матушке-реке Норе. Только ты нас и видел...

— Я ничего... Не каждый день человека нового увидишь, а тут троих зараз.

Зашипело на сковороде мясо, появились на столе водка, колбаса. Пили, рассказывали: строгости пошли на принске, другие места искать поехали. Назарка присматривался, водки не пил.

— Настьку боишься пропить? — смеялся рябой. — Не бойсь, из тайги баб не возят.

Старатели, подвыпив, спорили, куда ехать. Настасья постла-ла на полу шкуры для ночлега.

Всю ночь Назарка не спал, думал.

— Они только пьяницы, а так — ребята смирные, — шепта-ла ему Настасья. — Намоют — поделятся...

Утром, собрав старателей на зиме, Назарка рассказал о ручье.

— Харч мой и две доли из пяти мне. Но уговор — по-чест-ному, по-таежному. Почую обман — ни капли муки не дам. А кто полезет — я и на медведя не раз ходил...

Тетрадь четырнадцатая

К полудню он привел их на ручей.

— Пытай, — сказал рябому и склонился, в нетерпении сле-дя за его движениями.

Рябой зачерпнул в лоток немного песку и стал его промы-вать:

— Есть трошки.

Через два дня на берегу появился новый зим.

Как-то, придя домой, Назарка сказал Настасье.

— Знаешь, может, так сделать... Заместо кухарки к ним... А сама приглядывай, чтоб не хоронили золото-тка, да и про-меж собой ладили.

Настасья охотно согласилась.

В течение нескольких дней Назарка таскал к ручью муку, соль, мясо. Изредка спрашивал рябого:

— Как?

— Нельзя хвастать, уйдет...

Назарка строго уважал приметы, но все же ночью осторож-но спрашивал у Настасьи:

— Ну как?

— Моют, а разве увидишь? — неохотно отвечала Настасья.

— Ну они вроде ребята ничего.

И вдруг все перевернулось. Назарка возвращался с охоты. Обычно с пригорка был заметен дымок. Теперь его не было. Назарка неторопливо шел, таща на спине громадного глухаря.

У ручья было тихо. Лесная сорока воровато поглядела на него и взлетела на крышу нового зима.

Назарка пробежал к дому, прислушался. Тихо. Только звенит ручей, прыгая с камня на камень.

Рванул дверь — и отпрянул. Савка и Матюха мертвые лежали на полу. Рябого и Настасьи не было.

— А ты чего все пишешь-то? — спросил меня Назар Илларионович.

— Интересно. Забыть боюсь.

— А-а... Вот и все про Настасью.

— А как же вы ушли с Темги, Назар Илларионович?

— Это совсем уже другое. Тут случилось так.

«Прошло много лет. Назарка постарел, согнулся и злобу перенес на кроткую Пальму. Он прозвал ее Дамкой в память о сбежавшей Настасье, желчно ругался, когда Пальма вырвала лучшие куски у Валета:

— Только обманом и живешь, нечистая кровь!

Не стало для Назарки в тайге прежней прелести и спокойствия. Стал избегать людей, и только с менялой встречался раз в году, зимой, да и то много не разговаривал с ним, — не торгуясь отдавал шкуры и, получив порох, муку, соль и свинец, молча поил менялу чаем, кормил сохатиной и наутро выпраживал из дому.

Как-то шел Назарка по тенистому распадку. Валет и Дамка отбегали в стороны, рыскали в кустах и возвращались к хозяину. Выйдя на склон сопки, Назарка сел на валежину и закурил трубку. Он ни о чем не думал. Где-то далеко тявкала Дамка.

«Белку нашла», — убирая трубку в карман, подумал Назарка и спустился в распадок.

Дамка сначала тявкала редко, словно и сама понимала, что белка еще «не выкунилась», но потом стала лаять заливно, со злобой.

«Зверь!» — решил Назарка и перезарядил бердан пулей. Перепрыгивая через валежины, обегая деревья, он легко бежал вперед. И вдруг лай сменился визгом. Назарка выругался. В просветах между деревьями мелькнуло что-то серое, за ним промчались Валет и Дамка. Назарка вскинул ружье, выстрелил. Короткий визг — и все стихло.

На земле, судорожно дергая головой, лежала большая серая собака. Назарка удивленно рассматривал ее. Нечто похожее на испуг появилось на его лице.

— Что вы наделали? — услышал он звонкий голос. Назарка обернулся и увидел девушку. Она подбежала к собаке, по-

ложила ее голову на колени и заплакала. Собаки таежника тихо рычали.

— Зачем вы убили Серко? — гневно хмуря брови, спросила девушка. У нее были карие с золотистыми точками глаза и короткие светлые волосы.

— Зря убил собаку, — раздельно произнес Назарка. — Лучше бы тебя убить-то, чем собаку-то...

И ушел.

Начался дождь, мелкий, скучный.

Назарка остановился, несколько секунд постоял в раздумье и повернул обратно. Скоро он подошел к тому месту, где убил собаку. Но Серко не было. «Ну, верно, недалеко они живут, — подумал он, — унесли».

Но ему пришлось пройти еще с километр по следу девушки, прежде чем он услышал голоса.

На поляне у серых палаток ходили люди, горел дымный костер. Назарка залез в куст можжевельника.

Он видел: людей немного, среди них женщина. Возле палаток лежали лотки, кирки, лопаты. Назарка понял: люди пришли за золотом.

Он ушел, решив наблюдать за людьми, ждать того дня, когда они, намыв золота, передерутся.

Часто после этого Назарка подолгу лежал вблизи лагеря, слушая разговоры мужчин и звонкий смех девушки.

— У, нечистая кровь! — злобно ругал он ее и насмешливо глядел на очастого старого человека в синем плаще. Назарке почему-то казалось, что этого человека непременно должны убить, и он даже знал, что убьет его рослый хмурый парень в клетчатой рубахе. А может, их всех убьет вот тот бородатый, сутулый и заберет с собой девку. Он всегда ходил с ружьем, этот бородатый. Назарке нравилось представлять картины убийства. В них он находил какое-то удовлетворение, — дескать, не он один обманутый.

Прошло около недели, но сколько Назарка ни подглядывал, ничего, кроме веселого смеха девушки, мирного говора мужчин и хорошей дружбы, не видел. Тогда он решил поближе узнать людей.

В лагерь он пришел поздним вечером, неся за спиной глухаря. Не здороваясь, оглядел палатку, очастого человека.

— Вот, смотрю, люди. — И положил на стол глухаря.

— Глухарь — это замечательно, папаша... Славный глухарь. Тяжелый. Сколько вам за него заплатить?

— Ничего не надо. Так ешьте.

— Ну что ж, спасибо, тогда и я вас кое-чем угощу. Ири-на! — крикнул он, и в палатку вошла девушка.

Она с неприязнью взглянула на таежника.

— Смотри, какого глухаря принес нам папаша. Будь любезна, приготовь кой-чего для знакомства.

Закурили. Назарка — трубку, очкастый — сигарку. Ирина принесла на тарелке жирную селедку с черемшой, водку и печенье. Старик налил водку в стаканы и поставил один перед Назаркой.

— Нет,— отодвинул Назарка стакан,— не пью.

— И прекрасно делаете. Я тоже не питок, хотя сейчас выпить можно.

— Чего в тайгу-то пришли? — ломая пальцами печенье, спросил Назарка.

— Золото искать.

— Это хорошо, золото-тка... Богатыми хотите быть. Старатели.

— Нет, геологи мы. Найдем золото, застолбим — и дальше. А потом здесь прииски будут... А вы, значит, местный охотник? Это хорошо. Вы отлично должны знать тайгу.

— Ну,— настороженно покосился Назарка.

— Проводником не желаете ли быть?

— Не желаю! — подымаясь, ответил Назарка и, не глядя ни на кого, вышел.

На поляне он увидел Ирину. Смеясь, она что-то рассказывала высокому хмурому парню.

Ночью у своего костра Назарка долго думал: «Видно, находят золото-тка, да мало, потому и дружные... Ежели Золотой-то ручей показать им, то, глядишь, и головы потеряют...»

Бездымно горела ольха. Собаки спали, тонко поскуливая, уткнув морды в передние лапы. Ветер шумел в вершинах лиственниц. Где-то далеко, в стороне Золотого ручья, прокричал гуран. Назарка поворошил поленья. Искры взметнулись в черное беззвездное небо.

«Показать ежели?..»

Назарка уже видел, как люди, обезумев от радости, громко смеются и благодарят его, потом, спустя время, мрачнеют, молчат и всё только моют золото, настороженно глядят друг на друга. А затем, как и раньше,— кровь и оброненные в спешке крупинки золота.

«Покажу»,— решил Назарка и, укрывшись куском брезента, уснул.

Проснулся он поздно. Опять шел дождь, брезент намок. Назарку знобило. Он посмотрел на небо: лохматые тучи шли над лесом. Назарка поежился и впервые за все время жизни в тайге подумал о себе с жалостью. Дует ветер, идет дождь, а он стоит озябший, мокрый, и где-то далеко, затерянный в тайге, его одинокий, пустой зим. Назарка подобрал брезент и, вскинув на плечо сумку, свистнул собак и пошел к лагерю.

Старик и Ирина сидели за длинным столом. Перед ними

лежали кучи галечников и песка. Против Ирины стояли аналитические весы.

— Вот, пришел,— входя в палатку, сказал Назарка и принялся раскуривать трубку. Но табак показался ему невкусным, и он приглушил огонь пальцем.— Вот ты говорил про то, чтоб проводником мне быть, чтоб я по разным местам вас водил. Так я буду проводником...

— Замечательно!

— Только уж сегодня я не ходок, неможется мне. Простыл, видно...

— Ирина, папаше надо согреться,— сказал старик,— убери те шляхи, образцы и вообще все со стола. Сейчас мы будем пить чай. Чай полезен по утрам, особенно больным...

На другой день Назарке стало хуже, появился жар, болела голова. Старик распорядился поставить в палатку еще одну койку и в те часы, когда не уходил из лагеря, сам ухаживал за охотником, а когда уходил, его место занимала Ирина. Со стариком Назарка чувствовал себя свободнее.

— Говорил — золото, а сам камни таскаешь,— смотря на галечники, как-то сказал Назарка.

— Нам пробы нужны, а не золото. Золото прирису нужно.

Назарка опять недоверчиво улыбнулся. «Жизней лишаются люди из-за золота-тка, а ему не нужно..»

Утром все уходило на работу, а возвращались только поздним вечером, приносили образцы — гальки и песок, раскладывали их на столе и, рассматривая в лупу, взвешивая на весах, записывали что-то в тетрадке. Иногда они радовались. Назарка узнавал, что их радует удача кого-либо из товарищей.

— Восемнадцать знаков, это впервые в моей геологической жизни! — радовался бородач, и тогда все оживленно начали говорить.

Старик бегал из угла в угол:

— Это замечательно! Прииск наверняка будет здесь. Богатейшие залежи.

Когда за Назаркой присматривала Ирина, таежник был неразговорчив. Молчала и девушка. В его горячем мозгу возникали картины одна страшнее другой: то он видел Настасью, ползающую по полу и собирающую пригоршнями золота, то рябого. Назарка бежит и не может убежать, и кричит, и просыпается весь в холодном поту.

Ирина испуганно глядела на него, Назарка помутневшими глазами обводил стены палатки и, виновато улыбаясь, говорил:

— Напугал тебя...

— Нет, ничего. Тяжело вам...

Постепенно Назарка стал поправляться, и вместе с выздоровлением росла решимость. Он уже твердо знал, что плохого этим людям не сделает.

Наконец он встал с постели:

— Полежал — и будя... Спасибо вам.

— Э, папаша, не рано ли?

Но Назарка больше не лег. А на другой день он и старик пошли к Золотому ручью. Назарка шел, опираясь на палку. Он решил показать ручей в благодарность этим людям. Смущало его только одно: много было золота в этом ручье, не обернулась бы его дьявольская сила во вред неплохим людям.

В полдень они подошли к ручью. Не был здесь Назарка с того самого дня, когда сбежала Настасья. Ручей весь зарос буйной зеленью, зим покосился, стал черным от дождей и солнца. По-прежнему тихо звенела, переливаясь, вода.

Не заходя в зим, Назарка раздвинул густые ветви и замер. Прямо перед ним стоял белый толстый столб. На нем было что-то написано. Но Назарка не умел читать.

— Что это?—спросил он, ткнув пальцем в слова.

— Золотоносный ручей Темга. Открыт поисковой партией номер четыре треста «Геологоразведка»,— прочитал ему старик».

Назар Илларионович уже спал, когда я закончил запись. На дворе стояла ночь. Костер догорал. Где-то далеко-далеко прозвучали выстрелы. «Наверно, меня ищут»,—подумал я, но с места не тронулся. Куда идти в такую темень? Да еще пошел дождь.

В зиме было темно. Назар Илларионович храпел. Но как только я зажег спичку, сразу же проснулся.

— Чего бродишь?—спросил он, настороженно поглядывая.

— Ищут меня. Но темно, боюсь идти... Заблужусь. Да и дождь еще...

— Утром пойдешь. Ложись спать,—сказал Назар Илларионович и потеснился, освобождая часть нар, прикрытых шкурой сохатого.

Я лег. Но долго не мог уснуть. Тасжник опять храпел, а я думал о том, как удивительно может сложиться жизнь человека. Уйти от людей. Отрешиться от всего. Что это— жизнь или небытие? Ради чего же тогда жить? Ради охоты? Но Назарка не жаден, он бьет, только чтобы прокормить себя, обеспечить необходимым для жизни. У него пусто в зиме. Он нищий? Нет, у него все есть, но самое необходимое. Так и не разобравшись в этом человеке, я уснул.

Разбудил меня Назар Илларионович.

— Иди, светает уже, можит,—сказал он.

Сквозь стекло смутно просачивался тусклый дождливый рассвет.

— Вот так иди,—махнул тасжник рукой на юг.

— А вы откуда знаете?

— А я и тебя знаю. Всех знаю. Видел на берегу, когда еще приехали. Человек утонул у вас...

— Да. Бацилла...

— А другой не захотел спасать его.

— Он спасал его, но не успел.

— Нет. Тот звал его. Долго звал. А другой не хотел спасать, плыл к нему, держал оморочку шагах в пяти от него. Тот звал: «Пугач, спаси!», а другой не хотел спасать, молчал.

— Да не может этого быть! — чуть не закричал я.

— Это так. Мир велик, а людям жить тесно. Ну, иди. Опять стреляют. Ищут тебя. Весь порох переведут.

Я пошел. Скоро совсем рассвело, и я зашагал быстрее, делая на ходу заметы: ломая ветви, чтобы потом легче было привести к началу участка наш отряд. И все время думал о Бацилле и Мишке Пугачеве. Не верить Назарке я не мог. С какой стати он будет наворачивать на человека? Но и поверить было трудно.

В лагере был переполох. Конечно, не все волновались, но Мозгалевский, оказывается, не раз дергал себя за усы, называя дураком за то, что рискнул послать меня одного. Как только я появился, сразу же подбежала Тася.

— Алеша!—Она смотрела на меня, и я видел в ее глазах слезы.—Мы тут измучились из-за тебя.

— И совсем зря,—не останавливаясь, сказал я.

— Коренков, попрошу! — махнул рукой Мозгалевский. Голос его был казенен.—Что случилось?

Я рассказал, как искал и нашел полевой пикет, как повстречался с тасжником.

— Все это замечательно, но почему вы не вернулись вчера в лагерь?.. Ах, вот что! Вам было интересно послушать болтовню старого отщепенца. И вы что же, поверили ему? А если он скрывается от милиции, тогда как? Если он вредитель, тогда что вы скажете?

— Ну почему же...

— Почему же? Потому что надо заниматься делом, а не болтовней! По вашей милости с выходом на работу опоздали на два часа. Прошу, ведите!

И я повел. Вести было легко, помогали заметы.

— Вы что, «Красная стрела»? Нельзя так. Надо идти медленно.

— Хорошо, Олег Александрович,—ответил я и пошел медленно.

Не прошло и часа, как я уже опять был у зима. На старом месте курился примятый костер. Серая струя дыма, извиваясь и раскачиваясь, поднималась к небу.

— Назар Илларионович! — крикнул я.

Но он не отозвался.

— Наверно, на охоту ушел,—сказал я и прошел в зим. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: таежник ушел совсем. Кроме пустого открытого ларя, в зиме ничего не было.

— Ну что вы на это скажете?—спросил, входя, Мозгалевский.

— Он говорил, что уйдет...

— Говорил. Он не только говорит, но и делает. Однако запах здесь... Тьфу!

Мы вышли из зимовки. Мне было почему-то грустно...

Мозгалевский с Покотиловым стали проверять план привязки рекогносцировочного хода, проवेशили линию, отбили угол. Просека за три года заросла, и ее пришлось подчищать. Выяснилось — план неточен.

— Этого следовало ожидать,—сказал Мозгалевский, но почему следовало — не объяснил.

...До сих пор самолета нет. Мозгалевский жалеет, что с Сосниным не отправил еще и лодку, побольше бы можно привезти продуктов. Решив отправить вдогон. К тому же и случай представился: Нинка заявил, что «ребятки работать отказываются, покуда не будет жратвы и табаку». Таких ребяток набралось девять человек.

— Чудненько! Вот они и поедут за продуктами, или, как вы выражаетесь, за жратвой.

— Не вернемся!—заявили ребятки.

Им, конечно, на всякие изыскания наплевать, но и нам такие рабочие не нужны. Мы эту девятку давно поняли.

— Можете не возвращаться!—сказал Мозгалевский.

— А мы тогда не поедем!

— Нет, поедете!

— А пропади она пропадом, вся ваша экспедиция,—вскричал Нинка,—сгори она!

— Всем жуликам накажу не ездить к вам!—крикнул Юрок, черноглазый увертливый татаренок.

Быстро собрав свое барахлишко, жулики сели в лодки и оттолкнулись от берега.

— А эвон, эвон, а догоните, а эвон, эвон, а. побежал!—запел диким голосом Нинка, выводя лодку на середину реки.

Течение подхватило ее, и уже через минуту не стало ни слышно, ни видно уехавших вниз. На свободе им быть недолго. У Герби их перехватят и отправят в лагерь.

29 августа

Сегодня впервые с утра и до вечера работал техником-изыскателем. Быстро летит время. В работе забываешь, что с утра ничего не ел, шея и лоб разодраны от расчесов; накомарник я

утопил еще в пути, и теперь мошка постепенно пожирает меня. Забываешь и то, что самолета нет вторую неделю.

За ужином от Шуренки я узнал неприятную новость: заболел Яков.

— Что с ним?

— Рвет его... Горит весь. И доктора нет, что это за экспедиция...

Олег Александрович высказал предположение, что у него энцефалит.

— Вы думаете, у него энцефалит? — встревоженно спросил Зацепчик. — Яков болен энцефалитом?

— Вполне возможно, — ответил Мозгалевский, посасывая свою носогрейку. В этих местах три года назад была среди изыскателей вспышка энцефалита.

— Надо принимать какие-то меры, — задергался Зацепчик. — Сегодня клещ укусил Якова, завтра вас, Олег Александрович, а затем, может, и меня. Так нельзя. — И стал осматриваться, как будто всюду ползали клещи.

— Почему же такая железная последовательность? — спросил Коля Николаевич. — А если после Якова клещ укусит вас?

— Мне не до шуток!

— Я знаю, что такое энцефалит, — сказал Зырянов. — Это поражение нервной системы. Смерть ужасна; она начинается с паралича шеи, затем отнимаются руки, ноги...

— Зачем вы все это говорите? — вскричал Зацепчик.

— Чтобы вы знали симптомы энцефалита.

— Пошли вы к черту!

— Мало нам было завалов, всяких перекатов, бессония, так еще энцефалит на закуску. А ты, Алеша, вышел бы, отряхнувшись, — может, из лесу до черта натащил этих клещей, — сказал Коля Николаевич.

— Действительно, и зачем входить в палатку не отряхнувшись? — брезгливо глядя на меня, сказал Зацепчик. — Идите, идите и стряхните с себя все!

— Да ничего у меня нет...

— Это бесполезно, — сказал Зырянов, — переносчиками вируса могут быть и комары.

— Комары? — Зацепчик беспомощно развел руками. — Что ж делать, товарищи?

Нет, такого хохота я уже давно не слышал. Смеялись так, что пламя у свечей качалось из стороны в сторону. Но этот смех нам не обошелся даром. Полог палатки откинулся, и в проеме показался Афонька.

— Что вам? — спросил Мозгалевский, переставая смеяться.

— А то, что так можно греготать, только пожравши с солью.

— Как вам не стыдно! Неужели я смог бы утаить от рабочих соль? Не ожидал от вас.

— А чего ж тогда так весело? уже несколько растерянно спросил Афонька.

— А разве это плохо? Вы напрасно падаете духом. Скоро прилетит самолет, поможет нам Костомаров, вернется Соснин, все наладится. Идите и успокойте рабочих. Между прочим, можете объявить: завтра выходной.

Зацепчик, забравшись под марлевый полог, тщательно осмотрел все уголки, куда бы могли забиться комары, затем прижал концы марли к земле камнями и, не раздеваясь, улегся. Я уже стал засыпать, когда он сказал:

— Страшная вещь: проектировщики живут в домах, а получают коэффициент и нагрузку такую же, как и изыскатели. Спят в нормальных постелях и не боятся никаких клещей. А тут рискуй жизнью, и во имя чего, спрашивается? Почему один должен рисковать, а другой нет? Алексей Павлович, вы спите?

Я не ответил.

— Коренков, спите?

Я опять промолчал. Меня уже тянуло в сон.

— Кошмар,— сказал Зацепчик.

Утром он вышел к реке, снял с себя рубашу, повертелся, подставляя то спину, то грудь солнышку, и только хотел было опустить руки в воду, как заметил с левой стороны, под мышкой, какой-то желвачок. Потрогал его, поднял руку, заглянул, чуть ли не вывернув шею, и закричал. Под мышкой у него висел раздувшийся грязно-зеленоватый клещ.

Единым прыжком Зацепчик метнулся к палаткам и с высоко поднятой рукой подбежал к Мозгалевскому.

— Вот, вот, смотрите! — задыхаясь от ужаса, проговорил он.

Зацепчика окружили, стали рассматривать. У него из-под мышки торчал куст рыжих волос.

— Ерунда, — авторитетно заявил Мозгалевский. — Почему непременно этот клещ должен быть энцефалитным? Успокойтесь, Тимофей Николаевич.

Но Зацепчик не мог успокоиться. Его била нервная дрожь.

— Покажите-ка, — сказал по-деловому озабоченно Зырянов.

Зацепчик покорно поднял руку.

— А мы его вот так, — сказал Зырянов и, ухватив, с силой рванул.

Зацепчик взревел.

— Зачем? — орал он.

— А вам зачем? — улыбнулся Зырянов. — По-моему, это самый обыкновенный клещ.

Но Зацепчик не верил никому. Вокруг него толпились рабочие. Кто-то принес Зацепчику с берега одежду, но он не стал одеваться, взял ее в охапку, ушел в свою палатку, лег, закрывшись с головой одеялом.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я.

Тетрадь пятнадцатая

— Плохо... Мерил температуру. Уже поднимается. Тридцать шесть и девять...

— Так это ж нормальная.

— Не спорьте...

Тут вошел Мозгалеvский:

— Как самочувствие?

— Пока трудно сказать, — слабым голосом отвечал Зацепчик. — Изучаю себя...

— А Яков-то поправился...

— Уже? — Зацепчик приподнялся.

— Да, у него, видите ли, было совсем не то. Оказывается, он ест сырые грибы, но не все же грибы можно есть сырыми.

— Вот как! — обрадовался Зацепчик и взлохматил от радости волосы. — Знаете, мне кажется, что и у меня не то. Я себя чувствую нормально, к тому же зверски хочу есть...

— Ну и чудненько! Если вы к тому же не пожалаете для себя рюмки водки из своих неприкосновенных запасов, то тем более будет все замечательно.

— Да, да, водка у меня есть, и для себя я рюмки не пожалею.

— Может, и Якову дадите? — сказал я.

— Зачем же ему, если он поправился? — сердито ответил Зацепчик.

Да, бывает так, что человек с первого взгляда не понравится, и этому первому восприятию надо верить. Но потом как-то привыкаешь, сближаешься, и человек вроде становится и ничего. Но рано или поздно плохое все равно в нем прорвется. Иначе не может быть. Если уж человек плох, то он должен обязательно сделать плохое. Без этого он не может. Я не хочу разочаровываться в изыскателях. По-прежнему они для меня люди мужественные, честные, сильные. Но, как и всюду, встречаются среди сильных, настоящих людей люди плохие. Зацепчик плохой.

Все это произошло в наш выходной день. К общей радости, день солнечный, ни ветерка, ни тучки. Мозгалеvский разложил на земле всю свою канцелярию, — сушит. Я выкупался и хожу во всем чистом.

— А ты красивый, Алеша, — говорит Тася.

— Это я знаю.

— Смотри ты, какой хвастун!

— Почему хвастун? Как есть, так и говорю.

— Покажи свои глаза.

Я повернулся к ней.

— По-моему, хорошие глаза у тебя, — говорит Тася, — а Шуренка говорит, что они у тебя блудящие.

— Какие?

— Блудящие. Это она так сказала.

- А что это значит?
- Ну, она говорит, у кого такие глаза, тот за женщинами любит гоняться.
- И что же, я гоняюсь? За ней, может, гоняюсь? *
- Нет.
- За тобой?
- Нет, и за мной не гоняешься...
- Я тоже так думаю. Значит, глаза не блудящие?
- Да.
- А тебе хотелось, чтобы они были блудящие?
- Мне хотелось, чтоб ты только за одной девушкой бегал.
- Это бесполезно.
- Как знать, — лукаво улыбнулась Тася.
- Из палатки вышла Ирина. Я знаю, она пройдет мимо и не заметит меня. Но сегодня есть предлог поговорить с ней.
- Здравствуй, Ирина, — говорю я.
- Здравствуй, — безразличным голосом говорит она и хочет пройти мимо, но я встаю на ее пути.
- Послушай, Ирина, ты работала в поисковой экспедиции по золоту?
- Она недоуменно смотрит на меня.
- Работала.
- И встречалась с таежным охотником Назаркой? Он еще у тебя Серко застрелил...
- Откуда ты знаешь? — Она идет к костру. Я за ней. Как я рад, что она заинтересовалась. Иногда достаточно пустяка, чтобы ледок отчуждения растаял.
- Это целая история. Если хочешь, я расскажу. Я встретил его...
- Но она уже не слушает.
- Что, еще не закипел? — спрашивает она Шуренку и снимает с чайника крышку, заглядывает. — Начинает...
- Ты какая-то совсем другая стала, — говорю я.
- Да. Теперь я другая. После того как тонула, стала другая.
- Что, это верно говорят, будто когда человек тонет, то всю свою жизнь видит? — спрашивает Шуренка, подкладывая в костер.
- Верно. Я увидела всех — отца с мамой, сестренку. Солнце увидела, свое детство... Это даже не передашь, но я все увидела.
- Скажи, пожалуйста, — удивляется Шуренка. — А страшно было?
- Нет, не страшно. Только очень обидно.
- Если бы не Кирилл Владимирович, пропала бы ты, — сказала Шуренка.
- Он смелый, — ответила в раздумье Ирина.
- Ты говоришь так, будто он единственный, который мог тебя спасти, — сказал я.

— Но ведь ты не спас? — Она посмотрела на меня.

— Я просто не успел...

— Один не успел, другой струсил, а Кирилл спас... Почему-то именно он спас...

Чайник закипел, стал захлебываться. Ирина сняла его.

— Я не думал, что ты поставишь меня на одну доску с Лыковым, — сказал я.

— Ты сам себя поставил. Я ни при чем...

— Это неправда! — горячо сказала Тася. — Алеша смелый!

— Ну и прекрасно, — усмехнулась Ирина. — Пусть для тебя будет смелый. — И ушла.

Странно, почему она винит меня в том, что я не спас ее?

...К вечеру сверху спустился к нам бат. Приехали эвенки-охотники. Они убили сохатого. Отрубленная крупная голова с потускневшими, как бы усталыми, глазами лежала поверх груды мяса. Привезли охотники и соль. От них мы узнали, что выше нас на двадцать километров находится колхозная рыбалка с тремя фанзами. Там был Костомаров, договорился с рыбаками — они же и охотники, — и вот у нас мясо и соль.

Обед был великолепен. На столе стояла кружка с солью и котел дмящегося мяса. Это, конечно, было счастье! Ели кто сколько хотел. Макали мясо в соль. Более вкусной еды я никогда не едал!

После обеда сидели разомлевшие, курили, еле-еле перебра-сывались словами. И вдруг покой нарушился. Эвенки, те, что привезли мясо, спустившись немного вниз, обнаружили труп Бациллы.

И вот я еду на лодке. Мишка Пугачев плыть наотрез отка-зался. Я ему ни слова не сказал о Назарке, все наблюдаю. Но то, что он не хочет плыть, говорит уже о многом. Хотя, как знать, — Достоевский утверждает, что преступника всегда тянет на место преступления. По его теории, Мишка должен был бы торопиться. Но он наотрез отказался.

Бацилла лежал на коряге лицом вниз. Он раздулся. Кожа на шее у него лопнула от воды и солнца. Видеть все это было неприятно. Но надо было не только видеть, но и снять Бациллу и завернуть труп в брезент. Баженов, как всегда, крестился, приговаривая: «Господи спаси и помилуй... Спаси Христос...» Перваков все делал молча. Поплыли к лагерю. Я смотрю неотрывно на брезент, в который завернут Бацилла, и думаю: вот и нет человека. Теперь уже совершенно ясно, что нет. Может, далеко-далеко осталась мать. Может быть, есть отец. Они ничего не знают про своего сына и никогда не узнают, как он тонул, а его не спас товарищ только потому, что слишком много зла он причинил ему, как лежал на дне лодки, завернутый в брезент, возле мо-их ног.

Бацилла! Кто-то дал метку кличку ему. Бацилла!!

Похоронили его Баженов и Зимин, самый никудышный из заключенных. Он похож на нищего, оборванный, худой, с блуждающим, вечно ищущим взглядом. Мишка и тут не подошел к Бацилле.

— А я не знал, что ты боишься утопленников,— сказал я ему.

Он быстро взглянул на меня, что-то в его глазах дрогнуло, и тут же он отвернулся.

— Что ж ты молчишь?

— А чего говорить? Не успел спасти, и все...

— Да я не про это.

— Про что тогда? — Его глаза мечутся, бегут от моих.

Мне уже все ясно, Назарка прав: Мишка не захотел спасать Бациллу. Нет, он не убил его, но и не спас. Весь день я думаю: прав или не прав Мишка? И прав или не прав я, скрывая то, что знаю?

Неподалёку от нашего лагеря появился холмик земли и на нем пирамидка, вырубленная из дерева. На одной стороне, обращенной к реке, надпись:

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН РАБОЧИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ТОВАРИЩ СЕДОЙ

1937 год август 30 дня.

Я не понимаю: к чему такая надпись? Какой он нам товарищ? К чему эта память? Я так и сказал Мозгалевскому. Он внимательно посмотрел на меня и ответил:

— Откуда такая черствость? Вы еще так молоды...

— Но почему «товарищ»?

— Он был плохим человеком, но все же товарищем в нашем трудном деле. А вы что же, закопали бы его, как собаку? Не ожидал...

— И я не ожидал, чтобы Бацилле такие почести. Не хватало только еще залпов из ружей.

Люди раздеты. Табак на исходе. И все чаще и чаще слышны недовольные голоса. Двое или трое всегда остаются в лагере. Это больные. Самолета до сих пор нет. Флаг то беспомощно свисает, словно отчаявшись дожидаться, то хлопает, рвется, словно негодует на тех, кто забыл про нас. Среди рабочих есть несколько человек совершенно раздетых. Их вещи утонули во время пути, и теперь они спят на земле. Одежда разорвана, ноги закутаны в грязные тряпки. Они то и дело подходят к Мозгалевскому и то просят, то требуют:

— В тайгу завез — думаешь, закона нет? Думаешь, ты человек, а остальные дерьмо? Думаешь, бог, и царь, и сам бес в камиллавке? Думаешь...

- Ну что я могу сделать? Вот прилетят самолеты...
 - Мы ночей не спим, холодно...
 - Прилетят самолеты — все будет...
- Рабочие и верят и не верят, ругаются, уходят.

6 сентября

Наступило то, чего ожидали и боялись: заключенные не вышли на трассу. Мы сидим вокруг обеденного стола и обсуждаем происшедшее.

На сопках выпал снег. Зима не за горами — на горах. Все раздражены, все волнуются, только один Покенов спокоен. Сидит у себя в палатке, «сюлюкает»: увидит своих земляков, стрельнет у них табак и покуривает. А рабочие с завистью смотрят на него. У всех карманы давно уже выворочены и пыль выкурена. Мундштуки и трубки превращены в мелкое крошево и тоже выкурены. Теперь рабочие курят мох. Кашляют, плюются, но не бросают. Пробовал и я закурить, но это такая гадость, что меня чуть не вывернуло.

Все же удалось нескольких человек уговорить поработать. Среди них Мишка Пугачев. Он избегает встречаться взглядом со мной, но делает все быстро и охотно, что бы я ни попросил. Он и ленту несет, и шпильки, и меряет, и точки забивает.

Мы уже отошли от устья Меуна километра на три и вступили в густой лес. Продвигаться трудно. Через каждые два метра толстенное дерево. Мозгалевский для вольнонаемных ввел сдельщину. И теперь они всю стараются, чтобы побольше заработать. Яков с завистью смотрит на них. У него ставка. Он подносчик теодолита. А заработать так хочется! Он и ехал-то сюда с одной только мыслью: побольше сколотить денег, вернуться домой, обзавестись хозяйством и никуда уже больше не отлучаться.

Афонька красиво работает. Его косоватый глаз лукаво поблескивает, когда он встряхивает головой. Топор у него играет. На что уж крепка сухостойная лиственница, а и ту он рубит, как сырую ольху.

Следом за мной идет Коля Николаевич с нивелиром. А за ним Тася. Ирина уходит далеко от трассы, ищет строительные материалы.

— А зачем это мы тут бьем землю? — спросил Тасю Савелий Погоняйло.

— Зондируем почву.

— А что это такое? — поинтересовался он.

— Ну вот этим инструментом, он называется «щуп», надо дойти до вечной мерзлоты. Значит, прошупать почву.

— Понятно, — подмигнул Погоняйло. — Щупать... Та работенка, старенькая, знакомая... — И захохотал.

— Ничего не вижу смешного,— невозмутимо сказала Тася.— Работайте. А ты чего, Алеша, улыбаешься?

Я хотел ответить и замер: с неба донеслось нарастающее гудение. Самолет! Рабочие перестали работать, глядели вверх и дружно кричали, показывая на мелькающий между верхушками деревьев самолет:

— Вон он! Эвон! Эвон!

Самолет пролетел. Работа не шла на ум. Хотелось скорее в лагерь. Еле доработали до конца. Домой бежали. И вдруг опять послышался гул, стал нарастать, и самолет пролетел обратно.

— Оставил груз и ушел,— сказал Коля Николаевич.

— Да, да,— согласился Покотиллов.

— Иначе и быть не может,— поддержал Зацепчик.

— Только так,— подтвердил я.

Но в лагере все было по-старому. Самолет не садился. Его даже не видели там.

— Это самолет аэрофотосъемки,— уверенно сказал Зырянов. После его слов стало еще скучнее и тоскливее.

— Все же странно: почему руководство экспедиции не заботится о нас? — сказал Зацепчик и, нервно потирая руки, стал ходить вдоль обеденного стола.— Странная экспедиция. Странная забота...

— Ну, вам-то нить совсем непростительно,— сказал Мозгалевский,— такой цветущий молодой человек.

— Вы находите? — сразу приосанился Зацепчик.

— Конечно,— ответил Мозгалевский, подергивая от смеха усами.

— А, все шуточки! — догадался Зацепчик.— И зачем, зачем я поехал в экспедицию! В эту дурацкую экспедицию! Ведь я же мог остаться в Ленинграде! Там театры! Культура! А здесь дичь, дичь! Слышите, дичь!

Сопки словно похудели, стали некрасивыми, желтыми, в проплешинах. Тайга покрылась ржавчиной. Пожелтели лиственницы. Небо, будто в тон всему, стало тоже неприглядным. Вечно хмурится, моросит дождем, закрывается тучами, словно ему противно глядеть на умирающую природу. А то вдруг блеснет солнцем, будто желая вернуть прежнюю красоту земле, но поздно: от этого еще угрюмее станет тайга, и тогда снова закутается в облака небо, долго моросит, и над водой и болотами поднимаются туманы.

Наступают холодные черные ночи. Наступает безрадостная осень. А мы в рваных палатках, без теплых постелей, без теплой одежды.

К далеким сопкам уходило солнце, когда мы пошли домой.

Как-то уж так установилось, что я иду за Мозгалеvским. Опираясь на палку, Олег Александрович осторожно обходит горбатые корни, иногда цепляется носком сапога за кочку и падает. Помогать подыматься ему не надо. Он этого не терпит. Самое утомительное для него — путь домой. Он часто отдыхает. Посасывает пустую трубку. Обычно молчит, но сегодня разговорился. Невеселый был разговор.

— Старею. Не придется бывать больше в тайге. Последние изыскания: Засяду где-нибудь за обчерниленный стол в душевной конторе и буду доживать там последние годы. Но грусти нет. Есть сожаление. Хорошо жить. Хорошо вставать по утрам и видеть, как взбирается по голубому небу солнце, как раскрываются под его лучами цветы, как пробуют голоса утренние птицы. Но только ли это? Нет. Хорошо выйти из палатки, вдохнуть всей грудью свежий, чистый воздух, сбегать к ручью, вымыться в его студеной воде, вернуться в палатку бодрым, с ощущением здоровья во всем теле, а потом плотно поесть. Но и это еще не все. Счастлив тот, у кого есть любимое дело. Он не замечает времени. Что, уже полдень? Да не может быть! Значит, пора обедать? Давайте поедим. Что у нас в кармане? Хлеб, лук, кусок холодного мяса. А над костром уже фыркает чайник. Бросить туда поскорее щепотку чая и прихлопнуть крышкой. Пусть преет. И вот человек ест. И откуда только берется аппетит? Все съедает. А потом опять работа. И все дальше тянется трасса, все больше в створе появляется сторожков. Рубчики идут впереди. Прорубают просеку. И так до тех пор, пока не наступят сумерки. Затемно возвращается человек в лагерь. Как хорошо лечь. Вытянуть ноги. Как сладко они ноют, тяжелая дрема сжимает веки. Что ж, можно и поспать часок-другой, а потом склониться над планшетом и нанести трассу на ватман... да, славная пора — здоровье и молодость! Перед вами, Алеша, вся жизнь. Много будете ездить, много повидаете. Ах, как хорошо! Но я не сетую. Все же немало сделано и мною. По моим дорогам идут составы с углем, железом, хлебом. Много ездит людей. И уже привыкли пользоваться удобствами. И, по всей вероятности, не утруждают себя мыслью: «А откуда эти удобства? Какой ценой они достались?» Они принимают их как должное и почувствуют себя ограбленными, если отнять у них эти удобства. А разве не ограблен тот, кто создал эти удобства и кого не знают? Я думаю, было бы справедливо называть станции именами изыскателей... Впрочем, все это глупости... Идемте.

— Одну минутку: неужели ничего об изыскателях не известно?

— Ну, дорогой мой, кто о нас, изыскателях, помнит? Спросите любого едущего по железной дороге: кто изыскивал эту дорогу, — ни за что не ответит. Наше дело мерзнуть в палатках, мок-

нуть в болотах, голодать, даже умирать в глуши, где мы работаем, но изыскивать дороги... Идемте.

И мы идем. Становится прохладнее. Тем назойливее комары. Они гудят. Гудят, как самолеты. Я отмахиваюсь от них. А они лезут в уши, забиваются в волосы. Их гуд переходит в гул.

— Самолет!

Розовый в свете уходящего солнца, летит над тайгой самолет. Он летит к нашему лагерю.

В лагере, пока мы шли, произошло вот что.

Самолет, подпрыгивая, пробежал по воде и, круто свернув, остановился у берега. Первым выскочил летчик, открыл кабину.

— Наконец-то, — вылезая, сказал начальник участка Градов. Он сошел на землю в болотных сапогах, в кожаном реглане. Увидев стоявшую на берегу Ирину, быстро подошел к ней, поздоровался.

— Где Костомаров? — спросил он.

— На пойменном варианте.

— На пойменном? Так, как... На пойменном... — Градов задумался.

— Вы привезли махорку и соль? — спросила Ирина.

— Нет.

— Тогда зачем же прилетели?

— То есть как зачем? Я прилетел на свой участок контролировать работу. В том числе и вашу. Да, да, контролировать! И потом, обычно начальство встречают более приветливо, — улыбнулся Ирине Градов.

— Я перестала быть приветливой с тех пор, как некоторые начальники перестали заботиться о сотрудниках, — резко ответила Ирина.

— Я не понимаю вашего тона, — уже суше сказал Градов и попытался опять улыбнуться. — За что вы ругаете бедного пассажира?

— Перестаньте кривляться, — резко сказала Ирина, и столько в ее голосе было презрения, что Градов не вытерпел, крикнул:

— Замолчите! Кто вам дал право так разговаривать со мной?

— Голодные, раздетые люди! — ответила Ирина.

Все это я узнал от Таси.

— Где он сейчас? — спросил я.

— Пошел на охоту.

Я находился в палатке Мозгалевского, наносил ситуацию на профиль, когда вошел Градов. Он бросил на стол, рядом с профилем, двух убитых рябчиков.

— Ба! Олег Александрович, — протянул к Мозгалевскому руки Градов и, ласково урча, стал спрашивать: — Что такое, мой друг, болели? Не узнаю... Так похудеть... Ай-ай-ай-ай!

— Что привезли? — спросил Мозгалевский.

— Себя и свои вещички. «Шаврушка» много не берет. Тут ваша сотрудница-геологиня накричала, почему, дескать, я ничего не привез...

— Она права,— ответил Мозгалевский.

— Права? Я не понимаю вас, Олег Александрович... Разве я завхоз, чтобы заниматься снабжением?

— Вы больше завхоза. Вы начальник участка,— с укором сказал ему Мозгалевский.

Тетрадь шестнадцатая

— Не будем ссориться. Тем более если положение с питанием и одеждой сложное, табачком его не поправишь. И не моя это обязанность. Пусть отвечают начальник экспедиции и его замхоз.— Градов достал из чемодана бутылку коньяку.— Да, не будем ссориться. Вы старый изыскатель, вы и не такое видали.— Он поставил на стол бутылку, нарезал копченой колбасы, сыру, хлеба.— Давайте выпьем за наше свидание.

— Нет, нет,— замахал руками Мозгалевский,— как можно. Рабочие полуголодные, злые, у них даже табака нет, а я буду пить, есть колбасу, сыр, курить. Я так не могу.

— Наивный человек,— рассмеялся Градов.— Думаете, если не будете угощаться, рабочим от этого станет лучше? Дорогой Олег Александрович, только для вас я вез эти гостинцы... Но чтобы совесть ваша была спокойна, я могу дать рабочим две пачки «Казбека», две пачки сотрудникам и две пачки останутся мне. Справедливо?

— Давайте, нессу рабочим.

— Ну зачем же вам ходить? Сходит молодой человек,— глядя на Колю Николаевича, сказал Градов.

— Я могу их позвать,— ответил Коля Николаевич.

— Ну зачем же звать? — мягко сказал Градов.— Несите людям радость, несите.

В палатку вошла Шуренка:

— Идите обедать.

— А вы сюда, сюда,— энергично показывая на стол, ответил ей Градов и, когда она ушла, спросил: — Как работается?

— В начале правобережного много марей,— ответил Мозгалевский.

— Да, этот участок вообще заболоченный. Пойма. Ну что ж, дренаж и полутораметровую насыпь...

— А где вы возьмете материал?

Градов достал из полевой сумки карту.

— Здесь проходит трасса.— Он ткнул коротким пухлым пальцем в красную извилистую линию.— А в шести километрах сопки. Не так уж велика дальность возки.

— Не верьте карте. Не шесть, а все девять будут.

— Прекрасно. Тогда надо обратить внимание на реку, на гравийно-галечные косы. Что думают об этом геологи?

— Гравийно-галечные косы — это слишком мало...

— Конечно, но дорогу все равно придется строить на правом берегу, так что и косы пригодятся... Напрасно Костомаров возится с пойменным вариантом. Но бог с ним. Как все же я рад вас видеть во здравии.— Он чокнулся и выпил.—Какой вы проделали путь! Для ваших лет это подвиг. Мокнуть, тащить на себе лодки, рисковать жизнью — это героизм. У вас крепкое здоровье. Герой, честное слово, герой!

— Какой там герой,— махнул рукой Мозгалеvский.

— Самый настоящий. У вас человек утонул, а где смерть, там и героизм...

— Не понимаю, зачем вы все это говорите,— недовольным голосом сказал Мозгалеvский.

Распахнулся полог, и вошел Коля Николаевич:

— На смех подняли, говорят: как не перевернулся самолет от двух пачек.

— А вы сказали им, что папиросы мои и что я мог их и не давать?

— Что ваши, я сказал, а что вы могли их и не давать, скажите сами. Вас, Олег Александрович, требуют.

Мозгалеvский вздохнул и вышел.

Утром Градов улетел к Костомарову. А мы стали готовиться к переезду. Геологи и Зацепчик остаются здесь. Геологам надо бурить, делать закопушки, копать шурфы. Зацепчик не успел снять план в горизонталях и поэтому остался для досъемки.

— Алеша!

— Да, Тася!

— А ты разве не мог бы остаться вместо Зацепчика?

— Конечно, нет. Он инженер, а я техник. А почему ты спрашиваешь?

— А ты не понимаешь?

— Понимаю...

— А что ты понимаешь? Скажи...

— Мне не хочется расставаться.

— Да? — с радостью спросила Тася.

— Да. Но почему ты радуешься?

Тася смеется:

— А ты не догадываешься?

— Догадываюсь, но ты не о том думаешь.

— О том, о том... Это ты не о том говоришь... А я о том... Ну до свиданья. Я рада, что тебе не хочется расставаться.

Ну что ей сказать? Я махнул рукой и пошел к берегу.

И вот я снова в лодке, и впереди меня на веслах Мишка Пугачев и Афонька. Опять мы трое, опять вместе. Но что-то за эти

дни изменилось. Нет уже простого единения, какое было раньше. Теперь мне достаточно сказать только слово, как они уже беспрекословно подчиняются. Называют меня на вы, Алексеем Павловичем. А жаль. Зачем это?

За последние дни Элгунь обмелела, перекаты тянутся, тянутся, и нет им конца. Днище лодки скрежешет о гальку. Рабочие уже в воде. Прыгаю и я. Вода холодна. Прохожу несколько шагов, и нет терпения. Ноги заходятся.

— Неладно это, неладно, — не попадая зуб на зуб, говорит Афонька, — вода, она если не сейчас, то потом даст себя знать.

Я молчу. Толкаю лодку в корму и стараюсь, как всегда, думать о чем угодно, только не о том, что мучает. Так легче. По сторонам от Элгуни сопки. То зеленые, то рыжие, то красные...

Едем дотемна. Пристали к галечной косе, разожгли костры, поужинали. И спать, спать.

А утром опять в воду. Светит солнце, желтеет галька, сверкают от ударов весел брызги, течет с мокрой одежды вода. И никак не согреться. Холодно. С большим трудом добрались до речонки Мкуджи. Здесь будет новый лагерь.

Люди ожили, забегали, застучали топоры, запела пила, затрещали деревья. Мы расположились на высоком обрывистом берегу. На противоположном — большая галечная отмель. За нею — ровная, словно подстриженная под гребенку, тайга.

Подо мной Элгунь. Глухо шумит она. Высоко над нами летят гуси. Я провожаю их взглядом, потом смотрю на реку — и не верю своим глазам. К нам сверху, один за другим, быстро идут два бата. На переднем стоит Костомаров. Он ловко направляет бат длинным шестом. На его голове платок. Я не гляжу на второй бат. Мне нет никакого дела до второго бата. Я кричу, кричу что есть силы и бегу навстречу.

Костомаров ловко завернул шестом, и бат ткнулся в берег рядом с нашими лодками.

— Здравствуйте, Коренков! — говорит он.

— Здравствуйте, Кирилл Владимирович... — Я вижу его прямой, раздвоенный подбородок, вижу обострившиеся скулы.

— Надеюсь, все в порядке? — спросил он, легко взбегая на крутой берег.

— Если не считать того, что утонул Бацилла.

— Сам виноват. Как здоровье Олега Александровича?

— Немного ослаб...

— Ослаб? Это плохо. Зайдите через полчаса.

— Хорошо.

Я зашел через полчаса.

В палатке шло совещание. Вернее, это было не совещание, а сообщение Костомарова. Пойменный вариант отпадает. Слишком много марей, провальных озер. Да и нет вблизи строитель-

ных материалов. Надо возить километров за двадцать. Где уж тут...

— Это все задокументировано? — спросил Мозгалевский.

— Нет. Но настолько очевидно, что документы, полагаю, не нужны, — ответил Костомаров.

— Это вам очевидно, но в Ленинграде потребуют...

— Ну, если время останется, можно и задокументировать. Я вообще-то склонен думать, что инженеру надо верить. Но не будем отвлекаться. Правобережный вариант тоже отпадает. Сравним: с правого берега в Элгунь впадает на восемь проток и три реки больше, чем с левого. И еще, если переходить на правый, то надо сооружать через Элгунь два мостовых перехода, потому что вся трасса у второй и четвертой партии идет по левому берегу. Так что нам сам бог велел принимать левобережный вариант...

— Но это только умозрительное сравнение? — спросил Покотилов, приподняв седую бровь.

— А материалы аэрофотосъемки? Там же все есть. Их достаточно. Значит, единственным приемлемым остается левобережный. Левый берег — сплошная цепь скал.

— Неужели весь берег косогорный? — спросил Мозгалевский.

— Нет, есть распадки, лога, их наберется километров двенадцать, но в основном скала.

— Значит, съемочные работы, — сказал Коля Николаевич. — Что ж, это интересно.

— А разве нельзя несколько отступить от берега? — спросил Мозгалевский.

— Зачем? — спросил Костомаров.

— Вы предлагаете «полку». Но на таком большом протяжении скальные работы — это ведь тоже очень дорого обойдется.

— Я, конечно, рискую, но смею думать, что если мы отойдем от реки, то трасса неизбежно должна наталкиваться на тоннели. Обход же намного удлинит линию.

— Значит, у вас нет данных для сравнения вариантов? — каким-то скучным голосом спросил Мозгалевский.

— А разве опыт инженера, профессиональное чутье ничего не стоят? — спросил Костомаров.

— Только для самого себя, — скупой улыбнулся Мозгалевский. — Для штаба экспедиции нужны документы.

— Ну что ж, я знал, что некоторые товарищи встретят с недоверием мое предложение, поэтому пригласил сюда начальника экспедиции. Он прибудет, может быть, даже сегодня.

— Нет, это любопытно, — в раздумье сказала Ирина. — Трасса ляжет на косогоре, и вопрос о стройматериалах уже решен. Дорога будет на скале...

— Это вас устраивает? — живо спросил Костомаров.

— Конечно.

— Интересно, а что сказал начальник участка? — спросил Мозгалеvский.

— Градов? Ему скальный вариант не понравился. Он настаивает на своем, правобережном.

— Значит, Градов против, — в раздумье сказал Мозгалеvский.

Я с трудом понимал, что здесь происходило, и, конечно, не мог вникать в технические тонкости, но мне было ясно одно: к предложению Костомарова относиться настороженно. Почему? Вот это-то мне и хотелось выяснить. Но как? У кого спросить, чтобы я мог поверить? Ведь у каждого свое мнение. И только тут я впервые с завистью посмотрел на всех инженеров. Они знают то, чего я не понимаю. Они как бы живут в ином для меня мире. Даже Зацепчик (его здесь нет, он еще там, в устье Меуна), этот угреватый эгоист, и тот для меня недосягаемая вершина в изыскательском деле. Ну что ж, надо внимательно наблюдать, прислушиваться и ждать. Время покажет, чем все это окончится и кто окажется прав.

Кроме технических вопросов Костомаров занимался и хозяйственными делами. Байгантайский сельсовет отнесся к экспедиции очень радушно. Одних товаров из сельпо отпущено в кредит более чем на девять тысяч рублей. На втором бате Костомаров привез нам свежей картошки, свечи, чеснок, муку. Заключил договор с рыбацкой артелью на поставку рыбы. Привез, конечно, и табак.

И вот все рабочие курят. Смеются, заворачивают сигарки чуть ли не с локоть и наслаждаются до головокружения. И уже добрые и покладистые. Оказывается, не так-то много и надо человеку, чтобы он повеселел и почувствовал себя в тайге как дома.

19 сентября

Наступило холодное, туманное утро. Туман настолько плотен, что нельзя в двух метрах различить человека. Готовимся к выходу на работу. Костомаров тоже готовится. Встреча с начальником экспедиции должна состояться в Жалдабе. Костомаров дает последние указания. Ирина уезжает с ним. Он забирает с собой и Покотилова. Это будет головной отряд. Они пойдут нам навстречу.

— Может, какие пожелания, вопросы будут? — спрашивает Костомаров, оглядывая поочередно каждого из нас.

— Да нет, что ж, все ясно...

И мы уже хотели было разойтись, как с реки донесся гул самолета.

Тетрадь семнадцатая

Он летел низко над Элгунью. Туман уже успел рассеяться. Солнце взошло, и самолет белым огнем горел под его лучами. Все бросились к берегу. Замахали руками, полотенцами. Кто-то стал кричать, будто летчик мог услышать. Особенно смешно было смотреть на Мозгалевского. В своем резиновом плаще он был почему-то похож на священника. Сходство довершалось еще тем, что он воздымал руки и плавно опускал их, и снова воздымал, точь-в-точь как поп в церкви. Коля Николаевич носился по берегу и, как всегда, валял дурака.

— Суды, суды, говорю тебе. Ось! — кричал он самолету.

Но самолет пролетел и скрылся. Костомаров уже направился было к берегу, к бату, как гул стал снова нарастать, приближаться. И вот опять самолет пролетел мимо нас. Не может же быть, чтобы он нас не видел? Но он ушел. И опять летит к нам. Теперь уже прямо над нами, не выше деревьев, и напрямую идет к воде, дотронулся до нее, подскокил, будто обжегся, опять дотронулся, проплыл немного по течению, развернулся и, заглушив мотор, пошел к другому берегу — там коса — и вылез, как черепаха, на землю.

Из кабины вышли двое. Мозгалевский достал бинокль и zvolнованным голосом объявил:

— Лавров!

Тут же от нашего берега отвалил бат. На нем поплыл Костомаров. Пока бинокль переходил из рук в руки, самолет успел сойти на воду и взлететь, а Лавров с Костомаровым — начать переправу через Элгунь.

И вот перед нами тот, кого еще совсем недавно мы обвиняли в плохой организации экспедиции, в том, что он не заботится о нас, что он равнодушен к большому делу. В нем трудно узнать того Лаврова, которого я видел в Ленинграде. Сейчас он в кожаном шлеме с очками на козырьке. У него черные отвислые усы. Но не это его изменило. Мне кажется, он очень болен. В глазах у него что-то усталое, даже обреченное. Он поздоровался с нами и, что удивило, назвал меня по фамилии, — помнит.

Как и всегда, в жизни все не так, как предполагаешь. Оказывается, с тем самолетом, который мы ждали, произошла катастрофа. Самолет вылетел в тот же день, как нам обещали летчики. Он вез соль, табак, почту. Но испортился компас. В пути летчиков застала ночь. И они погибли. Несколько суток шли розыски, и наконец их нашли...

— Какая трудная экспедиция, — сказал Покотилов.

— Скорее обычная, — не согласился Лавров. — На днях самолетами сбросим зимние вещи: спальные мешки, валенки, полушубки...

— Да, рабочие раздеты и разуты, — сказал Костомаров.

— Мы прилагаем все силы, чтобы облегчить ваш труд. Командующий ОКДВА маршал Блюхер обещал помочь. Кстати, рацион получили?

— Да.

— Я думаю, мы завтра тронемся в путь. С самолета я осмотрел левый берег. Скала. Ляжет ли трасса? Наверно, потребуется устройство водоотводов, струенаправляющих дамб. Вы сегодня работаете?

— А как же? Задержались только из-за вас,— ответил Мозгалевский.

— Что ж, идемте в поле,— сказал Лавров.— Посмотрим трассу.

Лавров подошел ко мне на просеке:

— Покажите-ка книжечку.

Я отдал ему пикетажную книжку.

— Что ж, хорошо,— просматривая, сказал он.— Как видите, при желании не так уж трудно стать техником-пикетажистом. Теперь дело за нивелиром. И на будущие изыскания поедете нивелировщиком. Я рад за вас...

— Благодарю,— ответил я, и, сам не знаю как, зачем, у меня сорвалось: — Вы здоровы?

Лавров сдвинул брови, какая-то тень прошла у него по лицу; слабо улыбнувшись, он сказал:

— Смотрю на вас и вспоминаю вашего брата. Будете писать ему, непременно передайте привет. Напишите, что я его часто вспоминаю. И еще добавьте одно слово: «калейдоскоп».

— А что это?

— Он знает.— Лавров кивнул мне и пошел по просеке к Мозгалевскому.

Сегодня Лавров, Костомаров, Ирина и Покотилов уехали на двух батах. С Ириной мне больше не пришлось поговорить, и поэтому на сердце осталось щемящее чувство тоски, будто я с нею расстался навсегда.

Какое холодное утро! Торопливо, караван за караваном, летят гуси. Их тысячи. Они летят низко, чуть ли не касаясь вершин деревьев. Торжественно-печальным криком полнится тайга...

— Перед снегом,— провожая их взглядом, говорит Перваков.

— До чего все здорово в природе! — восхищается Мишка Пугачев.— Без компаса, без вещей шпарят на юг...

Я замечаю: за последние дни Мишка как бы приходит в себя и опять становится прежним открытым парнем. Только иногда вдруг задумается и, если окликнешь его, вздрогнет и растерянно посмотрит. Я понимаю, что происходит в его душе. Он боится, каждую минуту боится быть разоблаченным. Конечно, такое со-

стояние мучительно. Но постепенно оно отходит, и Мишка успокаивается.

Мы идем за рубщиками. Впереди мелькает резиновый плащ Мозгалевского. Часто он уходит то вперед, то в сторону — исследует местность. В такие праздные минуты мы сидим, курим.

С каждым днем все некрасивее становится лес. На черных ветвях кое-где еще треплются листья, порыжевшие, с темными пятнами. Осыпается лиственница. Чуть притронешься к ее стволу, и она обсыплет с головы до ног. Ее иглы лезут под рубашку, колют шею, спину. Особенно некрасив лес сегодня. В сером воздухе он кажется грязным. Некрасива осень в тайге.

Выходных дней для изыскателей нет. Рабочие отдыхают, а мы корпим над обработкой полевых материалов. Надо вычерчивать профиль на миллиметровке, на ватмане — планы трассы и местности; нивелировщику — подсчитывать отметки. И все это в свободное от поля время. «Отдохнем в Ленинграде», — говорит Мозгалевский, кутая колени в одеяло. В палатке гуляет ветер, зябнут ноги, мерзнут руки, от плохого освещения устают глаза, болит голова, и работы много.

— И на кой черт я поехал? — брюзжит Зацепчик. — Уеду! Уеду, и все. В конце концов, я не раб!

С ним никто не спорит, привыкли к его нытью. Надо мириться с недостатками человека. Тайга. Кто-то кому-то должен уступить. Пока все уступают одному.

25 сентября

Вышли на трассу и вернулись. Пошел дождь со снегом. Первый снег! Падает большими мокрыми хлопьями и сразу же тает. Валит густо. И вот в такую погоду приехал иззябший, мокрый Соснин с рабочими. На него глядеть было страшно: все лицо в чирьях, глаза заплыли, нос раздулся, губы в коросте. Но он, как всегда, бодр, шутит.

— Дорогу осилит идущий! — были первые его слова, как только он вылез из бата на берег.

— Что с вами? — встревоженно спросил Мозгалевский.

— Обыкновенная простуда. Десять часов не вылезал из воды. Но теперь с водой кончено. Олени! Олени будут на нас работать! Кто не умеет повиноваться, тот не умеет повелевать.

— А это при чем? — спросил Мозгалевский, уже улыбаясь.

— В пословицах — мудрость народа. К тому же на всякий час ума не напасешься.

— Это верно, — согласился Мозгалевский. — Ну, а что привезли нам?

— Железные печки!

— За это вас надо целовать, — каким-то сразу обмякшим голосом сказал Мозгалевский.

— Го-го-го-го-го! Когда губы заживут, целуйте. Не возражаю. Мы поставили в палатке печь. И сразу стало уютно. Мозгалевский сел к ней поближе, с наслаждением поглаживая колени. А печь гудит. Сухая лиственница горит жарко. И тепло мягкими волнами заполняет палатку.

— Чудненько,— говорит Мозгалевский.

С приездом Соснина стало всеселее. Но это в лагере. А на трассе по-прежнему тоска.

Идет дождь. Идет снег. Идут дождь и снег. Зябнут руки. Гуси уже пролетели. Теперь они далеко отсюда. А здесь порывами налетает промозглый ветер, бьет по деревьям, и с них картечью падают крупные капли. Вся одежда мокрая. Брюки липнут к ногам, сапоги раскисли, руки красные, мокрые, они еле держат карандаш. И негде обсушиться.

Прошли мы семнадцать километров. Впереди восемьдесят три. Ну что ж, говоря по совести, я и не заметил, как мы проскочили эти семнадцать километров. Если так и дальше пойдет, то мы быстро закончим изыскания.

Тяжело нам было сегодня. Но все же дошли до речушки Каменной. Так назвал ее Мозгалевский. Ее берега пологие, плавно спускающиеся к воде. Она неглубока и не похожа на другие речки — тиха. Вода прозрачна, на дне виднеется ровный слой гальки. Невдалеке от берега ходит спокойный ленок, немного дальше ленков уже больше десятка. Как жаль, что у нас нет сетки. Чего бы проще охватить их и вытянуть на берег.

— Попробуйте из ружья,— говорит Зацепчик.

— А кто в воду полезет? — спрашиваю я. — Вы полезете?

— Я же не гончая. Обычно лазают охотники,— подергивая плечом, отвечает он.

Идем домой берегом Каменной. На всем пути навалом лежат деревья. Кора их осклизлая, и, чтобы перебраться через них, приходится садиться верхом, ползти на четвереньках. Никаких троп нет. Пробираемся как попало.

Я часто удивляюсь, глядя на Мозгалевского. Откуда у него берутся силы? Другой раз сам еле бредешь домой, а он идет и идет. Теперь я знаю, в чем дело. Надо идти первому. Когда идешь первым, то не замечаешь пути, не чувствуешь усталости. Это не то что глядеть под ноги впереди идущему. Глядеть час, глядеть два, не поднимая головы. Тут, конечно, путь покажется в сто раз длиннее, чем на самом деле.

...Оказывается, надписи на сторожках и реперах надо писать масляной краской. Краски у нас до вчерашнего дня не было. Но приехал Соснин и привез ее.

— Поедете к нолевому пикету и закрепите все надписи,— сказал мне Мозгалевский.

Я взял с собой только Мишку Пугачева. Выехали, когда солнце оторвалось от сопки. Оно было багровое. Дул ветер. Качался

на реке густой туман. Причудливо вырисовывались во мгле сопки. Лодка с бешеной скоростью летела вниз по течению, все это возбуждало, и я уже казался себе каким-то не то героем из приключенческого романа, не то древним человеком, и все азартнее, яростнее покрикивал Мишке:

— Греб! Греб!

Мелькали отмели, обрывистые берега, нависшие скалы. Лодка влетала на перекаты, скрежетала днищем о камни, подпрыгивала и с еще большей быстротой неслась дальше.

Остановило эту бешеную гонку то, что мы чуть не разбились о завал. Элгунь круто свернула, лодка тоже круто выскочила на кривун и — просто уж нам повезло: видно, еще не пришел наш смертный час — случайно не коснулась завала. Только тогда я понял, какой опасности мы избежали, когда оглянулся назад. Высоко вздымалась вода от ударов о деревья и с шумом падала вниз, крутя воронку.

— Был бы номер, а? — сказала я Мишке и удивился. Он был бледен, держался руками за борта. — Ты чего?

— А вы не слышали?

— Нет. А что?

— Вроде звал кто-то нас, когда мы летели на завал...

— Ну, мне было не до этого. — И тут вдруг меня осенила мысль: — А на чей голос было похоже?

— Не знаю.

— А я знаю. Бацилла звал?

— Значит, вы слышали? — подался ко мне Мишка.

Мне стало жаль его, и, чтобы успокоить, я соврал, сказав, что тоже слышал.

— Но это, наверно, нам показалось, потому что не может на самом деле кричать Бацилла.

— Наверно, показалось нам, — жалко улыбнувшись, сказал Мишка.

Словно нарочно, чтобы рассеять неприятное настроение, из левой протоки вылетела пара крохалей. Я выстрелил, и за одним из них пришлось подгрездиться. Хороший был этот крохаль, тяжелый, увесистый. Не проехали мы и километра, как от берега поднялись три гуся, видимо отставшие от своего каравана. С трудом набирали они скорость, помогая крыльям даже лапами. Я выстрелил по первому, и он тут же ткнулся носом в реку. Он был еще живой, когда мы приблизились к нему. Зашипел на меня, открывая красный от крови клюв. Мишка схватил его за шею и втащил в лодку.

— Теперь нам не страшно даже и заночевать в тайге. Такую пирушку устроим, я те дам! — повеселел он.

Вскоре мы увидели палатки. Это работали наши геологи. Но, к сожалению, никого, кроме больного рабочего, в лагере не было.

— Скажи, что был Коренков, — попросил я его.

Пока мы ехали и добирались до трассы (лодку бросили в устье Меуна), солнце уже поднялось и стало парить. Мошкa ожила. Полезла в нос, в глаза, в уши, за воротник, в рукава, в сапоги. Писать не было никакой возможности, и, как на грех, мы не взяли с собой накомарников. С каждой минутой мошки было все больше. Я плевался, чихал, вытаскивал ее карандашом из ушей, бил кулаком по сапогам. То же проделывал и Мишка. Наконец терпение мое лопнуло, я упал лицом в траву; но мошкa не давала покоя и тут; тогда я вскочил, стал разжигать костер. Ладно, что было много бересты, — костер быстро задымил, и стало полегче. Я позвал Мишку. Он подбежал ко мне. Но что за вид был у него! Не лицо, а какая-то вздутая лепешка. Я посмотрел и захохотал. Он сначала недоуменно поглядел на меня, а потом тоже захохотал.

Так мы стояли друг против друга и смеялись.

— Ты-то чего смеешься? — наконец сквозь смех спросил я.

— А вы?

— Я на тебя. Уж больно хорошо тебя разделала мошкa...

— А я на вас. Глаз-то совсем не видно...

Мы сидели у костра до тех пор, пока солнце не скрылось в большой, тяжелой туче. Сразу стало холодно, и мошкa, как пепел, опала на землю. Теперь за работу.

Шли мы быстро, не отдыхая, ничем не отвлекаясь.

— А этот гусь — тяжелый, дьявол, — перекидывая мешок с плеча на плечо, ворчал Мишка. Он еле поспевал за мной.

Вдруг откуда-то потянуло дымом. В тайге дым хорошо чувствуется.

— Наши, — обрадовался Мишка.

На трассе рабочие бурили скважину. В стороне от них сидел у костра Зырянов. Как всегда, побритый, аккуратный, он, не проявляя излишней радости, но и не оставаясь равнодушным, поздравлялся со мной.

— Отстали вы от нас, — сказал я.

— Сознательно, — мягко улыбнулся Зырянов. — Чтобы напрасно не трудиться.

— Это почему же?

— Да ведь часто бывает бросовый ход.

— Бросовый? А что это?

— Вы не знаете?

Как хорошо, что я теперь не выдаю себя за опытного изыскателя. Могу спрашивать и не краснеть, не бояться, что меня подымут на смех.

— Нет, не знаю.

— Бросовый ход — это забракованная по разным причинам часть трассы. Допустим, врезались в скалу, а выгоднее ее обойти. Вот и приходится бросить несколько километров просеки, чтобы дать иной угол. Поэтому я и тащусь в хвосте: спокойнее, да и вер-

нее. И не так бидно, если у вас намечился бросовый ход. Я ничего не теряю.

Что ж, в этом есть свой резон. Но меня удручает то, что есть бросовые ходы. Ну да ничего, Мозгалевский — опытный изыскатель, и не зря он часто уходит вперед. У нас бросовый ход исключен, и напрасно Зырянов боится продвигаться по трассе быстрее.

— А где же Калинина? — спрашиваю я.

— Тася? Только что ушла. А что?

— Да так, ничего...

— Скучаете?

— Почему же я должен скучать?

— Потому что скучает Тася.

— Не понимаю вас... — Я поднялся. — Надо идти... Да, Миша, неси сюда мешок.

Мишка принес. Я достал гуся:

— Вот, возьмите, а то тяжело тащить. До лагеря еще десять километров.

Домой мы вернулись, когда на небе зажглись звезды. Несмотря на усталость, было радостно. Дело сделано! Но тут же радость и померкла. Бросовый ход! За весь день не продвинулись ни на метр. Хуже того: то, что было сделано вчера — а вчера мы прошли около трех километров, — пошло насмарку. Оказывается, трасса уперлась в марь с провальными озерами.

— Придется прижиматься ближе к Элгуни, — в раздумье сказал Мозгалевский.

— А может, есть смысл сразу подвинуться к реке? — спросил Покотиллов. — И пойти скальным вариантом?

— Нет, нет, — поспешно ответил Мозгалевский, — каждый метр на пойме надо использовать для трассы. Тут затраты на строительство — сотни тысяч, там — миллионы. Ничего, вернемся назад километра на три, дадим побольше угол...

— А если опять бросовый ход — значит, зря время потеряем? — спросил я.

Мозгалевский удивленно, словно впервые увидел, стал смотреть на меня.

— С каких это пор люди, познающие азы, стали вмешиваться в дела инженеров? — спросил он и пошевелил усами.

— Простите, — покраснев, сказал я.

— Бросовый ход — это естественный элемент изысканий, — сказал Мозгалевский и сердито закончил: — Слушать больше, внимательно присматриваться — вот что вам нужно в первую очередь. И спрашивать, если непонятно, а не советовать.

— Да-а, — после некоторого молчания произнес Зацепчик, — как бы не получилось так, что мы невольно идем на скальный вариант.

— Почему невольно? — спросил Мозгалевский.

— Да потому, что я не вижу у вас особого желания трассировать скальный, — ответил Зацепчик.

— Чушь! Я за скальный, но в том случае, если все остальные варианты хуже. А не просто против скального из-за каприза, или недооценки его, или упрямства.

— Ах, вот как!

— Да, так! — твердо сказал Мозгалевский.

— Ну и замечательно. Я не к тому, чтобы спорить с вами. Меня другое волнует. Рабочие. Особенно заключенные. Веду сегодня съемку, смотрю — по просеке шествует Резанчик. «Куда?» — спрашиваю его. «На реку, водицы испить, а то работа горячая, время жаркое, язык пересох». — «Что, — спрашиваю, — много сделал?» — «Да нет, — отвечает, — не успел начать, как кончил». Засмеялся хищнически и пошел в лагерь. И ушел. А когда я вернулся с работы, то вижу такую сцену. Сидит он у костра и что-то рассказывает группе лагерников. Я остановился, прислушался. И вот вам образец его рассказа: «Ну, он подошел ко мне, а у меня в руках дрын, я как окрестил его, так он и глаза в небо упер. Поглядел — вижу, гроб надо готовить. Ну, это уже не мое дело». Что вы на это скажете? — спросил Зацепчик. — Не кажется ли вам, что он может в один прекрасный момент любого из нас угостить таким дрынком?

— Что я могу сказать? — ответил Мозгалевский. — Мы еще мало знаем рабочих. Собранные из разных мест бродяжки, золотойскатели, рыцари легкой наживы. Есть, конечно, среди них люди честные, но есть и с сумерками в душе.

— Они не особенно откровенны, — сказал Покотилов.

— Себе на уме, — подтвердил Зацепчик.

— И это есть, — согласился Мозгалевский. — Но работать надо. Худших, как вы знаете, мы отправили. А с этими будем срабатываться.

...Окружив костер, «эти» стоят с серьезными лицами и поют старинные русские песни. Как они хороши в эти минуты, сколько в них искреннего чувства! Даже Резанчик, этот опасный тип, вторит всему хору басом, полузакрыв глаза, и на тонких его губах — миролюбивая улыбка. Но горе тому, кто соврет или выскочит вперед: так поправят незадачливого певца, что закается он петь на всю жизнь. Особенно хорош голос у Ложкина. Тенор. Как легко он поет, как смело забирается на звенящую высоту и перекрывает голоса. В другое время это маленький, забитый человек. Им понукает каждый. Сейчас он — главный. Песня подходит к концу. Стихает голос за голосом, давая простор Ложкину. И тот легко и задумчиво доводит песню до конца.

— А у тебя голос как у козла. Га! — смеется Резанчик.

Ложкин растерянно оглядывается и видит вокруг смеющиеся рожи. Он хочет уйти, но Резанчик дергает его за ухо и говорит тихим, вкрадчивым голосом:

Тетрадь восемнадцатая

— Обиделся? А ты не обижайся, поня́л? Пой и радуйся, что мы тебя слушаем, поня́л? — И еще раз дернул за ухо.

Ложкин морщится.

— Рёзанчик, оставь его, больно ведь, — говорю я.

— А нам, Алексей Павлыч, от его песен еще больней. Поня́л? Все сердце перевернул, так я ему́ чуток своей боли отдало. Поня́л?

(Между прочим, странно, как мог не заметить этой прибавки «поня́л?», с ударением на «я», Зацепчик, когда говорил вчера про Рёзанчика.)

А Ложкин снова поет. Наступает вечер. В сумерках отчетливо видны заснеженные хребты сопок. Они чистые, строгие. Песенная грусть Ложкина сливается с их чистотой, и на сердце становится так хорошо, что хочется сделать что-то доброе для этих незадачливых людей. Но опять раздаются смех, грубые голоса.

1 октября

Первый утренник. Всё в инее. Тайга стала серебряной. Под ногами хрустит замерзший лист. У берегов Элгуни тонкий узорчатый ледок. От воды поднимается пар. Морозный воздух бодрит. Лес попадаетеся нам на пути то густой, то редкий. Иногда мы продвигаемся медленно, иногда рубщики бегут сломя голову по редколесью, — они работают сдельно. Но сегодня мы врзались в марь. Шли, утопая по колено в болотной ржавой жиже. Чем дальше продвигались, тем задумчивее становился Мозгалевский.

— Ну-ка, Алексей Павлович, промерьте длину этого озерка, — сказал он, когда я подошел к нему.

Озерко маленькое, метра два в поперечнике, вокруг него трясина. Я опустил в озерко ленту. Вся двадцатиметровая полоска ушла и дна не достала.

— Видали, фокусы какие... Придется прижиматься еще к берегу.

Мы пошли обратно, и то, что было сделано сегодня и вчера, — опять бросовый ход.

Вечером, после ужина, произошел довольно неприятный разговор между Мозгалевским и Зацепчиком. Дело в том, что еще в начале работ Зацепчику было поручено сделать план в горизонталях перехода реки Меун. Он сделал, но то ли поленился, то ли не сумел, но и сама река и переход оказались совсем не такими, как в натуре. Мозгалевскому это было установить очень легко. Он прекрасно помнил конфигурацию русла в том месте.

— Придется ехать и доснять, — сказал Мозгалевский.

— Я не поеду, — угрюмо ответил Зацепчик.

- Это как же — не поедете?
- Да так...
- Но вы должны подчиняться мне или не должны?
- Я больше не желаю работать.
- То есть как не желаете?
- А так, не желаю, и все.
- Да вы с ума сошли?
- Это еще неизвестно.
- Но как же вы можете отказываться от выполнения моих распоряжений?
- А если у меня больные ноги? Да, больные ноги. Я еле хожу. А вам все равно. Вам наплевать на здоровье, на жизнь сотрудника. Вам важно выполнение ваших распоряжений. Вы черствый человек.
- Да замолчите вы! Как вам не стыдно пороть ересь? Что у вас с ногами? Покажите.
- Вы не врач.
- Но если ноги больные, так это видно — или как?
- Или как?
- Что «или как»?
- Ничего.
- Ничего не понимаю!
- Пошлите Покотилова. Пусть Покотиллов едет.
- Как вы на это дело смотрите, Юрий Степанович?
- Покотиллов дернул седой бровью:
- Мне все равно.
- Хорошо. А вы, Тимофей Николаевич, коли у вас ноги болят, останетесь в лагере, будете чертить профиль, — успокаиваясь, сказал Мозгалевский.
- Не останусь, — быстро сказал Зацепчик.
- То есть как не останетесь? — спросил Мозгалевский и потер лоб.
- Так, — буркнул Зацепчик.
- Вы обязаны остаться. А то опять будете обвинять меня в черствости.
- Не буду обвинять и не останусь.
- Да вы с ума сошли!
- Может быть.
- Что?
- Я сошел с ума.
- Ничего не понимаю. Кто-нибудь понимает, что здесь происходит?.. Никто ничего не понимает. Вы останетесь или нет?
- Я пойду на трассу, — сказал Зацепчик.
- Слушайте, довольно! — сердито сказал Мозгалевский.
- Вы же ничего не знаете, а кричите, — криво усмехаясь, сказал Зацепчик.
- Чего я не знаю?

- Можно вас на минутку из палатки?
- Это еще зачем?
- Я вам скажу кое-что.
- Ну... пожалуйста.

Они вышли. Но уже через минуту раздался гневный голос Мозгалевского:

— Да вы с ума сошли! — Он вошел в палатку, маленький, в накиннутой на плечи кожаной куртке. Усы у него шевелились. — С какой стати вас будет убивать Резанчик?

— А вы что, вы не понимаете, почему его прозвали Резанчик? Режет! Я не могу оставаться один в лагере. И вообще всем рекомендую не ходить по одному. Это же бандиты! Они без охраны. Это вообще какое-то безобразное недоразумение. Заключение — и без охраны. И я знаю, Резанчик только ждет случая, чтобы обагрить свои руки кровью.

— Го-го-го-го! — захохотал Соснин. — На трусливого много собак...

— Сам вы собака! — крикнул Зацепчик. — Алексей Павлович, умоляю, дайте ружье. И вообще, давайте установим по ночам дежурства.

После этого наступила тишина, и все внимательно посмотрели на него. Он сидел, сунув руки меж колен, по щеке у него текла слеза.

— Да вы что, голубчик, Тимофей Николаевич, в самом деле боитесь? Ну как вам не стыдно... Это же малодушие. Ну успокойтесь.

— Малодушие? А почему он на меня так пристально смотрит? Почему у него хищный взгляд?

— Да это вам кажется... Ну, если хотите, я могу его отправить вниз...

— Нет, нет, этого делать нельзя. Он догадается, почему его отправили, и накажет своим партнерам, чтобы они рассчитались со мной... И вообще, я прошу вас всех, не говорите, даже виду не подавайте что я... что здесь произошло.

Ложась спать, Зацепчик положил рядом с собой мое ружье. Оно заряжено. Но не дробью и не жаканом, а бумагой. Пусть стреляет.

И что же, ночью он выстрелил. Переполох был страшный.

— Он лез, уверяю вас, он лез! — кричал Зацепчик.

— Пошли вы к черту! — кричал Мозгалевский. — Никого не было. Это я выходил до ветру. Вы могли меня убить, черт подери!

Как хорошо, что я зарядил патрон бумагой.

— Сейчас же отдайте ружье! Алексей Павлович, возьмите ружье! — кричал Мозгалевский.

Зацепчик отдал ружье, но я видел: он положил под одеяло топор.

— Отдайте топор.— негромко сказал я.

— Что?

— Отдайте топор.

— А, вы с ними? Я давно замечал, что вы с ними. Недаром вас они и не трогают. И не угрожают!

Я замолчал. Что с ним спорить?

А утром мы с Зацепчиком распрощались. Прилетела «шаврушка».

— Чем обрадуете нас? — спросил Мозгалевский.

Летчик был молод и беспечен.

— Письма вам привез. Я ведь только мимоходом.

— Ах, вот как... Ну что ж, спасибо и на этом. Но вот у меня к вам какая просьба.— И Мозгалевский что-то стал тихо говорить летчику.

— А что, давайте. Отвезу,— весело сказал летчик.

Мозгалевский быстро ушел в палатку к Зацепчику. Через полчаса Зацепчик с чемоданом в руке влез в «шаврушку».

— Была без радости любовь, разлука будет без печали,— громко сказал он и отвернулся от нас.

И тут я подумал, что вся эта история с Резанчиком — просто ловко разыгранный фарс. Не захотел больше работать в тайге Зацепчик и сбежал.

— Шкурник! — крикнул я.

— Точно! Марш, марш! Гуд бай, как говорят французы.

И вдруг нам всем стало весело. Мы смотрели на Зацепчика и смеялись.

— Давай, давай, проваливай! — кричал Коля Николаевич.

— Угрястый шкурник! — кричал я, зная, что теперь меня Мозгалевский не одернет и не запретит обзывать Зацепчика любыми словами.— Угорь!

— Точно! Угорь!

— Жалкие люди,— покачивая головой, усмеялся Зацепчик.

— Сам дурак! — кричал Коля Николаевич.

Мозгалевский смотрел на всю эту сцену и смеялся.

Летчик влез в кабину, помахал нам рукой, и «шаврушка» пошла по течению. Потом развернулась, набрала скорость, оторвалась от воды.

Часа через полтора Зацепчик будет в Комсомольске, но я ему не завидую. Как бы ни было трудно, все равно здесь хорошо, и лучшей жизни мне не надо.

5 октября

— Леша! Вставай, Лешка! — кричит Коля Николаевич. Я высовываю из-под одеяла голову и смотрю на него.— Да не на меня, в дверь смотри!

Снег. Сколько снега! Всё в белом. Из палатки я вижу дальние сопки и противоположный берег. Но я не узнаю их. Быстро надеваю сапоги, бегу и, ослепленный белизной, замираю. На деревьях снег. Каждое дерево стало белым, каждая ветвь — пуховой. И все это искрится, сверкает, радуется. А на сопках снег то белый, то голубой, запавший в ложбины, то ярко-розовый от лучей взошедшего солнца, и какая теперь стала красавица Элгунь — смуглая, в белом кружевном воротничке. Как все изменилось! Воздух словно вымылся, стал чистым, прозрачным. И только сейчас я понял, как надоела мне осень, с грязью, с дождями, со слякотью. И какая чудесная штука снег. Как он все освежает! Какой везде порядок!

Сегодня мы перебираемся на следующую стоянку. Идем налегке. Соснин часть груза должен отправить на батах, другую — на оленях. Но оленей пока нет. Нам ждать незачем, и мы уходим. Идти десять километров. Взяли с собой только лепешки и чайник.

Идем за Мозгалевским. Идем долго. Тайга густа, но вот деревья начинают редеть, все больше появляется меж их вершинами голубых прогалин, и уже слышится шум идущего поезда. Так может шуметь только Элгунь. Вот и она!

— Стреляйте, Алексей Павлович, стреляйте, — говорит Мозгалевский. — Соснин где-нибудь тут остановился.

Я стреляю. Эхо, как мячик, отскакивает от сопки, от берега, от леса, — но в ответ — ничего. А уже смеркается.

— Странно, — говорит Мозгалевский. — Странно... Видимо, придется здесь заочковать.

Отошли немного от реки, выбрали место у большой валежины. Развели костры. Шуренка подвесила чайник. И вот уже все улажено. Как будто так и должно быть. И не беда, что нет палаток. С трех сторон горят костры, а мы сидим в центре, и нам тепло, даже жарковато. Закипает чайник, достаем из карманов лепешки. И ничего нет более вкусного, чем этот чай с дымком вприкуску с пресной подгорелой лепешкой.

Темно. На черном небе ярко горят звезды. Белые искры летят от костров к вершинам деревьев, и кажется — это они становятся звездами. Вокруг нас тьма. Но она не страшит. Даже как-то уютнее с нею. Пора готовиться ко сну. Нет ни одеял, ни подушек, ни матрацев. Но можно и без них. Для этого надо только побольше нарубить еловых и сосновых лап. На них спишь, как на пружинном матраце. С боков обогревает. Тепло... Утром Мозгалевский меня и Колю Николаевича послал вверх на поиски Соснина. Покотилова — вниз.

Мы идем берегом. Он обрывист, скалист. Иногда приходится сворачивать в лес, а в лесу такой чертолом, что не знаешь, куда и податься. Но идти надо, и мы продираемся сквозь завалы, сцепления кустов, болота. Шли, шли, и вдруг потянуло

дымом. В распадке, меж двух скал, приткнулись у ручья палатки.

— Го-го-го-го-го! Стыд, срам и позор! Изыскатели, и заблудились.

— Смешки? Где было приказано разбивать лагерь? А ты куда забрался? Ох, борода! Стбишь ты мне здоровья и еще двух нервов, попадет тебе от Мозгалевского,— сказал Коля Николаевич.

— Брось ты,— встревожился Соснин.— Я правильно стал, это вы заблудились.

— Ладно, спорить некогда. Отправляйся берегом, натолкнешься на наших. Учти — голодные. А если голодные, то злые.

— Батурин! — крикнул Соснин, и из палатки вышел эвенк. Был он высок, широкоплеч, с плоским, как тарелка, лицом.— Давай быстрее вниз, увидишь наших — веди сюда.

Вслед за Батуриным вышли из палатки еще два эвенка. Он что-то сказал одному из них, и тот, быстро сбежав к берегу, сел в оморочку.

— А где же Покенов? — спросил я Соснина.

— Уехал домой.

— Он что, больше работать у нас не будет?

— Нет. Я нанял Батурина. Смешное дело, оказывается, Покенов — самозванец.— И, видя у нас на лицах недоумение, пояснил:— Никакой он не проводник.

— Это как же?

— Так же. Не каждый эвенк проводник. Да нам проводник теперь мало нужен. Охотник — вот в чем сила. Батурин у нас теперь работает.

Батурин щедро улыбается. От этого глаза у него становятся как две прорези. Нос у него плоский, без переносья,— поставь у левого глаза палец, правым легко его увидишь.

— Я уже работал в экспедиции,— говорит он чисто, без акцента,— три года назад, тоже был охотником. Градов был начальником партии.

И тут я живо вспоминаю странную историю с рукописью.

— Скажите, был в вашей партии молодой паренек Виктор Соколов?

(Виктор Соколов — это автор растерянной рукописи.)

— Соколов? Витя? А как же,— улыбается Батурин,— был.

Тогда я рассказываю все, что связано с рукописью и ее автором.

— От камня умер? — удивленно говорит Батурин.— Не понимаю, как мог сам упасть ему на голову камень!

— Старуха в этом тоже не особенно уверена, но она не допускает мысли, что его мог кто-нибудь убить...

— Какая старуха?

— Бабушка его. У которой я покупал огурцы... Скажите, а

этот Поконов, который был у нас проводником, он не имеет отношения?

— Нет...

— Но ведь тоже Поконов?

— У нас Поконовых в каждом стойбище много. И Кононовых тоже... Но откуда же мог узнать Соколов про Поконова и Коконова? Были такие богатые оленеводы. Только Поконов из Соноха, а Сашка Кононов из Мкуджи...

— Там еще Прокошка упоминается,— говорю я.

— Прокошка? — удивленно вскрикивает Батурин.— У нас Прокошка был проводником.

— Стоп! — неожиданно кричит Соснин. До этой минуты он с интересом вслушивался в наш разговор, но теперь шумит.— У меня тоже есть занятые листки.— Он бежит в палатку и возвращается через несколько минут, держа в руках десяток тетрадных листочков, исписанных фиолетовыми чернилами.

— Откуда они у тебя? — спрашиваю я.

— Го-го-го-го-го! Единственная старуха, у которой были соленые огурцы. Го-го-го-го-го! Слушайте! — И он читает:— «Жадно вбирает Элгунь в себя воды и, не вмещая, бьется о берега, размывая их. Медленно наклоняются коричневые с золотистым отливом сосны, смотрят в воду, словно любят своим отражением. Стоят, накренысь и днем и ночью, не зная плохой воды...» Постой, это лирика. Это не то,— сам себя остановил Соснин и стал искать другое.— Вот... Слушайте: «Злыми вернулись люди, даже Маша, всегда веселая Маша, была злая.

Тетрадь девятнадцатая

— Дрыхнет! Все перетонем, если помогать не будем другу другу,— громко сказала она.

— Успокойся, Маша...— услышал Прокошка голос Крутова,— он бы тоже не спас Хаджихметова. Пусть спит.

— Об чем разговоры! Ложитесь спать. Уже три часа ночи,— раздается голос Зорина.

И все стихло.

«Сердится,— поживаясь, подумал Прокошка.— Хаджихметов утонул. Все утонул... Пускай тонут. Зачем пришли? Никто не звал. Отец сказал: «Река злая, всех возьмет...» Пускай берет...»

Ветер усиливался. Палатка рвалась из стороны в сторону, словно пойманный в сети таймень — сладкая рыба.

Прокошка плотнее закутался, прислушался к вою ветра и уснул.

Но сон был тревожным. Прокошка ворочался под стеганым одеялом, разрывался носом в шерсть оленьей шкуры.

Зная, что все равно больше уже не уснуть, он встал, вышел на берег. Медленно переступая, двигался вдоль косы, собирая сухой хворост, выброшенный давнишним паводком. Он не торопился. Тайга приучила его к осмотрительности. Стерегиущие на каждом шагу опасности заставляли все видеть, все слышать, и только поэтому Прокошка не вздрогнул, когда увидел в шаге от себя Батурина.

— Ты почему не вел караван тихой протокой? Разве ты не знаешь тихой протоки?

Прокошка втянул голову в плечи, оглянулся...

На этом рукопись обрывалась.

— Это верно, я его спросил, — сказал Батурина. — Я только в тот день пришел к ним. Услыхал выстрелы. И пришел... В тот же день Прокошка сбежал... Но откуда все это узнал Витя Соколов?

Батурина задумался, но тут послышались голоса. Это шли наши.

— Если вы думаете, что это остроумно, то глубоко ошибаетесь! — еще издали закричал Соснину Мозгалевский. — За такие штучки выговора объявляют. Взрослый человек — и ошибиться на три километра. Я бы на вашем месте со стыда сгорел!

8 октября

После завтрака эвенки поехали в старый лагерь за остатками имущества и через каких-нибудь два часа уже вернулись. Большое удовольствие — глядеть на работу рулевого. Как он изгибается, выходя почти всем телом за борт бата! Как легко выбрасывает длинный шест! Как сильно им отталкивается!

— А если упадешь — выплывешь? — спрашивает его Баженов.

— Моя плавать нет, — простодушно улыбается рулевой.

— Вот дивно, на воде живешь, а плавать не умеешь.

— На воде моя живи нет, моя дом на берегу...

Как правило, эвенки плавать не умеют, потому и река злая — много тонет в ней, и оморочка или бат злые, если не уберегли хозяина. И никто уже не возьмет себе эту злую оморочку или бат. Боятся.

Сегодня пришло письменное распоряжение от Костомарова. Привез его Васька Киселев, парень с лицом скопца.

«Категорически требую: экономьте продукты. Сократите число рабочих, оставив себе десять человек. С продовольствием плохо. Скальный вариант принят.

К. Костомаров».

— Значит, зазимует, и прочно, — сказал Мозгалевский, — ну что ж, а вот что скальный вариант принят, это неожиданность.

Чудненько! Та-ак... Но надо сокращать.— Он посмотрел на меня.— Кто необходим для производства изысканий? Трассировщик, геодезист, нивелировщик и пикетажист. Это из путейцев. У нас некого сокращать. А у геологов? Кто нам нужен из геологов? Инженер по стройматериалам и коллектор, да еще буровой мастер. Значит, из геологов надо оставить Лыкова, Ирину Покровскую и Зырянова, Калинину сократить. Да, сократить. Теперь — рабочие...— Мозгалевский долго еще говорил сам с собой, потом взял лист бумаги, надвинул на кончик носа очки и стал писать.

То, что я остаюсь, меня обрадовало, и я ни о чем больше не думал, как только о том, что буду работать, а если буду работать, то стану настоящим изыскателем.

— Ну вот, и с рабочими как будто разобрался. Лыкову только одного, Зырянову четырех... Калинину Таисью вниз. Да, вниз... А нам придется сесть на строгий паек. Надо подтянуть ремни...

— Олег Александрович, а что, много углов будет по левому берегу? — спросил я.

— Много.

— Но они маленькие?

— Какой вы чудак.— Он приподнял очки и посмотрел на меня.— Не все ли вам равно, большие углы или маленькие?.. Ах да, вы о кривых беспокоитесь? О разбивке кривых?

— Да.

— Болезнь пикетажиста... Углы будут в основном небольшие.

Вместе с распоряжением Киселев привез нам несколько пачек папирос. Редкие они гости, эти папиросы. После махорки папиросы кажутся ароматными, хотя относятся к разряду самых дешевых.

— Да, ну что же,— говорит с собой Мозгалевский,— вот я и составил письмецо Зырянову, завтра поутру отправим его.

Ночью, часу в двенадцатом, послышались голоса с Элгуни. Они сливались с воем ветра, с рокотом реки. Я выбежал из палатки, закричал. Но никто не отозвался.

— О-го-го-го-го! — как леший, загоготал Соснин.

Нет. Никого нет. Только вернулись в палатку, снова раздался крик — женский, и немного погодя — мужской. Небо было черным. На крышу палатки падали сломанные ветром ветви и, шурша, скользили по ней.

— Что за черт? — в нетерпении сказал Коля Николаевич.— Может, тонут?

Развели на берегу костер. Стали кричать непрерывно. Но в ответ ни звука. И вдруг близко послышались голоса. Страшно было представить этих отчаянных людей в ночной час на реке. Откуда? Куда добираются? Костер пылал, и прибрежная вода казалась от него красной... Опять послышались голоса. Но сколько я ни вглядываюсь, ничего не вижу. Тьма. Густая тьма,

поглотившая сопки, леса и Элгунь. И совсем уже рядом раздался смех. Странно звучал он в ночи, этот веселый смех.

— Да это же Ирина! — вдруг крикнул я. — Ирина!

— Эгей! — донеслось в ответ.

Это была она! Только одна Ирина могла смеяться в эту мрачную непогоду. Смеяться? Ну да! Она смеялась! Значит, все, что было связано с Лыковым, отошло, отболело? Схватив горящую головню, я побежал к воде. Высоко поднял ее, и то замирающее, то ярко вспыхивающее пламя осветило Ирину. Она стояла с шестом на носу бата, словно врезанная в черную немоту воды. Кровавые отблески плясали вокруг ее головы. На корме был Цибуля.

— Ирина, здравствуй, Ирина! — откуда-то из темноты выскочил Коля Николаевич.

— О-сё-сё! — отозвалась она.

— О-но-но!

— Здравствуй, Соснин, — выбегая на берег, смеется Ирина.

— «За гробом толпою шли, платки белее снега держа у красных носов...»

— Что это? — спрашивает Ирина.

— Стихи. Гейне. В свободное от работы время заучиваю.

— Смотри ты, какой молодец. Ты скоро, наверно, начнешь петь?

— Когда я вижу тебя, то всегда готов это сделать. Го-го-го-го!

— Так пой... Ха-ха-ха-ха-ха...

— Здравствуй, Ирина.

— А-а, Алеша? Здравствуй, Алеша... Здравствуйте, Олег Александрович. Наконец-то добралась, как я счастлива! Ну и перекатище был, чуть не утонули. Потом въехали в слепую протоку. Весь вечер провозились. Цибуля молодчина, здоровяк такой, лодку на себе тащил...

— Страшно было ночью ехать? — спросил Мозгалевский.

— Страшно, — смеется Ирина.

Палатка наполнилась шумом. Ирина не умеет говорить тихо, и Мозгалевскому доставляет немалое удовольствие сразу же Ирину поддернуть:

— Громче, громче, Ирина. Здесь же все глухие.

— Ха-ха-ха-ха! — заливается Ирина. — Я так рада, что всех вас вижу. Я буду еще громче говорить, а то вы давно меня не слышали...

Прежняя Ирина, та, которую я видел в начале пути, вернулась к нам. Я смотрю на нее и не могу наглядеться. Все в ней просто и все необычно. Глядя на нее, мне хочется смеяться.

— Ну, а что Кирилл Владимирович? — спрашивает ее Мозгалевский.

— Ведет съемку левого берега, укладывает на планшетах

трассу. Он забывает даже есть... Он очень много работает. Он никого не жалеет. И себя не жалеет...

— Вот как,— говорит Мозгалевский.— И много уже прошел?

— Двадцать километров.

— Двадцать километров? Что он, фокусник? Спать, спать! Завтра подниму всех чуть свет,— строго сказал Мозгалевский.— Вы, Ирина, ляжете в нашей палатке. Спать, спать!

Чуть свет он нас поднял. С утра шел дождь, мелкий, холодный. К обеду дождь пошел со снегом, подул сильный ветер. Коченели руки, трудно было записывать. Книжка вымокла. А ветер задувал все сильнее. Все же работали до сумерек.

Зато как уютно в палатке! Потрескивают дрова в печке. Горят свечи. На столе чай. Ирина что-то рассказывает Соснину. Тот гогочет.

— Тишина! — строго говорит Мозгалевский.— За работу!

Мы работаем до двенадцати ночи. Давно храпит Соснин. А мы все еще камералим.

— Спать! — приказывает Мозгалевский.

И мы спим как убитые. А утром чуть свет подъем. Мы быстро едим и уходим на трассу.

— Работать, работать!

И мы работаем.

— Как жаль, что короток день,— сокрушается Мозгалевский.

— Вам бы и летнего не хватило,— говорит Коля Николаевич.

— Согласен! Рубшики! Яков, бери теодолит, пошли вперед! Быстрей, быстрей! Алексей Павлович, не отставать! Позор падет на наши головы, если мы сделаем меньше Костомарова. Позор!

Так мы работаем пять дней. Прошли еще девять километров. Надо переезжать.

— Где же ваши эвенки? — спрашивает Мозгалевский у Соснина.

Около палатки кто-то возится, и через минуту в нее входит маленький эвенк. Он поглядел на всех и сказал:

— Драстуй... Моя ходи к вам. Рыбалка совсем-совсем скоро ходи Байгантай. Совсем ходи. Батурин сказал, ходи Мозгалевски, говори завтра баты к нему ходи, Жалдаб ходи.— И замолчал.

— Ничего не понял,— сознался Мозгалевский.— Нужен толмач.

— Он говорит, что Батурин нам дает баты для переезда в Жалдаб. Они приедут завтра. Если мы не воспользуемся, то они уедут в Байгантай, а нам придется перебираться своими силами,— пояснила Ирина.

— Смотрите, она толмач! — удивился Мозгалеvский. — Ну, коли так, садись пить чай, — сказал он эвенку.

Эвенк присел на корточки, взял обеими руками кружку с горячим крепким чаем.

Утром приехали два бата. Мы, как и раньше, отправились на трассу, поручив погрузку Соснину. Я думал, что и Ирина пойдет с нами, но она осталась в лагере. Только теперь я начинаю понимать, что для того, чтобы любить, надо обладать мужеством. Надо не бояться сказать человеку, что любишь его, и не дрогнуть, если он не ответит на твой призыв. В этот час мужество должно быть выше самолюбия. Тут важно не убежать от стыда, а выстоять наперекор всему больному, что будет причинено сердцу. А оно будет причинено, потому что Ирина меня не любит. Это я вижу: Она равнодушна ко мне, а что может быть страшнее равнодушия? Если бы она сердилась, злилась, какое это было бы счастье, потому что от любви до ненависти, говорят, один шаг, тогда и от ненависти до любви такой же. Но Ирина совсем не думает обо мне.

...Мы идем к новой стоянке. Как тяжело идти со старым человеком. Неужели и я когда-нибудь буду старым? Нет, этого не может быть!

Мозгалеvский еле бредет, и мне приходится часто останавливаться, поджидая его.

— Не бежите, куда вы к черту на рога несетесь! — кричит он.

— Никакого черта нет, просто начинается редколесье, — отвечает Коля Николаевич.

— Редколесье, редколесье, — бормочет Мозгалеvский. — А вы куда? — это уже относится ко мне.

— Думаю идти берегом.

— Там можно?

— Пока не знаю.

— Ну я за вами пойду.

— Так я же не знаю...

Но он уже направился ко мне. Через несколько шагов я наткаюсь на большой завал. Чтобы его обойти, надо забраться на вторую террасу, а она довольно крута.

— Не знаете пути — нечего ходить, — ругает меня Мозгалеvский.

Я молчу. Но раздражение все больше овладевает мной. «Какой несносный старикашка, — думаю я. — Если стар, так надо сидеть дома. Тайга для сильных и молодых».

— Куда же вы? — бьет мне в спину злой голос.

Я оборачиваюсь, хочу сказать что-то резкое, но вижу усталое, обросшее седым волосом старческое лицо. И мне становится стыдно. Как мог я, сильный, молодой, досадовать на пожи-

лого человека только за то, что он последнее время недоедал, недосыпал и очень устал? Он, который для меня так много сделал?

— Олег Александрович, идите сюда, здесь лучше,— зову я его и расчищаю топором путь.

— Чудненько! Вы не очень, не очень усердствуйте. Я и так, я и так...

Откуда-то налетели белохвостые орлы. Клекотом полнится тайга. Их много... Десятки.

— Видимо, перелет,— говорит Мозгалевский, задирая в небо голову.

Я не знаю, перелет ли это, бывает ли вообще перелет у орлов, но то, что вижу,— редкостное явление. Они толкут над нами воздух. Выстрелить, что ли? Но зачем мне орел? И вдруг они исчезли, словно кто их рукой смахнул.

Идем мы с Мозгалевским неторопливо. Останавливаемся, курим. Говорим.

— Мне с Костомаровым работать не приходилось,— говорит Мозгалевский,— но слышать о нем слышал. Очень деятельный и талантливый инженер. Правда, увлекающийся... Он суров к себе. И если какая идея его увлечет, он ни с чем не считается. Боюсь, что идея скального варианта захватила его.

— А почему боитесь?

— Да потому, что инженерия — это прежде всего точный расчет. А точный — значит, спокойный, даже, я бы сказал, холодный. Поэтому тот, кто увлекается, горячится. А горячиться при точных расчетах не следует.

В Жалдабе построены для нас зимовка и баня. Мозгалевский сверяет карту аэрофотосъемки с местностью, без труда находит речонку Жалдаб, и вскоре мы обнаруживаем зимовку. Радости нашей нет предела. Это бревенчатый сруб с крышей, заваленной землей. Всего три венца выходят наружу, остальная часть в земле. Значит, будет тепло. В стене прорублено окно, оно не заделано, без рамы, просто дыра. Двери тоже нет. Но мы не обращаем внимания на такие мелочи. Нас радует прочное, теплое помещение. Через час прибывают баты, и к вечеру зимовку не узнать. Вдоль стен стоят постели, посредине зимовки стол. На нем свечи. В печке трещат дрова. Окно наполовину закрыто чертежной доской, поверх нее выведена печная труба. Дверь закрыта палаткой. Пол устлан хвоей. Воздух теплый, ароматный.

Какое наслаждение после бани лежать на постели, сняв надоевший ватник, сбросив сапоги. Лежать, курить и сонно поглядывать, как Мозгалевский, нежась в тепле, греет свои больные колени у открытой дверки, как горячее, раскаленное пламя освещает его узловатые маленькие руки. Да, в зимовке уютно. Висит на всунутых в пазы колышках одежда. На печке все время

горячий чай. Мозгалеvский лежит на постели и заводит спор о Маяковском. Как все старые люди, он не терпит его.

— Тарабарщина это! Ну хорошо, прочтите мне что-нибудь, если уж он вам так нравится,— говорит он мне.

— Книги у меня нет, а в голове только отрывки.

— Неважно, давайте отрывки.

Я усмехаюсь:

— Нельзя судить по отрывку обо всем творчестве поэта.

— Мне стиль, стиль нужен, понимаете? Стиль!

— Хорошо. Слушайте.— И я читаю «Сергею Есенину».

— Стойте, стойте.— перебивает меня Мозгалеvский и хватается за голову.— Ничего не понимаю... «Летите, в звезды врезывайтесь...» Ага, это в мир иной. Так, дальше.

Я читаю дальше. И опять:

— Что, что такое?.. «В горле горе комом»? Ну ладно, дальше.

— Вы не перебивайте, а то теряется смысл,— говорю я.

— Хорошо. Не буду.

— «Вижу — взрезанной рукой, помешкав, собственных костей качаете мешок...»

— Что? Что такое? — Он опять хватается за голову и стонет, будто у него болят все зубы сразу.— Обождите, обождите, я вникаю в смысл. Ищу его... «Взрезанной рукой»... Что это?

— Есенин решил покончить самоубийством, вскрыл вены и написал стихотворение кровью.

— Так, значит, пужны комментарии... Теперь ясно. Тарабарщина! То ли дело стих Пушкина: «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...»

Мы смеемся с Колей Николаевичем, хотя я-то очень рассержен. Мозгалеvский тоже сердито смотрит на нас, топорщит усы и вдруг улыбается. Соснин, внимательно слушавший спор и не знавший, кто из нас прав, теперь во всю глотку гогочет. Он просто рад, что все у нас так хорошо разрешилось.

В последние дни ударили заморозки. Появились забереги, схватились болота, замерзла в ручьях вода. Пришли холода. А рабочие разуты и раздеты. Сапоги допашиваются, от воды кожа киснет и расползается.

Брезентовые куртки надеты чуть ли не на голое тело. Но рабочие на это не ропшут. И в работе, и в ходьбе, и в палатке тепло, а сидеть сложа руки не приходится.

Вечером приехал начальник гидрометрического отряда Басов. В связи с принятием скального варианта переходы через Элгунь отпадают.

— Костомаров предложил мне сделать съемку скалы Канго. Я сделал. Вот материалы. А теперь поеду, пока не застала зи-

ма. Больше мне делать тут нечего. Пишите письма, передам родным в Ленинграде.

Мы пишем письма, а потом изучаем полевые материалы баковской съемки. Гора Канго в трехстах метрах от нас. Ее скалистые обрывы спадают в воду чуть ли не под прямым углом. Уложить трассу на таких обрывах трудно. Потом уже строители будут взрывать скалы аммоналом, выбирать «полку» на камне для укладки пути.

Я диктую Коле Николаевичу тахеометрические отметки, он по транспортиру накладывает их на ватман.

— Коля, а как же Градов, он ведь против скального варианта?—спрашиваю я.

— Есть приказ начальника экспедиции. Что Градов может сделать? Скрипит зубами, но подчиняется.

— А скальный вариант—стоящее дело?

— Еще бы. Тут башку надо иметь, чтобы трассировать, а не глиняный горшок.

— Можно?—слышится за дверью-палаткой голос Афоньки.

— Да,—разрешает Мозгалевский. Он срезает седую щетину на щеках машинкой для стрижки. Бритвы на изысканиях не признают.

— Олег Александрович,—глядя в пол, говорит Афонька,—дайте консервов, есть нечего...

— Ты прекрасно знаешь, что консервы—это наш «энзе». На самый черный день. Ешьте горох. Делайте гороховый суп, гороховую кашу, гороховые лепешки.

— Надоел этот горох, воротит с него.

— Консервов не дам.

— Дайте.

— Не дам.

Разговор идет вяло, будто говорят о чем-то потерянном, что долго искали, и, устав искать, перебраниваются ничего не значащими словами.

— Значит, не дадите?

— Нет...

— Может, хоть немного?

— Нет...

Тетрадь двадцатая

19 октября

По Элгуни плывут небольшие, голубые, как небо, льдины. Шуга. Воздух резкий. Все в инее. В высоком холодном небе большое морозное солнце. От его лучей искрятся миллионами миллионов огней далекие заснеженные сопки. Они в синем

мареве, тем красивее, диковинней их снежный огонь. Тишина. Во всем тишина. Ни ветра. Ни шороха.

Тихо и у нас в лагере. Нет обычных приготовлений к выходу на работу, ни криков, ни смеха, ни ругани.

— Алексей Павлович, позовите бригадира,—говорит мне Мозгалевский.

Я иду за Афонькой. Вхожу в палатку рабочих. Это большая палатка, рассчитанная человек на тридцать. Тут и заключенные и вольнонаемные, все вместе. В ней три печки. Постелей нет. Рабочие спят вповалку, прижимаясь друг к другу. «Так теплее»,—говорят они. Над печками протянуты веревки, на них сушатся портянки, рукавицы, штаны. Воздух тяжелый спертый.

Сейчас рабочие сидят вокруг печек. Стоило мне только войти, как наступило молчание. Какие сумрачные у всех лица. Какое открытое недовольство видно в глазах каждого. Некоторые смотрят на меня, недобро усмехаясь.

— Афанасий,—зову я бригадира.

— Ну?—не подымаясь, говорит Афонька. Он полулежит на хвое.

— Мозгалевский зовет.

— Зачем?

— Он тебе скажет.

— Пускай сам сюда идет. У нищих слуги отняты. «Зовет». Ты сам сюда иди. Иди к рабочему человеку, уважение ему окажи.

Мозгалевский идет. Садится возле печки и, посасывая пустую трубку, говорит о той благородной миссии, которая возложена на изыскателей, но рабочие и слушать не хотят.

— Ну эти разговоры, Олег Александрович, вы себе оставьте,—говорит Перваков,—себя можете обнадеживать, а нам дайте существо. Мечтания — они хороши, когда брюхо сыто да тело в тепле...

— А что ты подогреваешь нездоровые настроения? — протискиваясь к Мозгалевскому, сказал Соснин.

— А ты накорми людей, тогда и настроения потухнут. Чего ж ты хочешь — чтоб человек был голодный да еще молчал?

— А ты ведь контра! — сунулся к нему Соснин.

— Дурак ты, хоть и с бородой, — спокойно ответил ему Перваков.

— Ты не обзывай!

— Я не только обзову, я еще бороду тебе вырву. Как же ты можешь мне говорить такую пакость, если я воевал у Сергея Лазо?

— Ладно, хватит спорить,—примиряюще сказал Олег Александрович. — Условия у нас тяжелые, но работать надо. Мы первые, а первым всегда тяжело.

— Так мы ж не против,—сказал Афонька,—да без жратвы силы нету.

— Работать надо,—ссутулившись, сказал Яков,—а не языком трепать. Языком-то трепать горазды больно. Жрать! А ты заслужи, чтоб тебя кормили. Может, тебя и кормить-то не след...

— У-у, пакость,—закачал из стороны в сторону головой Перваков.—Олег Александрович, дайте ему за угодливость кило гороху, пусть пожрет его да лопнет.

— Сам лопнешь, сам!—заорал Яков.

— А ну, замолчать! — крикнул на него Резанчик и посмотрел на Мозгалевского:—Вольные как хотят, а мы не пойдем на работу.

— Что ж мне делать с вами?—беззлобно говорит Мозгалевский.

— Отправить зачинщиков вниз. Марш, марш! И весь разговор,—чеканит слова Соснин.

— Помолчите, пожалуйста,—с неприязнью говорит ему Мозгалевский.—Как это вы все привыкли расправляться...—И, подумав, сказал рабочим:—Собственно, я не понимаю, о чем речь? Разве вы не знаете, что я распорядился дать вам два выходных дня? Отдыхайте!—Сказав это, он быстро вышел из палатки.

Может быть, так все бы и прошло, но приехал Градов. Увидев всех на месте, он спросил, почему мы не работаем. Мозгалевский объяснил.

— Ах, дорогой мой Олег Александрович,—всплеснул Градов руками,—в ваши годы такие неприятности. Вам бы полегче надо экспедицию. Где-либо под Ленинградом. Не позаботились о вас, не подумали.

— Но ведь дело не во мне,—сердито говорит Мозгалевский.—И не понимаю, нет, не понимаю вашей странной заботы обо мне.

— Ну вот и рассердились. Расстроились. А в вашем возрасте расстраиваться нельзя. Ладно, что тут у вас?—И раздул круглые ноздри, словно пытаясь по запаху определить, что происходит у нас.

— Надоел горох. Люди хотят нормально есть...

— Да, но вы же знаете, на базе пусто... Пойдемте к рабочим.

Размашисто, уверенно он идет к палатке рабочих. На голове у него пыжиковая с длинными ушами шапка. Он уже успел обзавестись ею.

— В чем дело, товарищи?—залезая в палатку, спросил он.

— Да все в том же, в еде,—ответил Перваков.—Тут надо разобраться, до каких пор будет такое положение. Если временно, то мы...

— Надо не дискутировать, а работать. Как ваша фамилия?

— Моя фамилия Перваков.

— Вот, товарищ Перваков, надо не дискутировать, а работать. Нам поставлены жесткие сроки производства изысканий. Вы уволены, Перваков. Кто еще хочет говорить, а не работать? — Градов раздул ноздри.

— Это за что же вы его увольняете?—поднялся Афонька.

— Так, вы тоже уволены. Кто еще?

Наступило тяжелое молчание. Ясно было, что Градов испугал людей. Чем? Им вроде бояться нечего. Ну, если бы в лодки и уехали. Но было что-то такое в словах и тоне Градова, что как бы предостерегало и в то же время сулило большую неприятность тому, кто не послушается начальника участка.

— Так. Нет?.. Ну вот и прекрасно. Идите на работу, и, заверяю вас, через неделю будут и продукты и обмундирование,—сказал Градов и, нагнувшись, вышел из палатки.

— Слушайте,—как только он отошел на порядочное расстояние, остановил его Мозгалевский,—почему вы так разговариваете с людьми? И Перваков и Афанасий—замечательные рабочие. Но дело не в этом. Как вы можете так себя держать, вы, советский инженер?

— Спокойнее, спокойнее. Вы начинаете горячиться и не думаете, что говорите. У вас начинает дрожать голос, но не оттого, что у вас больное сердце. Нет, оно у вас мягкое. А это очень плохо, когда у руководителя мягкое сердце. Вы, наверное, плачете в кино, когда видите сентиментальные штучки?

— Слушайте, я коммунист...

— Нет, это уж вы меня слушайте. Да, видимо, вы стары. Вы не умеете руководить. Не умеете держать дисциплину. Будь вы помоложе, я бы с вами иначе говорил, но ваши седины заставляют меня замолчать и откланяться.

— К черту вашу заботу о моей старости. Да и не стар я!

— Стары, стары,—с нажимом сказал Градов.—Будь вы помоложе, не допустили бы такого развала дисциплины. Но не будем больше спорить. До свидания. Если что, я буду на базе. Приезжайте...

Мозгалевский в ответ на это только затрясся и ничего не ответил, ушел в палатку.

Немного спустя к ней подошли Перваков и Афонька.

— Олег Александрович, выйдите на минутку,—попросил Перваков. И, когда Мозгалевский вышел, сказал:—Что ж, собрались мы, давайте расчет, коли уж так...

— Какой расчет? Я вас не увольнял. Расчет! Или вы на самом деле хотите вниз?

— Да нет, зачем же...—ответил Афонька.

Пока время уходило на все эти проволочки, геологи потихоньку двигались и вот нагнали нас. Встреча произошла на трассе.

— Алеша!—крикнула Тася.

Я и не ожидал ее увидеть, думая, что она уехала. Ведь Мозгалевский же дал предписание Зыряпову.

Она бежит ко мне.

— Здравствуй, Алеша! — Глаза ее сияют, смеются. Она в ватнике, в штанах, заправленных в сапоги, в косынке.—Что ты так на меня смотришь?

— Я думал, ты уехала.

— Нет, я здесь! Как хорошо, что мы вас догнали.

Я смотрю на нее и замечаю то, чего не видел раньше. У нее пухлые губы, особенно верхняя, такая добродушная, вздутая. У нее высокая грудь. Маленькая, но высокая. Она смотрит на меня, улыбается. «Но ведь есть же Ирина?—думаю я, и тут же отвечаю себе:—Ирина—мечта. Несбыточная мечта, а тут...»

— Что ты так на меня смотришь, Алеша? — тихо спрашивает она.

— Просто давно не видел,—медленно отвечаю я.

— Ты рад меня видеть?

— Да,—говорю я, и мне становится почему-то легко. Я тоже улыбаюсь.

— И я рада...

Вечерет. Мы идём домой. Молчим. Я чувствую на своих губах какую-то блуждающую улыбку от внутренней пеловкости и чего-то грешного. Поднимается луна, и чем она выше, тем белее, и вот уже она как снег на вершинах сопок. От деревьев падают толстые тени, они пересекаются, и лес кажется глухим, непроходимым. Все больше появляется звезд. Синые, красные, зеленые, белые сигналы шлет нам Полярная звезда. Опустила к краю земли ковш Большая Медведица. Как циклоп, смотрит оранжевым глазом Марс. Поднимается ветер. Он тревожно шумит в вершинах деревьев.

— Алеша?

— Что, Тася?

— Подожди, Алеша... Ты так быстро идешь... Я устала.

Она повернулась ко мне. Я беру ее за руку, и она тут же прижимается. Но я ухожу. Я не хочу того, что может случиться. Любовь в моем представлении—совсем иное. Это когда от восторга дышать печем, когда, не думая ни о чем, во имя любимой бросишься в пропасть, когда готов стоять на коленях и молиться на свою любовь! А тут? Нет, это ни ей, ни мне не нужно.

— Алеша!

Я не остановился.

— Алеша! — Она бежит ко мне, дергает за руку.— Ты разве не слышишь—я тебя зову. Мне страшно...

Я останавливаюсь.

— Алеша...

Она смотрит мне в лицо. Смотрю и я и вижу в каждом ее глазу по маленькой белой луне. Луны плывут в черном океане глаз. И они кажутся мне уже белыми яхтами, уносящими меня в далекое, неведомое.

Я поцеловал ее. Взял за руку и повел, как маленькую девочку, к зимовке. Я ничего не испытывал—ни радости, ни торжества, ни гордости, ни унижения, ни пустоты. Было немного грустно, будто с любимого дерева облетела листва. Хорошо, что Тася молчала. Так было легче.

В зимовке горят свечи, топится печь. Согнувшись над столом, сидит Мозгалевский, читает письмо от Костомарова.

«Ни в коем случае не идите по подножию Канго. Идти косо-гором»,— читает он, только на мгновение оторвавшись от письма, чтобы посмотреть на меня. Его взгляд пристален, но я делаю вид, что не замечаю этого, и придвигаю к себе миску с гороховой кашей.

Тася что-то весело мурлычет себе под нос, устраивая постель рядом с постелью Ирины. Если можно говорить о каком-то удовлетворении после того, что произошло, то я доволен тем, что она ведет себя так, будто между нами ничего и нет. И я постепенно успокаиваюсь. Потому что то, что произошло, мне мешает. Без поцелуя я жил легче. Жил просто, легко.

22 октября

Холодный сухой ветер жжет лицо. По Элгуни сплошняком идет шуга, трется о забереги. Шуршит. По небу быстро уходят на юг облака. От воды стыннут руки, стягивает лицо.

— Бррр! — вздрагиваю я и бегу в палатку. Но не успел еще вытереть лицо, как откидывается полог и в проеме дверей показывается курносое лицо Шуренки.

— Сверху два бата идут,— говорит она.

С полотенцем в руке я выбегаю из палатки. А к заберегам уже пристаёт первый бат, и из него выпрыгивает человек в черной борчатке и финской шапке.

— Кирилл Владимирович! — раздаётся радостный крик Мозгалевского.

«Фу ты, ну как я не узнал его сразу»,— думаю я и протягиваю Костомарову руку. Он крепко хватает ее и выскакивает на бровку обрыва. Окружив Костомарова, идем к зимовке. Вся борчатка у него обледенела. Он сбрасывает ее, ставит к столу карabin и оглядывает нас спокойным, радостным взглядом:

— Ну, как живете?

Мозгалевский рассказывает и про Зацепчика, и про питание, и про Градова.

— Градов сейчас у меня. Оленей ждет. В соседнюю партию перебирается,— сказал Костомаров.

— Говорил он вам, что у нас есть нечего?

— Наоборот, говорил, что у вас восемь мешков муки,— удивленно сказал Костомаров.

— Вот безобразие! — всплескивает руками Мозгалевский.

— Взял у меня три мешка для пятой. Зол он как черт, категорически против скального варианта. Если бы не Лавров, наверняка запретил бы вести на косогоре изыскания. Ну, это дело его, а наше — быстрее-быстрее двигаться друг другу навстречу. Я вам привез муку, сахар, картофель и немного оленины. Соснин, примите.

— Есть! — вытягивается перед Костомаровым наш помначхоз и стремительно выходит из зимовки.

— В Байгантае все эвенкийское население посажено на строгий паек. Взял в магазине продукты в долг. Надеюсь, скоро прилетят самолеты. Говорил с Лавровым по радио. Он просит продержаться до первого ноября. Что-то с самолетами неладное. До смычки наших отрядов, Олег Александрович, километров двадцать...

— Неужели вы прошли пятьдесят? — кричит Мозгалевский. Он ошарашен.

— Но я не один, с Покотилковым. И берем на косогоре всего по три точки — подошва, середина и вершина. Кстати, нужен отчаянный малый. Нет ли у вас такого, чтоб по вершине бегал?

— Есть. Из заключенных, Михаил Пугачев,— сказал я.

— Отлично. Завтра я возьму его с собой. У Покотилова парнишка ничего, а мой трусит. Олег Александрович, хотите, я вам расскажу об экономической выгоде скального варианта?

— Пожалуйста, рад выслушать.

Костомаров подсел к нему поближе. Начались выкладки, вычисления. Костомаров волновался, глаза его блестели, я никогда таким его не видел.

— Сорок миллионов экономии! Каково, а?

— Это заманчиво, но цыплят по осени считают,— улыбаясь в усы, сказал Мозгалевский.

— Теперь тоже осень,— как-то сразу завяв, ответил Костомаров и, немного помолчав, спросил: — А сама идея укладки трассы по косогору вас не воодушевляет?

— Меня может привлечь только трезвый инженерный расчет,— ответил Мозгалевский, потирая колени.— Скальный вариант трудный, и, мне думается, именно эта трудность и увлекает вас...

Костомаров в упор посмотрел в тусклые, с расплывшимся зрачком, глаза старшего инженера.

— Я думал, вы лучшего мнения обо мне,— тихо сказал он.— Я вас не обманываю, когда говорю, что изо всех вариантов этот самый выгодный. Почему вы мне не верите?

Мозгалевский пожал плечами, будто ему стало холодно:

— Чтобы поверить, пужны варианты. Материалы для сравнения вариантов. Вы же инженер. Вы должны это знать не хуже меня.

— Не дай бог, если у начальника главка такой же недоверчивый характер, как у вас, тогда я пропал,— невесело улыбнулся Костомаров.

— Насколько мне известно, он человек трезвого инженерного расчета.

— Ну, тогда пропал.— Костомаров помолчал и, окинув взглядом зимовку, спросил:— А где же Покровская?

— В поле. Пошла к сопкам,— ответил Коля Николаевич.

— Так. Ну что ж, поеду обратно. Время не ждет. Как бы то ни было, а теперь вы знаете мой замысел,— сказал Костомаров Мозгалевскому,— и прошу вас неукоснительно придерживаться моих указаний... Что могу я вам сказать на прощание, Олег Александрович? Опыта у вас больше, чем у меня, но смею вас заверить, будет принят скальный вариант. И поэтому не тратьте напрасно время на сомнения. До свидания, товарищи. Желаю успеха.— Он быстро сбежал по крутому берегу к реке и вскочил в бат. За ним так же быстро пробежал Мишка Пугачев. Гребцы оттолкнулись от берега и легко пошли против течения, к своему лагерю.

Тетрадь двадцать первая

...Смешно и обидно. Из всех лагерников, а их у нас перебывало около сотни, осталось только одиннадцать человек. Но кто они? Почти сплошь жулье. Царек, Юрок, Резанчик. Чего только одни клички стоят! Но как такое могло получиться? Незаметно, день за днем, отбирали и отсылали лентяев, ненадежных, и теперь, в самый ответственный момент, вдруг оказались в окружении жулья. Уму непостижимо. Но работать надо. И мы работаем, не показывая вида, что боимся или недовольны ими.

Гора Канго неприступна. Чтобы ее обойти, пришлось отбить двенадцать углов. Все эти углы строго увязаны между собой. Стоит только где-нибудь ошибиться — и вся работа полетит на смарку. А рабочим на это палевать.

— Мы здесь срок отбываем, а не работаем,— растягивая длинный рот и показывая редкие черные зубы, цедит Юрок.

— Нам здесь только номер отбыть,— вторит ему бронзоволицый Резанчик.

Канго — удивительно красивая гора. Утесы зеленые, поросшие мхом. Есть и голые, выложенные серым камнем. На редких склонах ютится лес. Следом за Канго — другая такая же гора, Соха. Чтобы заснять ее, надо перебраться на другой берег Элгуни и оттуда вести тахеометрическую съемку. Мозгалевский про-

бил легкий магистральный ход, привязал его к трассе левого берега; Коля Николаевич взял теодолит. Я к нему назначен записателем.

Ночью долго, почти до рассвета, занимались нанесением отснятого материала на план. Потом Олег Александрович укладывал по нему трассу.

Спали часа три, и опять на работу.

Сегодня я видел чудо. Отснятый материал был уложен на плане. По этому плану Мозгалеvский запроектировал линию железной дороги. По плану трасса легла в двух метрах от большого утеса. И точно в двух метрах она легла сегодня на косогоре. Вот это работа! Правда, ее не так-то легко было сделать, и я не раз жалел, что со мной нет Мишки Пугачева. Юрок, несмотря на всю свою отчаянность, не очень-то решителен в те минуты, когда надо висеть над обрывом. Нелегко было и Первокову забивать деревянные точки в скалу. Но мы все же прошли утес. Еще труднее было с нивелировкой. Но Коля Николаевич, чуть ли не вися в воздухе, брал отсчеты.

25 октября

И Юрок и Резанчик начинают понемногу втягиваться в дело. У них еще нет большого желания, нет того стремления, каким охвачены мы, но и они стали живее и более охотно выполняют то, что им велишь. Может, сама работа, ее риск — ведь запросто можно свалиться в реку — заинтересовали их?

В полдень разожгли у подножия Канго костер, греемся, едим лепешки. Разговорился я с Юрком, и он, не утаивая ничего и не рисуясь, рассказал про себя.

Он с детства вор. объездил почти весь Советский Союз. Семь судимостей, пять раз бегал из мест заключения и сейчас уже второй год отбывает наказание.

— А где же ты зубы потерял? — спросил я его.

Он усмехнулся и посмотрел на меня черными с синим белком глазами:

— Самосуд.

— Били?

— Били.

— За что?

— За то, что воровать не умел.

Вторым на ленте у меня Баландюк, толстый, неспортивный мужик. Мы сидим, ждем, когда рубщики отойдут подальше.

— А что, скоро амнистия, может, и освободят? — говорит Баландюк. — Я-то скоро уйду, в ноябре... Ой, что я, нет, нет. Хотя да, да, в ноябре... Или нет! Нет! Вот дурак, хотя... да, да, в нояб-

ре — или нет? — Он морщит лоб, подсчитывает, а мы с Юрком смеемся. Баландюк забавен.

— Баландюк, а сторожки ты заготовил? — видя, что рубщики уже отодвинулись, спрашиваю я.

— Сторожки? Нет. Хотя да, да... Нет, нет, еще парочку надо.

— Лента! — кричит Мозгалевский.

— Баландюк, скорей!

— Да, да, Алексей Павлыч, хотя если б не было задержек, то теперь бы и делать было нечего.

— Это как же так?

— Все переделали бы до нас. Хотя нет, нет, да что я, вот чудак. Хотя...

Трасса идет по косогору. Сопки тянутся, тянутся. Один сплошной гребень вырисовывается на фоне чистого, голубого неба.

Мы уходим чуть свет и возвращаемся в темноте, когда уже крупные звезды прорежутся в ночи. Идя к дому, я думаю о Тасе. Первые дни после того поцелуя я себя чувствовал как-то неловко. Но прошли эти дни, и стало скучно. Скука началась с того, что я вспомнил ее глаза, вспомнил горячие губы, и уже не стало покоя. Но Тася вдруг изменилась. То сама заговаривала со мной, радовалась, когда встречала меня, теперь же делает вид, что не замечает.

— Почему? Что случилось? — спросил я ее.

— Ничего, — глядя на меня, ответила она.

— Но ведь что-то случилось, если ты так ведешь себя?

— Ничего не случилось, и оставь меня в покое.

— Хорошо. — Злой я ухожу от нее. Но не могу ни на чем сосредоточиться. Все время думаю о ней. Мне во что бы то ни стало надо помириться, хотя я не ссорился, иначе я не смогу работать.

— Послушай, Тася, так нельзя, — тихо говорю я ей; тихо, потому что рядом сотрудницы.

Она не смотрит на меня, сидит, опустив свою шторку.

— Тася, объясни, в чем дело?

— Я не понимаю, что тебе надо? — шепотом говорит она и смотрит мне в глаза.

— Давай выйдем.

— Зачем? Никуда я не пойду. Оставь меня в покое. — Когда она произносит эти слова, я вижу, как у нее вздрагивают ресницы, будто она боится.

— Хорошо. Оставляю в покое, — злюсь я. Тревоги в ее глазах еще больше. Но она сбрасывает шторку, и я вижу только склоненную голову.

Что с нею? Ничего не понимаю.

— Дятел умирает от сотрясения мозга! — Соснин сидит один в углу палатки и хохочет. — Это я придумал. Го-го-го-го-го!

— Вы бы лучше составили план переброски лагеря,— говорит ему Мозгалевский.— Послезавтра переезд. Кстати, где ваши олени?

— Будут, как только замерзнет река. Тогда оленями, а сейчас на батах.

31 октября

...Гуськом потянулись люди. Впереди Мозгалевский, позади Коля Николаевич и Тася. В середине Ирина, Шуренка, вольнонаемные рабочие, заключенные. День солнечный. Горят голубым огнем на реке льдины. Воздух чист. Деревья недвижимо стоят, врезываясь черными ветвями в голубое небо. Идти легко. Всем весело, но Ирина почему-то задумчива. Мне бы подойти, спросить, но я не знаю, как это сделать. Тася что-то весело говорит Коле Николаевичу. И странно, ее веселая болтовня меня меньше волнует, чем задумчивость Ирины.

— Что с тобой, о чем ты думаешь? — заглядывая на нее сбоку, спрашиваю я. И — вот чудо — она отвечает мне:

— О хорошем. Что приходит к человеку только один раз.

— Что это такое редкое?

— Об этом говорить нельзя. Можно только думать, мечтать.

— Ты влюбилась? — быстро спросил я, по какому-то наитию догадываясь, что она именно влюбилась.

— Наверно, влюбилась.

— В кого?

Она молчит.

— В Колю Николаевича?

— Глупости.

— В Соснина?

Ирина смеется.

— В меня? — как бы шутя спрашиваю я и чувствую, как сердце замирает в груди.

— Ну что ты! — И это сказано так, что не верить нельзя.

— В кого же тогда?

— Конечно, если не в тебя, то больше и не в кого, — смеется Ирина. — Между прочим, смотри, как бы Коля Николаевич не отнял у тебя Тасю. Жалеть будешь.

— Почему я должен жалеть?

— Потому что это твоя судьба.

— Вот теперь ты глупости говоришь. Так в кого же ты влюблена? — И тут у меня мелькает догадка: неужели в кого-либо из рабочих? Да нет! А, все ясно! — Ты просто дурачишь меня. Ни в кого ты не влюблена.

Но вот и первая кривая. Тут надо поставить угловой столб, кроме того — установить оси пути. Со мной остается Перваков. Мимо проходят рабочие, проходят Шуренка с Яковом, нагру-

женные каким-то барахлом, Афонька, молодежато шагающий с высоко поднятой головой. Вот прошла и Тася. Я отвернулся от нее, когда она со мной поравнялась.

— Петровиц, выбирай подлиннее ствол, чтобы издали было видно,— говорю я Первакову. И тут же чувствую, как кто-то грубо дергает меня за руку. Это Тася. Она бледна. Глаза у нее злые, полные слез.

— Я никогда не думала, что ты такой нехороший,— говорит она.

— Чем же я нехороший? — ничего не понимая, говорю я.

— Всем! Ты хочешь, чтобы только за тобой ухаживали, чтобы к тебе были внимательны. Какая я дура, что полюбила тебя... Ну что ты на меня так смотришь? Иди сюда.— Она оттащила меня в сторону, чтобы никто нас не смог видеть.— Ты любишь меня? Ты же целовал — значит, любишь? Или ты так только?

Все это до того неожиданно, с таким натиском, что я не знаю, что и отвечать.

— Ну поцелуй меня, если любишь...

И я целую. Она закрывает глаза, губы ее становятся мягкими, рука крепко, до боли сжимает мне шею.

— Вот теперь я верю, что ты меня любишь,— тихо говорит она и бежит догонять ушедших. А я остаюсь ошарашенный всем, что произошло, понимая только одно: отношения с Тасей еще больше осложнились, и не испытываю в сердце ни радости, ни торжества. «Нет, такой ведь любви не бывает,— встревоженно думаю я.— Не бывает. Если человек любит, то он должен быть счастлив. Почему же вместо радости — чувство неловкости и тревоги?»

— Алексей Павлович! — зовет меня Перваков, и я иду к нему. Ставим столб, я пишу на гладкой затеске все нужные данные, и мы уходим вперед.

Канго позади, Соха позади, но еще километра на три тянется косогор, и вот уже светлеет слева от нас: похоже, горы расступились. Идем к Элгуни. Путь сплошь в завалах. Иные костры до десяти метров высотой, длиною метров на сто. Кроме того, все это поросло молодняком, переплелось, перепуталось. Попробуй продерись! Идем долго, то прорубаясь, то перелезая через нагромождения деревьев. Но вот и следы. Их много. Человечьи следы. Никаких сомнений быть не может. Только наши. Идем по следам, на сердце становится веселее. Теперь уж мы не разойдемся со своими и наверняка заночуем в лагере. Следы ведут нас к извилистой заледеневшей речонке. Они подводят к переброшенному громадному стволу — мосту, и мы на другом берегу. Следы уходят в лес. В лесу тихо, мертво. Под ногами пыльным ковром стелется зеленый мох. На нем трудно различить следы. А тут еще начинает смеркаться. Какие-то дымчатые птички взлетают из-под ног и бесшумно исчезают в глуши. Снова мы выхо-

дим на Элгунь. И какое дивное зрелище предстает перед нами! Впереди — гряда снеговых вершин, по левую сторону от них — розовое небо, постепенно переходящее в синий, ледяной цвет, по правую — небо светло-желтое, сливающимся в выси с темно-розовым. Сказочный мир...

Берег обрывается, но вдоль него тянутся забереги, и мы быстро идем по льду. Лед хрустит, потрескивает. Снова появились следы. Они тянутся вдоль подножия скал. Выводят к протоке. Темнеет.

— О-го-го! — кричу я.

— О-но-но! — раздалось поблизости, и вскоре мы увидели костры и палатки.

— Чего ты кричишь? — услышал я голос Ирины.

— Я думал, далеко еще...

— Алеша! — ко мне подбежала Тася. — Ты устал?

— Ну да... Чего уставать?

— А я тебя так ждала, так ждала... Все время думала о тебе... А ты? Ты думал обо мне?

Мне бы надо ей сказать, что все это зря. Что я не люблю ее. Вернее, не то что не люблю, а не надо мне этого. Но не могу сказать, видя ее радость, видя, как она весело смотрит на меня.

— Идем, идем, — говорит она, — ты, наверно, есть хочешь? У нас сегодня хороший ужин. Рабочие наглушили деревянными молотами рыбы из-под льда. А Коля Николаевич убил зайца.

Все верно: и рыбы много, и заяц есть — но я как связанный, я не знаю, что мне делать, как жить дальше. И зачем я поцеловал ее тогда?

Рано утром Ирина с Цибулей и Савелием Погоняйло переправились через реку на ту сторону, чтобы обследовать карьеры. Никто не знал, что они там. Поэтому и отпустили эвенков с багом. Мы пробыли день на трассе, вернулись и только сели ужинать, как с косогора донеслись крики.

Кричала Ирина:

— Дайте бат!

— Нет бата, — разводил руками Соснин. — Эвенки уехали!

Ирина что-то сказала рабочим и пошла вверх по реке. Неподалеку от нас через всю Элгунь лежит пережат. Глубина как и на большинстве пережатов, не более полуметра, но течение сильное, свирепое. Лишь Ирина могла решиться перейти Элгунь в такое время, когда уже забереги, когда вода холодна как лед. Она вошла в воду и, балансируя руками, двинулась к нашему берегу. За нею пошел Савелий. Цибуля долго стоял, но, увидев, что Ирина дошла уже до середины, решительно ступил в воду. Этот здоровый украинец — хороший парень, но, вроде Баженова, не терпит воды. Жил он в степи и никогда не видел ни рек, ни

озер. Гляжу на него и вижу — он очень боится, ступает осторожно, нащупывает палкой дно, прежде чем шагнуть. Ирина зашла на середину, теперь течение еще сильней. Оно сбilo ее с ног. Ирина поднялась, идет, падает. Поднимается, опять идет. Мы все стоим на берегу, смотрим, переживаем и ничем не можем помочь. Шуренка ахает каждый раз, когда падает Ирина. Савелий поотстал от нее. Догадался, что Ирина ищет лучший брод. С большим трудом она добирается до нашего берега, оглядывается и идет обратно. Идет к Цибуле, который никак не может решиться и стоит на месте, беспомощно озираясь вокруг. Она берет конец его палки и ведет Цибулю, как слепого. Он послушно бредет за ней.

— Только Ирина способна на подобное, — говорит Мозгалевский и удовлетворенно покручивает усы.

Я уже не раз замечал за ним способность восхищаться смелостью, мужеством, выносливостью.

Но снова течение сбilo ее. Шуренка ахнула. Я кинулся в воду. Она обожгла меня холодом. Ноги сразу заоченели, зашлось дыхание. Но это только в первые секунды. Разбрасывая воду направо и налево, я прорывался к середине.

— Не надо, Алеша! Мы дойдем! — крикнула Ирина.

Я провалился в яму, поплыл. Течение уносило меня.

— Не надо! — кричит уже встревоженная Ирина.

К счастью, скоро подвернулась отмель. Я встал, добрался по ней до Ирины, и мы уже вместе, держа оробевшего Цибулю за руки, дошли до берега.

— Ха-ха-ха-ха, — смеется Ирина. — Ух и здорово! Но не оставаться же на том берегу Цибуле. Верно?

— Верно, верно, Иринушка, только скорее переодевайся, — заботливо говорит Мозгалевский.

— Я-то переоденусь. А вот как ребятам? У них и сменки нет.

Мы собираем кто что: я дал рубаху, Коля Николаевич — штаны, Соснин — телогрейку, Мозгалевский — пару белья. Помогли и рабочие.

3 ноября

Зимнее утро. Небо синее-синее. На деревьях иней. Морозный воздух бодрит. Хорошо!

Идем по замерзшей протоке. Лед чистый, гладкий. Словно ребятки — разбежимся что есть силы и скользим по льду долго-долго. Тася смеется, хватая меня за рукав:

— Прокати! Прокати!

Я тасу ее и вместе с ней мчусь по льду.

— Я люблю Ирину, но мне лучше, когда ее нет, — говорит Тася. — Хорошо, что она ушла к Костомарову.

Да, Ирина сегодня утром ушла, взяв с собой Савелия и Цибулю. Она была как-то неестественно оживлена, собираясь в этот путь. Много смеялась, ни с того ни с сего подарила Шуренке шерстяной свитер.

— Пожелай мне счастья,— попросила она Тасю.

— От всего сердца, много-много тебе счастья,— охотно пообещала Тася.

— До свидания, Ирина,— сказал я.

— Прощай, Алеша,— ответила она.

— Почему «прощай»?

— Да так... Прощай.

И ушла, оставив, как всегда, у меня на сердце грусть. Тася, наверно, это заметила, потому и сказала: «Хорошо, что она ушла к Костомарову».

Мы идем болотом. Куда ни посмотри, всюду красно. Это брусника. «Наверно, на такие места и ходит медведь»,— вспоминаю я рассказы старого лоцмана про охоту на пеньках. Сядешь ли, упадешь ли, споткнувшись,— на одежде остаются ярко-красные пятна. А как она вкусна! Особенно утром. Мороженая, крепкая, слегка похрустывающая на зубах. Она сладкая. Ешь, будто варенье.

— Алеша, иди сюда! — зовет меня Тася; я иду, и из-под ног у меня взлетают рябчики. Один, другой, еще, еще... Они садятся тут же и, задорно взъерошив хохолок, оглядываются. Какая досада, что я не взял ружье.

— Ладно, Алеша, оставь их... ешь бруснику.

И мы едим бруснику. Тася быстро набирает полную горсть и дает мне. Она хочет, чтобы я непременно съел ее бруснику.

— Но у меня же есть... вон сколько ее,— говорю я.

— А я хочу, чтобы ты моей попробовал. У меня вкуснее, смотри, какая крупная. Ну ешь.— И она высыпает мне в рот целую пригоршню ягод. Смеющимися, лукавыми глазами с любопытством смотрит на меня. И целует.

Я хочу ее обнять, но она ускользает. И смотрит уже серьезно, даже встревоженно:

— Не надо, Алеша. Я и так себе много позволяю, ты можешь обо мне плохо подумать.

— Ну что ж, значит, не надо,— говорю я.— Пошли догонять наших. Они уже, наверно, далеко...

Мы идем быстро и минута в минуту поспеваем к началу работы.

— А я уж решил, ты заблудился,— говорит Коля Николаевич,— потом гляжу — и Калининой нет. Ну, думаю, гуд бай, как говорят французы; если заблудился, так с тоски не помрет.

— Ладно, ладно, мели, Емеля,— говорю я,— все на свой аршин меряешь...

— А чего, вру, что ли? — смеется он. — Ну, хватит шуток, работать надо.

По тому берегу Элгуни, в трех местах — у самой воды, посредине косогора и по вершине — идут с рейками рабочие. Коля Николаевич быстро берет отсчеты, машет рукой, и они переходят на другое место. Я записываю вертикальные, горизонтальные углы и расстояния. Работа идет быстро. Но еще быстрее темнеет. Обратно идем, когда солнце уже давно опустилось за сопки, когда и заря уже успела погаснуть и подернулась синим пеплом.

Совсем стемнело, когда стали подходить к лагерю, и получилось как-то так, что мы отошли немного в сторону и натолкнулись на незамерзшую протоку. Она была неглубока, и, будь на ногах сапоги, можно было бы перейти, но и у Мозгалевского и у меня — валенки.

— Отец, давайте я вас перенесу, — подошел к Мозгалевскому Юрок. — Садитесь, не бойтесь. — И подставил спину.

Мозгалевский удивленно пошевелил усами и взобрался. Юрок перенес его, потом меня. Вот тебе и Юрок!

Всю ночь валил густой снег. На ветвях белые шапки, протоки затерялись, лес изменился. Вчерашней тропы нет, и приходится заново прокладывать путь. Чуть тронешь дерево, коснешься ветки, и на голову осыпается целая снежная гора. Валежника под снегом не видно. И все чаще мы спотыкаемся, падаем, растопырив руки, с одной мыслью: только бы не выколоть глаза. Снег набивается в карманы, в рукавицы, в рукава. Вся одежда уже мокрая, от нее валит пар, а самому холодно. По спине бегут мурашки. Идем долго. И наконец-то выходим на магистраль. В каком виде мы туда явились, — замерзшие, усталые. Но что удивительно, никто не поет, не ругается. Можно подумать, что остались теперь самые выносливые и сильные. А снег все сыплет и сыплет. Все гуще и гуще. На небе ни одного просвета, все затянуто серым. И куда ни посмотри, всюду серое, непробиваемое серое, и только лес почему-то синий. Плохо спорится работа в такую погоду, видимость скверная, снег в объективе мельтешит, заслоняет на рейке деления.

— Качай рейку! — кричит Коля Николаевич.

— Качай рейку! — кричу я.

Рабочий качает, и Коля Николаевич с трудом берет отсчет. Кое-как прошли пятьсот метров. Мозгалевский и того меньше.

— Домой, — сердито сказал он. — Чертова погода! Только ведьму хоронить в такую погоду.

Нерадостно было и возвращаться. Усталые, пошли опять месить снег, падать, подставлять головы под снежные осыпи. Как уже не раз случалось у нас, при возвращении партия разбилась на два отряда. Один отряд вел Мозгалевский, другой — Коля Николаевич. Коля Николаевич, порой рискуя, вел напрямик. Мозгалевский шел старым путем, наверняка, но медленно. Я дви-

нулся за Колей Николаевичем. Он шагал быстро, и мы еле поспевали за ним. Утренних следов не было видно, и Коля Николаевич шагал напрямую к лагерю, не видя ни неба, ни сопки, ни каких-либо ориентиров. Пройдя с полчаса, остановились на бровке надпойменной террасы перекурить. Покурили и пошли вниз. А через полчаса оказались опять на этой же террасе и удивленно смотрели на свои окурки.

— В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам, — смущенно сказал Коля Николаевич.

Я не раз слышал о том, что люди кружат, но как-то не придавал этому значения, больше того — не верил, а теперь вот убедился. Действительно, как могло получиться, что мы пришли к тому же месту, откуда вышли?

Прислушались: не шумит ли Элгунь? Но нет, только чуть слышен шорох падающего снега.

Спустились опять вниз, резко свернули от «бесовой» тропы и пошли, как полагал Коля Николаевич, к Элгуню. Шли медленно. Ноги отяжелели. Подошли к какому-то ручью. В одном месте он был затянут ледком и запорошен. Надо переходить, но выдержит ли? Первым пошел Коля Николаевич. Лед осел, треснул, но выдержал. За ним пошел я. Вернее, не пошел, а пополз. Лед оседал под руками, под коленями, тогда я дожился всем телом, отползал в сторону, к твердому, и продвигался дальше. За мной пошел с обычной самоуверенностью Резанчик. Но только он сделал несколько шагов, как провалился по поясу. Заметался, схватил поданную ему палку и, весь дрожа, вылез на берег. С одежды стекала вода, но сушиться было некогда. Остальные рабочие перешли в другом месте, и мы двинулись дальше. Уже темнело, а мы все шли. Куда? И сами не знали. И вдруг перед нами стало вырисовываться что-то большое, темное. Через несколько шагов поняли — сопка. Мы опять пришли туда, откуда начали путь. Да что же это такое?

— Вот, не надо отдельно, вот, — со злобой проговорил Бландюк, — надо идти вместе, да, да, хотя, нет, нет, надо ходить с Мозгалевским. Да, да...

Ну что толку слушать сетования да брюзжание! Пошли опять. И натолкнулись на какие-то следы. Что за следы, мы не знали, но они уводили от сопки. Все дальше, дальше. Вскоре мы вышли к знакомому протоку. Но какая смертельная усталость! Лечь бы на снег и спать, спать. Но мы знали: стоит присесть, как уже будет не подняться. Только идти, не задерживаясь ни на минуту. На небе зажигались звезды. Ударил мороз. А мы все шли и шли. Одежда смерзлась, шуршала при каждом шаге. Еле приплелись к лагерю. До трех ночи сушили одежду.

...Мы стоим у зимовки. Откуда-то прилетела кукушка, опустилась на размашистую ветвь лиственницы, осыпала снег и, вертляво двигаясь, перескочила на другую ветку. Красивая птица.

То вспыхнут ярко-зеленые перья крыльев, то оранжевым огнем загорится голова, то белым пламенем озарится хвост. Кукша не замечает нас. Скачет с ветки на ветку, осыпает снег. Она уже рядом с нами. У нее черные, живые, выпуклые глаза. Она смотрит на нас. Мы на нее. Так продолжается несколько секунд. Потом кукша испуганно вскрикивает и летит в чашобу.

Тетрадь двадцать вторая

— Какая интересная птица,— говорю я, но Тася не слушает, о чем-то задумалась.

— Что с тобой?

Она слабо улыбнулась:

— Вот скажи мне, почему ты разный? То мне кажется, что ты меня совсем не любишь, то верю — любишь... Или это не так?

Я смотрю на ее осунувшееся лицо, на узкие плечи, и мне становится ее жаль. Но отвечать трудно. Что я могу сказать? Мне не хочется ни убеждать ее в чем-то, ни отговаривать. Она права, временами я с радостью думаю о ней, бывает и так, что ее близость тяготит. Что это такое, я сам не знаю. Бывает так, что я не вижу ее весь день и не вспомню, и чувствую, что я легко мог бы ее забыть, но случается и так, что, как только увижу ее, сердце начинает гулко стучать, и тогда я рад, что она рядом.

— Ну что же ты молчишь?

— А зачем говорить? Мне и так хорошо...

— Это правда? — и радостно и с сомнением спрашивает Тася.

— Почему ты не веришь?

— Потому что я никогда не любила. А теперь люблю, но не знаю, любишь ли ты. Мне хочется, чтобы ты все время, каждый раз, как встретимся, говорил, что любишь меня. Ну, скажи, любишь меня?

— Да.

— Нет, ты скажи: люблю.

— Люблю.

— Ты говоришь как сквозь сон.— Она долго смотрит мне в глаза, словно что-то ищет там.— Ничего я не понимаю,— с печальным вздохом говорит она.— Но ведь ты любишь меня?

К нам бежит Соснин, трясет какой-то бумагой и кричит:

— Тревога!

— Что случилось?

— Письмо от Костомарова. Лавров болен. Исполняющим обязанности начальника экспедиции назначен Градов. Костомаров предлагает нам идти вверх, до Иберги, там зимовка и тонна картофеля,— на ходу отвечает Соснин и вбегает в палатку.

Остальное я узнаю в палатке.

«Весь инвентарь, личные вещи оставить на месте, составить опись.

К. Костомаров».

И больше ни слова.

Мозгалеvский сидит опустив голову. В палатке тишина. До Иберги больше двадцати километров.

10 ноября

Я оставил все, кроме кошмы и рюкзака, в нем смена белья и дневники. Соснин роздал каждому по горсти соли. Уже стали выходить, когда выяснилось, что никто не хочет взять печку. Мне живо представилось, как мы придем в Иберги, в зимовку. В ней холодно, а обогреться будет негде, — костер посреди землянки не разведешь, а печки нет.

— Отбери получше, — сказал я Соснину. — Я понесу.

— Это несерьезно, — говорит Мозгалеvский. — Вам не дотащить. Вы и так слишком много набрали.

— Дотащу.

— Алеша, тебе будет тяжело, — говорит Тася.

— Зачем вы мешаете человеку проявлять гражданское мужество? — важно сказал Коля Николаевич.

— Трепач, — говорю я.

— Это увидим через три часа, — отвечает Коля Николаевич. — Будет точно известно, кто из нас трепач.

Я ничего не отвечаю ему; взваливаю весь груз на себя. Спину оттягивает рюкзак, грудь теснят кошма и печь. Но делать нечего. Надо идти.

Первый рейс уже закончили. Бат перевез рабочих на другой берег. Теперь наш черед. Погрузились.

— Как хорошо, что мы вместе, — сказала Тася, когда бат отошел от берега и, слегка покачиваясь, поплыл к середине.

Полдень. Солнце ярко, не по-осеннему светит с неба, еще ярче горят снега, еще ярче голубеет вода. С тихим шорохом постукивают льдины о борта. Тася отводит их палкой. Я смотрю на этот пустой край, с дикогорьем, с суровой рекой, которую никак не могут схватить морозы, смотрю на леса, и меня охватывает чувство радости.

Я думаю о том, что вот мы, горсточка людей, заброшенных в этот глухой край, несмотря ни на что, делаем свое дело. Несмотря на лишения, голод, холод, неустроенность, мы все же выполняем то, за чем нас послали сюда. И сознание этого наполняет меня гордостью, и я начинаю понимать смысл человеческой жизни.

Но вот и берег. Мы пристаем к прозрачной кромке льда. Осторожно, чтобы не провалиться, выходим. Перваков вытаскивает

бат на лед. Все! Мы бросаем прощальный взгляд на палатки, белеющие на том берегу. Вернемся ли? Я четко вижу оставленные в тайге, на просеке, теодолит, нивелир, вешки, рейки, занесенную снегом ленту, раскоряченную, как бы собирающуюся одним прыжком покрыть все расстояние до нас, треногу — и мне становится невыразимо тяжело.

— Яша, брось ты их, — слышу я голос Шуренки.

Яков нагружен барахлом сверх головы. Он жаден и не хочет ни с чем расставаться. Ему тяжело, но он не бросит ни одной тряпки. Идет, его мотаает из стороны в сторону. Но он идет. Нагружена сверх сил и Шуренка. Она плетется позади Якова. К ней подошел Афонька и молча снял с ее спины увесистый тюк. Она благодарно посмотрела на него и пошла с ним рядом.

Заберегами идти легко, особенно если лед шероховатый. Ногам простор, и даже груз кажется не таким уж тяжелым. В печку засунуты трубы, они лязгают, грохочут. Но это и хорошо, — походная музыка.

Мы растянулись в длинную цепь. Каждый занят собой, каждый думает только о том, чтобы хватило у него сил. Мне становится жарко. Я снял кепку, снял рукавицы, но все равно пот льет со лба и висков, течет по щекам и стынет на шее.

— Ну зачем ты взял печь? — говорит Тася. — Что тебе, больше всех надо?

Я не отвечаю. И не потому, что мне больше всех надо или я лучше всех, нет, но уж коли взял, так надо нести.

Прошли немного, с километр, а плечи уже ноют. Хочется бросить груз, сесть и ни о чем не думать. В висках стучит. И ничто уже не радует: ни солнце, ни легкий воздух, ни шероховатый лед. В голове только одно: «Идти, надо идти». И я иду. Взгляд устремлен вниз, я вижу мелькающие носки валенок и бесконечную сероватую полосу льда.

Лед потрескивает под ногами, гукает. Далеко бежит трещина, рассыпая, словно горох, сухие звуки. Во рту сухо, из горла вырываются хрипящие свисты. Рядом вода. Но пить нельзя. Еще больше захочешь пить и весь взмокнешь.

Наконец-то отдых. Вещи разбросаны, люди лежат на льду, раскинув руки и ноги. Тася бросает рюкзак и падает. Мозгалеvский совсем измучен, он даже постарел, стал черненький, маленький. Кожаная куртка бесформенно висит на нем. Тишина. Молчание. Но вот уже кто-то закурил, кто-то сказал первое слово, кто-то подошел к воде, — и снова жизнь. У Якова тюк стал значительно меньше. Оказывается, он все же выбросил часть барахла.

— А ты чё помогаешь ей? — подозрительно глядя на Афоньку, говорит Яков. — Чё тебе от нее надо?

— А ничего. Жалко бабу, и все, — кося глазом, усмехается Афонька.

— Твоя, что ль, чтоб жалеть?

— А это важности не имеет, и отвяжись, пустая жизнь.

— Тяжело мне, Яша,— говорит Шуренка, доставая из сумки лепешки.

— Не сломишься,— сухо отвечает ей Яков.

— А вдруг сломится,— тихо посмеиваясь, сказал Резанчик,— у курносых баб характер беспокойный.

— Ну-ну, ты молчи-ка. Не твоего ума дело,— одернул его Яков.— Коль угодил в лагерь, так у тебя и учиться нечему.

— Дурак, только у таких, как я, и учиться. Верно, Юрок?

— Чему учиться? Воровству? — все больше раздражается Яков.— Да было б в моей власти, выгнал бы я вас всех отседова. Глаза не смотрят...

— А ну, хватит,— сурово сказал Резанчик.— С тобой шутят, а ты чего. Смотри, как бы глаза не выколол, тогда и смотреть не надо будет.

— Тише, успокойтесь. Не хватало ещё, чтоб вы тут разодрались,— сказал Мозгалевский.— Идем-ка, дело верней будет.

И мы идем дальше. На заберегах следы. Их много. Вот заячий путаный, вот сохатого; видно, шел пить, да, чего-то испугавшись, бросился в сторону. А вот и причина испуга — собачий след. Хотя откуда же может быть собачий? Это волчий. И не один тут был волк, а несколько.

Чем дальше идешь, тем больше втягиваешься, и уже нет боли в пояснице и ломоты в плечах, только остается тупое ощущение чего-то гнетущего в шее. И неволью приходит мысль: как все же быстро ко всему привыкает человек.

Забереги все шире. Лед становится прозрачнее, сквозь него видно дно Элгуни. На перекатах вода с силой швыряет шугу под лед, и видно, как лед подо льдом стремительно проносится вниз. Но забереги все уже, уже и пропадают. Приходится идти берегом. А берег в снегу. Под снегом камни. Ноги скользят, спотыкаются, и все чаще падают люди. Подыматься тяжело, но надо, и мы, качаясь, идем дальше. К счастью, берег отходит, надвигаются скалы и забереги. Лед чистый, гладкий, и теперь уже печь у меня не мучительный груз, а транспорт. На ней лежат кошма, полушубок, рюкзак. К дверце привязан ремень, и я чуть ли не бегом несусь по льду. Грудь свободно, во всю ширь, вдыхает морозный воздух.

— Олег Александрович,— кричу я,— давайте ваш тюк!

— Неужели? — радостно говорит он.

Я кладу его тюк поверх полушубка.

— Тася, давай рюкзак!

— Ой, Алеша...— И ее рюкзак ложится рядом с вещами Мозгалевского. Я все это везу, и мне хоть бы что. Они еле успевают за мной.

— Я доволен вами! — кричит мне в спину Мозгалевский.

— Как ты ловко придумал! — говорит Тася, догоняя меня.

А между тем уже вечереет. Снег становится синим, а небо — розовым. Подошли к протоку. Он шириною метров двадцать пять. Обходить его? Но куда он ведет? А что, если перейти вброд? На вид неглубок; правда, течение быстрое... К нам подошли Резанчик и Юрок.

— Пошли напрямую, — сказал Резанчик.

— Я тоже так думаю, — ответил я и посмотрел на Тасю.

— Я перейду, — спокойно ответила она.

Я подошел к протоку и стал раздеваться. Снял полушубок, валенки, ватные брюки, привязал их к рюкзаку. Остался в трусах. И вступил в воду, держа вещи высоко над головой.

Вода сковала ноги. Донная галька заскользила, и я чуть не упал. Колени остро занули и тут же онемели от холода. Почему-то на глаза набежали слезы, и все покрылось мутной пеленой. Почти не видя другого берега протока, я перешел быструю воду и вылез на лед. От тела густо валил пар, будто я вышел из бани.

— Ну как? — крикнула Тася.

— Все в порядке, — ответил я.

Она хотела было пойти, но ее опередил Резанчик. Он разделся догола и быстро пересек проток. Тася в это время стояла к нему спиной.

— Эх, ты бы знал, какая вода холодная! — вылезая на берег, воскликнул Резанчик.

— Что ты говоришь? А я и не знал, — засмеялся я.

Следом за ним перешел Юрок.

— Отвернитесь, — попросила Тася. — Не смотрите.

— Никто и не смотрит, — ответил Резанчик, даже и не думая отворачиваться, с улыбкой глядя на входящую в воду Тасю.

— А ну, отвернись! — сказал я. Но он будто меня и не слышал. — Я кому говорю? — Но он даже и бровью не повел. — Слышишь, ты! — Я дернул его за руку. — А ну, отвернись!

— А чего тебе, жалко, что ли? — криво усмехнулся он. — Сам должен понимать, как тяжело без бабы...

— Ну, эта баба не про тебя.

Пока мы говорили, Тася перешла проток и вылезла на лед чуть в стороне от нас.

Мы не стали ждать, пока придут остальные, и двинулись вперед. Сумерки густели. Солнце скрылось, и по небу поплыл месяц. Все посинело, и от этого стало еще холодней. Далеко впереди виднелись белые шапки Иберги.

Тетрадь двадцать третья

Тяжело идти в темноте, когда всюду валежины, заросли, завалы. Наткнулись на какой-то ручей, стали месить в нем снег и воду. Кое-как выбрались. Резанчик все проклинал и ругался. Да

и трудно удержаться от ругани. Пройдешь несколько шагов, споткнешься и летишь врасстяжку. Только поднимешься, и глядь, уже снова летишь. Но молодец Тася. Я и не думал, что она так вынослива.

— Устала? — спрашиваю ее.

— Когда ты рядом, легко...

Остановились мы у завала, — готовые дрова. Одна-две минуты, и появляется слабенькое пламя. И вот оно уже сильнее. Разгорается, жадно охватывает весь сушняк и вздымает к небу красный султан огня. Его увидят наши. Может быть, придут. Подтянутся... От одежды валит пар. Тянет в сон.

— Нет, нет, — говорю я, — сначала есть, потом спать. Доставайте юколу.

И каждый достает свою рыбину, насаживает ее на палку и сует в огонь.

Юкола трещит, жарится. Она дьявольски соленая, объедает губы, небо, горло; но все равно хороша!

Съедена юкола, и теперь начинается мұка. Пить! Скорее пить. Мы кипятим в мисках воду, пьем прямо из Элгуни, глотаем снег. Все внутри нас пылает, как в костре. Теперь уже огонь захватил весь завал. Пламя гудит. Жара... Я выпил мисок десять, но пить хочется еще больше. Нет, не напиться. Я плюнул и стал укладываться спать. Затопил печку. Лег между костром и временкой. Тепло. Тася устроилась на оленьей шкуре. Только шкуру да одеяло она и взяла. И не прогадала.

Проснулся среди ночи, и не от холода. Пить захотел. Проклятая милая юкола. Снежная коса в синем свете. На чистом небе белая луна и неустанно мерцающие звезды. У костра сидит Юрок. Я попросил воды, и он протянул мне миску крутого кипятку. Я бросил туда снег и стал пить.

— Чего не спишь? — спросил я его.

— Думаю.

— О чем?

— Да вот думаю: чего я сижу тут? Взять бы да уйти. Никто не держит. Когда еще сообщили бы о побеге. А не бегу, вот и думаю: чего же такое?

Проснулась Тася и озябшим голосом попросила валенки. Они сушились. Я пошел на Элгунь за водой, и, когда вернулся, она уже сидела у костра и куталась в одеяло.

— Озябла?

— Немного... Где же наши? Отстали..

Я стал ей греть воду, а Юрок пошел спать на ее место.

— Интересно, чем все у нас кончится, — в раздумье говорит Тася.

— Я думаю, все наладится...

— А уверенности нет?

— Слишком много было срывов, чтобы не сомневаться.

— Это что, ты имеешь в виду тот случай?

— Какой случай?

— Когда я на тебя рассердилась?

— При чем здесь ты?

— Как при чем? — удивленно посмотрела на меня Тася. — Ты о чем говоришь?

— Об изысканиях... о снабжении.

Тася негромко засмеялась.

— Господи, я говорила о нас с тобой... Странно, но я почему-то не могу представить себя твоей женой, — сказала она и, как мне показалось, пытливо посмотрела на меня.

Я положил в костер хворосту. Пламя взвилось вверх и ярко осветило ее лицо. Да, она пристально глядела на меня. Ждала ответа. Но я совсем не думал о женитьбе, да и рано мне обзаводиться семьей.

— У меня такое ощущение, что ты всегда где-то далеко от меня. Почему это? — спросила Тася и, не дождавшись ответа, продолжала: — Я глупая... Лезу к тебе со своей любовью, а ты обо мне и не думаешь. Ведь так?

На глазах ее блеснули слезы. И вдруг мне стало нестерпимо жаль ее. Вот рядом со мной хороший, милый человек, который любит меня, и он несчастлив — несчастлив только потому, что я равнодушен к нему. Эта мысль меня потрясла. В самом деле, что же такое творится? Почему один должен любить и быть обиженным, а другой, любимый, быть черствым к нему? Кто это придумал? Почему на любовь не отвечают любовью?

Я искоса посмотрел на Тасю. Она сидела опустив голову, по щеке у нее медленно текла красная от огня слеза. Закопченные маленькие руки что-то перебирали. Сколько было жалкого и беспомощного в ней! Я всегда знал, что жалость — чувство плохое. унижающее того, кого жалеют, и только сейчас понял, что это ложь. Жалеть надо! Жалеть — это прекрасно! Это значит не оставаться равнодушным и черствым, обнадёжить человека, прижать его к себе, если это ему нужно... А Тасе это было нужно. Каким счастьем осветилось ее лицо, когда она прижалась ко мне. Значит, жалость может родить счастье? Ах, как не правы все те, кто вычеркивал из жизни это человеческое, сердечное. Больше жалости, и тогда не будет так много суровой черствости.

— Тебе хорошо?

— Да... — тихо ответила она.

— Почему ты все сомневаешься? Это плохо, когда у человека нет уверенности. Надо верить. Верить всегда, даже если никто в тебя не верит, то и тогда надо верить, потому что это единственное, что может помочь тебе...

Я что-то еще говорю — и замечаю: Тася спит... Медленно проходит ночь. Я и сам дремлю, просыпаясь, подбрасываю в костер, снова засыпаю, и от этого кажется, что ночи нет конца.

Утром пошли дальше. Но вскоре натолкнулись на проток. Переходить вброд не хотелось, решили поискать переправы. Наверное, с километр прошли по берегу протока, и тут мне показалось, что он заворачивает назад. Я уже хотел было в любом месте перейти вброд, чтобы не терять пройденного, но вдруг услышал стук топора. Звуки раздавались впереди. Мы пошли на них, и вскоре на другом берегу увидели наших. Они сооружали переправу. Мозгалевский сидел на большом сваленном дереве и, махая руками, что-то объяснял рабочим. Увидя нас, он приветливо пошевелил рукой и крикнул:

— Переход делаем!

Я кивнул головой: дескать, понимаю.

— У нас Яков утонул! — закричал он опять.

— Утонул? — испуганно крикнул я.

Мозгалевский завертел головой и закричал что было силы:

— Чуть-чуть не утонул!..

Ну, слава богу... Через полчаса вся группа Мозгалевского перешла проток, и мы двинулись вперед. Как изменили людей прошедшие сутки! Все осунулись, почернели и как-то уменьшились. Опять потянулись цепочкой. Опять задрезжала печь. Опять затрещал лед.

Я иду и вспоминаю ночной разговор с Тасей. Она уже думает о замужестве, а я о женитьбе как-то совсем не думал, но теперь эта мысль не выходит из моей головы. И все чаще возникает вопрос: «А почему бы и не жениться?» Причем мне представляется не идиллическая картинка: я, жена, кудрявые, упитанные дети, — а другое: все новые и новые экспедиции, и мы в них всегда вдвоем, два верных друга. И нам хорошо. У меня есть близкий человек, который любит меня и которого я уважаю... Уважаю, а почему не люблю? А потому, что люблю Ирину. Я всегда буду ее любить. Но почему ее? Этого я не знаю. Люблю, и все! Но не так, как об этом говорят, как пишут. Моя любовь странная. Если бы мне пришлось решать, жениться на Ирине или нет, то я бы не женился. Ни за что не женился бы. Потому что жениться на любимой — это значит погубить любовь.

Я иду и все это перебираю в голове. Конечно, никакого твердого решения у меня нет. Я могу жениться, могу и оставаться холостым, и никто не заставит меня поступить против воли. Это так. Но вопрос существует, он произнесен, и поэтому я думаю, искося поглядывая на Тасю. Она идет рядом со мной. Сквозь смуглоту щек у нее пробивается румянец, из полуоткрытого рта вырывается легкий парок, глаза мечтательно прищурены. Наверно, она тоже о чем-то интересном для себя думает. Наверно, думает обо мне, о ночном разговоре...

Мозгалевский поставил перед всеми одну-единственную задачу: во что бы то ни стало дойти сегодня до зимовки. Чтобы я не вырывался вперед — все же Олег Александрович остался недо-

волен моим самоуправством, — иду в середине. И вдруг слышу впереди крики. Нельзя понять, радостные они или тревожные. Но кричат все, кричат разногласно, и я бегу на крик. Поскользнулся, упал. Печь больно ударила по затылку, но разве тут до боли. Бегу! А крики все громче, и вот уже слышно: «Ура-а-а!» Это вопит Соснин. «Наверно, пришли?» — думаю я и бегу еще быстрее. Огибаю выступ скалистого берега и вижу незабываемую картину. Соснин обеими руками высоко держит над своей головой какой-то мешок. Возле его ног лежит опрокинутый бат. Я подбежал, смотрю и ничего не понимаю.

— Го-го-го-го-го! Спокойно, спокойно. Всем хватит. Го-го-го-го-го!

— Что это? — спрашиваю я.

— Мука! Муку я нашел! Го-го-го-го-го!

— Это нам от Кирилла Владимировича, — растроганно говорит Мозгалевский. — Нам... от него...

— Почему от него? И таким способом? Это, наверно, мука охотников-эвенков. Ну кто нам пошлет полмешка? — говорит Коля Николаевич.

— Все равно, все равно... Хоть от черта! Но мука наша. Дальше не идем. Даешь лепешки! — решил Мозгалевский.

И все тут же стали устраиваться. Вот где пригодилась печь. Шуренка развела муку на воде, замесила, и скороспелки уже пекутся. В морозном воздухе волнами идет вкуснейший в мире запах подгорающего хлеба. По четыре больших белых лепешки каждому.

Проходит час, и мы идем дальше. Теперь уже не так страшно: мы сыты, в мешке еще на один раз хватит муки, а впереди картошка. День хорош! Ясен, легкий. Идем, перекидываемся словечками. Поглядываем на левый берег. Отвесные скалы. Им нет конца. Здесь будет проложена трасса.

То ли мы втянулись, то ли стали сильнее после лепешек, но идем ходко. Поглядываем по сторонам. Косогор стал снижаться, отходить от реки, и в небольшом распадке зачернела крыша зимовки. Ее мы увидели как-то все сразу — и не поверили. Но вот как бы из земли вылез человек, и тогда все дружно закричали:

— Зимовка! Пришли! Человек! — И побежали к ней.

Человек — Покотиллов. У него длинная черная борода и густые усы.

— Здравствуйте, здравствуйте, — медленно, вяловато говорит он. — Заходите.

Мы заходим. Темень... Глаза напрасно стараются что-нибудь отыскать и различить, и только позднее предметы начинают появляться, словно на фотобумаге. Сначала печь. Она стоит посреди землянки, на кольях, труба ее выведена вертикально, прямо в крышу. Вокруг печки расположены жердяные кровати. На одной

из них оборванный, в сожженном ватнике рабочий. Кто это? А, Ложкин. Потом из темноты вылезают углы. И последнее, что уже хорошо различают глаза,— черные земляные стены.

Мы начинаем располагаться. Над моей головой серое полотно.

— Зачем это? — спрашиваю я.

— Песок осыпается. Все на скорую руку делалось. Только закончили,— отвечает Покотиллов.

От него мы узнаем, что кроме картошки еще есть мешок белой муки, пуд мяса, мешок гречихи. А в десяти километрах отсюда, в Санья, пуд сахару, и еще мешок муки, и брусника.

— Чудненько! — ободрился Мозгалевский.

— Го-го-го-го-го! Живем!

— Да, чуть не забыл,— спохватился Покотиллов,— вот еще...— И он указывает на груды махорки и мешок папирос.

У всех вырывается вздох одобрения. А в землянку все входят и входят люди, усталые, замерзшие, исхудалые, но на всех лицах, точно снятие, светлые, радостные улыбки. Зимовка наполняется смехом, говором, кашлем. Перваков и Баженов сокрушили половину коек и устроили общие нары, поделив зимовку на две половины — одну для нас, другую для рабочих. Только что закончили это сооружение, как раздался крик: «Самолет!» Мы выбежали. Над Элгунью летел тяжелый самолет. Какой он большой! Какие у него громадные крылья! Никогда еще не было у меня такого чувства гордости за свою Родину, как в эту минуту. Он пролетел над нами и ушел в верховья реки. Но это уже нас не тревожило. Где-то там, может быть в Байгантае, он сбросит груз, а уж оттуда-то мы получим.

— Блюхеровский,— с гордостью говорит Мозгалевский.— Значит, наше дело государственной важности. Да.— И подкрутил усы, поглядывая на нас.

Вечером, когда уже о многом было переговорено, зашла речь и о загадочном мешке муки. Оказывается, его послал нам Покотиллов. Эвенк должен был прибыть к нам на бате, но помешала шуга. Он вытащил бат на берег, перевернул, положил под него муку и вернулся к Покотиллову.

— Моя ходи не могу,— сказал он.

— Но там люди. Они голодные.

— Моя ходи нет. Моя иди, моя помирай.

Ложились спать в тепле, сытые, добрые. Мясной суп с картофелем — это такая пища, после которой заваливаешься спать, как медведь в берлогу. Не было одеял, не было подушек, спали на рюкзаках, и как спали! Сгори всё — и мы бы сгорели!

Утром Покотиллов, забрав с собою Тасю — ее вызвала Ирина,— пошел в Байгантай к Костомарову. Мозгалевский дал команду рабочим построить вторую землянку.

Рабочие то и дело забегали к нам погреться. Холодно. Правда, и в нашей землянке не лето. Холодом несет от крыши. Мозгалевский весь день пробыл на стройке. Пришел жизнерадостный, сдергивает с усов лед, морщится и улыбается.

— Шура, чайку,— говорит он и стучит ногами.— Только, пожалуйста, завари свеженького, а то у тебя странная манера кипятить вчерашний...

На полу стоит ведро. От него подымается к потолку густой клочковатый пар. На нарах, то босые, то в сапогах, сидят рабочие. Громко глотая, пьют кипяток. Накурено до того, что дальние углы теряются в дыму.

Шуренка вносит еще ведро кипятку и сообщает о каком-то человеке на другом берегу. Отправляем Первокова и Резанчика. Через несколько минут они появляются с Васькой Киселевым.

— Здравсте! — говорит Васька и ставит у ног Мозгалевского карабин.

— Здравствуй. Послушай, а он не выстрелит? — опасливо косясь на карабин, спрашивает Олег Александрович.— Откуда он у тебя?

— Кирилл Владимирович у эвенков достал. Вы не трогайте, он и не выстрелит.— Васька говорит так, точно ему мало воздуха, будто он задыхается. На нем новая шапка с суконным верхом и меховой отделкой, на поясе патронташ с тускло блистающими патронами.— Я вот принес вам соли, булок и свечей: И письмо...

— Давай письмо.— Но прежде чем начать читать его, Мозгалевский спрашивает Ваську о новостях.

Шуренка подает Ваське миску супа, но он, как бы не замечая, продолжает рассказывать.

— Ешь,— говорит Шуренка.

— Поставь на стол, тут дело, а ты с пустяком,— важно говорит он и рассказывает о том, как ездил с Костомаровым в стойбище Ургу, как они оттуда прибыли с караваном оленей и привезли полторы тонны груза. Из его рассказа получается так, будто он в этом деле самый главный, но нам не до того, чтобы его одергивать. Пускай бахвалится, важно другое: теперь у нас есть еда — мука, сахар, соль, крупа. Но, оказывается, и это не все. Васька говорит о самолетах:— Мы с Кириллом Владимировичем уже вышли из Байгантая, подходим к участку работы, глядим — летит самолет. Кирилл Владимирович, конечно, послал меня узнать, чего такое. Я побег. Десять километров, не шутка. Прибежал туда. От Ирины узнал: сбросили нам продукты, обмундирование и деньги.

— Какие продукты? — спросил кто-то из рабочих.

— Консервы, масло, конфеты... — легко перечислил Васька.

— А одежда?

— Валенки, шапки, ватники, рукавицы, восемь полушубков, спальные мешки. Эх и бросали же здорово! Карамель будто кто молотом сбил. Только деньги да лампочки радисту бросили с парашютом...

Он все это говорит, а рабочие внимательно, точно покупают, осматривают его шапку. Это пока единственное вещественное доказательство. Они тянут материал, примеряют и аккуратно кладут шапку возле Васьки.

Мозгалевский разворачивает письмо, читает, и мы видим, как у него начинают вздрагивать усы и подыматься вверх. Это верный признак раздражения, даже негодования. Неужели все, что Васька говорил, неправда, а правда в этом письме?

— Да это не мне! Что вы принесли? — кричит он.

Я заглядываю через его плечо и узнаю Тасю почерк.

Тетрадь двадцать четвертая

— Это мне! Мне это письмо! — почему-то волнуясь, говорю я.

— Ну и возьмите...

Я беру и читаю:

«Алешенька, ради бога, сохрани беленький узелок, в котором лежат мои геологические документы. Я думаю, ты это сделаешь для меня. Иду в Байгантай — так распорядилась Ирина. Надо обследовать начало участка. Только что повстречала Кирилла Владимировича с Киселевым. Алеша, я за тебя рада, ты получил благодарность от штаба экспедиции за хорошую работу. Это я узнала от Кирилла Владимировича. Мозгалевскому и Коле Николаевичу тоже благодарность. Еще раз, Алеша, попрошу, сохрани документы. Привет всем. Целую тебя крепко-крепко.

Т а с я».

— Олег Александрович, вам, Коле Николаевичу и мне благодарность за хорошую работу, — сообщаю я взволнованно.

Мозгалевский смотрит на меня поверх очков, видимо не понимает, еще не дошла до него эта радостная весть.

— За хорошую работу благодарность нам, — повторяю я.

— За хо-ро-шую ра-бо-ту! — И он хохочет так, что очки у него падают с носа.

Я растерян, не знаю, что говорить. А он хохочет. Я уже злюсь. «Почему он насмехается? Нам было трудно, но мы делали свое дело, и за это нас отблагодарили. Почему же он не радуется?» А Мозгалевский уже не смеется, он широко разводит руки и неестественно горланым голосом кричит:

— Спа-си-бо! — Усы его топорщатся, глаза от натуги лезут из орбит, и сам он чуть не падает на спину.— Спа-си-бо! Дешево и сердито. Спа-си-бо! Благодарю.— Он обращается ко мне: — И поздравляю! Спа-си-бо! — И хохочет.

— Да! — спохватывается Васька.— Кирил Владимирович велел вам всем перебираться на Кондокай, это отсюда километров восемь будет.

— Зачем? — спросил Мозгалевский, утирая остывшие слезы на глазах.

— А это он вам сам скажет...

— Что же, неужели Градов оказался толковее Лаврова? — в раздумье сказал Коля Николаевич.— Не успел приступить к работе, как уже появились тяжелые самолеты, продукты, спеццовка.

— В конечном счете это не имеет значения,— ответил ему Мозгалевский,— но интересно, весьма интересно, как он теперь отнесется к скальному варианту. То, что он объявил нам всем благодарности...

— Не всем,— хмуро заметил Соснин.— Хозяйственники, видимо, тут не в счет, за людей не считаются.

— Но, голубчик,— не сразу ответил ему Мозгалевский,— я понимаю... но ведь речь шла... А вообще, действительно, почему вы не получили благодарности? Почему вам не сказали спасибо? Но не огорчайтесь, я это дело поправлю. Слушайте! — Голос Мозгалевского окреп.— От имени руководства третьей изыскательской комплексной партии объявляю заместителю начальника партии по административно-хозяйственной части товарищу Соснину Григорию Фомичу благодарность с занесением в личное дело!

— Это что, всерьез? — спросил Соснин.

— Конечно...

— Тогда благодарю вас и, со своей стороны, заверяю: не пожалею сил...— Он помолчал и гаркнул: — Служу Советскому Союзу!

16 ноября

Забрали свои манатки и двинулись гуртом в Кондокай. Мороз был крепковат, стягивал губы, прихватывал нос. Шли узкой тропой вдоль косогора, по заберегам. Вода убыла, и лед висел теперь над нею на полуметровой высоте. Потрескивал, но держал. В одном месте скала врезалась в реку, и нам пришлось ползком, прижимаясь к ней, пройти этот кусок. Рядом, в полшаге от нас, подскакивала вода. Только миновали это место, как натолкнулись на другое. У одного из утесов обвалился лед. Вода облизывала камни. Мы попробовали было взобраться на косогор, но попытка эта оказалась бесполезной. Пришлось вернуться на-

зад, переправиться на бате на другую сторону (и черт кого-то дернул убедить нас пойти по левому берегу!). Путь был обычный: с заберегов на косы, с кос на береги. Мне надоели эти переходы, и, чтобы поскорее отделаться, я пошел быстрее. Через час я подходил к зимовке. Увидел дым. Я знал — кроме Кирилла Владимировича, тут ничего не могло быть. С собой я могу быть откровенен. Мне нравится Костомаров. В нём есть та сила, которая заставляет человека подчиняться; не унизжая собственного достоинства. То, что он делает на трассе, — теперь мне уже совершенно ясно, — это талантливая, ответственная работа. Не случайно Мозгалеvский несколько раз высказывал свои опасения насчет Градова. Градову могут творческие решения Костомарова не понравиться. Они необычны. А я уже замечал: то, что необычно, всегда встречается настороженно.

Я подошел к землянке и удивился — дым валил из входа. Нет, тут, конечно, не могло быть Костомарова. Заглянул внутрь.

— Алешенька!

У маленького костра, присев на корточки, сидела Тася.

— Откуда ты? — спросил я ее.

— С Байгантая. Я не могу без тебя. Я очень скучаю. На... — И Тася протянула мне пачку папирос «Казбек».

— Откуда это у тебя?

— С Байгантая... На! — И она протянула мне большое красное яблоко.

— Черт возьми, откуда яблоко?

— С Байгантая!.. На! — И она протянула мне шапку. меховую шапку. Я ведь до сих пор ходил без шапки, накручивая на голову махровое полотенце, как какой-то бедуин.

— Откуда? Таська!

— Самолеты... На! — И она дала еще два яблока.

Я ем яблоки. Я курю роскошные папиросы. Я сижу в шапке. У меня есть все. Я самый богатый человек на свете! Я сижу у костра и слушаю Тасю болтовню, а она, взволнованная встречей, рассказывает о том, что Ирина увлечена Костомаровым.

— «Но ведь он же семейный, у него сын, — сказала я ей. — Как же ты можешь отнимать его от семьи?» — «Я ничего плохого не делаю, — порывисто ответила Ирина, а потом тихо сказала: — Мне хорошо вставать утром и знать, что я люблю. Я иду по тайге и все время думаю о нем, ложусь спать, закрываю глаза — вижу его. Я так счастлива!» — «Он тебя любит?» — «Да! Но я не хочу отнимать его у семьи. У меня даже и в голове этого нет. Пусть он вернется, а я останусь одна». — «Пусть вернется? Но он уже вернется как изменник! А если не вернется, если любовь к тебе окажется сильнее любви к жене, тогда как?» Ирина больше ни слова не сказала мне... Ах, Алеша, как я рада, что ты лежачий. — Тася тихо засмеялась и прижалась щекой к моей руке.

А я сидел оглушенный и подавленный, не в силах порадоваться тому маленькому счастью, которое прижималось ко мне. Я чувствовал, как что-то большое, светлое уходит от меня и я становлюсь одиноким.

— Ты рад?

— Да, конечно,— отвечаю я, а сам думаю об Ирине. Почему Костомаров, а не я? Ведь я же ее люблю. Она знает об этом, так почему же не я, а другой, занятый, будет любить ее?

У землянки слышатся голоса, и, пригибаясь, одни за другим входят изыскатели.

— Чудненько! — говорит Олег Александрович, принимая от Таси пачку папирос.— Рассказывайте.

Тася с радостью рассказывает о том, что было совещание по радио, что Градов запросил Костомарова о лучших работниках, и Кирилл Владимирович назвал, кого нашел нужным, что наша партия хотя и не числится среди первых, но к нам относятся сочувственно, даже жалеют нас. Мы в самых тяжелых условиях.

— Значит, радио работает? — спросил Олег Александрович.

— Да. Теперь все есть у радиста. Но какой он важный! Как кипящий самовар,— смеется Тася.

Она что-то еще говорит, но я не слушаю. Ухожу. Ах, Ирина, Ирина... Я не знаю, будешь ли ты счастлива... Зачем тебе все это? Я стою, закрыв глаза, и вдруг передо мной возникает Костомаров. Он громаден. У него серые глаза, холодные, если он недоволен, и мягкие, если он в хорошем настроении. Ему тридцать четыре года. У него твердый широкий подбородок. Люди с таким подбородком всегда добиваются своего. Он спокоен, как человек, обладающий ясностью ума, твердостью цели. Он силен физически. Он силен внутренне. И мне становится понятным, почему Ирина полюбила его. Он сильный человек. Таких мало. Он бесстрашный. Только теперь я понял, что он, спасая Ирину, не совершал никакого подвига. Он просто спас ее, и все. Это для него такое же обычное дело, как подняться на косогор. Но если потребуются, он и жизни своей не пожалеет ради своего большого дела.

— Алеша, ты здесь? — слышу я голос Таси.

— Да.— Я стою, прислонясь к листовнице, и поэтому Тася в сумерках наступающего вечера не видит меня.

— Почему ты ушел?

Я молчу. А в памяти всплывают слова Ирины о Тасе. Она сказала, что Тася — это моя судьба. Похоже на правду. От Таси, как от судьбы, не уйдешь, она меня всюду найдет...

17 ноября

Сегодня прибыли олени. На них эвенки привезли масло, муку, конфеты, сахар, папиросы, крупу, свечи, шапки, рукавицы, перчатки. Соснин развеселился:

— Го-го-го-го-го! Не будьте привередливы. Берите, что дают. Всем все одинаковое. Помните дни недоедания и холода. Го-го-го-го-го!

Утром пришел посланец Костомарова Васька Киселев (он назначен связным).

— Получите пакет,— важно сказал он Мозгалеvскому.

«Предлагаю сегодня явиться в полном составе на трассу. Девтали на месте.

К. Костомаров».

— Коротко и ясно,— удовлетворенно сказал Олег Александрович.— Через полчаса выход.

— Коротко и ясно,— засмеялся Коля Николаевич.

Через час мы увидели Костомарова. У меня гулко ударило сердце, я боялся, что он заметит мое смятение. Но ему было не до меня.

— Теперь, когда все есть, будем работать много и плодотворно,— сказал он, пожимая каждому из нас руку.— Вы, Николай Николаевич, идите на пикет двухсотый и гоните нивелировку.

— Это далеко?

— В шести километрах отсюда. Олег Александрович, мне бы хотелось, чтобы вы прошли по косогору с глазомерной съемкой. Это надо сделать быстро.

— Но сначала следовало бы обговорить кое-что,— сказал Олег Александрович.

— Это мы сделаем вечером. День короток, каждую минуту надо беречь. К тому же меня ждут рабочие. Вы, Алексей Павлович, пойдете со мной. Надо прогнать пикетаж. Возьмите своих рабочих. Тася, скалькируйте профиль для Ирины Николаевны. Она ждет его. Все. Пошли.

И я еле успеваю за ним. Я никогда не думал, что он так легко и быстро ходит. Он, как на пружинах, взлетает на завал, свободно перепрыгивает ручьи по три метра шириной, раздвигает от себя, словно воду, переплетения кустарников.

— А теперь идите дальше, до первого сторожка. От него ко мне потянете линию. Да будьте поточнее, вы уже сделали промер на косогоре. На первый раз я вам это простил. Но теперь, после благодарности за хорошую работу, вы не можете считаться непотным пикетажистом. Желаю успеха!

— Спасибо! — И в том же темпе я быстро иду дальше. По дороге встречаю Мишку Пугачева. Как он похудел!

— Ты что, болен? — спросил я его.

— Здоров. Загонял меня Кирилл Владимирович по косограм. Ну и работает, еле успеваю с рейкой бегать... Извините, бегу. Ждет он меня...

Я прошел еще с час, прежде чем натолкнулся на сторожок. Отсюда я потянул промер к Костомарову. Работалось легко, за день мы дошли до конца просеки. Я думал, что пойду на ночь в свою зимовку, но Костомаров забрал меня с собой. Его зимовка, вернее землянка, такая же, как и наша, но внутри лучше. Стоят стол, складные стулья. Горит больше свечей. Песок с потолка не сыплется. Две печи обогревают помещенне.

Я не представлял себе, как повстречаюсь с Ириной. Я понимал, что она не обязана ни в чем отчитываться передо мной, и все же знал: как только увижу ее, она не то чтобы смутится, но почувствует себя виноватой. Что-то все же было в наших отношениях. Может, то, что она знала, что я люблю ее, и, пожалуй, единственная понимала, что любви у меня к Тасе не могло быть.

Но Ирины в землянке не было. Она еще не вернулась с поля. За столом сидел Покотиллов, высчитывал отметки. Он кивнул мне и углубился в свое дело. Коля Николаевич только что пришел.

— Ну как? — спросил он.

— Что как?

— Поедим? — вытирая руки полотенцем, улыбнулся он. — Ух, и поедем!

Вслед за Костомаровым вошел Васька Киселев. На вытянутых руках он нес большую кастрюлю. Поставил на стол.

Ели молча. Костомаров думал о чем-то своем. Отодвинув тарелку, он тут же развернул профиль и начал просматривать его.

— Прямая два километра не так уж плохо для косогора, — сказал он, ни к кому не обращаясь, — к тому же будет площадка.

— Много скальных работ, — сказал Покотиллов.

— Ну и что? — как мне показалось, со злостью, спросил Костомаров. — Чего вы боитесь скальных работ? Неужели вы считаете более выгодным осушать марн, делать насыпи, нежели взорвать породу?

— Непривычно... Слишком уж много скальных работ.

— Заладили: много, много... Столько, сколько надо. Зато какая опора будет! Нет, нет, это вариант единственный, правда, сложный, но самый экономичный.

Вошел Батурин.

— Почту принес, — сказал он и положил на стол кучу газет и писем.

Кирилл Владимирович сразу же отобрал изо всего принесенного большой квадратный пакет. Вскрыл его.

— Где патефон? — весело спросил он.

Я нагнулся к его кровати и достал голубой ящичек. Все, что был в землянке, смотрели на Костомарова с удивлением.

— Говорящее письмо. Голос сына, — пояснил он, ставя пластинку. Игла зашипела, и вдруг в землянку ворвался звонкий

мальчишеский голос. Было даже такое ощущение, будто он оттуда, где весна, солнце, веселые ручьи, голубые лужи...

— «Здравствуй, папа! Папа, я учусь хорошо...» (Кирилл Владимирович смущенно и мягко улыбался, как бы позволяя себе эту слабость.)

— «...Не хвастайся, будь скромным»,— раздался женский голос. Он был холоден и сух.

Кирилл Владимирович глухо сказал:

— Это жена.

— «Папа, я учусь,— уже невесело сказал мальчик.— Я дружу с хорошим мальчиком. Его зовут Вова. Папа, я тебя очень люблю! Очень, очень люблю!»

— «Ты, конечно, понимаешь, Кирилл, он преувеличивает,— раздался опять голос жены.— Он просто любит тебя».

Скрипнула дверь, отошел полог, и на пороге встала Ирина. Костомаров не заметил ее, сидел, подперев крутолобую голову ладонью. Ирина встревоженно перевела взгляд с патефона на него и опять на патефон.

— «Я тебя просто люблю...» — тихо и грустно сказал мальчик.

Потом наступило молчание, только шипела пластинка.

— «Кирилл, ты не должен обижаться на меня,— раздался спокойный голос жены,— я пишу редко, потому что часто писать нет необходимости...»

Кирилл Владимирович хотел было снять пластинку, но убрал руку и невольно улыбнулся.

— «...Просьбу твою, как видишь, выполнила — голос Женюка записан. Теперь ты можешь слушать его. Целуем тебя. Желаем здоровья и, главное, успеха в работе. Твоя жена Вера и сын Евгений».

Это была очень грустная пластинка, и той радости, какую Кирилл Владимирович ждал от нее, он не получил. Он остановил патефон и только тут увидел Ирину.

Она подошла к нему. Они встретились глазами и улыбнулись друг другу.

— Голос сынишки записан,— сказал он.

— Ты рад?

— Да. Я скучаю по нем.— Он убрал пластинку и, будто только теперь заметив меня, Покотилова, Колю Николаевича, нахмурил брови.

— Здравствуй, Ирина,— сказал я. Мне хотелось, чтобы она посмотрела мне в глаза, хотелось найти хоть малое смятение.

— Здравствуй,— без внимания ко мне ответила она.

Нет, чего я ждал, не было. И никакой вины она за собой не знала. И вряд ли даже думала о том, что я люблю ее. Да и у меня уже в этот час почему-то любовь к ней стала не такой, как раньше, и мне почему-то не было жаль, что ее любит Костомаров.

ров, что она навсегда уходит от меня. Той Ирины, прежней, в этой Ирице я не видел, а мне была дорога именно та.

Я быстро нанес ситуацию на профиль и, так как за день изрядно устал, завалился спать. Уснул быстро, сколько спал, не знаю, но когда проснулся, в зимовке было темно и лишь красноватые отсветы и блики падали на землю от печки. Я бы тут же, наверно, и уснул, если бы до меня не донесся разговор. У печки сидели Костомаров и Ирина.

— Ты не можешь думать плохо о нашей любви, — говорил он, — так должно было случиться, что мы встретились... Ты не должна никого слушать.

— Я не слушаю...

— Жена меня не любит. А мы любим друг друга, мы нужны друг другу.

— Я слышала голос твоего сына...

— Я так и понял, что это тебя расстроило...

— Да, мне жаль его...

Я больше не мог быть невольным свидетелем этого разговора и нарочно заворочался, стал кашлять и закурил. Они еще посидели недолго у печки, потом вышли из землянки.

23 ноября

...Никогда не думал, что мне будет так приятно встретиться с Тасей. Даже Шуренка заметила и сказала:

— Стосковались, голубчики.

24 ноября

Выполняем приказ Костомарова. Уже порядочный кусок когосора отнят. Я работаю то записатором, то пикетажистом. Порой мерзну, порой потею, но во всех случаях жизнью доволен, и теперь уже твердо знаю: изыскания — мой путь. Да и что может быть интереснее путешествий по неизведанным краям, что может быть замечательнее прокладки трассы новой железнодорожной магистрали? Для изыскателя нет расстояний. Все у него под рукой: и север, и юг, и восток, и запад. И тундра, и горы, и тайга, и пустыни. Он везде нужен...

В десять утра прибыли рабочие с четырьмя нартами. Мы собираемся в обратный путь, в Жалдаб, к покинутым палаткам, треногам, просеке. Нарты нагружены сверх меры, и все же рабочие их тянут легко. Оленей потому нет, что еще забереги узки и путь на них опасен, — могут испугаться и прыгнуть в реку.

Идем быстро. Получается как-то так, что теперь уже с Мозгалевским ходит Коля Николаевич, а я иду то один, то с Тасей. Сейчас мы идем с Тасей по левому берегу. Наледь слабая.

не выдерживает, и мы бредем по воде. Так преодолеваем метров семьсот. Ног уже не чувствуем. От воды подымается пар и оседает махровым инеем на прибрежные камни. Солнце, затянутое серой мглой, тускло освещает реку, лес, берега.

— Замерзла?

— Ничего, Алешенька...

— Может, костер разведем?

— Ну что ты, дойдем до зимовки...

Зимовка. В ней пусто и люто холодно. Тася дважды падала в воду, и теперь ее валенки, ватные штаны, телогрейка обледенели. Надо хотя бы обогреться. Собрали сушняк, и вот уже из двери тянется на свежий воздух густой дым. Сидим рядом, смотрим на костер, говорим, что взбредет в голову. Я гляжу на Тасю, вижу ее чуть вздернутый нос, тонкие брови, смуглый румянец и, словно непреднамеренно, кладу руку на ее колено. Она взглядывает на меня быстро и строго. Я делаю вид, будто мне и ни к чему, что я положил ей на колено руку. Но она все же снимает ее. Проходит несколько минут, и я снова кладу ей на колено руку. Тася очень быстро и строго смотрит на меня.

Тетрадь двадцать пятая

— Сейчас же сними! — говорит она тихо, но сердито. Но я сжимаю пальцы. — Сними, или я ударю тебя!

— Странно, целоваться можно, а на колено руку положить нельзя...

— Конечно, нельзя... Не ожидала от тебя, — совершенно серьезно сказала Тася.

— Ну извини, — сказал я и крепко поцеловал ее в губы.

— Что ты делаешь? — Она вырвалась.

— Целую. Разве нельзя?

— Можно... — не сразу и как-то растерянно ответила она. — Только не надо так сильно...

Я еле касаюсь ее губ своими губами.

— Ты все нарочно делаешь, — сердится Тася, — лучше никак не надо.

— Ладно...

— Ты сердисься?

В открытую дверь зимовки видно мглистое, с золотыми просветами небо. Доносятся голоса.

Согнувшись, вошел Костомаров.

— Кто есть жив человек, откликнитесь! — сказал он басом.

Сразу же вслед за ним ввалилось человек восемь, и в землянке стало шумно и тесно.

Утром чуть свет тронулись дальше. Кирилл Владимирович торопит. Мне и Тасе он поручил идти впереди всех и разведы-

вать путь. День солнечный. Нетронутый снег искрится. Все в торжественном покое. Тася пытается заговорить со мной, но я упорно молчу.

— Ты сердисься?

Я молчу.

— Ну почему ты такой?

Я молчу.

— Ну скажи. Может, я что сделала не так? Может, обидела тебя?

Я молчу. Тогда она начинает плакать. Слезы у нее сразу же налиплют на ресницы льдинками и вспыхивают в лучах солнца.

— Видишь ли,— говорю я,— то, что происходит между нами, может очень далеко завести, а между тем я не уверен в твоих чувствах. Ты как-то говорила о замужестве, о том, что тебе трудно представить себя моей женой: наверно, так оно и есть...— Тася слушает затаив дыхание, не отрывая взгляда от моих глаз.— Поэтому лучше нам быть подальше друг от друга...

— Алеша, зачем ты так говоришь? Я люблю тебя, мне хорошо с тобой. Вот я рядом, и больше мне ничего не надо.

— Ну, а мне этого мало,— резко говорю я и быстро ухожу от нее.

Она бежит за мной. Отстала.

Казалось бы, после такого разговора все должно стать ясным. Но когда стало ясным, я понял, что мне без Таси скучно, что я не могу дальше быть нее идти. Это было целое открытие! Я оглянулся и увидел Тасю шагах в ста от себя. Она шла с опущенной головой. Тогда я остановился. Она подошла. На щеках у нее слезы. Брови изломанно сдвинуты, нижняя губа закушена. Она смотрит на меня и улыбается:

— Я, наверно, глупая... Я же ничего не знаю. Я даже, наверно, и целоваться не умею... Да?

Я беру ее руку, и мы идем. Идем молча, и впервые молчание не связывает меня.

Палатки. Они прогнулись под тяжестью снега. Ни одного следа нет вокруг. В нашей палатке холодная печь, груда вещей и большой лист бумаги — опись оставленного.

28 ноября

Здорово достается. С двадцать четвертого ни одного часа не было для записи. Такой бешеной гопки я не видел. Четыре тысячи триста метров за день, а при Мозгалевском проходили от силы полторы-две тысячи.

— Надо быстрее. Тайга уважает натиск. Тогда она уступает. Чтобы ее победить, надо быть сильнее ее,— любит в нужных случаях говорить Кирилл Владимирович.

Рубщики за день выматываются так, что еле плетутся домой. На другой день четыре тысячи метров. Мы прокладываем трассу в распадках. Кирилл Владимирович сказал мне:

— Вы должны успевать не только записывать ситуации, делать промер, но и устанавливать теодолит, пока я исследую местность.

— Я согласен, но дело в том, что я не умею устанавливать теодолит.

— Не умеете? Тогда должны уметь, черт возьми! Иначе какой же вы техник! Смотрите.— И он стал объяснять.

Через десять минут я уже без его помощи устанавливал теодолит.

Распадок — это как бы седловина меж сопок. Таких мест на левом берегу несколько. Самые большие — здесь, их и взял на себя Костомаров, чтобы поскорее проскочить, а там опять пойдут съемки косогора. В распадке протекает ручей. Он подо льдом, но если прислушаться, отсюда доносится приглушенный сердитый ропот закованной силы. Мне уже надоело напосить в пикетажную книжку десятки безымянных ручьев, и, вспомнив разговор с Мозгалевским о том, что неплохо бы называть станции в честь изыскателей, я назвал этот ручей именем Костомарова — ручьем Кирилла. И сообщил об этом своим рабочим, Юрку и Баландюку.

— Схвачено, ручей Кирилла! — сказал с удовлетворением Юрок.

Я уже не раз замечал, и не только у него, а у многих заключенных, почтительное отношение к Костомарову. Видимо, сила везде в почете.

Не успели мы пройти ручей, как к нам подошли эвенки-охотники. Они принесли мясо.

— Твоя что делаешь? — спросил один из них, самый молодой.

— Ручей Кирилла меряю, — ответил я.

— Ручей Кирилла, — повторил медленно охотник, словно прислушиваясь к звукам, и улыбнулся, показав ровные крупные зубы.

Мы разошлись. Ручей нас подзадержал, и надо было торопиться. Но просеки готовой оказалось мало.

— Почему медленно рубитесь? — строго спросил Кирилл Владимирович рубщиков. Он только что пришел с рекогносцировки.

— Лес густой да мерзлый, — сказал Перваков.

— Мерзлый? — удивился Кирилл Владимирович. — Дайте топор.

Я никогда не видел, чтобы так рубили дерево. Быстрые, сильные, точные удары один за другим посыпались на лиственницу. Они были похожи на выстрелы. От ствола летели щепки невиданной величины. И вот уже большое дерево с глухим стоном

валится, сокрушая все на своем пути. И только снег, взбудораженный падением дерева, медленно осыпается. А удары — короткие и сильные — падают уже на другое дерево. Костомаров рубит третье, четвертое. Рубщики, глядя на него, жмут вовсю. Стоном наполняется тайга. Он отдаст топор, гонит Якова с вещками далеко от себя. Ровная просека уходит вперед.

Уже темнеет. Но Костомаров работает до тех пор, пока видно в теодолит вешку. А потом во тьме шагает домой. Ему нужны ни компас, ни буссоль, ни приметы — идет, будто всю жизнь ходил этой дорогой, и безошибочно выводит пас к палаткам.

Я как-то спросил его:

— Кирилл Владимирович, как вы узнаете путь?

— А чего узнавать, иду, и все. Вот так у нас лагерь, вот так мы шли, прокладывая трассу, так надо возвращаться по гипотенузе. Тут все очень просто.

По-моему, он не понимает своей силы и своих способностей. Он очень скромн. В этом я убедился сегодня. Он попросил у меня пикетажную книжку. Стал ее листать и натолкнулся на ручей Кирилла.

— Что такое?.. — Он даже, как мне показалось, в первую минуту не сообразил, что так ручей назвал я, он, наверно, подумал, что так называется ручей по-местному. Но потом понял, что звенки не могли этого сделать, и тогда уже спросил строго и громко:

— Что это такое?

Я ответил.

— Какое же вы имели право так называть? Знаете ли вы, что имена присваиваются только за большие заслуги человека! Вы что, подхалим?

Я погибал под его взглядом. Лучше было раствориться, исчезнуть, чем слушать такое.

— Зачем вам это нужно? Отвечайте!

— Ну назвал, и все... Назвал потому, что вы как человек правитесь мне. — Это прозвучало чуть ли не объяснением в любви. Я совсем смешался, он это заметил и, видимо, поверил, что я плохого не хотел.

— Сейчас же сотрите. И чтобы подобного никогда не было.

29 ноября

Резанчик лежит в палатке. Голова у него обмотана полотенцем. Оно в крови. Он лежит и ни на кого не смотрит. Наверно, еще никогда не чувствовал он себя таким униженным, как в этот раз. Костомаров принес его на руках. Соснин влил ему глоток спирта, и Резанчик пришел в себя. Он застонал, но тут же, видимо вспомнив все, что с ним произошло, стиснул зубы и закрыл

глаза. Оказывается, даже и у таких матерых бывает чувство стыда.

Рядом в своей палатке в голос плачет Шуренка. Яков поколотил ее, хотя она ни в чем не виновата. Она пошла на реку полоскать белье. (Мы остановились лагерем метрах в ста от Элгуни, потому что весь берег в густом кустарнике и поблизости ни полена дров.) Шуренка полоскала белье, когда сзади на нее напал Резанчик. Она закричала, но он зажал ей рот рукой и потащил в кусты. Он бы, наверно, сделал гнусное дело, но, к счастью, поблизости оказался Костомаров. Он услышал крик, быстро сориентировался и поспел вовремя. Схватив одной рукой Резанчика за шею, другой за штаны, он поднял его и бросил в сторону. Успокоил перепуганную насмерть Шуренку и пошел было к лагерю, но посмотрел на Резанчика. Тот недвижимо лежал лицом вниз. Костомаров перевернул его. Поперек всего лба у Резанчика багровела рассечина. Из нее, пенясь, текла на обомшелый валун кровь.

— Шура, дайте полотенце,— попросил Костомаров.

Шуренка, дрожа, подала ему мокрое, неотжатое полотенце. Он завязал Резанчику голову и понес в лагерь.

Через час к Кириллу Владимировичу явился Яков.

— Так что мы не желаем в таких условиях работать,— сказал он, держа шапку в руках.— Расчет просим.

Костомаров посмотрел на него внимательно и осуждающе:

— Я так и думал, что вы придете. Но я не отпущу вас. Вы нужны.

— Мало ль чего нужны,— сразу вскипятился Яков.— А такого нам не надо, чтоб всякая сволочь изгилялась над бабой.

— Резанчика я отправлю под конвоем.

— Заместо его другой найдется. Хватает этой стервы. Нет уж, расчет извольте.

— Я вас не могу отпустить. Как вы этого не можете понять?

— Всё мы понимаем. А отпустить должен. Нет такого закона, чтоб против воли задерживать. Не заключенные мы. Расчет просим.

Костомаров задумался. О чем он думал, трудно сказать, но только достал чистый лист бумаги, что-то написал и отдал Якову.

— Идите к Мозгалевскому, в Байгантай. Он вас полностью рассчитает.— И, помолчав, добавил: — Конечно, вы не заключенные и имеете полное право работать там, где хотите. Но все же иногда думайте не только о себе.

— А о ком же еще думать? — недружелюбно пробурчал Яков.

— О стране,— ответил Костомаров.— Идите!

После ухода Якова несколько минут стояла тишина.

— Когда прикажете отправить Резанчика? — спросил Соснин.

— Когда кончим работу,— ответил Костомаров.— У нас каждый рабочий на учете.

...Яков с Шуренкой ушли, не простившись, в этот же вечер.

Сегодня, тридцатого, мы вышли к косогору. Здесь новая стоянка. Жить будем в маленькой, двухместной палатке. Я поначалу не представлял себе, как же мы расположимся. Но Костомаров нашел простой выход. Он решил, что мы с Тасей пожениться, и отвел нам половину палатки по одну сторону печки, а сам лег на другой половине. Тася заупрямилась, стала подавать мне какие-то сердитые знаки, но спать надо было, и она легла, уткнув нос в палатку. Кирилл Владимирович сидел долго, вычерчивал план трассы, проектировал и лег уже в первом часу. До этого времени сидел и я, не решаясь лечь рядом с Тасей.

Кирилл Владимирович уснул быстро. Я погасил свечу. Но в палатке не стало темно. Падали розовые отсветы из печной дверки. Осторожно, чтобы не обжечься о печку и не задеть Тасю, я прилег на постель. Кровать была узка. Печь стояла близко, и невольно я стал от нее отодвигаться к Тасе.

— Ты что? — не поворачиваясь, спросила она.

— Жарко...

— А мне холодно. Тут откуда-то дует...

Я положил руку на ее плечо, прижался. Она отодвинула мою руку, но так перешительно, словно боялась обидеть.

— Ты хороший? — спросила она.

Я услышал, как громко бьется ее сердце, но тут же понял — это билось мое.

— Тася...

— Спи, Алешенька...

Я поцеловал ее в щеку. Она плотнее прижалась к подушке.

— Алешенька, спи... не надо... Завтра стыдно будет,— с какой-то детской беспомощностью сказала она.

Но я не слушал ее. Целовал. И тогда она повернулась ко мне, взяла мое лицо в руки и крепко поцеловала, потом оттолкнула и склонилась надо мной, освещенная красноватым светом огня. Никогда не видел ее такой красивой. Я понимал: что-то сместилось в освещении, но таких глубоких, широко открытых глаз, такого лица, в котором были и счастье, и нежность, и стыдливость, и любовь, я никогда не видел.

— Таська,— негромко засмеялся я.

— Только не думай обо мне плохо, не надо,— шептала она.

— Тася...

— И смеяться надо мной не надо...

— Тасенька...

Как хорошо, что Костомаров лежал к нам спиной.

Двадцать дней не вел записей. Любил! Люблю и теперь, люблю больше, чем когда-либо. И не понимаю, как я мог так долго жить без Таси? И смеюсь над самим собой — зачем я раньше бежал от нее? Двадцать дней сплошного счастья!

А работа? Часть пути отбита на земле, часть запроектирована на ватмане. Но мне надлежит соединить трассу распадка с участком, который я промерял у Кирилла Владимировича после нашего голодного похода.

Последний пикет я сам промерил с Юрком и, когда лента коснулась встречного сторожка, сказал ему, что он присутствует при знаменательном факте, при смычке. Юрок улыбнулся, хитро подмигнул мне и сказал:

— Надо бы литру распить.

— И не одну, — сказал я.

— Ну много — спились бы... А так, для радости.

Это меня удивило. Жулик, и такие рассуждения.

Десятого декабря из Байгантая пришло к нам в отряд сообщение о выборах, предлагалось быть двенадцатого, не позднее полудня, в стойбище. Расстояние от нас до Байгантая около сорока километров. Это известие принес нам от Костомарова Покенов. Он должен был отвезти на оленях Мозгалевского, но олени, испугавшись медведя-шатуна, убежали.

— За два дня мне не дойти, — удрученно сказал Олег Александрович.

— Аваха! — сердито сказал Покенов.

— Что «аваха»?

— Однако медведь, аваха... Однако аваха, черт...

— Сам ты черт, — тихо обругал Мозгалевский Покенова. «И зачем его опять наняли на работу?» — Мне, друзья, не дойти...

— Мы налегке пойдем? — спросил Перваков. — А коли налегке, то возьмем нарты и за милую душу доведем вас до стойбища.

— Ну что же это будет такое... Как-то неудобно. Впрочем, согласен. Если уж очень устану, тогда подвезете. Пошли!

В три часа дня ушли все. А мы с Тасей остались. Нам так хотелось остаться вдвоем. Наш отряд должен был пройти сорок километров в два дня, с ночевкой в землянке, где был картофель. Мы же решили выйти утром на другой день, идти без ночевки и за один переход дойти до Байгантая.

И вот мы остались. Впервые одни. Какое это счастье! Время перестало существовать. Когда наступил вечер, когда пришла ночь, когда забрезжил рассвет, мы не заметили и очнулись только когда в зимовку сквозь кальку проник неяркий свет.

Какое было большое солнце в этот день! Как оно светило!

Всё, что лежало и стояло на земле, все им освещалось. Смеясь, держа друг друга за руки, мы шли по замерзшей реке.

— Неужели все это правда, — чуть не плача от радости, говорила Тася, — неужели так может быть... Ах, если бы это никогда не кончилось. Даже не верится... Так хорошо.

Наверно, было холодно, потому что лед ухал, оседая от мороза, но мы не замечали холода. Мы забывали обо всем, останавливались, о чем-то говорили, потом спохватывались, что надо идти, и быстро шагали. Но не проходило десяти минут, и снова остановка, и опять время пропадало для нас.

Когда солнце было над головой, то оказалось, что мы очень мало прошли, а времени прокатилось порядочно. Тут я вспомнил усмешливо сказанные Мозгалевским слова: «Думается, не быть вам в Байгантае не только за сутки, но и за пять суток...» Его отношение ко мне сильно изменилось. Ему не понравилось, что мы безо всякого загса стали жить.

— А чего ожидать, если сам начальник партии подает такой пример, — сказал Лыков. (Нам было в зимовке, и узнал я про этот разговор от Леньки-повара.)

— Вы уверены, что Кирилл Владимирович живет с Ириной Николаевной? — спросил Олег Александрович. — Это слишком ответственно, чтобы так говорить.

Бедняга всегда почему-то узнавал все новости самым последним. Лыков невсело рассмеялся:

— Если вы мне не верите, спросите Костомарова. Он врать не будет.

— Это черт знает что такое! — воскликнул Олег Александрович. — Я непременно потребую ответа от Коренкова.

— Не только от техника, но и от начальника партии, — подзадоривал Лыков.

— Ну, начальник партии сам за себя отвечает, а вот за техника отвечаю я.

И когда я пришел, он спросил:

— Вы что, женились?

Я не знаю, чего он ждал, может, замешательства, но я посмотрел на Тасю и спокойно ответил:

— Да.

— Ага, гм... А как же регистрация?

— Но здесь нет загса.

— А если подождать до возвращения?

— Зачем же?

— Ну как же, для порядка. А так — что ж это такое? Если каждый вздумает жениться, что же тогда получится? — Он пошевелил усами.

— Я вас не понимаю.

— Ну, конечно, где же вам меня понять... Впрочем, вы могли хотя бы поставить меня в известность.

— Совершенно необязательно,— сказала Тася,— вы не поп!

Мозгалеvский как-то весь съехал от ее слов. Я понимал его, ему хотелось уважения. Да, загса тут нет, но есть он, и почему бы нам, молодым людям, не сказать ему о том, что мы поженимся. Я этого своевременно сделать не догадался, а Тася окончательно испортила старику настроение.

— Ну что ж, если так... Конечно, не поп...— Он еще больше ссутулился и стал что-то перебирать во вьючном ящике.

— Зачем ты обидела его? — негромко сказал я Тасе.

— А пускай не лезет не в свое дело. Я бы отцу родному не позволила, не то что ему!

С этого дня Мозгалеvский отдалил меня от себя. Он разговаривал со мной, но только о том, чего требовало дело, и голос его всегда был ровен, без малейшего оттенка расположения ко мне. Обиделся. И я никак не мог этого поправить, потому что это связано с Тасей, с женитьбой, со всем тем, что совершенно и чего перedefлять или изменять я не собирался.

— Идем быстрее, а то застанет ночь,— сказал я Тасе.

— Неужели может быть ночь?

— Смотри, где солнце.

— Не надо, ничего не говори о времени. Я пойду быстро, только ничего не говори о времени...— Но вместо того чтобы идти, мы стояли и целовались.

Тетрадь двадцать шестая

— Нет, нам никогда не дойти. Давай сделаем так: я пойду впереди, а ты догоняй меня. У каждой зимовки будем отдыхать. Пошли!

И вот я иду, а Тася спешит за мной. Идти тяжело. Ветер замел снегом тропу, которую проложили изыскатели, и сейчас приходится брести по целине. Но иногда снега нет — лед, и тогда мы бежим, катаемся, смеемся.

— Ты не устала? — кричу я Тасе.

— Нет...

Она уже намного отстала, но это единственный способ идти быстрее, и я ухожу от нее еще дальше. Она бежит, догоняет меня. Но я снова ухожу. Так мы идем до первой зимовки. Там отдыхаем минут пять, и снова в путь. Иногда, если она уж очень отстает, я бегу к ней. Целую. Она счастлива, смеется. И мы идем дальше.

К Байгантаю подходим вечером. Луны нет. Темнеет быстро. Куда идти? Хотя бы выйти на дорогу... Ноги еле передвигаются от усталости. Может быть, здесь и нет Байгантая, а просто схожее с описанием место? Но вот прорубь, какой-то шорох... Мы подходим ближе. Олени. И с ними мальчуган.

— Байгантай далеко? — спросил я.

— Не...

— Сколько километров?

— Нет километров, — отвечал он.

Ну, слава богу! Обрадованные, мы пошли, забыв про усталость. И вскоре увидели огни.

В самом большом доме наши. Тася только на минуту вошла, увидела в дыму множество лиц и тут же вышла. Я остался. Кроме наших тут были изыскатели из соседней партни, но я мало кого знал и, побыв несколько минут, тоже ушел. Тася была в соседнем доме. Да, именно в доме, тут дома, срубленные из бревен, с крышами, похожие на наши деревенские избы. Кирилл Владимирович несколько домов арендовал для экспедиции.

Тася пила чай. Рядом с ней сидел Соснин. Увидя меня, он вытянулся во весь свой рост и, протянув руку лодочкой, гаркнул:

— Поздравляю вас с браком и желаю многих лет здоровья и счастья! Прицел точный!

— Он меня так же поздравил, — смеясь, сказала Тася.

— Да. Я рад, го-го-го-го-го, что вы поженились. Люблю, когда люди женятся.

— А вы семейный? — спросила его Тася.

— Естественно. У меня трое ребят, и все сыновья. Го-го-го-го-го! Еще двоим думаю дать жизнь. Это здорово, что я могу давать жизнь людям. И ненавижу тех, кто умерщвляет ребенка. Этих абортниц я бы на месте расстреливал, без суда и следствия. И не пожалел бы. Го-го-го-го-го! — Он хохочет и не замечает, что Тася смущена, что я тоже чувствую себя не особенно ловко. — Не сразу, но будут и у вас, как у всех нормальных людей, собственные дети.

Тася сжимает лицо руками и бежит из зимовки. Вслед за ней выхожу я. Мы стоим и смотрим друг на друга и уже забыли про Соснина. Мы ни минуты не можем быть в разлуке, нам надо обязательно держаться за руки, смотреть друг другу в глаза, медленно сближаться лицами и, тихо смеясь, целоваться. Какое это необъяснимое счастье — любить и быть любимым!

«Ты, наверно, думаешь, что самый красивый в мире...» — как-то сказал мне Коля Николаевич. Я тогда не придавал значения его словам, но теперь, вспомнив, подумал: «А почему бы мне и не быть самым красивым в мире? Если полюбила Тася, то я, наверно, самый красивый в мире!»

— Пойдем к Ирине, — неожиданно предлагает Тася.

— Зачем?

— Я хочу, чтобы она поздравила.

Ирину мы находим в маленькой комнате. Тут она живет с Костомаровым. На столе рулоны миллиметровки, планшеты, арифмометр, логарифмическая линейка. Тут же закопченный

чайник, большой складной нож рядом с буханкой хлеба. Увидя нас, Ирина приветливо улыбнулась и протянула руки:

— Я же говорила тебе, Алеша, Тася — твоя судьба... Я рада... Ведь вы счастливы?

— Очень! — засмеялась Тася.

— Вот и хорошо... — Она посмотрела на нас и улыбнулась: — Неужели это верно, что у счастливых глупые лица?

— А у нас глупые? — спросила Тася.

— Есть немного... Вон у Алеша глаза как пуговицы...

— Пуговицы? Ну как тебе не стыдно! Какие же у него пуговицы? Большие, ясные, глубокие, умные глаза!

— Ну конечно, умные, — прижимая к себе Тасю, сказала Ирина. — Это я нарочно, чтобы посмотреть, как ты будешь его зашнать...

Громко хлопнув дверью, вошел Кирилл Владимирович:

— А, молодожены! Очень хочу, чтобы у вас хватило счастья на всю жизнь. — Он крепко жмет нам руки. — А вы молодцы, за один день без дороги — сорок километров. Это по-изыскательски... Ничего, ничего, ребята, дело идет к концу. Думаю, в феврале закончим и — домой. — Он говорит уверенно, и это радует нас.

Выборы проходили в сельсовете. Единственную комнату перегородили простынями так, что получилось три. В одной выдавали бюллетени для голосования, во второй вкладывали их в конверты, в третьей опускали бюллетени в большой ящик. У ящика стояли маленькие ребята-эвенки, мальчик и девочка. И каждому, кто опускал конверт в ящик, они говорили «спасибо».

Ко мне подошел Батурин, радостный, улыбающийся.

— Прокошку поймали, — сказал он.

— Какого Прокошку? — не сразу сообразил я.

— Который был у Покенова. Нужны тетради Вити Соколова.

Дай мне.

— Зачем?

— Они нужны следователю. Я их свезу на оленях в Герби. Это документ. Тогда Прокошка сознается.

— В чем сознается?

— В убийстве Вити Соколова.

— Значит, убийство было?

— Его убил Прокошка.

— Откуда ты знаешь?

— Прокошка отнял у Покенова оленей. Старик пошел жаловаться в милицию, в Герби. Он там сказал: «Прокошка нарочно вел экспедицию по опасным местам. Об этом у Вити Соколова написано. Наверно, Прокошка догадывался, что Витя знает, и боялся его. Поэтому и убил».

— Значит, все, что писал Соколов, — правда?

— Правда.

— Где Микентий Иванов?

— Вот Микентий Иванов.— Батурин показал пальцем на молодого мужчину.

Микентий сидел за столом и выдавал бюллетени. Я подошел к нему.

— Скажите, вы знали кулака Покенова?

— Нет, кулака Покенова я не знал. Но в нашем стойбище был кулак Гермогенов.

— Вы его не успели раскулачить? Он убежал с оленями?

— Мы его раскулачили...

— А где Санко?

— Вот Санко,—недоуменно глядя на меня, ответил Микентий.

Санко опускала бюллетени в урну. На ее груди лежали две тугие черные косы. Мальчик и девочка сказали ей «спасибо».

— Она работала в магазине? — вспоминая рукопись Соколова, спросил я.

— Нет.

— Но она работала?

— Она никогда не работала в магазине. Ты что-то путаешь, товарищ.

— Извините,— сказал я и отошел, не понимая, где правда, где вымысел в тетрадах Соколова.

Ночью сидел и переписывал «скипочку».

— Зачем ты переписываешь? Отдай тетрадку, и все,— говорит Тася.

Она лежит в постели и смотрит на меня сонными глазами. Но я не могу почему-то расстаться с рукописью Соколова. Ее мне надо сохранить для себя. Чувствую, она мне будет очень нужна. Я переписываю ее всю ночь. Утром уйду в обратный путь. Тася остается с Ириной.

— Лешенька, милый, я не знаю, как буду здесь без тебя. У меня такое ощущение, будто я тебя теряю.

— Ну что ты, все будет хорошо. Новый год встретим вместе.

— Как далеко еще до Нового года. Я сойду с ума.

Она плачет. Целует меня мокрыми от слез губами. Чтобы не мучить друг друга, надо скорей уходить. Я уйду, а она остается на берегу Элгуни, смотрит мне вслед и, когда я оборачиваюсь, слабо машет мне. И вот уже точка, маленькая черная точка на белом снегу. И вот уже ничего нет...

28 декабря

Коля Николаевич посменвается надо мной. Говорит:

— Разлука крепит любовь.

Но мне не до шуток. Я скучаю, грущу, тоскую. По несколько раз считаю оставшиеся дни до Нового года. Как они тянутся!

— В любовь не верю, просто влечение противоположных полов,— говорит Коля Николаевич.

— Замолчи, или я тебя ударю! — кричу я на него.

— В былые времена дворяне в таких случаях не разговаривали, а сразу били по щекам. Но ты не дворянин... Но-но, тише! В наше время рукоприкладство расценивается как хулиганство. А за это сажают. К тому же я шучу.

— Иди ты к черту со своими шутками.

— Чертей нет и не будет, как любит говорить в таких случаях Соснин. Поэтому не боюсь.

— Довольно трепаться, давай работать.

— По субординации старший техник должен командовать младшим, но коли младший уже человек женатый, а старший еще холостяк, то...

— Ну ладно, хватит. Прошу тебя!

29 декабря

...Получил от Таси записку. Она работает у сопки Канго.

1 января 1938 года

— Как же ты мог опоздать? Я так ждала...

Я подумал: не рассказать ли, как все получилось? Ведь это была довольно занятная история...

Ровно в два часа пополудни, когда солнце село в глубокую седловину Каменной гряды и по снегу пошли алые полосы, мы спустились с крутого заросшего берега на толстый лед Элгуни. До Канго было сорок километров, путь по тайге немалый, но и времени у нас было достаточно до наступления Нового года — целых десять часов. Шли мы быстро. Передним я, за мной, на расстоянии метров трех, с веревкой наготове, Баженов.

Трещал, оседая, лед. Глухо гудя, пронеслась под ним вода. На перекатах она прогрызала лед и, выплескиваясь, застывала буграми, образуя наледи. Неподалеку от нас, в стороне, виднелась багряная вершина высокой сопки.

— Талиджак! — крикнул Баженов, неотрывно глядя на сопку.

Она напоминала остывающий уголь. Вот алеет всего лишь кусочек, все остальное черно. Еще минута, и сопка будто подернулась пеплом. Баженов обогнал меня и пошел первым, прокладывая тропу по глубокому снегу.

Пятнадцать километров прошли довольно быстро, удачно миновали несколько черных промнин и бугристых наледей. Времени оставалось еще около шести часов. Но дальше пошло хуже. Баженов провалился под лед. Его сбilo течением, он успел ухватиться за край полыньи, поймать брошенную мной веревку.

Мороз мгновенно остеклил его ватные штаны, низ полушубка, валенки, рукавицы. Дальше идти было нельзя. Мы вышли на берег, отыскивали сухостойную лиственницу, повалили ее, и вскоре, прорвав дым, взметнулся красный язык огня. Рядом с ним — второй. Баженов, стоя меж двух костров, торопливо раздевался.

— Этак недолго и изробиться, — бубнил он себе под нос. — Скажи на милость, какая притча...

Я молчал. Курил, думал о том, что вряд ли теперь успеем добраться вовремя, думал о Тасе, знал, как она волнуется, думал о том трудном, что мы ежедневно испытываем... Прошло часа два, пока удалось подсушить одежду и тронуться в путь. Воздух уже синел. Из-за сопок поднималась луна. Идти стало труднее, во многих местах, то ближе к берегам, то на середине, проступала из-под снега вода, следы намокали, чернели.

Время шло. Мы, вместо того чтобы напрямую двигаться вперед, часто переходили с берега на берег, отыскивая твердый лед.

— Следы черные! — кричал идущий позади Баженов, и я круто сворачивал в сторону.

Когда наконец-то обогнули Талиджак, часы уже показывали без малого восемь. «Все пропало», — подумал я, понимая, что по шесть километров в час нам не одолеть.

— Если считаете, моя провинка, так зря, — начал было Баженов, прикрывая от морозного ветра рукавицей лицо.

Я не ответил.

— Если б шли первым, тоже могли оха поймать, — не переставал оправдываться Баженов. — Так что зазря сердитесь...

— Я не сержусь. С чего ты взял?

— А молчите?

— Чепуха, — ответил я и прошел к берегу. Сел на валежину. Я знал: теперь уж к Новому году нам не успеть, никак не успеть. Было досадно. Я не верю ни в какие предсказания и глупые приметы, но тут вспомнил: тот, кто встретит Новый год один, будет весь год один... И прислушался.

В тишине замороженного, сухого воздуха пронесся хrap.

— Олени! — Баженов вскочил.

По лунной реке, запрокинув рога, бежали олени, впряженные в легкие нарты.

— Эй! — закричал я и кинулся наперерез.

Олени встали. С нарт соскочил Покенов.

— Однако здравствуй, — любезно сказал он и подал руку.

— Здравствуй, здравствуй, — ответил я. — Опаздываем, понимаешь, опаздываем.

Покенов внимательно посмотрел на тяжело дышавших оленей. Они, наверно, проделали немалый путь. Потом посмотрел на нас.

— Однако, пожалуй, подем, — сказал он. — Садись. — Он положил мне на колени кожаный мешок. — В Байгантай ходил.

В магазин ходил. Береги однако.— И, тонко крикнув: «Эй-эй!», побежал рядом с оленями.

Я радовался: если олени будут бежать километров по десять в час,— а это им пустяки,— то мы наверняка успеем.

Покенов изредка садился на нарты и, немного передохнув, опять бежал по снежной целине, подгоняя оленей. Но они все чаще переходили на шаг, все чаще останавливались.

— Эко, ленивые животные! — злился Баженов. — Да гони, гони же их! — торошил он Покенова. — У нас самая захудалая клячонка — и та пятерых мужиков на розвальнях запросто везет, а тут два битюга — и не могут троих свезти. Гони их, гони!

— Однако тяжело,— сказал Покенов,— надо немного бежать тебе, тебе...

Мы вскочили с нарт.

Эй-эй! — крикнул Покенов. Олени рванули вперед. И сразу мы остались далеко позади.

— Чего ж это он над нами галится-то, а? — вскричал Баженов. — Ведь убер!

Олени скрылись за поворотом реки. Но когда мы подошли к повороту, Покенов нас ждал.

— Однако садись,— сказал он и посмотрел на луну. Она стояла над головой.— Совсем плохо... Три человека, два оленя... тяжело...

Дальше ехали шагом. Олени еле тянули нарты. В одиннадцать тридцать были у распадка. От него до Канго еще шесть километров. Я понуро шел за нартами. Баженов, этот всегда и все безропотно переносивший человек, ворчал. За распадком олени остановились.

— Приехали,— невесело рассмеялся я.

— Опоздать не будем Новый год,— сказал Покенов, беря с нарт кожаный мешок.— Я, однако, тоже опоздал. Жена ждет, маленький внук Кеша ждет, маленький внучка ждет... Игрушка ждут.— Он развязал шнурок и достал из мешка большого деда-мороза и золотую звезду.

Я удивленно посмотрел на него, на игрушки, и только тут мне стало ясно, что Покенов, так же как и я, а может, и еще сильнее, спешил домой, к семье, вез ребятам подарки.

Стало очень тихо, как только может быть тихо на далекой заснеженной реке ночью, среди сопок, когда мороз доходит до пятидесяти градусов и луна стоит над головой белая, словно в инее.

Я подошел к Покенову, хотел что-то сказать — и понял, что никакие слова не могут объяснить того хорошего, что происходило сейчас у меня на душе. Но Покенову было не до меня, он внимательно следил за минутной стрелкой и, когда она сошла с часовой, торжественно поднял золотую звезду и, словно прислушиваясь, тихо сказал:

— Новый год пришел... Здравствуй!

...Вот так подробно я мог ответить Тасе, но это ей не нужно, поэтому можно было и коротко.

— Ты спрашиваешь, почему опоздал? — переспросил я Тасю.— Баженов оступился в промонну. Пока сушился, время и ушло... Но это позади.

— Да... Я рада, что ты со мной. Как думаешь, рабочие не подсматривают в стенку? Там столько щелей. Может, лучше погасить свет?..

Она дует на свечу. У нас темно, но из другой половины зимовки сквозь щели просачивается тусклый свет. Вокруг свечки сидят Резанчик, Баландюк, Юрок и Баженов. Они гадают. Четыре шапки лежат на столе, под ними — хлеб, перец, деньги и бумажка с нарисованным черепом и двумя костями. Это гадание затеял Резанчик, он и меня звал. Но зачем мне гадать? У меня все впереди ясно и радостно.

Из-за стены доносится хрипловатый голос Резанчика:

— Давай, Баландюк, подымай любую шапку. Поглядим, чего тебя ожидает...— Пауза и...— Ого! Деньги. Будешь с деньгами.

— С деньгами? Откуда они? Хотя да, да или нет, нет, стой, ну да, я же работаю, срок отбуду, хотя нет, нет, вот чудак, понятно, отбуду, да, да, деньги дадут. Хотя нет, нет...

— Давай, Баженов, выбирай любую шапку из трех... Ого! Хлеб! С хлебом будешь, пахан.

— Ласбушек басенько...— ласково говорит Баженов.

— Нас не забудь, если доходить будем. Выбирай шапку. Юрок. Так, перец. Горькая жизнь тебя ждет. Ну, мне, значит, смерть осталась. Смерть,— в раздумье говорит он.

— Как хорошо, что мы не стали гадать,—прижимается ко мне Тася,— вот бы ты вытащил смерть, я б с ума сошла от ужаса.

Я прижимаю ее к себе:

— Я тебя очень люблю, Таська...

— И я... и я...

...Вот уже восемь дней мы одни. Наша зимовка утонула в снегу. По почам со страшной силой стреляет мороз, но нам тепло. добрая душа Баженов даже ночью приходит, чтобы подложить в печку. Днем он ставит петли на зайцев, тетеревов. Резанчик, Юрок и Баландюк копают на трассе шурфы.

Мне поручено сделать промер глубин на реке против сопки Канго. Я сделала это довольно быстро. Лед оказался нетолстым, наледей не было. Всего три дня, и работа закончена. Надо бы идти в Байгантай. Но Тасе осталось работы дней на пять, и я решил дожждаться ее. Сутками мы не выходим из зимовки. Да и зачем? Там холод...

Голубое, морозное небо высоко стоит над белой тайгой, белыми сопками, белой рекой.

Толстые ветви уснувших деревьев неподвижны в морозном воздухе. Горит, сверкает жесткий снег. На Элгуни ветер. Сухой поземкой несетя он по шероховатому льду, наметает высокие бугры у подножия Косогора. Выше, на безлесных склонах, ветер свободнее и резче. Там, словно железными листьями, гремит горный дубняк.

Не знаю, но сегодня, вот уже который раз, я думаю о Мозгалевском. Я чувствую себя виноватым перед ним: сижу в тепле, в то время как он мерзнет. Старик ведет съемку Косогора. По Элгуни, как по коридору, проносится пронизывающий до костей ветер. Мозгалевский раздраженно смотрит на спиртовой уровень. Его трудно установить. Зябнут руки. Старик дует на них, но и дыхание у него не очень-то жаркое. Руки еле держат карандаш. Застывший графит режет бумагу. Цифры чуть видны. Мозгалевский припадает к помутневшему от холода окуляру теодолита. Медный винчик больно жжет прикоснувшееся веко. Мозгалевский ругает мороз и, утерев набжавшие слезы, припадает вновь к теодолиту. Седые усы у него превратились в две желтые сосульки, на бровях лед.

Начинает падать мелкий, колючий снег. Мозгалевский смотрит в трубу, и снег уже падает не с неба, а летит панскось сверху, и Перваков кажется стоящим вверх ногами. Рейка плохо различима в снегопаде. К тому же кусты...

— Качай! — кричит Мозгалевский.

Тетрадь двадцать седьмая

И в то мгновение, когда рейка проскакивает между кустов, он берет отсчет. Съемка — работа медленная и кропотливая. Из замеренных вертикальных и горизонтальных углов всех характерных точек на местности он потом вычертит карты-планшеты. На планшетах будут указаны лога, реки, горы, обрывы, и среди них будет извиваться красной линией трасса... Старик согревает руки дыханием. У рабочих обморожены щеки...

— Тася, мне пора идти в Байгантай...

— Зачем?

— Там ждут меня...

— Тебе надоело со мной.

— Что ты говоришь глупости! Просто неудобно...

— Но ты же можешь сказать, что лед толстый, что сплошные наледи...

— Мне это и так придется говорить... Врать. Но больше оставаться нельзя. Я не могу.

— Ты меня оставляешь одну?

— Но ведь ты же до меня одна работала? Мне надо идти.

— Что ж, уходи, но только знай...— И, не договорив, Тася на-
дает лицом на подушку и плачет.

Она тоненько вскрикивает: «Ай, яй, яй, яй...» Плечи, которые
я столько раз обнимал, вздрагивают.

— Тася! — Я пытаюсь приподнять ее, но она зарывается ли-
цом в подушку.— Ну послушай... Тася... Ну хорошо, хорошо...
Я останусь.

Постепенно она успокаивается. Плечи перестают вздраги-
вать. Заплаканная, она смотрит на меня:

— Ты не должен меня обижать... Я тебя так люблю.— И она
обнимает меня, и плачет, и смеется.

10 января

Сегодня наконец-то вышли в Байгантай. На сердце у меня
тревожно. Не знаю, как я буду глядеть в глаза Костомарову.
Каждый день, каждый час ему дорог. А я выбыл на целую не-
делю из строя.

— Подумаешь,— успокаивает меня Тася.

— Не говори так...

— Нам надо было побыть вдвоем? Ты же сам радовался...

— Это верно, но теперь как-то неловко. Стыдно перед Косто-
маровым. Даже Мозгалевский увлекся его скальным вариантом.
Говорит, ничего более смелого и оригинального не приходилось
делать за всю жизнь. Я, конечно, мало разбираюсь в технике
изысканий, но это, наверно, будет здорово: железная дорога пойд-
ет по косогору. Внизу, метрах в сорока, ослепительно сверкает
река. Паровоз, выворачиваясь на кривой, тянет состав на дру-
гую кривую, и река уже снова сверкает под колесами поезда.
А паровоз бежит дальше, прижимаясь к скалистой выемке, бе-
жит по третьей кривой... И таких кривых двенадцать штук...

— Можно подумать, ты автор этого варианта. Как расписы-
ваешь,— насмешливо говорит Тася.

— Это не мои слова. Так говорил Костомаров...

— Я тебя начинаю ревновать к нему. Ты говоришь и ду-
машь больше о нем, чем обо мне.

...Напрасно я боялся встречи с Костомаровым. Его нет. Ко-
му-то очень надо было сообщить в штаб экспедиции о нем и
Ирине, а тот, кто получил в штабе эту весть, поспешил сообщить
обо всем жене Костомарова. Она написала письмо Градову.
И вот Костомарова нет. Он снят с работы. Это не укладывалось
в голову. Ну да, у него семья — жена, сын. Но ведь надо знать
его жену, жизнь его с нею. Я ее никогда не видел, но мне доста-
точно было послушать ее голос, услышать, как она обрывала
бедного мальчишку, чтобы понять, что это за женщина.

А что же с Ириной? Где она? Я бегу к ее дому. Но там ее нет. Соснин говорит, что она как проводила Кирилла Владимировича — это было три дня назад, — как ушла, так и не появлялась.

— Куда же она ушла?

— Не знаю.

— Но как же так можно? Почему никто не тревожится? — Я бегу к Мозгалевскому. — Послушайте, вот уже три дня нет Ирины. Где она? Что с нею?

— Ну откуда же мне знать, — удивленно разводит руками Олег Александрович, — она мне не докладывала, и я ничего не знаю. Меня возмущает другое — как мог начальник партии допустить сожителство с сотрудницей и тем самым поставить под удар огромное дело, весь свой замысел, весь творческий поиск, я бы даже сказал — инженерный подвиг — скальный вариант!

— Но ведь вы же знали? Почему только теперь говорите?

— Потому что я старый дурак! Мне даже показалось, что эта любовь помогает ему. А вот теперь, извольте, партия без начальника.

— Но ведь работа почти закончена?

— Закончена тогда, когда принята... — И вдруг закричал на меня: — Неужели вы не понимаете, что это Градову на руку? Это значит, опять может возникнуть правобережный вариант! Этого я, конечно, не знал.

Но надо искать Ирину. Где ее искать? Может, Лыков знает?

Лыков ничего не знал. Он сидел мрачный и не хотел разговаривать.

— Послушай, — тряхнул его за плечо Коля Николаевич, — где она в последний раз работала?

— Не знаю... С того дня она ни разу со мной не разговаривала, — глухо ответил он.

Надо сказать, что «с того дня» и я к нему утратил всякий интерес, и если бы не исчезновение Ирины, то вряд ли он попал бы теперь на страницы дневника. Но вот он сидит за столом, рядом с ним в мешочках геологические образцы. Как потускнел этот парень! Уже нет того бравого вида, какой был в начале пути. И ничто уже не напоминает в нем героя из брет-гартовского романа. Борода у него растет кустиками. Глаза почему-то стали небольшими, веки красные. Ворот рубахи засален. Нелегко ему живется. Правда, была у него одна попытка восстановить свое доброе имя. Как-то Костомарову надо было послать в отряд Мозгалевского деньги для расчета с рабочими. Под рукой, кроме Лыкова, никого не было, и он решил отправить его вместе с Батуриным. Лыкову показалось, что вот представился прекрасный случай всем доказать, что он человек храбрый и не нуждается в сопровождающих.

— Вы забываете, что среди рабочих есть ворье. А у вас будут деньги. Восемнадцать тысяч,— сказал Костомаров.

— Разве кто-нибудь знает об этом, кроме нас?

— Нет. Но догадаться могут. Во-первых, я выдал зарплату, а рабочие знают, что до появления самолетов денег у нас не было. Во-вторых, вы уходите к Мозгалевскому, а идти туда надо только с деньгами. И поскорее. Рабочие давно ждут денег.

— Ну и что? Я принесу... Если даже кто и догадается, зачем я пошел в Меун, так слишком поздно. Я уйду завтра на рассвете. Я пойду один — или совсем не пойду.

Костомаров скупо улыбнулся:

— Хорошо, пойдете один.

На другой день Лыков вышел из лагеря рано утром.

Путь сначала шел по равнине, но вскоре равнина окончилась и начался подъем по крутому склону Байгантая.

На вершине дул ветер. На утреннем, еще темном небе светились звезды. Окруженная мерцающим ореолом, луна только-только всходила.

Лыков спустился вниз. Теперь путь лежал к темной гряде сопок основного хребта.

Можно бы и идти по реке, но там путь слишком длинен и к тому же прост. Здесь же обрывы, тут уж ни души, и стоит только пересвалить через хребет и пройти километров пятнадцать густой труднопроходимой тайгой — и вот он, лагерь Мозгалевского.

К полудню Лыков забрался на вершину Малого хребта. Была пройдена треть пути. Оставались спуск в долину и подъем на Большой хребет.

Когда он миновал и эту гору, то внезапно заметил что-то похожее на темный комок, мелькавший среди деревьев. Комок метнулся, пропал, показался вновь. Лыков разглядел человека.

Первой мыслью была догадка, что Костомаров все же послал сопровождающего. Но когда человек промчался по склону и, резко затормозив, остановился, видимо заметив, что его увидели, а затем упал ничком в снег, Лыков насторожился. Было в его поведении что-то подозрительное, и это заставило вспомнить об опасениях Костомарова. Время шло, а человек не показывался. И тогда стало ясно — неизвестный избегал встречи.

Лыков встревожился. Конечно, если бы не деньги, то все было бы проще. Поэтому оставалось одно — уйти, и чем скорее, тем лучше, оставив преследователя далеко позади. И Лыков заторопился.

Начинало смеркаться, когда он достиг вершины последнего перевала. Только на мгновение остановился — прислушался, всматриваясь в сумерки. Тишина и глухое безмолвие окружали его.

Начался третий, и последний, спуск, тянувшийся несколько километров, то полого, то ступенями, то пересеченный логами.

Ничего не различая, Лыков медленно пробирался от дерева к дереву, продолжая спуск. Он падал, натякался на деревья, снег забивался за воротник, руки зябли, рюкзак теснил грудь. Но тревога все возрастала, она уже переходила в страх, и Лыков, преодолевая усталость, все дальше уходил от преследователя.

На ночном небе не вспыхнули звезды. Густая тьма была на земле, и только слабо мерцали светящиеся стрелки и буквы компаса. Наступившая темнота принесла спокойствие. Колея терялась в ночи, и преследователю, кроме спуска, приходилось еще тратить время на отыскивание следа.

Лыков спускался почти ощупью. И, не заметив обрыва, полетел вниз; он еще не успел испугаться, как уже лежал пластом. Выплюывая снег, медленно встал и сразу же припал на левую ногу. Морщась, развязал ремни и, закусив губы, стащил торбас вместе с меховым чулком, прощупал лодыжку. Боль была в спине. Досада еще больше увеличилась, когда он обнаружил, что лыжные палки при падении отлетели куда-то в сторону.

Становилось холодно. Нужно было или разводитъ костер, или уходить. Он решил идти. Первый шаг заставил его вскрикнуть, второй — только сморщиться, хотя боль была такая же сильная. Он стал осторожно спускаться. Вскоре склон перешел в густо заросший увал.

Приближалось утро. Тусклыми силуэтами начали проступать деревья. Теперь тревога еще больше усилилась. Опасность была рядом. Она могла каждую секунду прогнеть смертельным выстрелом. Надо спешить!

Тайга начала редеть. В просветах деревьев замелькали серовато-голубые куски неба. Стало светлее, потом тайга расступилась, и белое, широкое полотно реки появилось впереди. Идти по реке было легче. Боль притупилась. Лыков пошел быстрее и вскоре увидел поднимающийся из зимовки на берегу реки дым.

Через час, подогретый водкой, Лыков лежал в постели. Он рассказывал о том, каким маршрутом шел, как все же кто-то пронюхал, что он несет деньги, но «я его ловко провел. Он шел за мной, и я подвел его к обрыву. Я знал эти места, когда проводил глазомерную съемку. Высота обрыва была не меньше тридцати метров».

— И вы прыгнули? — удивленно спросил Олег Александрович.

— Я должен был прыгнуть. И прыгнул.

— Ну, молодчина. Это, знаете ли, далеко не каждый осмелится прыгнуть.

Лыков торжествовал.

— Но интересно, кто бы это мог быть? Резанчик? — призадумался Мозгалевский.

В эту минуту в зимовку ввалился Батулин.

— А-а, охотник,— приветливо поздоровался с ним Мозгалевский,— все бродишь? Опять, наверно, сохатого поймал? А тут, брат, такие дела Аркадий Васильевич рассказывает... Ну-ка, расскажи, Аркадий Васильевич.

Но Лыков не стал рассказывать, а как-то вяло отмахнулся и закрыл глаза.

— Устал,— пояснил Мозгалевский и стал сам рассказывать.— Понимаешь, Аркадий Васильевич вез мне деньги, чтобы рассчитаться с рабочими, и чуть не стал жертвой. Какая-то темная личность увязалась за ним... Да-а... Пыталась настичь. Но Лыков завел эту личность в такое место, что сразу отделался. Прыгнул с обрыва и, представь себе, тридцать метров летел по воздуху...— Он подмигнул Батулину.

— Что же это за личность такая? — произнес Батулин.— Если только кто из ваших рабочих...

Лыков удивленно посмотрел на эвенка. Охотник раскуривал угольком трубку. Он сидел на корточках, и лицо у него было, как всегда, непроницаемое.

«Тот это или не тот? — подумал Лыков и решил: — Не он. Иначе зачем бы ему прятаться?» И тогда, повселев, несколько хвастливо заявил:

— На Малом хребте я видел такого шатуна... Жаль, ушел он.

Батулин еле заметно улыбнулся, но тут же склонил голову и уставился на огонь печки. Тяжелое подозрение опять завладело Лыковым. Он отвернулся лицом к стене и уже больше не вмешивался в разговор.

На печку выплеснулась из чайника вода.

Стали пить чай. Лыков прислушивался к разговору, но больше о происшествии не говорили, и он успокоился.

Проснулся он на другой день поздно. В зимовке было тихо. На окнах сверкал иней. Изыскатели ушли на работу, Батулин собирался в тайгу.

— На сохатого? — дружелюбно спросил Лыков.

— Нет, в обратный путь.— Батулин встал.— Палки ваши я подобрал. Тут они, у зимовки.

— Так чего ж ты прятался? — шепотом, дрожа от стыда и удивления, спросил Лыков.

— Иначе нельзя, Кирилл Владимирович наказал следить за вами, потому мало ли что может случиться в тайге, да велел, чтоб я незаметно шел. Вот я и следил украдкой, издали.— И, помолчав, добавил: — А гора была совсем малая, со страху вам, верно, показался обрыв большим.— И, вскинув карабин, Батулин вышел из зимовки.

Нет, не смог Лыков восстановить свой авторитет. Больше того — всем стало известно, как он шел, вернее — не шел, а трус-

ливо удирал от Батурина и хвастался в зимовке. Не меньше недели изыскатели потешались, рассказывая, уже с добавлениями, как во второй раз струсил Лыков.

Мы с Колей Николаевичем вышли от него.

— Ну и сопля,— сказал Коля Николаевич.— Неужели Ирина могла такого любить?

— Такого она не любила...

— Это верно.— Он помолчал и сказал: — А все же непонятно, как это так, в самый ответственный момент снять с работы начальника партии, будто нельзя через месяц разобраться в этом деле. Был бы Лавров — ни за что бы не отпустил.

— А откуда стало известно в штабе про их любовь?

— Верно! Какая же это гнида сообщила? — всполошился Коля Николаевич.— Не иначе — радист.

Радиста Валерия Лукина мы не любили. Это был парень чванливый, почему-то ставивший себя выше нас, не говоривший, а пренебрежительно выцеживавший сквозь зубы каждое слово. У него росла какая-то жиденькая рыжеватая апостольская борода. Вместо того чтобы стыдиться ее, радист кичливо говорил, что он на несколько поколений дальше ушел от обезьяны и что тот, у кого густая волосня, куда как близок к своему предку.

— Идем к нему! — загорелся Коля Николаевич.

Радист сидел за приемником, с наушниками на голове.

— Куэсэль! Куэсэль! — повторял он непонятное слово, не обращая на нас внимания.

— Слушай,— сказал Коля Николаевич и тряхнул его за плечо.

— Уйдите вон,— сквозь зубы сказал Лукин.— Я работаю на коде...

Вряд ли мы послушались бы его, если б не увидели в окно Ирину.

Она еле шла. Глубоко запавшие глаза смотрели усталю и безучастно. Мы выбежали:

— Ирина, где ты была?

— Далеко...

20 января

Сегодня страшный день. Я даже не знаю, с чего начать... Последний раз я видел Ирину часа за три до ее смерти. Она сидела на пороге и неотрывно смотрела вдаль. И настолько ее взгляд был пристален и глубок, что мне даже показалось, будто она видит что-то за тысячи километров.

— Здравствуй, Ирина! — сказал я.

Она не ответила.

— Что с тобой? Почему ты не отвечаешь?

Не сразу она посмотрела на меня. Словно ей надо было

сделать какое-то усилие, чтобы оторвать взгляд от той дали и увидеть меня.

— Алеша...— Она слабо улыбнулась. Было в ее улыбке что-то растерянное и грустное.

— Где ты была эти дни? — спросил я.

Тетрадь двадцать восьмая

— В тайге.

— Одна? Ночью? Все три дня?

— Это не страшно...— И она опять стала смотреть вдаль, по верх горных хребтов, леса, в сторону юга.

— Куда ты смотришь?

Она оживилась:

— Если очень пристально смотреть, то можно увидеть его. Ты скажи ему, что я его видела. Он был очень далеко от меня, но я смотрела ему в глаза.

Я понимал, что она говорит о Костомарове, и все же спросил: «Про кого ты говоришь?», потому что это было за пределами разума.

— Про Кирилла...

— Ты нездорова.

Она ничего не ответила. Я вернулся домой и наказал Тасе, чтобы она пошла к Ирине. Это было в час дня, а в четыре ее не стало.

Тася рассказывала так.

— «Ты, может, есть хочешь?» — спросила я ее.

«Я даже запахи не могу выносить. Мне тяжело от них. Я ничего не могу есть», — ответила Ирина.

«Ты в положении? Я слыхала, так бывает...»

«Откуда я знаю?.. Но у меня очень болит голова и тошнит».

«Ты, наверно, в положении».

«Очень прошу, помолчи».

Я молчала долго и хотела уже уйти, как Ирина заговорила: «Во всем виновата только я. Ты не знаешь, что для него значит скальный вариант».

«Но работа почти кончена, так что скальный вариант сделан, — сказала я, — и волноваться не стоит...»

«Когда он уезжал, очень просил Олега Александровича защищать скальный...»

«Тем более...»

«Никто, кроме Кирилла, не может защитить скальный...»

«Ты зря так расстраиваешься. Приедешь в Ленинград, и все будет хорошо... Ты так изменилась, даже глаза запали...»

«У меня очень болит голова», — как-то безнадежно устало опять сказала Ирина.

«Надо тебе отдохнуть. Поспи...»

«Я много ходила... Я все время ходила, даже ночью...»

«Какие у тебя громадные валенки...»

«Это не мои. Соснин какие-то дал... Свои я прожгла у костра. А эти неуклюжие. Я натерла ногу. Еле дошла.— Она помолчала и смущенно сказала: — И в паху болит».

«Еще бы, столько ходила... И простыла, наверно. Хочешь, баню затоплю?»

«Лучше завтра...»

Потом она негромко сказала:

«Иным счастье дается на всю жизнь, иным на час, но его так много, что хватает до смерти. Мне хватило».

Я удивленно поглядела на нее: о какой смерти она может говорить? Но ничего не сказала. Ушла.

Вернулась через час, принесла чай.

«Ну как?» — спросила я ее.

Она посмотрела на меня. Но какой это был взгляд! Словно она о чем-то просила, умоляла спасти и в то же время понимала, что это невозможно. Глаза у нее стали большие и какие-то далекие-далекие, будто и видели меня и не видели. И тут я поняла, что она тяжело больна, что она даже может умереть, и побежала к радисту.

«Я передам,— выслушав меня, сказал Лукин,— но вы должны знать, что врачу не так-то легко добраться до нас. Посадочной площадки для самолета нет, а на лошадях и оленях недели две ехать, не меньше».

«Это не ваше дело, как врач будет добираться. Передавайте».

Он связал меня со штабом экспедиции. Подошел врач, стал спрашивать. Я отвечала. Но объективные данные оказались не очень серьезными: головная боль, тошнота, утренняя температура тридцать семь и три. Что он подумал, я не знаю, но предписал постельный режим, диету и грелку к ногам... А в четыре часа Ирина умерла.

...Говорят, если не видишь человека мертвым, то не веришь в его смерть и думаешь, что он жив. Я не видел Ирину мертвой. Я не мог, не хотел видеть ее такой. Только и разговоров у нас было о ее смерти. Но я не хотел слушать этих разговоров, уходил. Не знаю, но я почему-то думал, что во многом виноват сам,— я должен был оберегать Ирину. Она была одна, и поэтому все так получилось. Будь я с нею в эти тяжелые для нее дни, ничего бы не произошло. Я не знаю, откуда у меня такая уверенность, но я убежден в этом. Правда, я был далеко, я ничего не знал, но все равно это не оправдывает меня. Я слишком был занят своим маленьким счастьем.

Снег твердый, хрустящий. Он легко выдерживает человека. Он визжит, когда идешь. Сорокапятиградусные морозы. Я все время прикрываю лицо рукавицей. Нам осталось доснять кусок косогора, и тогда — в Байгантай. Живем мы в палатке. Спим не раздеваясь, и от этого все тело измучено. Меня часто ругает Коля Николаевич за то, что я скис. Это верно, меня ничто не радует.

— Ты бы хоть пожалел Тасю,— говорит он.

— Да, конечно, Тасю надо жалеть...

Но у меня никак не укладывается в голове смерть Ирины. Этого не может быть, чтобы она умерла! Я не верю... Нет, стоит мне только прийти в Байгантай, и я увижу ее. В эти дни я много думаю о смерти. Она разная, эта смерть. Хорошо, когда человек умирает от старости. Он постепенно гаснет. Гаснет его сознание, и вместе с сознанием гаснут желания, мечты, зовы. Мир умирает для старого раньше, чем умрет он сам. Но как больно, когда человек должен умереть в полном сознании!

— Рейку качай! — кричит Коля Николаевич.

И Мишка Пугачев качает рейку. Он стоит на вершине косогора. Маленький, не больше муравья. Того и гляди, оттуда его сдует ветром. Коля Николаевич прячет нос в рукавицу. Называет расстояния, угол. Я записываю. Чтобы карандаш был мягче, я держу его во рту... Не верю в смерть Ирины. Неужели никогда я не услышу ее смеха, ее голоса?..

«Ты что, Алеша, так на меня смотришь?» — Она смеется и грозит мне пальцем.

«Мечта и судьба, как это разное,— думаю я.— Не знаю, бывает ли так, что мечта воплощается в судьбу? У меня этого нет и теперь никогда не будет».

«Алеша, почему ты меня не спас?»

«Я хотел, но он успел раньше...»

Она горько усмехнулась и стала смотреть на реку...

«Тогда я не спас ее и теперь не спас»,— думал я.

— Слушай, ты будешь работать? — Коля Николаевич трясет меня за плечо.— Ты спишь, что ли?!

Я записываю углы и расстояния от теодолита до рейки.

«Ха-ха-ха-ха,— заливается Ирина.— Я так рада, что всех вас влжу. Я буду еще громче говорить, а то вы давно меня не слышали...»

Я каждую минуту слышу ее голос. Я с ума сойду!

— Давай, давай, записывай! Хватит тебе задумываться,— кричит Коля Николаевич.— Думают только индюки...

Я записываю. Но самое нелепое — это то, что врач все-таки едет. Едет на вскрытие. К живой не счал, к мертвой едет. Хоронить ее запретили. Вот уже шесть дней она лежит мертвая.

— Да это же издевательство! — кричу я.

— Слушай, я тебе серьезно говорю, кончай думать. Легче будет.

— А зачем мне легче?

— Ну, понес... Давай записывай... Рейку качай!

Удивительно, что за все эти дни я ни разу не вспомнил о Тасе. Будто для меня ее никогда не было.

30 января.

Сегодня сбежал Резанчик.

1 февраля

Вместе с врачом приехал Градов.

— Что тут у вас творится? — строго спросил он, сбрасывая на пол тяжелый тулуп.

— Умерла Ирина Николаевна... — вздохнув, ответил Мозгалевский.

— Да, неприятная история... Я получил письмо от жены Костомарова. Умоляла вернуть мужа, будто это я увел его от нее или по моему распоряжению. Судя по письму, это высокопорядочная женщина, к тому же мать. Я не мог оставаться равнодушным к ее просьбе, поэтому и отозвал Костомарова. — Тут Градов повысил голос. — Тем более что семья является, как вам всем известно, основой государства, и мы не имеем права тут профанировать. Я уж не говорю о том, что надо думать и об авторитете экспедиции. Или экспедиция, тайга — это место для свиданий, любовных интрижек и дуэлей с заключенными из-за кухарки? — Он растопорчил свои круглые ноздри и пытливо посмотрел на меня, Мозгалевского, Колю Николаевича. — Так что же случилось с его пассией? — Он достал из кожаного чехольчика заварную ложечку и насыпал в нее чай.

— Почему вы так грубо говорите? — сказал я.

— Что? — Градов удивленно смотрел на меня.

— Почему вы так грубо говорите? — повторил я.

— Да потому, голубчик, что разврат я не терплю. Между прочим, где Лыков? — И, не ожидая от нас ответа, что-то насвистывая веселое, опустил ложечку в стакан с кипятком.

— Я не совсем понимаю ваш тон, — медленно сказал Мозгалевский.

— Все в свое время поймете. Но не думаю, чтобы это принесло вам радость. Нет, не думаю...

Вошел Лыков.

— А-а, Аркадий Васильевич, рад вас видеть. — Градов шагнул ему навстречу. — Прошу, прошу. Садитесь. Нам нужно с вами обстоятельно потолковать. Необходимо уточнить некоторые факты...

Лыков при этих словах быстро взглянул на меня и Колю Николаевича и потупился.

— Да, есть некоторые вещи, которые хотелось бы уточнить. Я попрошу вас, товарищи. Мне необходимо поговорить с Аркадием Васильевичем.

Мы вышли. Вышел и старик Мозгалевский.

— Черт, зря я грешил на радиста,— пробормотал Коля Николаевич.— Это вот кто сообщил в штаб. Гад!

Мы пошли к холодному дощанику. Там лежит Ирина. Там сейчас врач. Заплаканная, вышла из дощаника Тася. Вслед за нею, вытирая руки снегом, вышел врач.

— Сепсис,— сказал он, когда мы спросили, от чего умерла Ирина.

— Что это?

— Заражение крови.

— Заражение крови? Откуда оно? — растерянно сказал Коля Николаевич.

— Стерла ногу. Попала инфекция. Вот и все. Печально, но факт.

— Из-за того, что стерла ногу...— недоверчиво сказал Коля Николаевич.

— Не только из-за этого,— сказала Тася.— Она же ничего не знала, думала, Кирилл уезжает по делам... А когда все узнала, то ушла в тайгу. Она все время ходила, даже ночью...

— Бедняга,— сказал Коля Николаевич.

Мне было настолько тяжело, что я чуть не разревелся и, чтобы скрыть слезы, быстро ушел от дощаника, в котором лежала моя Ирина.

2 февраля

Похоронили мы ее на склоне горы Байгантай. Весной этот склон всех раньше оголяется от снега. Солнце в упор обогревает его. Он нежно дымит зелеными травами. С этого места видна Элгунь, виден и косогор, по которому будет проложена дорога, виден эвенкийский поселок...

Но ни Элгуни, ни поселка, ни косогора никогда не увидит Ирина. И поэтому не все ли равно, где она похоронена — на вселом ли склоне горы, на скучном ли? Все это нужно живым. Ей ничего не надо...

7 февраля

В тот же день, когда приехал Градов, к вечеру прибыли еще двое: начальник группы земляного полотна — маленький сухощавый блондин в пенсне, и главный геолог — тучный, с бледным грустным лицом человек.

Два дня они заседали, допустив к обсуждению одного только Мозгалевского, и вот сегодня стало известно, что скальный вариант забракован и назван «бросовым ходом».

Вызвали большие возражения скальные работы. Они очень дорого будут стоить. Вызвал недоумение обход Канго, на котором впритык двенадцать кривых с предельным радиусом. И поэтому Градов настоял на том, чтобы были проведены окончательные изыскания правобережного варианта.

— В конце концов можно даже согласиться на удлинение пути. Но этот путь пойдет по ровной местности, без цирковых выкрутасов, — сказал Градов.

Мозгалевский попытался было сказать, что там много марей, но Градов снисходительно посмотрел на него и сказал, что это он и имел в виду, когда говорил о некотором удлинении пути.

Вечером Олег Александрович сообщил нам, что работа наша признана неудачной и что организуется новый отряд для проведения изысканий на правом берегу.

— Но как же Лавров? Ведь он согласился с Кириллом Владимировичем? — спросил я.

— К сожалению, Лавров не оставил письменного заключения. А словам, — кто же словам в таких случаях верит?

— Но почему же Градов молчал? Он ведь знал, что мы ведем изыскания по косогорю? — спросил я.

— А это вы его спросите.

В тот же день вечером

— Это что же, выходит, мы зря работали? Зря голодовали, мерзли? — наступая на Мозгалевского, говорил Перваков. — Зря Ирина Николаевна померла? Как же выходит такое дело?

За спиной Первакова стояли рабочие, и вольные и заключенные, и все хмуρο и требовательно смотрели на Олега Александровича.

— А собственно, в чем дело? — спросил Градов. Он стоял тут же, с удовольствием покуривая толстую папиросу. — Вы получали зарплату за свою работу, и не ваше дело вмешиваться в инженерные соображения.

— Как это не наше дело? — зло сказал Перваков. — Год жизни нашей здесь! Я тут околевал. У меня кости мозжат от земли да от воды. Что мне деньги? Деньги я везде заработаю. Но я не хочу работать зря. Я работал как надо, а выходит, все полетело как псу под хвост? Кто ж виноват в этом браке?

— Виноватых нет, — с горечью ответил Мозгалевский. — Никто до нас этим путем не шёл. Никто нам не прокладывал готовой трассы...

Градов посмотрел на Первакова и округлил ноздри:

— Да, да, мы первооткрыватели, и у нас могут быть ошибки. Не исключены и жертвы. Но в чем я могу вас всех заверить,— твердо сказал он,— это в том, что мы, несмотря на ошибки, промахи, жертвы, все равно придем к намеченной цели. Это неизбежные потери в большом новом деле.

— Я не это имел в виду...— торопливо сказал Мозгалеvский, но его перебил Градов:

— Это, именно это!

— А кто же вам дал право идти с жертвами да ошибками? — подступая к Градову, гневно спросил Перваков.— Нету такого права. Никто вам его не давал. Если не можешь руководить как надо, так другому уступай место. С жертвами! А ты сам пожертвуйся! А то больно прыткий на чужой-то счет!

— Так,— ледяным голосом сказал Градов.— Вы мне совершенно ясны. Однажды я вас уволил, но вы почему-то оказались здесь. Странно... Тем хуже для вас.

— А ты не пугай! — уже кричал на него Перваков.— Свою правду я где хошь в глаза скажу. Ишь ты, с жертвами!

Градов побледнел и, сузив глаза, осуждающе посмотрел на Мозгалеvского:

— Вот какую реакцию вызвала ваша поправка. Вы этого хотели? Либерализм никому и никогда не приносил пользы.— Он круто повернулся и ушел.

Рабочие несколько минут молча стояли, потом Баженов вздохнул и сказал:

— Чего толмить зря-то, надо робить.

— А по мне, и так хорошо, и так хорошо,— сказал Баландук.— Хотя нет, нет. Или да, да. День да ночь — сутки прочь. Срок идет, а больше ничего и не надо. Хотя что я, вот дурак! Хотя да, да...

Перваков посмотрел на них и, ни слова не сказав, пошел в сторону.

— Значит, так, Алексей Павлыч, по новой начнем,— сказал Юрок.

Я ничего не ответил. Вернее, не успел ответить, потому что меня вызвал Градов.

Он сидел за столом. Его помощники лежали на постелях. Мозгалеvский что-то перебирал во вьючном ящике.

— Садитесь, Алексей Павлович,— любезно сказал мне Градов.— Я вас пригласил затем, чтобы сообщить радостную весть. Вы переводитесь из младших техников в техники. Соответственно и оклад вам увеличивается до тысячи рублей. Вы будете работать в отделе старшего инженера Покотилова. С вами будет работать инженер Стромиллов. Вы обратили внимание, все получили повышение — и Покотилов и Стромиллов. Лыков тоже получил повышение. Теперь он старший инженер. Вам надлежит провести изыскания на правом берегу реки Элгунь. На

днях приедет новый начальник партии. Продовольствием обеспечим. Мне хотелось бы уточнить, каких рабочих вам оставить.

— Никаких. Я не останусь работать.

— То есть?— На меня с любопытством смотрели светлые выпуклые глаза.

— Не останусь, и все!

— Нет, так не бывает, тогда уж извольте объясниться.

— Я слабо разбираюсь в инженерном деле, но я много раз слушал Кирилла Владимировича, когда он говорил про скальный вариант, и, верю, он не ошибался...

— Смотрите,— насмешливо протянул Градов,— он, по собственному признанию, ничего не понимает в инженерном деле — и все же пытается быть адвокатом скального варианта.

— Ну, если он не понимает, то я понимаю,— сердито сказал Мозгалевский.— Я тоже за скальный вариант. И убежден в том, что он единственно правильный в этих условиях. В вас говорит уязвленное самолюбие, только поэтому вы и проводите правобережный вариант...

— Послушайте!— перебил его Градов.— Что вы несете! Вот перед вами кроме меня еще два крупных специалиста, и у всех у нас единое мнение, что скальный вариант — выдумка легкомысленного человека. Мы не можем бросить на ветер миллионы рублей. У нас еще многие живут в подвалах, нам предстоит построить тысячи заводов и шахт, чтобы обогнать передовые страны капитализма.

— При чем здесь это?— с горькой укоризной сказал Олег Александрович.— Громкие слова, а что за ними? Я-то ведь понимаю.

— Ничего вы не понимаете, дорогой мой. Постарели. Стары стали. Да, стары. Пошли на поводу у молодого, безрассудного начальника.

— Можете обижать меня, но время покажет...

— А, да что с вами говорить.— Градов пренебрежительно махнул рукой и спросил меня:— Вы остаетесь или нет?

— Нет.

— Имейте в виду, я вас уволю, если вы не подчинитесь моему приказу.

— Увольняйте.

8 февраля

Странно, я не жалею, что я уволен. Если бы мне это сказали месяц назад, я бы, наверно, был в отчаянии. А теперь даже рад тому, что не заодно с теми, кто против Костомарова. Никакие доводы не могут меня убедить, что скальный вариант не годится. С ним связана жизнь Ирины, и я не могу и не хочу, чтобы ее жизнь была напрасной жертвой.

Сегодня я уезжаю. Мы с Тасей зашли в дом Ирины. Все ее вещи сложены. Их не много — рюкзак и выючная сумка. Эти вещи я передам родным Ирины. Я вынес их. На улице оттепель. Капает с крыш. Солнце, разорвав тяжелые облака, припекает. Тася зачем-то пошла к Соснину. Я сижу, курю.

Из домика радиста вышел Коля Николаевич. Насвистывая что-то веселое, подошел ко мне.

— Дуришь, Алешка, — с укором сказал он.

Я ничего ему не ответил, и это, видимо, ободрило его.

— Надо ловить случай, как теодолитом отсчет на рейке. Раз, два — и в дамках! Вот я уже инженер, а ты как был, так и останешься младшим техником, да еще уволенным. Нашел с кем связываться — с начальником экспедиции.

— Если бы я с ним мог связаться, — с горечью ответил я.

— В том-то и дело, что слабоват в коленках...

— Один слабоват, а если бы все вместе...

— Не зарывайся, дурочка. Слушай, еще можно все поправить. Хочешь, я схожу к Градову?

— Скажи мне, — я поднялся, посмотрел в его зеленоватые лукавые глаза, — должно быть у человека что-то заветное?

— А как же, — уверенно ответил Коля Николаевич, — я вот мечтаю быть начальником партии, а там, кто знает, — может, и дальше двину.

— Ты меня не понял, я говорил о том, что вот мы вместе работали, верили в скальный вариант, неужели так легко можно отказаться от всего, отвернуться?

— Э, философия! Тут рви, пока дают. Градов — мужик ничего, с ним можно работать...

— Ну и иди к черту, работай! Предатель!

Коля Николаевич поглядел на меня с усмешкой и, уходя, без обиды сказал:

— Дурак!

И опять я сидел и курил.

— Ну что, выюнош? — на меня с презрительной усмешкой смотрит Лыков. После приезда Градова он приободрился, сбросил свою куделю и опять играет в брет-гартовского героя.

Я молча встаю. И со всей силой бью. В этот удар я вкладываю все: и ответ на его доносное письмо, и награду за то, что он мелкий, гадкий человечешко, бью за то, что он трус и, кто знает, может, повинен в смерти Ирины, и уж наверняка повинен в увольнении Костомарова, в провале скального варианта. Бью так, что он летит от меня метров на пять. Он вскакивает в крови, растерянный и еще более мерзкий, потому что опять струсил. Я иду на него со сжатыми кулаками. Но он не дожидается. Бежит. Ну и черт с ним! И опять я сижу. И курю.

— Алеша! — Это меня зовет Тася.

Значит, прибыли олени с нартами.

Всего две упряжки. На первой Мозгалеvский с вещами. На второй Батурип.

«Вот и все,— думаю я,— вот и кончилась моя работа в тайге. Кончилась моя изыскательская жизнь».

— Ты знаешь, Прокошка сознался,— радостно говорит мне Батурип, укладывая мои и Тасины вещи на нарты.— Это он убил Витю Соколова. Витя не зря подозревал его. Правильно подозревал. Прокошка боялся его, вот и убил.

Я смотрю на Батурина и не понимаю, чего он веселится.

— Грустная история, и улыбаться тут нечему,— говорю я.

— История страшная. А радуюсь я тому, что пойман враг. Чем меньше будет врагов, тем легче будет жить.

И только теперь глубоко, со всей беспощадностью до меня доходит вся эта история со «скипочками», которые я взял у старухи, с Покеновым и Кононовым, с гибелью неизвестного мне Хаджихметова, вся эта невыдуманная жизнь, рассказанная Витей Соколовым, которого я никогда не видел и не знал. Ведь это же все правда!

— Значит, Прокошка сознался! А где же Кононов?— спрашиваю я.

— Какой Кононов?

— Ну о котором рассказывал в своих тетрадях Соколов,

— Кононова нет. Есть один Покепов. У него Прокошка работал. С ним вместе бежал из колхоза. Никакого Кононова нет.

Опять какая-то путаница. Но я уже понимаю, в чем дело. В рукописи Соколова, как и у всякого талантливого писателя, правда перемешивалась с вымыслом. Но от этого она не стала хуже. Осталась той же, единственной правдой, которая помогает честным людям бороться с врагом, строить свое счастье. Об этом я уже думаю, сидя на нартах.

Олени бегут быстро, и вскоре стойбище Байгантай остается далеко позади. Батурип то садится на нарты, то бежит рядом. Несколько раз бежал и я, но с непривычки быстро уставал. Так мы проехали километров пятнадцать, как вдруг позади показались олени. Они быстро нагоняли нас. Это ехал Градов со своими помощниками. Десять оленей, пять нарт, четыре человека. Это, конечно, не нам чета. Они нас догнали на протоке. Наши олени тяжело носят боками, храпят. Батурип, как только градовские упряжки поравнялись с нами, начал о чем-то говорить с проводником, маленьким, широкоскулым парнем. Тот, видимо, согласился, потому что стал перегонять одну свободную упряжку Батурина.

— Что такое?— строго спросил Градов.

— Тяжело... Хочу взять у вас одну упряжку,— ответил Батурип.

Тетрадь двадцать девятая

— Ни в коем случае. Снимите лишний груз. Должны ехать только Олег Александрович и Калинина, больше никто. Если тяжело, то Калинина должна вернуться в Байгантай.

— А с кем я пойду? Одна?

— Ну, я думаю, если этот саботажник,— Градов кисло улыбнулся, взглянув на меня,— не захотел пойти на правый берег, то с вами-то, наверно, пойдет.

Нарты уехали. Мозгалеvский помолчал, опустив голову, и подошел ко мне:

— Ну что будем делать?

— Мы не вернемся в Байгантай, Олег Александрович,— говорит Тася.— Пусть вещи едут на нартах, а мы пойдем пешком.

— Смотрите сами, как лучше... Алеша, мне хотелось бы сказать вам несколько слов.— Мы отошли.— Помните, я как-то вам говорил о том; что скоро перестану ездить на изыскания, что, мол, становлюсь стар... Так это я говорил просто в минуту душевной усталости. Сил у меня еще достаточно. И я не хотел бы, чтоб у вас создалось впечатление, будто и на самом деле Градов отстранил меня от работы потому, что я стар. Он все время на это делал упор, но это не так. Тут дело в скальном варианте. Скальный вариант — слишком необычное инженерное решение. Я ведь вначале относился к нему с предубеждением, но постепенно меня покорили ум, дерзание, талант. Я увидел творца! И целиком доверился Костомарову. Но иногда на меня нападало сомнение, и я говорил Кириллу Владимировичу о Градове, о том, что он сторонник правобережного варианта. Костомаров отмахивался. «Знаете,— говорил он,— есть выражение «работать в интересах дела». Так вот, в интересах дела и надо творить. А не в интересах Градова или даже кого-либо вышестоящего. Мы не для градовых работаем и не в угоду им. Работаем для народа, а народ — это наша совесть и смысл жизни». Это очень правильные слова! Короче говоря, я понял, что мешать Костомарову не надо. И старался всячески помогать ему в его смелом деле...— Олег Александрович попыхал погасшей трубкой.— Но Градов оказался опаснее, чем даже я предполагал. И вот скальный вариант забракован. То, что было важным, мудрым, теряло всякое значение в глазах комиссии. Чем дерзновеннее было инженерное решение, тем больше усмешек оно вызывало у Градова. Бросовый ход... У меня такое ощущение, будто я прочитал великолепную романтическую книгу и теперь закрыл ее последнюю страницу...

— Вы хотите сказать, что скальный вариант совсем забракован?— спросил я.

— Ну, не совсем... Надо бороться...

— Так боритесь!

Олег Александрович раскурил трубку.

— Бороться? Я буду бороться. Я поеду в главк, я там все расскажу. Но пока трудно защищать скальный вариант. Для его защиты нужен полный проект. А разве Градов позволит это сделать? Он приложит все силы, чтобы опорочить наш вариант...

— Но неужели вам не поверят? — с болью вырвалось у меня.

— В нашем деле верят только точному инженерному расчету. Чувства и ощущения — плохие помощники... А вам надо учиться. Из вас может выйти хороший, честный изыскатель. — Олег Александрович прошел к своим нартам. Уехал.

А мы пошли пешком.

Какое безмолвие! Вокруг — все белое. Узкий след тянется вдоль реки. Идти легко. Олени уже скрылись. Но есть след, и мы идем. С реки след сворачивает в сторону. Идет по редколесью, подымается все вверх, вверх. И вот мы уже на вершине перевала. Теперь путь вниз. День яркий, солнечный. Как сверкает снег! Кажется, будто отовсюду, куда ни помотришь, наведены на глаза зеркальные зайчики.

— Они далеко уехали. Мы их не догоним, — говорит Тася.

— Догоним. Вся ночь впереди. Давай отдохнем.

Я сбросил снег с валежины, разостлал кошму. Тихо. Только где-то стучит дятел.

— Помнишь, Соснин сказал: «Дятел умирает от сотрясения мозга». Это смешно... — говорю я.

— Он, что, действительно умирает от сотрясения мозга?

— Нет, это шутка... Ну, пойдем.

И мы идем дальше. Синееет снег, и наступает вечер.

— Далеко еще, Алеша, как ты думаешь?

— Ты устала?

— Если далеко, то устала, если близко, то нет.

— Близко.

И верно, только зажглись звезды, мы подошли к палатке. На костре стоял чайник. Батурин нас ждал. Мы молча попили чаю и легли рядом с Олегом Александровичем. Палатка маленькая. Тесно. И все же холодно. Я прижался к промерзлой стене. На ней лед. Тася прижалась ко мне. У меня зябнет грудь. У нее — спина. Переворачиваемся. Греемся. Олег Александрович навалил на себя все, что может греть. Его не видно. Но и его пробирает мороз, он тоже ворочается.

Затемно выехали дальше. Вернее, выехал Мозгалеvский, а мы с Тасей опять пошли. Она могла бы ехать, но не захотела оставлять меня одного.

— Смотри, Алеша, какой красивый снег. Голубые, синие, красные, зеленые, золотые, всякие-всякие искры. Как красиво, Алеша!

Я гляжу на снег и не вижу золотых, красных или зеленых искр. Просто белый снег, и все. Только слишком ярко светит солнце.

— Смотри, Алеша, я гляжу на солнце, и мне не больно, — говорит Тася.

Она не мигая глядит на солнце. У нее даже не текут слезы.

— Не надо смотреть, — говорю я и сажусь на поваленную буреломом лиственницу. Мы прошли не меньше пятнадцати километров без отдыха. Я закрываю глаза и вижу белое, до бесконечности громадное пространство. Тихо. Очень тихо. Ни звука. Ни шороха. И вдруг — негромкий смех. Я открываю глаза. Тася по-прежнему стоит запрокинув голову и смотрит на солнце. Это она смеется.

— Тася! Ты что, Тася?

— Смотрю на солнце — и не больно.

К вечеру она уже не могла смотреть. Шла ощупью. Чтобы легче было идти, я привязал ее руку ремнем и тянул за собой. Так мы дошли до Локотана, маленького поселка, расположенного на таежной реке Улми. Местный фельдшер пустил какие-то капли, от которых она почувствовала сильную резь в глазах и даже закричала. Но фельдшер сказал, что так всегда бывает, а потом пройдет.

Но прошла ночь, а боль не утихала.

Выехали из Локотана на лошадях. Тася лежала пластом на санях. Глаза у нее закрыты платком.

— Тася, тебе очень больно?

— Когда они закрыты, то ничего, Алеша... Дай мне руку. Вот так, хорошо...

Лошади бегут по укатанной дороге. Время от времени в нас летят комья снега из-под копыт. Мы задержались у фельдшера, и поэтому Мозгалеvский где-то далеко впереди нас.

— Морозно.

— Тебе не холодно?

— Нет, ничего, Алеша...

12 февраля

Вчера вечером пришли в поселок Янга. Сегодня утром сели на грузовую машину. Едем к железнодорожной станции. Трясет отчаянно. Тася сидит в кабине. Я стою в кузове. Ветер режет лицо. Мороз стягивает губы. Но все это терпимо. А если еще сесть спиной к кабине и закрыть глаза, то и совсем хорошо. Машину трясет, переваливает со стороны на сторону...

13 февраля

Семь утра. Станция Ин. Холодно. Во рту сухо и горько. Хочется спать. Олегу Александровичу повезло. Он успел прямо

к поезду. Мы опоздали на три часа. Наш поезд будет только завтра.

22 февраля

Девять дней я ничего не записывал. Не о чем было писать. Семь дней обратного пути. Два дня в Ленинграде. Каким-то образом маме стало известно, что я женился.

— Это правда, Алеша?

— Да, мама.

— Успел бы. Двадцать два года, чего поторопился?

Я промолчал.

Брат, узнав, что я уволен, осуждающе повел головой и сказал:

— Вот и давай тебе рекомендацию. Вместо того чтобы стараться работать, он еще амуры завел...

— Не беспокойся, тебя не подвел. От Лаврова благодарность, и, если б он не заболел, все было бы хорошо... Да, кстати, что такое «калейдоскоп»?

— Так, одна штука, тебе ее знать необязательно... Ну что ж, отдыхай, а потом опять придется тебя устраивать. Но, надеюсь, теперь будет легче? Все же кое-чему научился?

— Градов зачислял меня техником, но я отказался.

— Ну-ну, ладно, не хвастайся... Еще надо съездить разок младшим. А там видно будет... Когда свадьба-то? Не вздумай зажить!

На другой день я пошел на угол Невского и улицы Герцена.

Там назначено свидание с Тасей. Она меня ждала. Какими длинными мне показались эти сутки без нее!

— Глупые мы... Надо было вчера еще встретиться. Я места себе не находила. И мама догадалась. Я все-все рассказала ей. Идем к нам... Там все ждут тебя.

— Хорошо. Только сначала надо зайти к Кириллу Владимировичу.

Нас встретила красивая женщина с большими серыми холодными глазами.

— Кирилл Владимировича можно видеть?— спросил я.

— Он здесь не живет.

— А где ж?

— А этого я не знаю.— И женщина, обдав нас холодом своих глаз, захлопнула дверь.

— Это она,— сказала Тася.— Его жена... Значит, он не живет с ней. Ушел...

Встретиться мне с ним удалось только через неделю, на улице. Он уже работал в другой организации и собирался на Север. О том, что скальный вариант забракован, Костомаров знал.

— Неужели все кончено?— спросил я его.

Он посмотрел на меня устало и горько:

— Я был в главке. Думаю, разберутся. Но пока многие верят Градову... Я скомпрометирован.— Он помолчал и сказал:— Я слышал, вы были в последний час у Ирины. Расскажите...

Как, какими словами передать то, что произошло в тот день?

— Она сидела на пороге и неотрывно смотрела вдаль. Было солнце, мороз отошел. Подтаивало.

«Здравствуй, Ирина!»— сказал я.

Она не ответила.

«Что с тобой? Почему ты не отвечаешь?»

Не сразу она посмотрела на меня. словно ей надо было сделать большое усилие, чтобы оторвать взгляд от той дали.

«Алеша...»— Она слабо улыбнулась. Было в ее улыбке что-то растерянное и грустное.

«Где ты была эти дни?»— спросил я, радуясь тому, что она назвала меня мягко и тепло Алешей.

«В тайге».

«Одна? И ночью? И все три дня?»

«Это не страшно...»— Она опять стала смотреть вдаль, вверх горных хребтов, леса, в сторону юга.

«Куда ты смотришь?»

Она оживилась:

«Если очень пристально смотреть, то можно увидеть его. Ты скажи ему, что я видела его, смотрела ему в глаза...»

Я понимал, она говорит про вас, и все же спросил: «Про кого ты говоришь?», потому что это было за пределами человеческого разума:

«Про Кирилла...»

— Тринадцать тысяч километров отделяли ее от вас,— сказал я Костомарову,— но я убежден, она вас видела. Вы этому верьте...

На этом записки в моих дневниках закончились. Но жизнь шла своим путем, и люди делали то, что им надлежало делать, хотели они того или не хотели. Окончательные изыскания правобережного варианта были проведены. Градов настоял на принятии этого варианта, и уже готовился проект, но сначала что-то помешало, а потом грянула Великая Отечественная война. Костомаров погиб в бою. Мозгалеvский умер от голода в блокадном Ленинграде. Остальные, кого я знал по изысканиям таежной экспедиции, как-то затерялись. И все дальше уходили время и события тех лет. И вот недавно я повстречал в Москве Колю Николаевича. Он потолстел, облысел, давно уже работает начальником партии. Вспомнили многое, и посмеялись, и погрустили. И тут я от него узнал, что дорога на

Элгуни строится, что принят скальный вариант. Комиссия министерства, утвердившая его, дала высокую оценку. Это было радостно, но как жаль, бесконечно жаль, что не узнает об этом Костомаров. Не узнает и Мозгалеvский, хотя это он из блокадного Ленинграда, умирая, послал письмо в Москву, защищая скальный вариант. Не узнает и Перваков. Не узнают многие. Да и мне было нелегко все эти годы носить в душе «бросовый ход».

— Как же все-таки начал вторую жизнь наш вариант? — спросил я Колю Николаевича.

— Это длинная история. Лавров вмешался.

— Он жив?

— Жив старик. Я видел проект, отличная штука, — говорил Коля Николаевич, отпивая коньяк из рюмки. — Представляешь, по косогору идет железная дорога. Внизу река. Паровоз, выворачиваясь на кривой, тянет состав на другую кривую, и река снова сверкает под колесами поезда. И дальше бежит паровоз, прижимаясь к скалистой выемке, врезаюсь в новую кривую. И таких кривых двенадцать штук...

— Постой, постой, это обход Канго?

— Точно. Ты до сих пор помнишь?

— Ну как же! Я об этом не раз вспоминал.

— Да, Канго, это решено талантливо... А Кирилл был скупшан. Здорово Градов подловил его с Ириной.

— Где сейчас Градов?

— Не знаю. Не слышно.

— А о Костомарове помнят?

— Да. Но в этом ты виноват. Помнишь, назвал ручей его именем?

— И что?

— Так вот, на том месте разъезд, и называется он Ручей Кирилла... Чего ты задумался?

— Думаю о том, какая страшная сила — разочарование. Помнишь Первакова? Ведь он так и ушел с мыслью, что работал весь год зря.

Коля Николаевич неожиданно засмеялся:

— А ты помнишь, как Соснин кричал: «Главное — не унывать! Не унывать ни на минуту. Иначе гибель!»

— Где он сейчас?

— По дурусти подорвался на mine. Но главное — не унывать! — сказал он, посмеиваясь. — Даже если разочарование, не унывать. Да и какая разница: правобережный или скальный? Правобережный дороже, скальный — дешевле. Какая разница!

— Но это же цинизм, — перебил я его.

Он иронически посмотрел на меня:

— Почему цинизм? Есть более точное определение: практицизм. Мы теперь уже не те доверчивые ребята, какими были тогда...

— И что же, это дает тебе право так равнодушно говорить о том, чем жили мы тогда, из-за чего страдали, готовы были отдать жизнь? Не все ли равно, каким путем идти,— с горечью повторил я его мысль,— с жертвами или без жертв, с ошибками или без ошибок? Ошибки, они оплачиваются слишком дорогой ценой. Из-за них люди раньше времени устают, разочаровываются, начинается безверие.

— Да ты, я вижу, философ,— насмешливо сказал Коля Николаевич, отпивая коньяк.— Вот уж это совсем напрасно. Это нынче дешево стоит.

И тут я увидел то, чего не заметил сразу. Передо мной сидел самодовольный человек, как видно, привыкший к коньяку, к хорошей закуске, приучивший себя жить без борьбы, удовлетворенно избирать тот путь, который не вызовет осложнений. Мы сидели еще рядом, я еще не ушел от него, но уже знал — сегодня потерял товарищ по трудной далекой юности, потерял человек, не сумевший пронести мечту о великом счастье, без которой невозможно жить.

Сознавать это было горько. Но утешало то, что в далеком краю, где безумолчно шумит на каменистых перекатах Элгунь, где, мрачно насупясь, стоят громады сопок, где на тысячи километров раскинулась глухая тайга, строится дорога, и настанет день, когда веселый поезд промчится по гористым скатам, громко прогудит над ручьем Кирилла, прошумит весенним ветром над заросшей горным дубняком могилой Ирины и скроется вдаль, легко уносясь в тот бескрайний простор, куда так трудно было пробивать этот путь.

ПОВЕСТИ



НЕНУЖНАЯ СЛАВА

1

Никогда не скажешь заранее, что принесет любовь. Малахову она принесла столько горького, что не доведись никому испытать! Но эта горечь явилась много позднее того дня, когда он впервые увидел Екатерину Романовну Луконину — Катюшу, как ее запросто называли свои.

В тот год шла война. До села Селяницы, растянувшегося по берегу Волги на три километра, не долетали вражеские самолеты, не доносился гул орудий, но все же война чувствовалась: почти не осталось мужчин в колхозе, все чаще раздавался бабий плач, все труднее было подымать землю — МТС не работала.

Но что удивительно, — земля, словно понимая всю тяжесть свалившегося на страну бедствия, приносила невиданно богатые урожаи: каждый куст картофеля давал по ведру клубней, травостой был такой, что не продиралась коса.

Малахов приехал в колхоз за сеном. Часть, в которой он служил, стояла много ниже Селяниц, в стороне от заливных лугов. В эту часть он попал недавно, после госпиталя. На первых порах был рад тому, что может свободно ходить, что-то делать, хотя после рева снарядов, грохочущих танков никак не мог свыкнуться с покоем далеких от битв деревень, с людьми, которые больше говорили о своих делах, нежели о войне. Поэтому он приехал в Селяницы хмурый. Его раздражали куры, беспечно купавшиеся в пыли, мальчишки, тащившие корзину с плотвой, две женщины, смеявшиеся у колодца.

Он остановил коня и спросил тем отрывистым голосом, каким всегда разговаривал с провинившимися солдатами, где председатель колхоза.

Женщины переглянулись и, улыбаясь, хотя, как казалось Малахову, улыбаться было нечему, перебивая одна другую, ответили, что председатель уехал за Волгу, а если нужна Катюша Луконина, то она, поди-ка, на ферме. И Малахов понял, что после председателя она первое лицо в колхозе.

Справа от села сверкала на солнце Волга, мирная река, ничем не похожая на ту, которая текла мимо фронтowego города. Ту бомбили с воздуха, над ее водой носился запах гари, и вся она была продымленная, суровая. Здесь же неторопливо подымалась баржа, на песчаной косе, поджав ногу, стоял высокий кулик, недалеко от него на берегу паслись гуси.

Вдоль дороги тянулись дома, то покосившиеся, со сдвинутыми на лоб козырьками крыш, то двухэтажные каменные, то обшитые в елочку, с красивыми, резной работы, наличниками,

такими затейливыми, каких еще не доводилось видеть Малахову.

Некогда это было торговое село. Славились оно картофеле-терочными заводами, ветряными мельницами, базарами и престольным праздником, который назывался «третий спас». В гражданскую войну село дважды полыхало от рук «зеленых» — сгорели заводы; словно отбиваясь от огня, отмахали в последний раз крыльями мельницы, мало уцелело домов. Жизнь в Селяницах стала потише. Но все же раз в году воскресало прежнее буйное празднество «третьего спаса».

В первый день согласие и тишина царили на улицах. Даже заядлые недруги, забыв свои распри, стояли в церкви плечо к плечу, размашисто крестились и давали подзатыльники ребятишкам, если те начинали ершиться промеж себя.

Второй день праздника начинался с драки самых маленьких. За них вступались братаны постарше. Потом, поплевав на ладони, вырывали из огородов колья отцы и деды. И начиналось смертоубийство — с ножами, кастетами, гирьками. Единственный милиционер, зная повадки своих односельчан, забирался еще с утра в подпол и там терпеливо высиживал до полуночи, пока не стихали рев и вопли.

На третий день все обиды забывались, и жители Селяниц дружно выходили в поле, где уже стеной стояли боровчане, парни и мужики из другого приволжского села. Тут уж баталия начиналась покрупнее. Самое главное было — не дрогнуть, не побежать. Бегущих избивали поодиночке, насмерть.

И опять целый год в Селяницах царил согласие и покой. Пострадавшие залечивали раны, вылеживались. Тех, кого «третий спас» отправил на погост, оплакивали матери, жены, невесты. Но село слишком большое, чтобы заметить потери, — и жизнь продолжала идти своим чередом.

Со временем нравы в Селяницах менялись. Из армии приходили толковые парни. Они в бога не верили, поэтому в «третий спас» работали. После коллективизации совсем уже отошел в область преданий престольный праздник с его поножовщиной. Какая же могла быть вражда, если «недруги» трудились в одной бригаде, а колхозы стали соревноваться друг с другом. Правда, поначалу соревнование проходило несколько странно, на издевках, если та или другая сторона допускала промашку. Постепенно и это прошло. Сдружились. Начали родниться. Например, Катюша Луконина из Селяниц вышла замуж за боровчанина Тихона Авдеева. Но ее жизнь — это особая линия, а что касается нравов в Селяницах, то они, бесспорно, изменились к лучшему.

Малахов застал Луконину возле фермы. Она стояла опустив голову, что-то считая на пальцах. На ее груди лежали две тугие косы, и он вначале подумал, что перед ним девушка.

— Предписано получить в вашем колхозе фураж. Прошу дать указание,— не слезая с коня, сказал Малахов и протянул документ.

Катюша, не разжимая на одной руке пальцев, взяла другой бумажку и, шевеля губами, стала читать, в то время как Малахов разглядывал ее. Нет, это, конечно, была не молоденькая девушка, а женщина. Но до чего же красива!

— Не знаю, что и сказать-то вам... У нас и самих в кормах нехватка,— ответила Катюша и неожиданно осветила Малахова яркими синими глазами. Они спокойно смотрели, выражая недоумение.

Нет, таких глаз он никогда не видал. словно вся небесная синь Волги собралась в них.

— Ладно,— подумав, сказала Катюша,— завтра будет в вашей части фураж.— И, не разжимая пальцев, ушла на ферму.

Малахов поглядел ей вслед, улыбнулся и, ударив коня, помчался по дороге.

Так произошла первая встреча Малахова с Катюшей Лукиной,— встреча случайная и мимолетная. Но что удивительно — не забылась, и стоило Малахову попасть в Н-ский госпиталь после второго тяжелого ранения, как он вспомнил эту женщину. Может, вспомнил потому, что Селяницы от Н-ска находились в каких-нибудь двадцати километрах. Не так уж далеко. И почему бы еще раз не встретиться с ней?

Катюша получила письмо поздно вечером. Недоуменно пожала плечами: кто бы это мог писать? Читая, она не сразу вспомнила того молодого офицера, который в прошлом году приезжал за сеном. А когда вспомнила, то чуть не всплакнула, представив, как, должно быть, одиноко себя чувствует этот офицер, если ей, совсем незнакомому человеку, шлет письмо. На маленьком листке бумаги он спрашивал о жизни колхоза и говорил, что будет рад получить ответ. Это письмо Катюша не сделала тайной: поговорила с Дуней Свешниковой, подружкой, парторгом колхоза, посмеялась, пожала плечами, не понимая, чего этот офицер вдруг вспомнил ее. И поехала, навязав узел гостинцев от колхоза.

Войдя в палату, она растерялась, не найдя среди раненых того человека, которого видела всего одну минуту. Воздух в палате стоял тяжелый, какой обычно бывает в хирургических отделениях. Некоторые раненые стонали, иные молча сидели на койках. Один, в самом дальнем углу, лежал с забинтованным лицом. В белые щели глядели черные злые глаза. Катюша испугалась, что этот больной и есть тот офицер, и от жалости у нее тоскливо защемило сердце. Но тут же позади услышала кашель, оглянулась и увидела Малахова. Она даже засмеялась от радости, что лицо его осталось неизуродованным.

Малахов не поверил глазам, когда увидел Катюшу.

Серьезным и печальным был взгляд Катюши.

Малахов смущенно улыбнулся и сиплым голосом сказал:

— Вы уж извините меня... Побеспокоил я вас.

— Есть о чем говорить,— все больше жалея Малахова, ответила Катюша. Она достала из узла деревенские гостинцы.— Это все наши вам прислали, чтоб скорее поيفрались,— тихо сказала она. Тут были и масло в банке, и яички, и молоко, и мед, и пироги, и колобки.— Как съедите, так и поправитесь.

— Разве съешь столько,— засмеялся Малахов.— Всей палатой надо работать неделю.

— Не расстраивайся, поможем,— заверил его сосед с пустым рукавом.

Катюша строго взглянула на него.

— Мед и яички не трогать,— сказала она и смутилась, поняв, что в палате все одинаковы и ей не следует так сурово отвечать.

— Вы уж скажите своему мужу — может, дома он,— что потому написал вам письмо, что никого другого в колхозе не знаю,— сказал Малахов и опять закашлялся.

— Я безмужняя,— просто ответила Катюша.

Малахов не стал допытываться, почему она безмужняя, но на сердце у него сразу повеселело.

Посидев немного и сказав, что проведает его в следующее воскресенье, Катюша простилась.

Когда она приехала во второй раз, Малахов чувствовал себя лучше. Разговаривал сидя. Катюша приписала это живительному воздействию меда и еще поставила литровую банку.

— Вы ешьте. Вам надо много есть. Тогда здоровые будете,— говорила она, открывая тумбочку. Увидев, что прежние гостинцы исчезли, поняла это, как и следовало понять,— помогли товарищи, и ничего не сказала, только велела сейчас же есть мед.

Малахов уверял, что и от того меда еще не отдохнул, но она заставила его, и он стал есть.

— Ваш мед? — спросил он.

— А чей же? Наш. Колхозный.

— Ну да, я и говорю, колхозный...

В палату свободно вливалось солнце. Было видно, как за окном, вспыхивая, торопливо срываются капли. Шла весна тысяча девятьсот сорок четвертого года. Выздоровливали раненые.

Малахов с восхищением смотрел на женщину. Ему нравились тяжелые девичьи косы. Было в Катюше что-то домашнее и такое открытое, что не надо придумывать разговора. Он начинался сам по себе, как если бы Малахов говорил с близким человеком.

Уходя в этот раз, Катюша сказала, что вряд ли будет в следующее воскресенье — дела много.

— Не беспокойтесь. Поправлюсь — сам к вам приеду,— светло и радостно глядя на нее, ответил Малахов. Она спокойно вы-

держала его взгляд. Сказала, что рада будет видеть его здоровым. И ушла.

Он приехал ровно через месяц, с одним вещевым мешком, в котором лежали пара белья, сухой паек да еще отрез на шерстяное платье. Отрез он купил на толкучке, истратив все полученные за время болезни деньги.

Дом Лукониной был невелик, с узорчатыми наличниками, с крыльцом. Перед ступеньками лежал каменный круг — старый жернов. Малахов продернул подошвами по шершавому камню и громко постучал в дверь.

— Входите! — послышался голос Катюши.

Он вошел, улыбающийся, довольный, что видит ее.

— Вот и я! На месяц прибыл.

Эта простота была так необычна для Катюши, что она ничего не могла сказать в ответ. А Малахов уже достал из мешка отрез и подал обеими руками.

— Зачем же это? — спросила она, не принимая подарка.

— В знак благодарности. — И накинул материю на ее плечи.

— Окна-то открытые! — воскликнула Катюша, отступая на шаг от Малахова. — Люди увидят, что подумают!

— Тут ничего плохого нет. Берите...

— Да что вы... Вам и самому деньги для здоровья нужны, — все еще не принимая подарка, ответила Катюша. Но на нее смотрели такие счастливые глаза, что их нельзя было обидеть, и тогда, слабо улыбувшись, она сказала: — Ну, спасибо, прямо не знаю, чем и отблагодарить вас... Я ничего не готовила.

— А я сыт. У меня тут целый мешок сухого пайка, — Малахов подал его Катюше. Видя на ее лице недоумение, сказал: — Берите, берите! Не в отдельности же я буду кормиться.

И только тут она поняла, что офицер приехал именно к ней. И смешалась: жаль было обижать отказом и никак невозможно согласиться, чтобы он оставался в ее доме.

— Право, не знаю, что и сказать, — растерянно ответила Катюша. И вышла в сени, чтобы успокоиться и все обдумать.

В маленькое окошко виднелся кусок синего неба. В сенях был полумрак. Где-то в темном углу ныл комар, оттаявший в этот теплый вечер.

Катюша приложила к горячим щекам ладони.

Вбежала Олюнька и, не заметив матери, проскочила в избу.

«Нет, его надо в другое место определить, — думала Катюша, — и ему будет спокойней, и мне лучше». Но когда она вернулась в избу, то увидела на столе весь сухой паек старшего лейтенанта, Олюньку с большим куском сыра и самого Малахова, беспечно сидевшего за столом.

— Ты хоть сказала спасибо-то дяде? — сурово спросила Катюша.

— Сказала, — продолжая грызть зажатый в кулаке сыр,

ответила Олюнька.— И за конфетки сказала.— Она показала матери в другой руке кучку слипшихся разноцветных подушечек.

Катюша молча оделась.

— Через час приду.— отрывисто сказала она.

— Ладно. Мы тут с Олюнькой посидим,— ответил Малахов.

Катюша рано потеряла мать и осталась с отцом. Первое время отец крепился, много работал, баловал дочурку. Но потом стал пить. И однажды — тогда Катюше было уже восемнадцать лет — по пьяному сговору выдал ее замуж за сына Прокопа Авдеева — мрачноватого Тихона, жившего в соседнем селе.

Тихон с первых же дней поставил себя так, что он-де осчастливил девушку, женившись на ней. Куражился. Бил ее. Все это кончилось тем, что Катюша убежала в свою деревню. Тихон ворвался к ней ночью, пьяный. Хотел выволочь за волосы. Но отец встретил его кулаками. И Катюша осталась. Вскоре отец умер. Еще один раз пришел Тихон, когда она родила Олюньку, думая — теперь-то вернется. Но и тут просчитался. Катюша выгнала. Тогда ей было всего двадцать лет, но она хорошо узнала цену семейному «счастью» и ни за что на свете не променяла бы свою одинокую свободу на это «счастье».

В Селяницах поначалу посмеивались над ней: что это, дескать, от мужа убежала с дитем. Но со временем злые языки поутихли, а добрые начали похваливать — живет себе скромно, дурного про нее не скажешь, на ферме лучше ее доярки нет. Казалось бы, ничего больше и не надо. О замужестве не думала, хотя знала, что Тихон еще перед войной женился в третий раз. Никто бы не осудил, если бы она вышла замуж.

Прежде чем пойти на ферму, Катюша зашла к старухе Выстроханской. Выстроханская жила одна. Дочки, выйдя замуж, поразъехались. Старик давно умер. Рыхлая, как оплывшая опара, она скучно доживала свой век. Катюша спросила, не сможет ли она пустить на месяц офицера, которому собирали гостинцы в госпиталь. И наверно потому, что хоть какое-то разнообразие войдет в ее дом, старуха оживилась. Но тут же настороженно посмотрела на гостью.

— А сама-то чего непустишь?

— Да ведь неловко: люди всякое могут подумать.

— И-и, полно-ка, кто тебя осудит? Бабеночка ладная, в одиночестве. Иль больно страшен с виду?

— Красивый,— улыбнулась Катюша и тут же посуровела: — Ну так что,пустишь?

— Да пуцу, пуцу. Эвон сколь места, жалко, что ли. Про тебя, глупую, хлопочу.

— Ай, говорить с тобой! — сердито сказала Катюша.

Старуха хитро посмотрела на нее.

— Тыфу, до чего ведь я глупая стала. И невдомек... Приходи, Катенька, за всяко просто. А я могу и к соседям уйти на часок.

— Не рада, что и связалась с тобой. Не думаю я ни о чем об этом! И ты свой язык привяжи. Старая, а что в голове держишь.— Катюша отвернулась. «И черт принес этого офицера! Теперь пойдут судачить да рядить»,— подумала она.

Бабка Выстроханская поджала блеклые губы.

— Да уж пускай идет. Мне-то что?

На ферме уже знали, что к Кате Лукониной приехал офицер. И как только она пришла, доярки сразу же обступили ее.

— Ну, приехал. К бабке Выстроханской его определила. Дальше что? — уперев руки в бока, спросила Катюша, и глаза ее потемнели.— В полюбовники, что ли, хотите записать?

— А может, и слéдует, — фыркнула Анисья Чурбатова, маленькая толстая доярка.— Помягчаешь тогда, Екатерина Романовна.

— Неужто? Так тебе и помягчаю! — И весело рассмеялась.— Чего сгрудилась-то? Надо корма задавать...

Как и обещала, вернулась домой через час. Малахов сидел за столом и помогал Олюньке решать задачу.

— Нет, ты смотри: вот, скажем, бочка. В ней сорок ведер,— говорил он.— Мама твоя взяла из нее пять ведер, я — десять, а ты — еще два. Сколько всего останется в бочке? В уме, в уме решай!

Олюнька наморщила крутой лоб и посмотрела на мать.

— Ты не жди помощи со стороны. Ты давай сама,— засмеялся Малахов.

Катюша повесила фуфайку, сняла платок. До этой минуты все казалось просто и ясно: она скажет про бабку Выстроханскую, он соберет свои вещички и уйдет. Но теперь, когда она опять увидела его исхудалое лицо, ей стало жаль Малахова. Но она пересилила в себе эту жалость и, выждав, когда Малахов освободился и дочка стала переписывать в тетрадку задачу, сказала:

— Не посчитайте за неуважение, Василий Николаевич, но лучше вам жить у бабки Выстроханской. Я уже договорилась с ней. Старуха она обходительная. И чай вовремя согреет, и накормит. А я на ферму хожу и за кормами в область езжу. Олюньку и то другой раз к соседям вожу. Какой вам здесь отдых?

Малахов нахмурился. Видно было, что это его огорчило. Медленно надел шинель, фуражку.

— Она тут недалеко живет. Я провожу вас,— виновато сказала Катюша и стала складывать в вещевого мешок продукты.

— Олюнька, до свиданья! — невесело сказал Малахов девочке.— Будьте здоровы, Екатерина Романовна. Жив буду — после войны все равно приеду.— Он сунул в карман папиросы и вышел.

Катюша так и осталась стоять с вешевым мешком в руках. Когда выбежала на улицу, Малахов уже шагал далеко.

Серые, тяжелые облака пронеслись над землей. Они шли плотно, одно к одному. Шумел над головой в деревьях весенний ветер. С Волги донесся прощальный тоскливый гудок парохода.

2

С этого вечера Катюша стала думать о Малахове. Не раз она ругала себя за то, что сурово с ним обошлась. Особенно тяготила ее неизвестность. Что с ним? Где он?

И вдруг получила письмо с номером полевой почты. Так и не отдохнув после госпиталя, он ушел на фронт. И оттуда писал о том, что любит ее и, пожалуй, к лучшему, что не остался в Селяницах. Но она должна непременно ему отвечать. Или уж так нелюб, что и ответа не достоин? Может, ее тревожит Олюнька, так пусть не думает — она ему будет как дочь. Не обидит.

Письмо было написано твердым почерком. В конце стояло «с приветом» и подпись, круто идущая вверх.

Катюша несколько раз перечитала письмо. Теперь, когда Малахова не было, поняла, какой это мужественный, открытый человек. Она боялась, думая: что, если за этот месяц, который бы должен Малахов прожить у нее, он погибнет там, на войне? Все это время жила беспокойно, с нетерпением ожидая от него писем, аккуратно на них отвечая, ни слова не говоря в ответ на его любовь. Ничего не обещала в будущем, желала лишь одного ему — жизни. А Малахову и этого было достаточно, чтобы с еще большим жаром писать ей о своей любви. Она терялась от таких признаний. В ее письмах сначала робко, потом все сильнее зазвучала любовь, пока наконец она не написала, что ждет его, встретит с радостью — лишь бы скорее кончилась война.

Но этому предшествовало одно обстоятельство. В письмах Малахов нередко упоминал свою мать, говорил, что пишет ей о Катюше. И она решила съездить к матери, поговорить с ней и разом покончить все свои терзания и сомнения. Если вправду он пишет матери, что это всерьез любовь, и тогда будь что будет, но она ответит ему согласием. И, выговорив у председателя отпуск, определив Олюньку соседям, поехала на Алтай.

Мелькали за окном леса, деревья водили на равнинах хороводы, грохотали под вагоном мосты. Пришли и остались позади Уральские горы, потянулись унылые степи. Катюша ко всему, что было за окном, относилась безучастно и чем дальше уезжала, тем больше задумывалась и уже глупостью считала всю эту поездку.

Приехала она на шестые сутки. Как на всех станциях, так и на этой было полно народу. Люди спали на лавках, на полу, и сидя и разметавшись, и с детьми и без детей, горожане и дере-

венские. И все куда-то ехали, измученные войной, одетые кое-как. «И чего я поехала? — в сотый раз осуждая себя, думала Катюша. — Лучшего часа не могла найти, как только теперь. И зачем мне с матерью его встречаться? Будто не знаю, как свекрови дорожат сыновьями. А тут — нате, возьмите невестку разведенную, да еще с дочерью».

И все-таки пошла. По обе стороны от нее лежали просторные долины — им не было края. А дальше, в синем дыму, виднелись горы. Навстречу Катюше попался человек на мохнатой лошаденке, в войлочном треухе и пестром стеганом халате. За ним ехала на такой же низкорослой лошаденке женщина и курила трубку. «Господи, какие люди-то диковинные», — подумала Катюша, шагая по сухой, крепкой дороге, и на сердце стало еще тоскливей.

Но деревня оказалась русской, бревенчатой, с прогонами меж домов, с широкой улицей, поросшей зеленой травой, с собаками, лаявшими из подворотен. Повеяло родным.

После недолгих поисков ей удалось найти дом Малаховых, крепкий пятистенок, обнесенный забором. Лохматый пес, громыхая цепью, молча рванулся к ней, но цепь не допустила, и тогда он начал, хрипя с придыхом, лаять и вставать на задние лапы.

Из хлева выглянула высокая старая женщина. Она пытливо посмотрела на Катюшу. Много в войну развелось беженцев. Их звали эвакуированными. Они меняли одежду на хлеб, на картофель, на масло. Обычно входили во двор, застенчиво улыбаясь, спрашивали, не надо ли туфель или костюма. Матери Малахова ничего не было нужно. Не до, того, когда два сына на фронте, а третий лежит в земле. Но так, ни с чем, этих людей она не отпускала. Звала в избу. Кормила. Думала, что ее доброта может уберечь сынов от смерти.

Эта женщина, что шла ей навстречу, не производила впечатления беженки.

— Здравствуйте! — громко сказала женщина и открыто посмотрела синими глазами.

— Здравствуй, — выжидающе ответила мать Малахова и подумала: «Эки глазища красивые».

— Не будет ли водицы? — попросила Катюша.

— Как не быть, — ответила хозяйка и провела в дом.

Катюша пила и как бы пустым взглядом осматривала кухню. Тут ничего интересного не было. Такая же громадная русская печь, как и в ее доме. Лавка вдоль стены. В открытую дверь видна часть горницы. Над постелью висит коврик.

— Притомилась я, — просто сказала Катюша. — В поезде теснота, продоху нет.

— Откуда ты?

— С Волги.

— С Волги? — оживилась хозяйка, и ее суровое лицо помягло. — Там сынок мой младший в госпитале лежал. — Несколько секунд слабая улыбка теплилась на ее морщинистых губах.

— Тихо-то как у вас, — сказала Катюша.

— Дождись вечера — шумно будет. Ребятишки из школы понабегут, невестки с поля явятся...

— А сыны-то, верно, на войне?

— Где же им еще быть. Да вот... убили, — хозяйка заплакала.

— Убили? Какого же? — дернулась к ней Катюша и, услышав: «Старшего», облегченно вздохнула.

Это не ускользнуло от матери.

— Иди-ка сюда. — Она прошла в горницу. — Вот он, — показала она Катюше большой портрет старшего сына.

Из черной рамы глядел веселый человек, очень похожий на хозяйку. «А еще говорят, кто в мать уродился, тому счастливому быть», — подумала Катюша.

— А это мои младшие...

Василий! Здесь он был моложе, чем она его знала, в простой косоворотке, открыто глядевший на нее.

— Хорошие сыны у вас. Дай им бог жизни и здоровья.

— Да уж только бы жизни. О здоровье и не говорю, — ответила мать. — Петр-то ничего: в час добрый сказать, даже и раненый не был. А Васенька два раза в госпитале лежал. Спасибо одной женщине, все медом кормила его. — Хозяйка пытливо взглянула на гостью.

Катюша не выдержала ее взгляда и опустила голову.

— Пишет он? — в замешательстве спросила она.

— Пишет, — усмехнулась мать Малахова. Теперь ей все было ясно. Перед ней стояла та самая синеглазая, о которой чуть не в каждом письме писал Василий. И, по-бабьи хитрая, она приехала что-то выведать у нее. — Пишет. И про тебя пишет.

Катюша совсем смешалась.

— И не стыдно тебе, милая, так в мой дом входить? — с мягким укором сказала хозяйка.

Сутки провела Катюша в доме Малаховых. Она все рассказала о себе, о своем неудачном замужестве, о письмах Василия.

— И вот все думаю и не знаю, что ему сказать.

— Кто загодя думает о вечере, коли день не прожит? Мы с тобой говорим о нем, а там, не дай бог, может в крови он лежит... Ничего не убудет с тебя, если б и не любила, а про свою любовь написала, — с обидой в голосе, что ее сын нелюб этой женщине, сказала мать Малахова.

...Прошло лето. Посыпали осенние дожди. Все короче становились дни. Все длиннее ночи. Ударили морозы. Заметелило. И снова явилась весна, с теплыми дождями, с перелетными птицами, с ландышами и верой во все хорошее. Это была последняя весна тяжелой войны. Она принесла победу. Долго, годами, сжа-

тые тревогой людские сердца раскрылись в эту весну. И все, что было самого хорошего, любящего, чистого в людях, устремилось навстречу друг другу. Женщины плакали от счастья, обнимались. Мальчишки носились по деревне с криками: «Кончилась война!» Старики расправили согнутые спины. Старухи, слушая радио, благодарно смотрели на иконы и крестились.

Начали возвращаться домой фронтовики.

— К Силантьевым приехал!

— Прохоров прибыл!

— Свешников явился!

В пропахших потом гимнастерках, позвякивая орденами и медалями, гордые и простые, ходили победители по Селяницам. А с ними рядом — их жены, самые счастливые в мире.

Но чем больше появлялось фронтовиков, тем тревожнее становилось на сердце у Катюши. Ей все казалось, что Малахов не придет. Теперь она любила его. И потому, что любила, не верила в их встречу. Что-то непременно должно помешать им.

Еще раз отшумела на деревьях листва и усыпала землю. Ушел с полей послевоенный урожай в амбары и элеваторы.

Малахов приехал зимой, когда Волга была скована льдами. По дорогам тянулись обозы. Большое спокойное небо обнимало белую землю. И с этого неба по-зимнему ярко светило солнце, заставляя жмуриться от снежного блеска. Дома никого не было. На дверях висел тяжелый черный замок. Малахов, с удовольствием слушая поскрипывание снега под сапогами, зашагал на ферму.

В длинном полутемном помещении, словно медицинские сестры, в белых халатах ходили доярки. В стороне у столика сидела Катюша, в ватнике, повязанная косынкой.

— Здравствуй, Катя, — вставая во весь рост перед своей любовью, сказал Малахов.

Катюша охнула и безмолвно поднялась.

— Как сказал, так и сделал. Прибыл!

Его широко расставленные глаза светились все так же счастливо.

— Вася!.. — только и могла сказать Катюша.

Он протянул ей руки.

Доярки смотрели на них. Анисья Чурбатова, поводя толстыми плечами, прошла мимо.

— Капитан! — восхищенно шептала она дояркам.

— Пойдем домой, — тихо сказала Катюша.

И всю дорогу до дома она то отворачивалась, стесняясь на него смотреть, то улыбалась, по-девичьи краснея.

Она не сразу открыла замок. Задержалась в сенях, пропустив Малахова. И как только вошла, так и остановилась у порога.

Малахов поднял ей голову. Поцеловал в бессильные, раскрытые губы. Он слышал, как часто и сильно бьется ее сердце,

и все крепче обнимал, заглядывая в самую синеву тревожных глаз.

В сенях хлопнула дверь. Катюша отшатнулась от Малахова. Поспешно поправила волосы...

Запахавшаяся, красная от мороза, вбежала Олюнька. Она бросила сумку на скамейку и тут же нахмурила свои реденькие брови, увидав незнакомого высокого военного. И сразу вспомнила:

— Дяденька Вася!

Малахов схватил ее за худенькие плечи, поднял к самому потолку.

— Как же ты выросла, Олюнька! Как выросла! Я бы тебя и не узнал.

— А я вас узнала!— радостно закричала Олюнька.— Как вошла, так и узнала!

— Ну, за то, что сразу меня узнала, надо тебе сделать подарок.— Малахов достал из чемодана большую куклу с закрывающимися глазами, в роскошном платье и настоящих кожаных туфлях.

Олюнька так и замерла от восторга. Несколько раз порывалась взять куклу и не решалась. Наконец схватила, прижала к груди и заметалась по комнате. С завистью глядела она, как у других приезжали отцы с фронта, одаривали своих ребят, и только ей не от кого было ждать подарка. Она никогда не видела отца.

— Мам, теперь дяденька Вася от нас не уедет? Он с нами будет жить?

Катюша взглянула на Малахова, улыбнулась:

— С нами.

Олюнька захлопала в ладоши.

— Если бы ты знала, как я рад, что вижу тебя,— говорил на кухне Малахов Катюше.— Что такое ты со мной сделала, не пойму.

Она ласково коснулась его руки.

— Ты-то любишь меня?

— Люблю, Вася...

Малахов радостно засмеялся:

— Давай завтра запишемся и отгуляем свадьбу.

— Уж больно ты скоро, Вася. Где же за один день управиться?— Она нерешительно потрепала его волосы.

— Я уж сколько жду!

— И еще недельку подождешь...

Малахов прошел в горницу. Катюша постояла в раздумье, затем сняла с постели пуховик, одеяло, подушку. Перенесла в кухню. Здесь будет Василий спать. А для себя и дочки приготовила на кровати.

Олюнька лежала в постели. Обрадовалась, когда к ней

легла мать. Засучила ногами. Они у нее были холодные, как ледяшки.

— Маменька, погрей.

Она уснула быстро, свернувшись калачиком.

Было темно и тихо. Но Катюша знала, что Малахов не спит и, наверно, вот так же, как она, беспокойно прислушивается к каждому шороху. И вдруг посветлело. Это вышла из-за облака луна и залила зеленоватым светом, словно водой, всю комнату. Катюша лежала не шевелясь. Боялась, что Василий подойдет к ней.

Но Малахов не подошел. И за это она ему была благодарна. Легко и весело металась утром по кухне. Накрывала на стол. Провожала Олюньку в школу.

Через неделю, как и было задумано, сыграли свадьбу.

3

Наступила пора душевного отдохновения. Все, что было сопряжено со смертью, с горем, с тяжелым ратным трудом, — все осталось позади. Руки искали работы. Они могли копать землю, рубить дома, выращивать хлеб. Работать, работать, работать! Строить свое счастье. Жить в семье. Видеть каждый день жену. Уже больше не писать ей писем, а разговаривать. Вот так, просто, сидеть и разговаривать. Заставить смеяться мать. Эвон я, живой, здоровый! Забирать по утрам ребятишек в постель, обнимать их, рассказывать страшное, но непременно с веселым концом. Это ли не жизнь?

Малахов был счастлив, как и каждый вернувшийся с войны здоровым. А тут еще любовь! Та самая, по которой с ума сходил в блиндажах. Теперь можно целыми часами смотреть в ярко-синие глаза. Здесь они, рядом! Они стали еще ярче. От любви? От счастья?

Наконец-то и к ней пришла самая настоящая любовь. Как неохота уходить из дома на работу! «Милый ты мой Васенька. Что бы еще тебе сделать хорошего? Чем бы побаловать?» А уж он и сам не знает, что бы еще сделать ей приятного! На морозе, на ветру покрыл заново дранкой крышу сарая. Сменил пол в хлеву. Переколот все дрова. Что бы еще сделать?

— Отдохни.

— От чего? Разве устанешь! Ну, как ты сегодня работала?

Так еще никто не спрашивал!

— Устала?

Об этом тоже никто не спрашивал.

— Ну зачем плакать-то?

— Так это... Просто хорошо мне...

С какой гордостью шла она по улице с мужем! С какой важностью раскланивалась. Никого нет лучше ее Васеньки.

Три дня он пробыл дома. Другой бы за месяц столько не сделал, сколько наворочал он в эти дни. Но пора подумать и о колхозе.

Председатель сидел за столом в маленькой комнате и стряхивал с пера на пол прилипшую грязь. Это был тяжелый, с отвислыми плечами человек, в засаленном пиджаке, седой, с красным лицом. От него только что ушли бригадиры. Всюду валялись окурки. Воздух посинел от самосада. За черным окном валил снег. Большие хлопья скользили по стеклу.

— Отдохнул?— окинув Малахова большими, навывкате глазами, спросил председатель.— На работу хочешь?

— Пора.

— Полушубочек-то у тебя беленький. Но, понимаешь, начальства своего хватает. А вот навоз на поля возить — нищешься. Как? А?

— Какое дело нужней, такое и поручайте,— улыбнулся Малахов.

Он говорил искренне. Ему было все равно, где работать. Он видел, что за время войны колхоз ослаб. Много земли пустовало. Урожаи низки. С кормами трудно. Поэтому был готов взяться за любое дело.

И в войну он меньше всего думал о себе. Выполнял долг, и все. Но эта самоотверженность, честность сделали свое. Он быстро стал младшим лейтенантом. Это его ничуть не изменило. Он таким же остался, когда ему дали взвод, роту. Он командовал, преследуя две задачи: как можно больше уничтожить противника и меньше потерять своих. Простой хозяйский расчет. Никакой романтики в войне Малахов не видел. Это была грубая, тяжелая, опасная работа. Он старался выполнять ее добросовестно, потому что так нужно Родине...

— Ну, молодец, понимаешь, а то у нас с этим делом плохо. А землю надо кормить. Скажешь Лазареву, бригадиру, что я тебя к нему направил.

Малахов натянул поглубже ушанку. Уже светало. Алая морозная зорька разгоралась за Волгой. Но крупные звезды еще мерцали.

На конюшне Малахов запряг лошадь и выехал. Он испытывал необычную легкость. Глядел по сторонам — на дома, в которых, наверно, пробудились ребятишки и теперь собираются в школу. На реку, по которой двинутся подводы с сеном,— это их отцы успели съездить к дальним стогам. Глядел на поля, спящие под снегом. На зорьку, выпустившую солнце, отчего упали на розовые снега длинные тени деревьев.

Навоз складывали тут же, у фермы, по обе стороны от прохода. Получалась своего рода траншея.

Малахов скинул полушубок. Ухватил железными вилами сверху тяжелый пласт навоза. Бросил его на доски, прикрывавшие дровни. Сначала было холодновато в одной гимнастерке, но чем быстрее он орудовал вилами, тем становилось теплее, и к концу, когда уже сани были загружены, стало жарко.

Погоняя лошадь, он быстро зашагал по дороге. Визжал под железными полозьями снег. Как ключевая вода, был чист воздух. И все вокруг было до того хорошо, что Малахов даже засмеялся.

Если говорить о радости жизни, то она была именно теперь. Все просто и совершенно ясно. Он работает. Эта работа нужна людям. Чем больше он сделает, тем будет лучше. И еще хорошо потому, что уставшие за войну нервы отдыхают.

Он направил сани в сторону от дороги и, сам утопая по колесу в снегу, побежал рядом с идущей рывками лошадью. И опять, сбросив полушубок, работал.

В одну из поездок он повстречался с Катюшей.

— Это кто тебя поставил навоз возить?— спросила она.

— Анисимов, председатель,— простецки улыбнулся Малахов.

— Что он, с ума, что ли, сошел!— грубо сказала Катюша.— Его бы, черта сутулого, заставить возить. Не ездь больше, Вася.

— Ну что ты? Вывозка-то подзапущена!

— Зря согласился. Надо было с самого начала себя поставить. Куда это годится — капитан, и вдруг возишь навоз.

— Да ведь я же колхозник. До войны мало ли его перевозил!

Но Катюша никак не могла смириться с тем, что его поставили на такую работу. И, еще мало зная мужа, не понимала, на самом ли деле он ничего не видит зазорного в том, что возит навоз, или же прикидывается, что это ему не обидно.

Вернулся Малахов домой затемно, усталый, но довольной.

— Дяденька Вася, а я сама сегодня решила задачки,— прыгала возле него Олюнька.

— Молодчина! Я же знаю: если ты захочешь, всех лучше можешь учиться.

Катюша принесла ужин. Все приготовила и уселась против мужа. Каким длинным показался ей прошедший день! Несколько раз она забежала домой, думая, что и Василий догадается заглянуть. Но он и отобедал-то без нее. Только мельком удалось увидеться у фермы. А сердце хотело иного: ввек бы не расставаться. Вот так сидела бы и все смотрела на него. «Миленький ты мой, хорошецкий ты мой»,— приговаривала бы в душе.

Малахов затуманенными от сырости и усталости глазами встретился с ее взглядом и, словно не было за плечами морозного тяжелого дня, протянул через стол к ней руки, ухватил за плечи. Катюша тихо засмеялась, легко подалась и, закрыв глаза, нашла его горячие, сухие губы. И совсем было бы хорошо, только где-то глубоко-глубоко сидела заноза, обида на председателя. Не уважал он Василия, ее Васю, Васеньку...

Наступил март.

Ох уж этот март! До чего же теперь синее небо. Солнце еще ходит по его краю. Но скоро оно подыметсЯ и начнет так пригревать, что снег сразу осядет и побегут ручьи. Со стеклянным звоном будут рушиться сосульки. Лед на Волге, этот крепкий лед, по которому ходили машины, станет слабым. Деревья, всю зиму зябко стучавшие ветвями, мягко зашумят, радуясь теплomu ветру. Прилетят грачи, важно будут расхаживать по полям, словно проверяя — не случилось ли чего с землей за время их отсутствия. А земля будет лежать перед ними теплая, разомлевшая.

Каждый год приходит весна, всегда радуя и никогда не надоедая. Каждый год вскрывается Волга, и всякий раз это — событие для жителей Селяниц.

Нынче она вскрылась в апреле. Вода подступила к домам.

На другой день по селу ездили на лодках. Ребятишки вели морское сражение на плотax. К стенам домов подбивало густое сусло нефти, пролитой пароходами и баржами.

Вода постояла три дня и, оставив в огородах среди борозд мелкую плотву и окунят, отступала в свое ложе.

К этому времени земля хорошо поспела. В колхозе началась пахота. Бригадир Лазарев, татуированный минным взрывом — с синими пятнами на лице, поставил Малахова на плуг.

Василий в первый же день дал две нормы на перелогах. Задеренная земля, чуть ли не всю войну пролежавшая в покое, поросшая местами мелким ольшаником, покорно пошла под его сильными руками в отвал.

В короткие минуты отдыха Малахов, словно впервые, видел нежную зелень трав, далекие холмы за Волгой. С высокого неба ему пели песню трепещущие жаворонки. Он жил, окруженный со всех сторон счастьем, потому что счастье было в нем.

Конечно, его работа не могла пройти незамеченной. На одном из партийных собраний Дуня Свешникова похвалила Малахова и предложила ввести его в состав партийного бюро как человека серьезного и работающего.

В этот день Катюша не знала, как усадить мужа, чем порадовать. Одно время она уже стала подумывать, что у него совсем нет гордости. Куда ни пошлют, всюду идет. Теперь поняла: не такой уж он простой, как кажется. Того и гляди, парторгом станет... На виду будет.

После ужина они пошли на Волгу. Это были для них любимые часы. Они садились под обрывом. Волга в этом месте была неширока. Но люди на том берегу казались совсем крошечными. Вдоль реки тянулись поселки с фабричными трубами, деревни с силосными башнями. Хорошо было смотреть на все это в вечерний час, когда Волга погружалась в спокойный полусвет отшумевшего дня.

Чем больше густели сумерки, тем река становилась красивей: всходила луна. Вода у берегов была темная, к середине синела и переходила в оранжевую. Луна плавно качалась в оранжевых волнах. Тихий ветер шуриал прибрежными травами. Вверх по реке подымался освещенный огнями пароход. Иногда на середине реки появлялись багровые костры. Было видно, как взлетают в ночное небо султаны искр. Неожиданно из темноты возникал человек, освещенный огнем. И тогда становилось ясно — плывут плоты.

Стоял поздний час, когда они вышли в этот день. По улице ходили девчата. Сильными голосами они пели грустную песенку о неудачливой любви. Пели и, наверно, не верили весне.

Далеко уже остались последние дома, затихли девичьи голоса. Малахов с Катюшей шли берегом Волги. Она прижалась к его руке и негромко запела. Ее мягкий голос словно вливался в тишину вечера.

Из-за моря, моря теплого
Птица прилетела,
На мое окошко девичье
Отдохнуть присела.

— Ты скажи мне, птичка дальняя,—
Я ее спросила,—
Где любовь моя все бродит.
Или позабыла?

От реки поднимался туман. И Малахову казалось, что песня доносится к нему из воды, немного печальная, чего-то ждущая. Он пошел тише.

Отвечала птица дальняя:
— Не скорби, не сетуй.
Коль весной любовь не явится —
Значит, будет к лету.

Улетела птица дальняя,
За лесочком скрылась.
Только в сердце, в сердце девичьем
Вера появилась.

— Вот и пришла моя летняя любовь... — ласковым, теплым голосом сказала Катюша и прижалась к руке Малахова. — До чего же мне хорошо! Думается, ничего больше и не надо... Нет, еще хочу одного. — Она помолчала и чуть не шепотом промолвила: — Героем хочу стать. Золотую Звезду получу, орден Ленина мне дадут...

Так миновало лето. Подошла незаметно осень. Все это время Катюша жила напряженно. Сказав только мужу, и то однажды, о своей заветной мечте, она словно и забыла про нее. Но не было дня, чтобы не думала об этом. Что ею руководило, она и сама

не знала. Хотелось ли славы, чтобы стать вровень с Василием, — у него было несколько орденов, к тому же капитан, и ей почему-то казалось, что она не достойна его, или уж наступил такой час в ее жизни (ведь не было ни одного собрания, чтобы не говорилось в те дни о развитии животноводства по всей стране), когда действительно хочется работать засучив рукава; или еще что-нибудь, но только Катюша порой стала забывать даже свой дом — так ее захватила работа. И раньше она бывала в соседнем животноводческом совхозе, теперь же зачастила. Перезнакомилась со всеми доярками, со старшим зоотехником. Приглядывалась, прислушивалась, спрашивала. И, словно пчела в улей, тащила все полезное на ферму. Пастухам от нее не стало житья. Она к ним приходила среди ночи, проверяла, как они пасут, ругалась, если заставала своих коров на избитой траве. Не ленилась подкашивать для них зеленый корм. Подсаливала траву. Стала составлять рационы, пробуя то одно, то другое, лишь бы угодить вкусу коров. И запаривала корма, и рубила тяпкой, и кормила целыми клубнями и морковинами — только бы поднимался надой.

Глядя на нее, и другие доярки стали стараться. Толстуха Анисья Чурбатова вначале ругала Катюшу, а потом стала присматриваться, как та доит, как массаж делает, чем кормит, и сама незаметно увлеклась.

Надой на ферме возрастал. Председатель Анисимов радовался.

— Вот, понимаешь, дела какие пошли, — говорил он Дуняше Свешниковой, — ты теперь, значит, налаживай соревнование. Твоя обязанность.

— Без тебя и постель-то холодная стала, — жалея Катюшу, ласково говорил Малахов.

— Ничего, Васенька, — устало улыбалась Катюша. — Немного уж до января осталось. Еще два месяца, а там и кончится год. Теперь бы только холода не снизили надой. Уж больно ферма-то у нас нетеплая...

И снова днями и ночами пропадала на работе. Приходила домой усталая, почти ничего не ела и засыпала, чуть голова касалась подушки.

И добилась своего. Исхудалая, с тяжелыми кулаками, как-то сразу обессиленно повисшими вдоль тела, она слушала чей-то далекий мужской голос, говоривший по радио о присвоении ей звания Героя.

Вместе с ней наградили орденами четырех доярок.

И не успела пройти эта радость, как вскоре вызвали всех награжденных в облисполком.

— Сторонись! — опьянев от счастья, кричал Малахов, пустив во весь ход лучшего жеребца Жереха, гнедого красавца с белыми бабками. — Героиню везу!

Катюша смеялась, принимая всем сердцем буйство Василия. Они летели вдвоем в легких саночках по снежным полям на далекие огни большого города. Позади них неслась тройка. Доярки громко вскрикивали на ухабах, пели песни. И все это было похоже на свадьбу.

А потом Малахов сидел и ждал ее у каменного подъезда. Можно было и его пригласить в зал, где вручали награды, но начальство почему-то не догадалось этого сделать, и Малахов остался у лошади. Он уже несколько раз соскакивал с саночек. По-извозчицки хлопал руками, согревался. Пристукивая валенками, поглядывал на большие окна, задернутые тяжелыми занавесями. Переводил взгляд на массивные двери, все думая: вот-вот выйдет. Но торжество вручения затягивалось. Он вспомнил, как ему на фронте вручали ордена, — тогда это делалось быстро, а тут тянулось без конца.

По голому небу свободно катилась круглая луна, обещая ночью мороз.

Неожиданно послышались звуки духового оркестра. Играли гимн. И Малахов понял, что торжественное заседание закончилось. Но прошло еще около часа, прежде чем Катюша появилась, окруженная людьми. Оторвавшись от них на минутку, она подбежала к мужу и, торопясь сказала, чтобы он ехал один, потому что секретарь обкома Шершнев доведет ее с двумя лучшими доярками до колхоза на своей машине. Сказала и тут же вернулась к высокому, в фетровых бурках, человеку, который уже открывал дверку в машину и по-хозяйски приглашал Катюшу.

Эх, если бы знал Малахов, к чему все это приведет, вряд ли остался бы в стороне. Он подошел бы к Шершневу и не позволил бы увозить Катюшу, когда есть рядом он, ее муж. Но он ничего не знал. Дождался, пока машина ушла, и тихо поехал обратно.

Малахову было больно, что Катя так легко отстранила его. Но тут же он понял, что ее осуждать не следует. Она хочет взять все, что выпало на этот день. Такое не часто случается. Только подумать: человек, живший обычной жизнью, который, и о себе-то был самого простого мнения, возносится на гребень славы... Как же тут отказаться? Нет, здесь все правильно. И нечего ему обижаться. И конечно, ни в какое сравнение не может идти его маленькая обида с той ликующей радостью, какой охвачена Катюша.

Так думал Малахов, возвращаясь в колхоз. Уже на полпути ему повстречалась машина секретаря обкома. Слепив, она заставила потесниться. И когда проехала, ночь показалась еще темнее. Но вскоре глаза привыкли. От белых кустов по-прежнему падали синие тени. Далеко темнели избы села.

Малахов погнался коня.

Она ждала его. На ее груди блестела Золотая Звезда и чуть пониже светлел орден Ленина.

Малахов, не раздеваясь, шагнул к жене, взял за руки, обнял, поцеловал в глаза.

— Ну прямо как в сказке,— прошептала Катюша, устало припадая ему на грудь.— До чего же все хорошо...

И этих слов и доверчивого движения было вполне достаточно Малахову, чтобы окончательно забыть свою маленькую боль.

4

Председатель колхоза Анисимов любил выпить. В этом он ничего не находил зазорного, лишь бы дело шло. Его часто можно было видеть в чайной. Грузный, с красным нездоровым лицом, он тяжело дышал в лицо своему собеседнику. А собеседников хватало. Это были люди его колхоза, которым надо было обделать какое-то свое дельце: поехать ли в город на неделю, заняться ли своим хозяйством. Они угощали Анисимова. И он разрешал. Пьяницы всегда добры.

— Вот, понимаешь, как надо руководить! — говорил он, отхлебывая пиво.— Сколько орденосцев в колхозе! Герой есть! Не комар под зонтиком. Понимаешь? Вчера поставил Луконину заведовать фермой.

Он гордился, не зная того, что в райкоме партии уже стоял вопрос о замене его Катюшей Лукониной. Кроме пьянства Анисимова была еще одна причина для его снятия: секретарь обкома Шершнев любил выдвигать деятельных людей из гущи народа. Ему нравилось видеть их в залах заседаний, с орденами, медалями, депутатскими значками, знать, что теперь они, вовремя замеченные им, руководят делами. Поэтому достаточно было ему сказать секретарю райкома: «А чего это вы в черном теле держите Екатерину Романовну Луконину? Или считаете, что пьяница Анисимов более достоин руководить колхозом?», как сразу стало очевидно, что Луконину сделают председателем.

Рекомендация райкома — это доверие. Поднятые вверх руки колхозников — это решение. И Катюше пришлось взяться за большое, сложное дело — колхоз.

Малахов каждый вечер усаживал ее за стол, закрывал дверь, чтобы никто не мешал. В свое время он окончил среднюю школу, много дала армия. Ему легче было разбираться в книгах по агротехнике и уже своими словами рассказывать жене о преимуществах севооборотов, о планировании хозяйства, но Катюша, не привыкшая к учебе, задерганная всякими делами за день, плохо понимала его. На лице ее появлялось тупое, бессмысленное выражение.

— Ах, да зачем мне все это! — чуть не плача от досады на

свою непонятливость, говорила она.— Наука, наука!.. Вон мои коровы и без науки по пяти тысяч литров дают.

Малахов снисходительно смеялся.

— Как же без науки? — говорил он.— А разве тебе мало зоотехник помог? А рационы? Вот послушай-ка, что я в этой книжке вычитал. Толковое дело там придумали. Маслозавод поставили.

И только стоило коснуться практических дел, как сонливость у нее пропадала.

— Ну-ка, ну, расскажи.

Малахов рассказывал. На бумаге вычислял, какую экономию в транспорте дает такой маслозавод,— не надо каждый день возить молоко, достаточно один раз в неделю сдать масло. Появится снятое молоко, оно пойдет на корм телятам.

— Вот это да! — оживлялась Катюша. И вскоре горячо убеждала членов правления, что надо строить такой завод. Ехала к Шершневу (в тот раз, когда он ее провожал, прямо сказал: «Заходи ко мне. Звони, не стесняйся. Всегда помогу»). И возвращалась и Н-ска с сепараторами, с центрифугой.

— Васенька, ты мне не читай книжки. Читай сам. А что интересное — скажи.

— Неужто? — повторяя ее любимое словцо, смеялся Малахов.— Ты вроде Олюньки: кто бы за нее сделал задачку.

— Ну, Васенька... Ну, миленький... — ласлилась к нему Катюша.— Ведь я же не виноватая, что мало училась.

— Ладно. Вот слушай.— И читал ей, как в одном колхозе поставили картофелетерку.— А у нас сколько гниет мокрой картошки. Вот бы ее пускать на крахмал, а барду — свиньям.

— Золотой ты мой Васенька,— обнимала его Катюша,— ну до чего же у тебя головушка светлая!

Построили картофелетерку.

Так как Шершневу внимательно относился к делам колхоза, то нововведения Катюши Лукониной были замечены. В один из сентябрьских дней приехали в колхоз двое из областной газеты. Катюша с гордостью показывала маслозавод и картофелетерку. Но фотокорреспондент не стал снимать эти «объекты». Уж слишком они показались ему примитивными — маленькие полутемные сараи. И сфотографировал Катюшу. Другой же, круглолицый, толстый, подробно все расспросил, записал. И они уехали.

Через неделю в газете появилась большая статья с фотографией Екатерины Романовны. По словам корреспондентов, заводы представляли значительный интерес. Теперь уже слава о Катюше пошла как о председателе колхоза.

Несколько раз в этот вечер она брала газету. Удивленно смотрела на снимок. Перечитывала статью.

— Пойдет дело, пойдет! — радостно говорил Малахов.— Только учиться надо.

— Это ж ты придумал, Васенька, а они мне приписали.

— А я бы для тебя и не такое еще сделал! — в порыве душевного подъема сказал Малахов.

— Ну так и я для тебя сделаю, Васенька. Спасибо скажешь.

— Что сделаешь?

— Подожди чуток. Узнаешь.

Теперь уже поступь у нее стала уверенней. Распоряжения тверже.

«Хорошо бы заложить теплицу», — как-то посоветовал ей Шершневу. Она согласилась: «Плохо ли иметь свою теплицу? Всегда ранние овощи». Но для этого нужны были деньги. Она нашла их. Узнала, что на севере картофель в пять раз дороже, чем на рынке в своей области. Никому ничего не говоря, Катюша съездила в управление железной дороги и там добилась двух вагонов для отправки картофеля на Кольский полуостров.

— Васенька, ты повезешь, — радостно сияя глазами, сказала она, ожидая, как обрадуется муж. Это она сама ведь, без него, придумала. Но, к удивлению, Василий не разделил ее радости.

— Нехорошее это дело, — сказал он. — На спекуляцию похоже.

— Какая же тут спекуляция? Свое продаем, не купленное. На что строиться-то? Поезжай, спокойная буду. Уж знаю — ни копейки не пропадет.

— Не поеду! И тебе не велю.

— Неужто! — Катюша обидчиво поджала губы. — Ладно, если не хочешь — не надо. Только не мешай мне.

Вагоны с картофелем ушли.

Вернувшись с Кольского полуострова, заведующий конфермой Серегин сдал в колхозную кассу столько денег, что вопрос о теплице можно было считать решенным. Сдав деньги, он сразу же отправился на конюшню.

Там он застал тренера Карамышева, чистившего лошадь. Это был ладно пригнанный, хватистый человек лет под сорок. Бывший кавалерист.

— Здорово, Петр, — сказал Серегин.

— А, Никифор Самойлович, наше вам, — приветливо ответил Карамышев, снимая с правой руки щетку. — Как съездилось?

— Подходяще. — Серегин придирчиво осмотрел ближние денники. Отметил чистоту. — ЧП никаких?

Карамышев недоуменно поглядел на него.

— А что тебя интересует?

— Как что? — удивился Серегин. — Все интересует.

К ним подошел Малахов.

— Тогда вот у него спрашивай, — ответил Карамышев.

— Почему у него? — спросил Серегин.

— Так ведь он же заведующий фермой-то! — чуть не закри-

чал Карамышев, поняв, что Серегин ничего не знает о том, что его сняли с заведующих.

— А я кто? — спросил Серегин, и руки у него дрогнули.

— Разве с тобой не говорила Екатерина Романовна? — спросил Малахов. Он был твердо уверен, что Серегин сам захотел перейти на другую работу.

— Ловко, являя б вас взяла, орудуете! — плюнул Серегин и хлопнул дверью так, что в одном из денников вылетело стекло.

— Плохо ты сделала, сняв Серегина, — в тот же вечер говорил Малахов жене.

— Была печаль, — беззаботно отмахнулась Катюша. — Ты про другое говори: Шершневу обещал дать самый крупный завод нам в шефы. Теперь-то уж построим такую теплицу!..

— Теплица теплицей, — в раздумье сказал Малахов, — но с Серегиним нехорошо получилось. Обидела ты человека, да и обо мне не подумала.

— Да о тебе только и думала, Васенька мой. И брось-ка ты голову ломать. Ведь я председатель. Герой. Неудобно, чтоб муженек навоз возил. Тем более капитан...

5

Однажды в конце января в колхоз приехал Шершневу. Катюша увидела знакомую «Победу» из окон конторы. Торопливо сунув бумаги в стол (она стеснялась своего почерка: он был тяжелый, неровный, с таким нажимом пера, словно Катюша стремилась проткнуть бумагу), надев шубку, она выбежала навстречу секретарю обкома.

Шершневу стоял возле машины, крупный, с короткой шеей. Внимательно осматривал серыми глазами из-под лохматых бровей село.

— Здравствуйте, Сергей Севастьянович! — и радостно, и взволнованно сказала Катюша. — Даже и не позвонили, что приедете. — У нее было то состояние непринужденности, когда человек твердо знает, что его ожидает только хорошее.

— А я люблю вот так нагрянуть. Внезапно, — рокоушим басом ответил Шершневу и улыбнулся, смотря в то же время серьезным взглядом. — Ну, показывайте хозяйство.

Неподалеку от него стояли двое. В одном из них Катюша узнала журналиста. Другого видела впервые: был он высок, сутул, в больших очках на маленьком лице.

— Ваш колхоз должен стать гордостью области, — говорил Шершневу, широко шагая по укатанной дороге. — Во всем необходим обком поможет вам, но... — он погрозил Катюше, — чтобы подобных поездок на Кольский полуостров больше не было. Вы должны высоко нести свой авторитет.

От холодного блеска его глаз Катюше стало не по себе, и она

была рада, когда Шершневу вошел на ферму. Коровы тихо позвякивали цепочками, которыми их привязывали к стойлам. Доярки почтительно смотрели на гостей.

— Непременно автопоилку установить,— обернулся Шершнев к высокому сутулому спутнику. Тот записал.

Выйдя из коровника, Шершнев так же быстро осмотрел телятник, спросил: «Есть ли падеж?» и, услышав, что нет, удовлетворенно кивнул головой.

— Вашему колхозу надо стать застрельщиком по сохранению молодняка,— сказал он и посмотрел на журналиста. Тот что-то записал.— Сколько у вас дворов? — спросил Шершнев у Катюши.

— Двести.

— Приготовьтесь принять еще восемьдесят. Ваш колхоз будет укрупнен. Войдет деревня Рыбинка.

— Это и есть маслозавод? — несколько удивленно спросил он, войдя в полутемное помещение, и покосился на журналиста. Журналист напыжился, покраснел.— Побольше света. Оштукатурить,— строго сказал Шершнев и, заметив заведующего с папиросой во рту, добавил: — Не курить!

Малахов помогал Карамышеву убирать денники, когда вошел Шершнев. И Малахов и Карамышев машинально встали, увидя грузную фигуру,двигающуюся на них.

Кони нервно переступали в денниках. Стучали копытами о деревянный пол. Гнедой-младший, горячий двухлеток, диковато косил темным глазом.

Шершнев внимательно всмотрелся в Малахова, увидел его, всего подтянутого, с ясными глазами, смотревшими открыто и честно, и приветливо кивнул головой. Чуть позади него шла гордая, счастливая вниманием секретаря обкома Катюша. Малахов ждал, что она остановит Шершневу, что-нибудь скажет, но она даже не взглянула на мужа.

Они прошли. Малахов, поймав себя на том, что стоит по команде «смирно», горько усмехнулся.

Когда он пришел домой, сразу понял, что Шершнев был здесь. Катюша убирала со стола. Перед ней стояли тарелки с объедками, недопитый в стаканах чай. Увидев мужа, Катюша счастливо улыбнулась, что Малахов не мог не спросить, что с ней.

— Даже и не верится,— ответила Катюша.— Сергей Севастьянович сказал, что меня будут рекомендовать депутатом в Верховный Совет.

Малахов сдвинул брови и ничего не сказал.

— Ты не рад?

— Не знаю...

— Чего ты не знаешь? — Катюша смотрела далеким взглядом в окно, на Волгу.

И вот Екатерина Романовна Луконина стала депутатом Верховного Совета. За нее агитировали, ходили по домам молодые и старые люди. Они рассказывали избирателям биографию женщины, которая от простой доярки поднялась до председателя колхоза, инициативного, знающего свое дело. И просили избирателей отдать за нее свои голоса. Она сама выступала на предвыборных собраниях. Ей аплодировали. Потом, ранним утром, люди потянулись к освещенным огнями домам. Репродукторы разносили в морозном воздухе бодряую, праздничную музыку. Многие, прежде чем опустить бюллетени, писали слова, полные любви и уверенности, что славная дочь народа выполнит их указы.

Уже вечерело. Валил густой снег, мокрый, тяжелый. Музыка продолжала играть, но праздничная приподнятость угадла. Торопливо расходились по домам прохожие. Малахов в раздумье шагал к Дому приезжих. Не доходя двух кварталов, он увидел на стене плакат с портретом жены. Качающийся свет всяческого фонаря косою полосой освещал его, оставляя в тени широко раскрытые, словно удивленные, глаза Катюши.

— Ох, Катя, Катя, далеко ты пошла! — прошептал Малахов. — Трудно тебе будет.

В Доме приезжих было шумно. В буфете мужчины и женщины немного подвыпили, громко разговаривали и хохотали. Бригадир Лазарев ликующе закричал:

— Капитан, ходи сюда! Мы ж тебя любим! — Он налил стакан и поднес Малахову. — За твою Катерину! За нашу Катерину!

Дуня Свешникова, раскрасневшаяся от вина, блестя черными зрачками, прижала к груди руки.

— До чего же я радостная! Я ли Катю не знаю! Пришла к нам с ребеночком. Бабы смеялись. А она вон куда метнула! — И неожиданно заплакала.

— Мы тебя любим, капитан, — обнимал Малахова Лазарев. — Ты вот и пришлый вроде, а наш. Потому как фронтовик. Война всех нас сроднила...

Он что-то еще говорил. Его перебивали другие. Тянулись к Малахову со стаканами, чокались. И все хвалили Катюшу. И его, Малахова. И ему становилось хорошо и спокойно.

Но из угла на него хмуро смотрел Серегин. Руки у него, как и всегда, безвольно свисали вдоль тела. Малахову сейчас очень не хотелось, чтобы кто-то сердился, угрюмо смотрел на мир.

— Никифор Самойлович, — сказал он и пошел к нему.

— Не трожь, — глухо сказал Серегин.

— Да брось ты, не сердись. Я уйду с фермы, — раскрываясь сердцем все больше, сказал Малахов. — Принимай ее!

— Ну, конечно, мужу депутатки можно ни хрена не делать! — насмешливо сказал Серегин.

Малахов побледнел. В комнате стало тихо. Откуда-то донеслась песня. Все смотрели на Малахова. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не Дуняша Свешникова. Она заслонила Малахова и закричала на Серегина властно и гневно:

— Чего руки тянешь? Я ж тебя знаю. Драться хочешь. Так не выйдет тебе! — И повернулась к Малахову: — А вам тоже нечего растравливать человска. Ну, взяли от него ферму, так уж теперь на попятки не ходить. И нечего больше болтать. Поехали домой!

Возвращались с песнями, шумно, но Малахову казалось, что это нарочно кричат. Хмель прошел, и лишь осталась в голове тяжесть да в сердце беспокойное ощущение чего-то недоброго.

Катюши дома не было. Но не успел он раздеться, как она пришла, затормошила Олюньку, начала кружить мужа. Смеялась и сразу становилась серьезная.

— Ведь не может быть, чтоб не выбрали? — спрашивала она: — А если не выберут? Тогда стыда будет, стыда!.. — И закрылась ладонями. Но тут же опять засмеялась.

— Ну чего ты такой? Ну чего? — досадливо морщила брови Катюша, видя в муже какую-то скованность. — Ровно ты не рад?

Постучали в окно. Малахов отдернул занавеску. Стояла почтальон — тетя Галя. Олюнька выбежала на улицу и принесла телеграмму.

«Поздравляю депутата высокой честью. Шершневу».

Это значило, что голоса уже были подсчитаны, что она избрана. И только теперь Катюша поняла все то значительное, что произошло с ней. Она глубоко вздохнула, посмотрела на мужа. На ее лице появилась растерянная улыбка.

— Что-то страшно мне, Вася... Чего я там делать-то буду.

— Не знаю, Катя... Ты вот упрекаешь меня... А я боюсь...

Она не дала ему договорить. Не такие ей слова сейчас были нужны. Шершневу — тот бы раскатисто захохотал. «Что еще за страхи? — сказал бы он. — Лукониной страшно? Хо-хо!»

— А ты не бойся за меня, — встав перед мужем, сдержанно сказала Катюша. — И не тумань моего солнышка. Придет час, и ты подымешься.

— А я еще не падал, Катя, — сурово сказал Малахов.

Она круто повернулась к нему. Ее синие глаза холодно блеснули.

— Ай, да и неохота мне говорить, — с досадой сказала она. — Там, вверху, поди-ка, знают, что делать. Еще не хватало, чтобы мы с тобой поссорились, Васенька мой. А коли наругают меня

и взашей надают, — уже невесело добавила Катюша, — не к кому — к тебе приду жалиться.

Это была опять она, его Катюша, и не стало сил у Малахова осуждать ее.

7

В самую ростепель она уехала в Москву на сессию. Малахов проводил ее и отправился на конюшню.

Зайдя в тренинг, он застал Карамышева возле Жереха. Тренер чистил жеребца и, посмеиваясь, говорил:

— Щекотно, а? Ишь ты, нежный какой. Щекотухи боишься. Важно, что ты это показал мне. На бегах я пощекочу тебя. А еще, может, чего боишься? — засмеялся Карамышев. Увидя Малахова, он вышел из денника.

— Ну что, отправил? — спросил Карамышев.

— Уехала.

— Далеко пошла наша Екатерина Романовна, — почтительно сказал Карамышев. — И скажи ты на милость, как она быстро вознеслась. А еще говорят, человек не рождается в сорочке.

— А она что, в сорочке родилась? — улыбнулся Малахов.

— Должно, в сорочке. Иначе как же?

— А ты?

— А что я?

— А ты в сорочке?

— Какая там, к ляху, сорочка! Матка не донесла до постели. На полу обронила.

— Как Наполеона, — рассмеялся Малахов.

— Ну? — не поверив, спросил Карамышев. — Так-таки Наполеона матка на полу и родила?

— Говорю же.

— Скажи на милость, какое совпадение, — покрутил головой Карамышев. — Это я запомню. — И неожиданно захохотал громко, во весь рот, так, что в денниках запрядали ушами лошади. — Его, верно, потому и прозвали: «На полу он!»

— Давай-ка выпустим лошадей на прогулку, — сказал Малахов и сам открыл первый денник.

Жерех ветром вылетел на свободу. За ним — Гнедой-младший. Звездочка тонко заржала, просясь на волю. Ей раскатисто и могуче ответил Жерех и заносился по кругу, кося фиолетовым глазом за ограду, где лежал простор, где можно было нестись напропалую. Гнедой-младший высоко вскинул задними ногами и пошел, задирая голову, вслед за Жерехом.

— Да, — стоя рядом с Малаховым и любуясь лошадьми, произнес Карамышев. — Не знаю, правда, не знаю, нет, но вчера в чайной Серегин бахвалился, будто он первый надумал создать племенную ферму. Дескать, никому не сказывал, а сам, по соб-

ственному почину вóдил кобыл на случку в совхоз. Вот и пошли Жерех, Гнедой-младший и Звездочка. Теперь-то, говорит, легко Малахову племенную ферму заводить...

— Пожалуй, он прав,— спокойно ответил Малахов.— С неба такие красавцы не валяются.

— Да вот прав, а никто про это не знает,— недовольным голосом сказал Карамышев и подергал себя за ус.

— А это очень важно, чтоб знали? —спросил Малахов, с любопытством глядя на тренера.

— А как же? —встрепенулся гибким телом Карамышев.— На то и работаем, чтоб знали, кто что сделал в своей жизни. Взять хоть и Серегина. Придумал человек доброе для колхоза — его сняли, а тебе, выходит, честь и почет... Нет, ты вот так сделай, чтоб след остался! Прошло хоть и двадцать годов, а посмотрел в какую-нибудь запись, а там стоит фамилия и дело, которое человек совершил. Тогда будет справедливость.

Карамышеву почему-то казалось, что после его слов Малахов будет с ним спорить, возможно, даже обидится. Но, к его удивлению, Малахов согласился. Больше того, стал говорить о том, что это здорово интересно, что такую книгу надо непременно завести в колхозе. Да, да, и пройдет время — все-станет иным. Вместо этой старой деревни, с ее деревянными домами, с узкими, словно плачущими, окнами, с полутемными фермами, появится замечательный поселок, с такими же квартирами, как и в городах, с водяным отоплением, газом (прощай, русские печки!), с водопроводом. Открыл кран — и бежит вода. Не надо ее таскать с колодца. И вот тогда соберутся люди, станут читать книгу нашего колхоза и увидят, как все мы вместе и каждый в отдельности думали, настойчиво искали, чтобы свой колхоз сделать лучше.

Это будет родословная инициаторов. Из поколения в поколение она станет расти. И какой-нибудь внук увидит дела своего дедушки. И, скажем, узнает, что Карамышев Петр Николаевич первым придумал книгу инициаторов нашего колхоза, с волнением закончил Малахов.

Карамышев удивленно смотрел на него. Больше всего тренера поразила та взволнованность, с какой говорил Малахов. Случайно он перевел взгляд на лошадей, и увидел, как Гнедой-младший отвечает ему таким же ласковым движением. В этом было что-то очень хорошее, дополняющее слова Малахова.

— Прямо скажу тебе, Василий Николаевич, ты разволновал меня,— глуховато сказал Карамышев.— Я как-то о том, что будет, мало думаю. А ты мне ровно окошко открыл. Да и то сказать, думать-то некогда. Работать приходится много. И как-то завязнешь в своих делах, и голову не оторвать от земли. А другой раз подынешь и такое, я тебе скажу, увидишь небо высокое, что дух захватывает... И захочется стать лучше, чище сердцем.—

Карамышев помолчал, подергал ус. И вдруг громко захохотал. — Книга инициаторов! Я, говоришь, придумал? — И тронул руку Малахова. — Но только, слышь, давай в эту книгу впишем Серегина. По справедливости!

— Ну а как же! Непременно Серегина впишем, — испытывая большое, ласковое чувство к Карамышеву, ответил Малахов.

В тот же вечер он поговорил с Дуней Свешниковой.

— Что ж, я не возражаю, — деловито сказала она.

— При чем тут «не возражаю»? До тебя, видно, не дошло, — загорячился Малахов. — Ты подумай, как это хорошо будет, когда каждый на своем месте начнет искать. Находить новое. Творчество появится, понимаешь? Ведь об этом в газетах говорят. Чтоб не исполнители, а творцы у нас были!

Дуняша наморщила лоб. Она была проста. Могла по-бабьи всплакнуть, посочувствовать и непременно сделать так, чтоб человеку стало хорошо. Колхозники ее уважали. Райком партии ценил за аккуратное выполнение всех указаний.

К тому, о чем говорил Малахов, она сначала отнеслась чисто по-деловому. Есть Доска почета, Доска соревнования, Доска выполнения плана, пусть еще появится Книга инициаторов. Но Малахов сумел и ее зажечь так, что она не только дала согласие, но на другой же день сама съездила в райцентр, купила большой альбом для рисования и попросила старшую дочурку (у той был красивый почерк) крупно написать на альбоме, что это за книга, когда она начата, кому принадлежит. В ней появились первые записи: в самом верху — тренер Карамышев, предложивший идею самой книги. За ним шел Серегин — инициатор племенноводства на конеферме. Потом Екатерина Луконина, по предложению которой были построены маслозавод и картофелетерка. И комсомолка Верещагина, создавшая драматический кружок.

Об этой книге сразу заговорили. Но так как желающих посмотреть ее было много, то Дуняша Свешникова, боясь, как бы книгу за короткое время не растрепали, придумала выносить имена инициаторов на большую доску возле конторы.

Новое всегда влечет. Каждому захотелось тоже что-нибудь придумать. И к тому времени, как вернулась из Москвы Екатерина Романовна, список увеличился чуть не вдвое.

Она приехала возбужденная, ошеломленная тем, что довелось ей повидать. Все эти встречи со знатными людьми, с генералами, академиками, писателями заполнили ее так, что все теснилось, требовало какого-то выхода. Ее потрясли своим величием залы Кремля, сама Москва, в которой ей не приходилось бывать раньше. Но возбуждение ее несколько померкло, когда она увидела себя окруженной повседневной жизнью, какой жил колхоз, со всеми его трудностями, массой мелочей, со слезами старух пенсионерок, которым почему-то заместитель Пименов не выдал картошки, с рапортами бригадиров о невыходах не-

которых колхозников, с падежом поросят. А тут еще попалась ей на глаза Доска инициаторов.

Прижмурив глаза, Екатерина Романовна долго стояла перед ней. Практическим складом своего ума она прекрасно поняла, к чему это ведет. Если бы только муж записал на себя маслозавод и картофелетерку, то на долю председателя ничего бы не осталось. И вышло бы так, что все думают, все умные, а ей ничего сказать и она вроде пустого места. Еще больше взвинтила ее заметка в районной газете, в которой хвалили Карамышева.

— Прямо смех, — сказала она мужу. — Хоть бы уж ты додумался, а то на вот тебе — Карамышев!

— Зато посмотри, что с человеком делается. Во всякое дело лезет.

— Пусть за своим-то как следует смотрит, — тяжело шагая по комнате, сердито сказала Екатерина Романовна. И вдруг остановилась перед мужем. — Чего ж теплицу на меня не записали? Это все проделки, поди, Дуняшки Свешниковой!

— Она хотела записать, но я был против, — серьезно глядя на жену, ответил Малахов. — Ведь это Шершнева инициатива...

— Вона! — только и сказала Екатерина Романовна.

Теперь она часто отлучалась из колхоза. У нее были еженедельные депутатские дежурства. Кроме того, ездила то в Н-ск, то в райцентр. Сидела в президиумах торжественных заседаний. К ней уже приезжали из областного издательства. Она рассказывала. За нее кто-то писал брошюрку о методах руководства колхозом. И ей давали на подпись уже сверстанную корректуру. Однажды приехали из кинохроники. И вскоре Екатерина Романовна, сидя среди своих односельчан в клубе, видела на экране себя, фермы, доярок. Сильный дикторский голос рассказывал о больших успехах, достигнутых колхозом «Селяницы». И хотя в колхозе были недостатки, они не упоминались ни на заседаниях, ни в печати. А отмечалось только лучшее, что было в колхозе. Колхоз «Селяницы» прочно встал в тот незабываемый ряд хозяйств, которые могут служить только примером.

Все это убеждало Екатерину Романовну в том, что она правильно руководит хозяйством.

Первое время, возвращаясь из поездок, она еще советовалась с мужем, рассказывала о том интересном, что видела, слышала. Но потом как-то перестала. Возможно, сказывалась усталость. А позднее — привычка, когда значительное становится обыденным. Она уже не спрашивала Василия, как он живет. Часто обрывала с ним разговор на полуслове, как бы говоря, что все это мелочи, а ее интересуют большие дела. И это равнодушье к нему начало тревожить Малахова. Он чувствовал: Катюша отдаляется от него.

Не прошло и месяца после того как вернулась Екатерина Романовна из Москвы, и снова ее вызвали в столицу. Уже оттуда

она сообщила, что едет с делегацией в Закарпатье. Было в ее взлете что-то сказочное; «Впрямь в сорочке родилась», — удивленно думал Малахов, вспоминая слова Карамышева.

Все эти дни, пока Лукониной не было, дела в колхозе вершил угрюмый, малоподвижный заместитель Пименов. Он целыми днями сидел в конторе, предоставив бригадирам полную свободу. Если они обращались к нему, то он обычно говорил: «Вот уж придет председательша, тогда и решим», так что его вскоре оставили в покое.

Разъезды Лукониной имели свои последствия. Колхоз без руководителя — уже не колхоз. Все работают, но нет единой руки, которая бы направляла. А тут еще пошли нелады с укрупнением. Скот из Рыбинки перегнали на молочную ферму в Селяницы. Коровы оказались малоудойными. Заведующая фермой Маклакова, вообще-то сдержанная женщина, начала горячиться, как только заметила, что общий надой по ферме стал снижаться. Заставила пастуха обратно гнать коров. Тот перегнал. Но корма остались в Селяницах. Бригадир по кормодобыванию Анастасьев, вместо того чтобы отвезти в Рыбинку сено, начал «пировать» — каждый день пропадал в чайной, где всегда была водка и бочечное пиво. А когда собрался наконец отвезти сено, оказалось, что сена уже нет. С досады он плюнул и пошел опять в чайную. В Рыбинке скот отошал. Надвигался падеж. Малахов кое-как расшевелил Пименова. И тот распорядился опять перегнать коров в Селяницы, пригрозив Маклаковой, что снимет ее с заведующих, если она не пустит скот на ферму. Та выругалась и пустила. Но теперь отказались работать доярки из Рыбинки. У себя они наданвали по три тысячи литров от коровы, получали дополнительную оплату, так как план надоя был всего две с половиной тысячи. Здесь же им план увеличили, и доплаты они лишились. В общем, началась такая неразбериха, что Пименов боялся и нос показать на ферму и с нетерпением ждал приезда Екатерины Романовны.

А ее не было. На улицах Селяниц иногда стали раздаваться песни среди бела дня. Начались поздние выходы на работу.

«Хоть бы Катюша скорее приехала», — тревожно думал Малахов.

Она вернулась в конце мая. Еще задолго до прихода поезда Малахов приехал с Олюнькой на станцию.

Май в этом году стоял солнечный, ясный. Вначале прошли дожди, потом установилась мягкая погода, и земля быстро оттаяла. По ночам после пахоты от нее подымалось тепло. Старики предвещали урожайный год. Но весенняя пахота прошла в Селяницах с запозданием. С большим трудом кое-как вышли на среднее место по району. И то еще спасибо Дуняше Свешниковой да Малахову. Каждый вечер они после работы обходили участки, подтягивали коммунистов, если те не справля-

лись с дневным заданием. А уж за коммунистами шли беспартийные.

Малахову было особенно трудно говорить с людьми. Ему мало верили. «За бабу свою хлопочет!» — говорили одни. «Депутат, как же!» — вторили другие. И только потому не отказывались прихватить и вечерние часы, что боялись — пожалуется председателю. А председатель в колхозе — власть! Так уж лучше отойти от греха. Все это Малахов замечал. И, как всегда, ему было больно, что многие люди не понимают, где их счастье лежит. И порой думал о том, что люди еще не знают по-настоящему, не постигли глубокого значения коллективного труда. Что еще довлеет над ними власть своего куска, пусть малого, но своего. И тогда он готов был сам все сделать за всех, лишь бы доказать их неправоту.

Сначала пионер, комсомолец, а потом коммунист, Малахов все слова партии, всю ее науку принимал в сердце как великую правду. И эта правда его никогда не обманывала. Он был счастлив верить ей. И не понимал и не любил тех людей, которые жили особняком, хитрили, думая только о себе.

Малахов нетерпеливо поглядывал на большие круглые часы, висевшие у подъезда вокзала. Как и всегда, он испытывал радостно-встревоженное состояние, ожидая Катюшу. Сладкая тоска охватывала его сердце от одной мысли, что вот она сейчас явится.

Из дверей вокзала повалил народ. Малахов приподнялся в коляске, высматривая в толпе жену, и увидел ее веселую, смеющуюся. Около Катюши жалась Олюнька. Толпа их вытолкнула на площадь, и они уже свободно подошли к коляске.

Малахов соскочил на землю. Встретился глазами с Катюшей и засмеялся от радости.

— Вспоминал ли хоть? — передавая чемодан, спросила Екатерина Романовна.

— Еще бы, — широко улыбнулся Малахов, — во сне стал видеть!

— Дядя Вася, мама и на самолете летала! — радостно говорила Олюнька. — Расскажи, мама!

— Ты-то расскажи, как жила?

— Хорошо! Ну расскажи, мама!

Они уже ехали окраиной, вдоль низеньких деревянных домов. В огородах копали землю. На припеке, у заборов, зеленела трава. Был май. Милый май, когда все раскрывается навстречу солнцу.

— Чудно летать! — весело рассказывала Екатерина Романовна. — Все-то облака под нами. Ну все равно как зимой по сугробам едешь. А то вдруг облака пропадут, и далеко-далеко внизу — земля. Большая, без края. Аж сердце замирает. И домики махонькие, и дороги как вот жилы на руке. И по ним

машины бегают, ровно божьи коровки. А то вдруг облака мимо нас стоямя идут. Ну прямо чудо... Ты не летал? — спросила она мужа.

— Нет, — ответил Малахов, сворачивая на полевую дорогу.

Она взглянула на него. Как обычно, он был опрятен: сапоги начищены, побрит. Но в этот раз он показался ей со своей опрятностью каким-то незначительным, словно только и умел, что держать себя в чистоте.

А у нее перед глазами стояли приемы, какие ей оказывали в Закарпатье, номер в гостинице с ванной, которую она принимала два раза в день. Уж так ей понравилось купаться в ванне!

— Еще, мама, расскажи что-нибудь!

— Вот так и летала. Сначала страшно было, а потом приобвыкла. Обратного уж запросто.

— Как Закарпатье? — спросил Малахов, погоняя тяжеловатого, но старательного жеребца Оврага. — Я ведь бывал там в войну.

— Гор много. В городах чистенько. Домики опрятные. Но вообще-то ничего особого. На машине возили нас. Условия, конечно, создали нам хорошие. — Она сидела довольная, важная, как говорят, «знающая себе цену». — А тебе, доченька, я привезла костюм вязаный, — сказала она, прижимая к себе Олюньку. «Костюмчик привезла. Будто на базар съездила», — вдруг подумал Малахов.

— Ну, что у вас нового? — донесся до него голос жены.

— У нас? У нас неладно, Катюша. Нельзя тебе так часто отлучаться из колхоза. Еле уложились в сроки по севу.

Они ехали полями. По обе стороны от них свободно лежала земля соседнего колхоза. Дымилась зеленым огнем озими, в наклонку работали женщины, высаживая рассаду.

— Что ж так? — недовольным голосом спросила Екатерина Романовна. — Выходит, и положиться нельзя ни на кого?

— Да ведь еще многого не сделано, — заметил Малахов. — Столько огрехов в хозяйстве, куда там!

— Неужто! — отрывисто произнесла жена. — Ну да ладно, вот приеду, наведу порядок. А ездить я, Васенька, буду. Дела того требуют. Какой ж я депутат, если дальше своего колхоза носа не покажу...

— Да ты погляди, что с колхозом делается! Не успели рассаду высадить, как сорняк забил. Мужики пьянствуют. С тебя ведь все спросится.

— Велико дело — сорняки! Выподем. А что мужики пьют, так когда они не пили-то? И брось-ка об этом думать. Не порть встречу! — с досадой закончила она.

Приехав в село, Екатерина Романовна не пошла домой, а сразу же направилась в контору. Пименов облегченно вздохнул,

увидя ее. С удовольствием уступил место за председательским столом.

— Ну, что здесь без меня наработали? — спросила она, сбросив с головы шелковый платок.

— Да вот, добиваюсь концентратов. Как ты уехала, все обещают, — виновато ответил Пименов.

Концентрированные корма для скота действительно было получить нелегко. По плановой разрядке они всё выбрали. Но своих кормов уже не было. И Екатерина Романовна перед отъездом сумела через Шершнева добиться сверхплановых. Поэтому дело оставалось только за тем, чтобы их вывезти.

— Э, хуже бабы! — сквозь зубы сказала Екатерина Романовна и позвонила в обком.

Трубку взял Шершнев. Что-то спросил. Она ему ответила:

— До отдыха ли, Сергей Севастьянович, и домой не заходила.

Он еще ей что-то сказал. Она засмеялась. Пименов удивленно смотрел на Екатерину Романовну и не понимал, как это можно вот так свободно разговаривать с высоким начальством. Он же обычно бывал рад-радешенек, если начальство его не замечало.

Переговорив с Шершневым, Екатерина Романовна опять стала серьезной. Сказала, чтобы Пименов наутро собрал всех бригадиров и заведующих фермами.

Зазвонил телефон. Ее вызывал тот самый Иванов, который не отгужал концентраты. С ним она говорила полушутя-полусерьезно, но за ее шутками чувствовалась сила.

— Вот так, Николай Иванович, давай-ка работать, — говорила она, постукивая пальцем по столу. — Чего прошу, так уж исполняй, а не то встретимся — последние волосенки с бороды выдерну. Не больно-то она у тебя густая. — И, положив трубку, сказала Пименову: — Наряжай машину. Да попроворней.

Пименов опять не мог не удивиться тому, как быстро все решилось у Лукониной.

После этого Екатерина Романовна еще с час пробыла в конторе. Просматривала сводки, документы учетчика, акты и собралась было уже уйти, как в комнату быстро вошла Дуняша Свешникова.

— Бегом бежала, как узнала, что ты приехала, — тяжело дыша, сказала Дуняша. — Ну, как съездила, хорошо?

— Съездила-то хорошо, а вот пока меня не было, вы чуть сев не завалили, — строго посмотрела на нее Екатерина Романовна.

Опять зазвонил телефон.

— Луконина слушает. Совещание? Хорошо. Буду. — Она поднялась. — Вот так-то, Дуняша. Порассказала бы, да некогда.

— Я не за тем бежала, чтоб узнать, как ты съездила, —

с обидой в голосе сказала Дуняша.— О колхозе хотела поговорить. Без тебя прямо как без рук.

Последние слова, видимо, польстили Екатерине Романовне. Она снисходительно положила руку на голову Дуняше. Посмотрела в ее маленькие черные глаза, окруженные сеточкой морщин, и ей стало жаль эту невзрачную женщину, которой вряд ли когда доведется выйти в знатные люди.

— Все-то ты ездешь на совещания,— продолжала Свешникова,— а колхоз — ровно ребенок заброшенный.

— Был бы плох колхоз, ругали б, а нас всюду хвалят,— резко сняв руку, сказала Екатерина Романовна.

— Да за что хвалят-то, Катюша? Все по старой памяти — за ферму да маслозавод. Передовой, передовой, кричат, а чего в нас передового? Вон сев-то еле вытнули!..

— Не пойму, чего вы тут паникуете. Мой тоже мне долдонит. И ты еще тут! Завидки вас, что ли, на меня берут? Поди-ка, Шершнез Сергей Севастьянович меньше тебя понимает! Ты вот лучше поглядывай за курами. По сводкам-то не ахти какие у тебя несушки. Да приготовь брудер: завтра цыплят в совхозе достану.

И, не прощаясь, ушла.

Вечер стоял теплый. Солнце спокойно уходило за Волгу. С пастбища гнали по улице скот. Коровы, мыча, расходились по прогонам. Овцы, жалобно блея, металась у закрытых калиток. Их тоскливо-тревожные голоса, знакомые с детства, как-то еще больше усиливали то сложное состояние, в котором находилась Екатерина Романовна. Ей все это было и близко, и дорого, и вместе с тем как-то не нужно. После Москвы и Закарпатья, этой совершенно иной жизни — большой, возвышенной, ей уже все, с чем бы она ни соприкасалась в своем колхозе, казалось мелким. Ее раздражали разговоры с мужем, со Свешниковой. Катюша была твердо убеждена в том, что эти люди (уж так получалось, и в этом она не виновата) оказались где-то далеко внизу, в то время как она поднялась, достигла верхов. И где им понять то, что ей совершенно ясно! Если Шершнез называет ее «самородком», то он, значит, ценит ее. Так почему же всякие Свешниковы стараются принизить ее авторитет? И Василий тоже хорош. Нет чтобы гордиться женой, так туда же: «Не ездит больше!» Поди-ка не знаю, что делаю...

Она завернула к конюшне, хотя и не думала до этой минуты туда идти. Но на сердце кипело, и хотелось досадить Василию.

Тренер Карамышев сидел в беговой качалке. Жерех свободно бежал по кругу, направляемый чуткими руками тренера. Малахов стоял у ограды с секундомером в руке и наблюдал. «Конечно, с часиками куда проще стоять,— недружелюбно подумала Екатерина Романовна, подходя к мужу.— Невелико занятие. Дорвался до лошадей и рад-радешенек». Она забыла о том, что

и сама когда-то начинала с доярки и что именно ферма по-могла ей прославиться. Теперь все это казалось ей малозначи-тельным.

— Смотри, не осрами на бегах,— прижмурив глаза и следя за красивым бегом Жереха, сказала Екатерина Романовна.

— За Жереха бояться нечего. Он хорош. Вот Звездочка не натужлива, быстро выпаривается,— ответил Малахов.

— Значит, не выпускать ее. А то еще скажут, что Екатерина Романовна каких-то лошадеенок незадачливых поставила.

Эти слова неприятно кольнули Малахова.

— Как-то ты странно рассуждаешь, Катя — заметил он. — А нам-то разве всем безразлично, как покажут себя наши кони?

— С вас спрос невелик, а Лукониной позориться не при-стало.

Карамышев остановил коня.

— Ну как? — выскакивая из качалки, спросил он.

Малахов только сейчас вспомнил, что не засек время. До-садливо сунул секундомер в карман.

— Прогуляй его — и в денник,— сказал он. А когда вернул-ся к жене, ее уже не было.

Быстро и решительно она уходила от него.

С этого дня у Малахова возникло сложное отношение к же-не. Одна мучительная мысль всюду его преследовала. Он знал, что рано или поздно не только он, но и все увидят громадное несоответствие между громкой славой жены и колхозом, кото-рый ничего собой не представлял.

А Екатерина Романовна все ездила: то на заседания, то на совещания. Она сидела только в президиуме. Иногда выступа-ла, читая по листку чужие, совершенно не свойственные ей слова. Потом эти слова печатались в газетных отчетах, пере-давались по радио. Шершневу запросто брал ее под руку, про-гуливаясь во время перерыва. Подзывал других знатных людей и, разговаривая, шел, окруженный Героями, орденосносцами. К ним подбегали фотографы, нацеливали аппараты. Снимки по-являлись в газетах. Словом, две жизни заполняли Екатерину Романовну, из которых одна была красивой, на виду, и другая, состоящая из нудных забот, постоянных дерганий, когда кому-то чего-то надо, когда каждый считает себя вправе требовать, а она должна выполнять эти требования.

Положение Екатерины Романовны помогало ей вести хозяй-ство. Депутат страны, Герой, женщина-председатель — все это имело значение в глазах местных руководителей. И если ей тре-бовались для фермы дополнительные корма (а своих кормов обычно не хватало), то их давали. Шефы бесплатно строили теплицу, проводили водопровод, строили кормоцех. Директор МТС в первую очередь направлял лучшие машины в колхоз «Селяницы». Екатерине Романовне ничего не стоило снять труб-

ку и позвонить Шершневу в любое время, и тот давал соответствующие указания тем или иным лицам, и «лица» делали то, что нужно было для колхоза «Селяницы».

— Но это же иждивенчество,— говорил Малахов Дуняше Свешниковой.— Надо самим создавать кормовую базу, а не просить подачек. И механизировать мы должны сами, а не за счет шефов. Ты гляди: мужики-то на работу ходят через пень колоду. А уборка начнется, опять проси помощи у горожан? Это все потому, что на чужое надеемся.

Но Дуняша не соглашалась с ним. Она была довольна той силой, которой обладала Екатерина Романовна, и считала, что все это так и должно быть.

— Мудришь ты,— вздыхая, говорила Дуняша.— С Катюшей-то хорошо живешь?

— Занята она. Ездит много,— уклончиво отвечал Малахов и уходил, испытывая чувство неудовлетворенности.

Но все же порой и у Екатерины Романовны бывали часы раздумий. Она хотела понять мужа. И как бы новым взглядом смотрела на хозяйство. Обходила фермы, поля: Кое-что ей не нравилось. Но в целом все казалось таким, каким и должно быть. И тогда глухое чувство неприязни к Василию охватывало ее. «Что ему нужно? — раздражаясь, спрашивала она себя.— Может, и его завидки берут? Так ведь, господи, Васенька, разве я не была бы рада, чтоб и ты встал в ряд со мной? Вот отличись на лошадках — может, и тебя заметят. Да нет, не дают Героя за лошадей-то... В полеводство ежели тебя перевести? Дал бы ты геройский урожай. Да вряд ли на наших землях этого добьешься...»

— Ну, присоветуй мне, как сделать, чтоб и ты был на виду? — спрашивала Екатерина Романовна.

— Зачем? Мне и так хорошо,— отвечал Малахов.— Я о тебе думаю.

— Опять обо мне! Не пойму я, чего ты хочешь от меня!

— Слава-то не по делам раздута. Разве не видишь? Вот и хочу, чтоб уважали тебя.

— Поди-ка меня не уважают,— насмешливо глядела на мужа Екатерина Романовна.— Совсем уж ты стал заговариваться...

— Ну как тебе объяснить! — с болью говорил Василий.

— Все я понимаю. Нечего мне объяснять.

— Не понимаешь ты!

— Неужто! Не понимала бы, так не была бы и депутатом! — словно победный козырь, бросала она эту фразу. И уходила.

Теперь уже не было тех простых, ясных отношений. Кончились прогулки по Волге. Чем больше Малахов тревожился за жену, тем холоднее становилась она. Нужен был только небольшой повод, чтобы произошел взрыв. И повод такой нашелся.

На ипподроме бега начинались в одиннадцать дня. Здесь был собран цвет лучших конеферм области. Три совхоза, воинская часть и пять колхозов прибыли бороться за свою честь. Под навесом собралась публика. В центре уселись руководители области. Даже издали была заметна тучная фигура Шершнева в чесучовом пиджаке и черной шляпе. На траве, за беговой дорожкой, сидели ребятишки.

День выдался тихий. До Карамышева доносился глуховатый, нервный, словно прибой, говор народа. Гнедой-младший нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Бил копытом землю.

— Спокойней, спокойней,— говорил ему Карамышев.

Он и сам волновался. Но волнение было не от предчувствия провала, а от нетерпения. На Гнедого-младшего и Звездочку он мало надеялся. Но Жерех должен был прославить колхоз.

Началась проминка. По желтому кругу побежали лошади. Гнедой-младший, чуть заворачивая морду, шел легко и уверенно. Карамышев, проезжая мимо трибуны, отыскал напряженное лицо Малахова. Качнул ему головой, как бы говоря не то ему, не то себе: «Ничего. Пока все хорошо».

Но хорошего оказалось мало. На первом же кругу Гнедой-младший далеко отстал от серого в яблоках жеребца воинской части. Тот, распластав свое длинное тело, далеко забрасывая ноги, шутя ушел вперед. Это вызвало смех на трибуне. Смеялись над Гнедым-младшим.

Екатерина Романовна, нервно комкая платок, позабыв про эскимо, таявшее в руке, сурово глядела на позор своего колхоза.

Несколько минут дорожка была пуста. Ударил колокол. Новая пара помчалась по кругу. Екатерина Романовна следила за ней без интереса. Так же глядела и на следующую. Но как только вышла Звездочка, почувствовала, что стало трудно дышать. Не отрываясь, она смотрела то на нее, то на Карамышева, который, как и в первый раз, сидел чуть подавшись вперед. Звездочка сразу же вырвалась. Но Карамышев слегка придержал ее. Теперь Звездочка пошла ровно, чуть касаясь подковами песка дорожки.

Мимо трибуны прошуршала резиновыми шинами качалка соперника из колхоза «Первое мая». На ней сидел сухонький, белоголовый, похожий на одуванчик старик. С трибуны закричали. Но он даже не повернулся. На втором круге он сидел так же спокойно, но расстояние между его тяжеловатой кобылой и Звездочкой сократилось. Екатерина Романовна гневно посмотрела на мужа, Малахов ел мороженое. Звездочка отставала. Тогда Екатерина Романовна, уже не владея собою, зло дернула мужа за руку:

— На позор выставил?

С трибуны донеслись радостные крики первомайцев. Старичок раскланялся.

— Екатерина Романовна! — окликнул ее секретарь райкома. Он пробирался по рядам. — Шершневу зовут.

«Ругать будет», — тревожно подумала она.

Шершневу показал ей на свободное место рядом с собой.

— Зачем вы приняли участие в бегах? — сухо спросил он.

Екатерина Романовна молчала.

— Впредь прошу советоваться. Вы не должны себя компрометировать. Еще лошади есть в заезде?

— Есть.

— Снимите.

— Хорошо. — Она решительно прошла к мужу.

— Набегался! Хватит! — пылая от злобы и обиды, сказала она. — Сейчас же снимите Жереха.

— Жереха? — удивленно поглядел на нее Малахов. — Ты что? Жерех — наша ставка!

— А я тебе говорю: снимите! — Ее глаза стали темными.

— И не подумаю.

— Молчи уж! — Екатерина Романовна торопливо сбежала по лесенке, пересекла зеленое поле.

— Сейчас же всех лошадей домой, — сказала она Карамышеву.

— Да ты что, Екатерина Романовна? Как же так можно? — заволновался Карамышев. — Ты погляди, как мы сейчас их обшпокаем!

— Хватит! Нагляделась! Только позорите! Домой!

Карамышев отчаянно махнул рукой, выругался и пошел за Жерехом.

Дома разыгралась бурная сцена.

— Это ты нарочно все сделал! — кричала, плача, Екатерина Романовна. — Чтоб только принизить... Тебя завидки берут, что я так поднялась.

— Что ты говоришь, думай! — бледнея от гнева, отвечал Малахов. — Жереха сняла! Жереха!

— Все думаю! Все вижу! Спасибо тебе, Васенька, век не забуду! Такая-то твоя любовь?

— Катя!

— Что Катя? Что?

В злом, несправедливом запале она готова была поносить его любыми словами. Он это понимал. Понимал и то, что потом ей будет стыдно. И чтобы уберечь ее, ушел из дому.

Долго ходил по берегу. Думал. Да, слишком все сложно получилось. Надо было что-то придумать такое, чтобы она поняла свою неправоту. Так дальше жить становилось невозможно. И, борясь за жену, за свою любовь, он решил поехать к Шершневу.

Шершнев явился только к вечеру. Все это время Малахов, ничего не евший с утра, просидел в приемной. Ему смертельно надоело смотреть на стены с ковровыми обоями, слушать четкий удар маятника больших, стоявших в деревянном футляре часов. Его томила тишина, негромкий голос девушки-секретаря, кому-то отвечающий по телефону. И он облегченно вздохнул, когда наконец-то явился Шершнев.

Прошло минут десять, и девушка пригласила Малахова в кабинет.

Шершнев с кем-то говорил по телефону. Свободной рукой он указал на кресло. Малахов увидел на его лице улыбку. Сел.

— Что скажете? — спросил Шершнев.

— Я муж Лукониной.

— Помню.

— Пришел к вам поговорить, — начал Малахов, испытывая то обычное затруднение, какое часто охватывает человека при разговоре с официальным лицом. — Что-то неладное творится с женой.

Шершнев приподнял брови.

— Ну вы сами посудите, ведь такая ей слава... Уже вся страна знает Луконину, — смотря на Шершнева, говорил Малахов, с трудом подыскивая слова, чтобы высказать то, что мучило его. — А колхоз-то ведь ничем не замечателен. Его подымать надо. А ей не под силу. Всего три класса окончила. Как же ей руководить? Учиться бы. А она не может. Все совещания у нее, заседания. Прежде времени выбрали ее председателем.

— Что-то мне вас трудно понять, — сказал Шершнев. — Вы что же, против того, чтобы простые люди из народа шли к руководству?

— Нет. Я не против. Но ведь не всякая же хорошая доярка может быть хорошим председателем колхоза. Вот я к чему говорю. А Катюша малограмотна...

— Это, конечно, жаль, что Екатерина Романовна малограмотна. — Шершнев пристально посмотрел на Малахова. — Но у нее так сложилась жизнь. И это не может быть причиной, чтобы мы таких самородков, как она, не выдвигали на руководящие посты.

— Но ведь ее надо учить. Ей нужна культура, знания, — перебил его Малахов. — А у нее этого нет. Она даже не может понять того, что стала о себе очень высокого мнения.

— А-а... — качнул головой Шершнев.

— Мне думается, будет правильно, если она вернется на ферму. Тогда ей будет легче. За работу на ферме ее наградили. От-

туда ее слава пошла. А теперь она председатель. И для председателя получается: слава у нее дутая.

— Вы что, не любите жену? — Шершневу встал. Поглядел сверху на Малахова.

— Люблю. Только потому и пришел, что люблю. — Малахов тоже встал. Он был одного роста с Шершневым.

— Домостроевщина в вас говорит, вот что я должен вам сказать. Как это так вдруг: жена — и оказалась выше. А?

— Какая там домостроевщина! — воскликнул Малахов. — Боюсь я за нее.

— Вы коммунист? — резко спросил Шершневу.

— Да.

— С какого года?

— С тысяча девятьсот сорок второго.

— Тем более. Ваша задача — помогать Екатерине Романовне, а не подрывать ее авторитет, как это вы сделали на ипподроме. Она останется председателем. Обком Луконину в обиду не даст. И вы за нее не бойтесь. — Шершневу подал Малахову руку. Улыбнулся, глядя серьезными глазами, словно прощупывая. — Передайте Екатерине Романовне мой привет.

После ухода Малахова Шершневу несколько секунд задумчиво смотрел перед собой, потом снял телефонную трубку и вызвал Луконину. Услышав ее властный, твердый голос, невольно улыбнулся. Он знал: стоит ему только назвать себя, как этот голос смягчится, приобретет теплые тона. Так оно и случилось. Шершневу расспросил ее о делах, поинтересовался работой молочной фермы, удивился, узнав, что надои снизились, и пообещал ей помочь кормами. И потом уже, как бы между прочим, спросил:

— А чего же ты с мужем-то не ладишь?

Наступило молчание.

— А откуда вы знаете? Был он, что ли, у вас? — негромко спросила Екатерина Романовна и рассказала, что муж не понимает ее, завидует ей.

«Ну, правильно, — подумал Шершневу, — так и я решил».

9

Домой Малахов вернулся на другой день утром. И не успел раздеться, как из горницы до него донесся не то вздох, не то стон. Он быстро прошел туда и увидел на постели жену. Она лежала ничком, обхватив подушку.

— Катя... Катюша... — позвал он, каким-то особым чувством понимая, что случилось непоправимое несчастье.

Она резко подняла голову. В ее глазах стояли злые слезы.

— Чего тебе надо? — Она посмотрела на него, как на чужого.

— Да что случилось-то? — спросил он, подходя ближе.

— Через слезы я тебе говорю, Вася... Ошиблась в тебе. До чего же нехороший ты!

— Да чем? — уже догадываясь, что она знает о его поездке в обком, спросил Малахов.

— Мне Шершнева все рассказал. Вечером позвал к телефону. И не стыдно тебе губить меня? На ферму захотел отослать?

— Он тебе сказал? — чуть не шепотом спросил Малахов, хотя в душе и не думал ничего от нее скрывать. И сразу понял, каким же он должен казаться в ее глазах низким.

И верно: она смотрела на него чуть ли не враждебно. Вспомнила Георгиевский зал в Кремле, высоких по духу людей, ту торжественность и чистоту, которые ее окружали тогда, вспомнила и устало сказала:

— Не говори ничего, Василий... И не подходи!

Она повязала голову платком и ушла.

Малахов долго стоял посреди кухни.

— Что же мне теперь делать? — вслух проговорил он.

Вышел на улицу. Солнце сияло на небе. Весело потряхивали молодой листвою березы. Высоко в небе летали ласточки. С поля доносилась чья-то песня. Опустив голову, он пошел на этот далекий голос. «Из-за моря, моря теплого птица прилетела», — вспомнились слова Катюшиной песни. К сердцу подступила боль, хотелось плакать от громадного желанья мира и любви.

Малахов шел медленно, напрямую, без дороги. Буйно зазеленевшая трава мягко касалась его ног. Покорно ложилась под его сапогами. Прижатая к земле, она несколько минут лежала, сохраняя след, потом начинала подниматься, и встав, весело качала верхушками, радуясь солнцу, ветру, жизни.

До самой Волги, если идти луговой, попадаются небольшие бочажины, полные до краев воды. В летний зной, сухо потрескивая крыльями, летают над кувшинками стрекозы. В густой траве целыми днями неумоимо стрекочут кузнечики. Цветут травы...

Малахов, словно в последний раз, глядел на все это. И подмечал то, чего никогда не приходилось ему видеть. Вдруг колокольчики начинали раскачиваться, и ему казалось — до него доносится их нежный звон. Ромашки становились похожи на загорелых девчат в белых платьях. Они смотрели на него и о чем-то шептались. Чуть ли не из-под ног выпархивали жаворонки и, не боясь его, пели ему песни. Налетал ветер с Волги, играючи тормозил травы, дергал кусты, дул на воду в бочажинах. Все оживало, радовалось ему: колокольчики сильнее звенели, ромашки склонились еще ближе друг к другу, поверяя свои луговые тайны. Кусты припадали к воде, чтобы не тревожилась мирная гладь бочажин.

И оттого, что здесь было так хорошо, еще сильнее становилась боль в сердце у Малахова.

Он вышел на Волгу. Воспоминания обо всем добром, счастливым, что было связано с Катюшей, хлынули на него. Столько родного было в этой большой красивой реке! Легко и величаво несла она свои прохладные воды. В них отражались небо, солнце, берега, птицы, города, пароходы. И все это было чистое и прекрасное. И на какое-то мгновение Малахову показалось, что не было страшного утра, когда Катюша смотрела на него злыми глазами, не было тяжелого разговора — ничего не было. Но тут же все это встало перед глазами так явно, что он чуть не застонал. Не может быть, подумал он, этого не было. Ведь ничего плохого он ей не хочет. Он ее любит. Надо объяснить. Она поймет. И тогда все будет хорошо. Вернется спокойное счастье.

С жалобным писком упал камнем с поднебесья ястреб. И через минуту стал медленно подниматься, держа в когтях серую птицу.

Торопливо, словно боясь опоздать на поезд, Малахов пошел обратно. И чем ближе подходил он к дому, тем быстрее шагал. Запыхавшийся, встревоженный, вбежал в дом. И, не веря глазам, все смотрел, искал Катюшу и в кухне и в горнице. Но ее не было.

Напрасно он ждал ее в этот день. Она не пришла. Ее вызвали в облисполком. А когда через два дня вернулась, это была совсем другая женщина. Ей не было никакого дела до Малахова.

10

Продолжая любить ее, он все же решил уйти. Все эти дни Екатерина Романовна старалась его не замечать. Малахов понимал ее: то, о чем он говорил с Шершневым, она восприняла как самый бесчестный поступок, и никакие теперь слова и заверения не могли открыть ей ту единственную правду, рожденную любовью к ней, с какой он шел тогда к Шершневу.

«Прощай, Катя!

Я ухожу, так лучше. Жаль Олюньку. Наверно, ей будет грустно. Дети всегда страдают, когда родители живут не в ладу. У нас было много хорошего, поэтому особенно трудно уходить.

Василий»

Малахов положил записку на стол. Прижал ее, чтобы не сдуло ветром, Олюнькиной чернильницей. Долго стоял, не решаясь уйти из дому. Потом взял чемодан и, не оглядываясь, покинул дом.

Когда Екатерина Романовна вернулась домой (она была на совещании в МТС), застала Олюньку в слезах. Кусая губы, она подала матери письмо. Это была уже большая девочка, рослая, ясноглазая, в мать. Дяденьку Васю она любила, как отца. За все время, с тех пор как он пришел к ним в дом, ни разу ее не обидел. Он умел из пустяков делать ей счастье. Еще за-долго до клубного вечера говорил о том, что непременно ее возьмет с собой, что ей надо принарядиться. И Олюнька всю неделю, до воскресенья, жила этой радостью. Теперь этого больше не будет.

Когда она была маленькой, не было праздника, чтобы он не сделал ей подарок. Она еще спит, а уже рядом, возле подушки, лежит подарок. И стоит ей только проснуться, как она увидит его. И тогда, вскочив с кровати, она бежала в одной рубашонке к дяденьке Васе и, повиснув на его крепкой шее, болтала от восторга ногами. Малахов, словно его щекотали, залиvisto смеялся. Глядя на них, смеялась Екатерина Романовна.

«Да не меня, не меня, маму целуй!» — кричал дяденька Вася.

«И маму, и маму!» — кричала Олюнька и бежала к матери.

Неужели не будет больше этих счастливых минут?

Это он научил ее делать уроки. Все говорил, что она и сама справится, без его помощи. Теперь ей четырнадцать лет. Семи-летку окончила на «отлично». Дяденька Вася говорил ей: «Надо дальше учиться». Говорил, а сам уехал...

— Мама, зачем же он уехал? Мама!

В открытое окно донесся с Волги протяжный гудок парохода. Екатерина Романовна кинулась к окну.

В синем сумраке величественно и строго плыл белый пароход. Вот он зашел за церковь, скрылся. Потом медленно начал выходить, с освещенными иллюминаторами. Становился все больше, больше, оторвался от церкви и, быстро удаляясь, скрылся за маслозаводом. Потом еще раз показался. И долго Екатерина Романовна смотрела ему вслед, пока он не стал еле различим. Но даже и тогда, когда его уже совершенно не было видно, она все еще смотрела нищим взглядом. Может, на этом пароходе уезжал Василий. И впервые за последнее время она вдруг подумала о муже беззлобно, как о самом дорогом, близком ей человеке, и со всей ужасающей ясностью поняла, что он от нее ушел. И что она никогда больше не увидит его. Где он? Куда ушел? Велика страна...

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЯТАЧКИ

— Ой, хорошо живу, Мария. Добро! У меня все есть. Корова, пара кабанов, овцы, куры. Веришь ли, еще прошлогодняя свиная тушенка в банках лежит в погребе. Вот нынче сенокос, жара видишь какая, а моя Катя достает с погреба банку, крышку на сторону, и все, что есть,— на сковороду, в картошку. Только скворчит... Мы — земля, Мария! Ты вот спроси про Николая Васина, тебе каждый укажет на меня, и никто зряшное слово не бросит обо мне. Я что? Я — работник, сестра. Вся моя жизнь тут, в Заклинье. От своей родины я ни на шаг... Нет, я не к тому, чтобы тебя корить. Ушла — ладно. У каждого свой путь...

— Я не расканваюсь, хоть бы и корил. Хоть жизнь увидала. Теперь-то своя квартира отдельная. Разве я мучусь с дровами или водой, как твоя Катя? Забыла, что такое и печка. На газе все готовлю. Батарейки обогреваемся. Уже давно живем хорошо. А ты сколько мытарил, пока стал жить в достатке.

— Было, Мария, не скажу, было. Но перетерпел все и теперь только об одном жалею — лет много. Веришь ли, никогда ране так не жалел, как теперь. Жить хочется... И вот даже обида берет, будто кто по какой несправедливости накидал мне пятьдесят с лишним годов, в то время как другому всего тридцать, а то и того меньше. Выйду поутру на крыльцо и гляжу на поля, на деревню, на Старицу с ее вязом, — вяз-то помнишь? — на деревню гляжу, ведь с мальцов ее знаю, и до того родным ото всего потрянет, что другой раз слезу прошибет. Чибисы на полях кричат. Скворцы пролетят стаяй. А под ногами ромашка качается. И небо... Стою и думаю, да неужели же все это от меня уйдет? Да за что же такая несправедливость? Ведь ты же знаешь, чего я только не претерпел за свою жизнь. И голодал, и холодал, и на финской был, и Великую Отечественную всю провоевал. Вона нога покалеченная, щеку осколком взбугрило. Петька Самсонов все смеется, кто-то, говорит, из-за моей физии другой выглядит... А чуток бы поближе к носу царапнуло — и поминай как звали.

— И не говори. Еще счастливый ты.

— Ну! А после войны, Мария... Да что тебе рассказывать, ты в самую разруху ушла, метнулась, а я все на себе испытал... Нет, я не к тому, чтобы тебя корить, нет, но чтоб ты поняла, как мне было весело. Фильм такой показывали — «Председатель», — смотрела, наверно? Вот все так и у нас было, только еще посложнее. Ну да прошло, и нечего ковырять. Я теперь, Мария, люблю заглядывать вперед. Много интересней получается, чем оглядываться назад. Да и черт с ним, с плохим, когда хорошее подпирает...

— А и живой ты, как и раньше, братец. В самодеятельности не играешь?

— Нет, это по молодости взбрыкнуть. А теперь уж другие дела. А ведь что, ничего получалось, а?

— Еще как!

— Помнишь, в Замесах Петька Самсонов поднял кинжал и махнул им, будто в меня ткнул, а я тут же как давану бычий пузырь, он у меня под рубахой с красными чернилами был. Ну, кровь тут и хлынула, аж брюху стало холодно. А рубаха-то белая. Бабы заорали, кричат: «Убили!», старики суматошатся, чтоб Петьку ловили, а я лежу на сцене, весь залитый красным, и то подыму руку, то опущу. Вроде умираю...

— Тогда у тебя натурально получилось.

— Ну! От сердца играл, без денег.

— А что, и Петр Самсонов не играет теперь?

— Да ведь ему уж под шестьдесят. Ты все думаешь, молодецкий, что ли? Крючок уже. Да к тому же и курит много, и с фильтрами, и без фильтров, и махорку, и «гвоздики», папиросы — все, что подвернется. Тут Сбытчик угостил его сигарой...

— Какой Сбытчик?

— Да Михаил Семенович, есть такой человек, с городу он. Так и Петька чуть не задох от кашля, аж до самой земли его согнуло. Петуха пустил с дробью. Ну уж и посмеялись мы в цеху. «Тебе бы, говорю, овечий дых курить на бадяге». Так он еще пальцем грозит. Не соглашается... А я бросил курить, Мария. Вот уже пятый год не смолю. И веришь ли, помолодел. Одышки не стало. Ой, добро не курить-то, добро! А зачем век-то свой укорачивать? И так недолог.

— Ишь ты, какой стал рассудительный. Раньше-то без оглядки шагал.

— То раньше. Раньше-то ночи на любовь не хватало, а ныне тянется, как дорога ночная.

— Дю, пошел месить!

— О, Катя явилась!.. Да я так, matka. Надо чем-то сестру занять. А мне на работу пора. Иду. А ты, Мария, отдыхай, ходи, вспоминай. А я на работу, Мария. Так что уж ты не сердчай. Вечером договорим, что сейчас не успели.

— Да ладно, ладно, иди. Не на один день приехала. Еще надоем.

— Не надоешь. Рад тебе... Живи, живи, Мария. Ходи, вспоминай. Ах, хорошо! Ах, ладно, что ты явилась! — приговаривал Николай Васин, шагая по дороге к деревообделочному цеху и поглядывая на все с истинным удовольствием, и все виделось ему светлым и чистым, словно омытым теплым дождем, — и высоченные, под самое небо, лохматые тополя, положившие на грейдер плотные, несдвигаемые тени, в которых нежилась овца с ягнятами, и новенькие, будто на картинке, разных веселых

цветов дома под шифером, с резными наличниками, и цветы в палисадниках — длинноногие мальвы в сатиновых передниках, и даже гудение в телефонных столбах было отрадно, как праздничная музыка.

Такое приподнятое настроение появилось у Николая Васина с прошлого года, когда он определился на работу в цех, токарем по дереву. И не то чтобы незнакомое до этого рукоделие увлекло его, нет, хотя запах свежей стружки всегда ему нравился, с самого детства, когда дед или отец что-либо теслили. Заманивало иное — заработок. До двухсот стал выгонять в месяц. Да без насады, в сухом, когда с крыши не каплет и в окна, если глянуть, видна вся излука Старицы с ее склоненными ветлами. И свет в длинных трубках над головой, как днем. Чего не работать, да еще при своем-то хозяйстве. Считай, чуть ли не чистенькими клал весь заработок на книжку. На сахар, хлеб, соль хватало женой пенсии. А его денежки шли на чего другое, о чем раньше и не мечталось. Скажем, как-то захотелось к Первомаю купить телевизор — пожалуйста, только за день предупредили заведующую сберкассой; чтоб деньги припасла, и поехал в райцентр, и купил, да не какой-нибудь «Рекорд», а «Рубин» купил. Да еще пожалел, что цветного не было. Вот так стал жить Николай Петрович Васин, будьте здоровы! Стиральную машину по заявке на дом привезли. Сначала будто к огню подходила к ней супружница Катерина Афанасьевна, а потом, когда освоила, толкнула его локтем в бок, чего давно не случалось, и так это игриво поглядела на него, будто молоденькая. А что, и в самом деле от такой жизни, какая пришла наконец-то, помолодеть можно. А все цех. Да, от него пошла такая жизнь. Вот он выползает из-за древнего кладбища. Длинный, вытянутый по берегу Старицы, с кучами намокших от дождей опилок, стружки, деревянных обрезков на дворе, с наваленным костром кривых берез, ольхи, осины. Растет цех. Была клетушка, а теперь стало целое производство. Гудок бы — совсем завод. Соревнования на лучшего токаря начали устраивать. Что ни квартал — на «огонек» в клуб собираются. Премии вручают. Куда там — жизнь!

А все Михаил Семенович, как говорится, дай бог ему здоровья! Вот он идет по дороге, животом вперед, размеренно покачивая короткими руками, в старой, с обвислыми полями фетровой шляпе, в широких, без складки, штанах, в ботиночках.

По сторонам от него дома, на его городской взгляд, похожие один на другой, как спички в коробке, этикие дома-близнецы — два окна по фасаду, глухой фронтон и цементная ленточка — фундамент. По сторонам от Михаила Семеновича вся деревня Заклинье, старинная русская деревня. Ей, пожалуй, столько же лет, сколько и самой России, но некому следить за ее летосчислением, и поэтому генеалогического древа ее никто не знает.

Не знает ее родословной и Михаил Семенович, впрочем, он

и не стремится узнать, хотя, надо отдать ему должное, знает жизнь каждого живущего в Заклинье. Но, как ни странно, здесь нет ни одного, кто бы знал его жизнь. Поэтому для жителей Заклинья он — тайна. Правда, тайна, не вызывающая любопытства.

Вначале, как только он появился, многие заклиновцы относились к нему иронически. Ну, во-первых, потому, что это в их характере — что не по ним, то и не так, а Михаил Семенович был явно не по ним со своим чрезмерно развитым животом — будто бочонок проглотил и ходит. Этим в первую очередь он и на отличку от деревенских. Даже у древних стариков нет живота — все поджарые, с широко развитой грудью, с длинными, ухватистыми руками. Оно и понятно: физический труд на кого хочешь положит свою суровую печаточку. К тому же земля-матушка. Работая на ней, жирок не накопишь. Она любит, чтоб кланялись ей. Миллионов с десяток поклонов, а может, и больше — ведь никто не считает — отвесит ей каждый за свою жизнь. А она еще неизвестно как на эти поклоны ответит... Нет, не разжиреет. Поэтому заклиновцы с годами только сутулятся, но втолщ не идут.

Иронически они относились к Михаилу Семеновичу еще и потому, что он был вначале у них вроде беженца. Каждому коренному заклиновцу — а они были коренными с незапамятных времен — совершенно непонятно, как это так в пожилых годах скитаться по чужим избам, не иметь своего, трудом нажитого угла. Кто-то из бабенок высказал предположение, что жена у Михаила Семеновича молодая, он старый, вот она и выгнала его, вот он и мыкается как неприкаянный. А не женись, не женись на молоденькой-то! Если сам в годах, куда уж тебе... Но в первое же лето Михаил Семенович привез свою жену. Она и на самом деле оказалась куда моложе его, красивая, с двумя нарядными девочками. Гуляла с ними по берегу Старицы, загорала на песке, пряча голову под шелковый зонтик, а девочки тут же играли в куличики. И все поняли, что допустили ошибку, так полагая, то есть что жена выгнала Михаила Семеновича. Убедившись в обратном, решили по-другому, без этого заклиновцы никак не могут. Это другое пошло уже от старух, жалельщиц-плакальщиц. Кто-то из них сказал, а другие тут же подхватили: «Знать, не нашлось ему, горемычному, места в городе, если к нам в Заклинье прибился. От хорошей бы жизни человек не ушел. Да еще с детушками, да с женой-раскрасавицей». Эта версия почему-то враз всех устроила, и заклиновцы успокоились и уже больше никогда не задумывались над причиной появления в их деревне Михаила Семеновича. Тем более что он не просто болтался в деревне, а работал в цеху. Чего-то суматошился, подвозил разную дрянину из леса, пригодную только на дрова, забегал к председателю в правление, куда-то уезжал. И если вначале еще был малоуважаемой фигурой, — потому что дома-то своего оби-

хоженного с огородом и садом и всем хозяйством — корова, кабан, овцы, куры — и в помине не было, а коли так, то какого же уважения достоин такой никчемный человек, — то спустя три года, скажем вот уже к этому лету, не было человека в Заглинье, который бы еще издали не снял шапку и не поклонился:

— Здравствуйте, Михаил Семенович!

— Доброго здоровьица, Михаил Семенович!

— День добрый, Михаил Семенович!

Так уже его стали приветствовать.

— Здравствуйте, здравствуйте, — мягким голосом отвечал им Михаил Семенович и озабоченно нес дальше на коротких ножках свое тучное чрево.

Ну что ж, возраст у него почти пенсионный, отсюда и некоторая деформация в фигуре. И нечего тут подсмеиваться, ухмыляться. Тем более что эта деформация и не очень-то мешает ему. Больше того, когда он надевает костюм — это не здесь, в Заглинье, а в Ленинграде (там у него настоящий дом, там его постоянное местожительство, там он прописан), то его фигура обретает такую солидность, что никто бы и не подумал, что он работает в колхозе заведующим каким-то деревообрабатывающим цехом.

Впрочем, заведующим производством подсобного цеха Михаил Семенович не работает. Это только для видимости у него такая должность, на случай ревизии или какой другой проверки. На самом же деле в круг его обязанностей входит совсем иное. Он должен находить разные мелкие предприятия, которые пугаются во всякого рода деревянных поделках — ну, скажем, таких, как бобины для трикотажных артелей, подрозетники для электрической проводки или какой другой подобный товар, — и заключать с ними договора. И по изготовлении отвозить, сдавать заказчику. И продлевать договора, или, как ныне говорят, «продолговать», а то и заключать новые с новым заказчиком.

За последние годы в колхозах появилось много разных ранее неизвестных должностей и специальностей у народа. Причина тому — технический прогресс, внедрение науки в сельское хозяйство, капитальное строительство не только животноводческих ферм, но и жилых массивов. Но как бы много ни появилось разных специальностей, пожалуй не сыщется такой, по какой работает Михаил Семенович. Ну верно, как это вот определить его должность? И мне, право, было бы очень трудно определить, если бы не народное умение одним метким словом поставить все на свои места. Заклиновцы в этом деле не посрамили своей чести и назвали Михаила Семеновича Сбытчиком. То есть коли отвозит товар, значит, сбывает, а отсюда и Сбытчик. Коротко и ясно!

Но вместе с тем, хотя Михаил Семенович и не руководил цехом — этим занимался особый бригадир, — цех все же год от

году рос, все больше ширился, развивался, и теперь по соседству с сельским кладбищем не один длиннющий сарай под серым шифером, а два, и в них шумят станки, и в них веером сыплет древесная стружка, и в каждом еле уловимый сладковатый запах березового сока, и у каждого станка на полу кучи разных поделок из дерева. А во дворе, под навесом, дисковая пила. Там разделявают корявые бревна на ровные кубышки, колют их и складывают тут же в штабеля, называя дрова «полуфабрикатом», потому что позднее токари из них наготовят бобин и разных подрозетников, и еще чего, что нужно заказчику.

Тут, пожалуй, наступило время отойти в прошлое. Затем, чтобы восстановить историю возникновения этого несколько необычного для колхозного строительства производства. История же такова.

После войны колхоз в Заклинье представлял собой довольно печальное зрелище. (Впрочем, об этом, о тяжелом житье, коротенько уже говорил Николай Васин своей сестре.) Да, это так. На то были свои тяжелые причины. Больше половины мужиков не вернулись с войны. Погибли. Пройдите по деревне, и вы увидите прибитую на фасаде каждого дома вырезанную из фанеры и окрашенную в красное звездочку. Это значит — в доме погиб человек на войне. Отец, или сын, или брат. Есть дома, на фасадах которых пламенеют две звездочки — значит, погибли двое. А бывает и по три, по четыре звездочки. Но нет ни одного дома, где не было бы на фасаде звезды. И в ненастье и в ведро, и зимой и летом пламенеют они, будто их и дождь не смывает, и солнце не бесцветит. Это, наверно, потому, что глубоко они врезаны в истрадавшие людские сердца.

Из остальной половины было много покалеченных — безногих да безруких (теперь уже мало осталось инвалидов Великой Отечественной войны — поумирали), и уж совсем малая часть вернулась здоровыми, но их была такая прорежинка, что всерьез рассчитывать на мужскую силу не приходилось. Поэтому в первую послевоенную весну пахали на женщинах, то есть в плуг впрягались семеро женщин — которые рожали и которым еще предстояло рожать, — за плуг становился вернувшийся солдат-победитель, и начиналась пахота. До кровавого пота работали люди в надежде на лучшее будущее. И засевали землю, и снимали урожай, и кормили себя, и еще выполняли первую заповедь — рассчитывались с государством. Но было трудно. Очень трудно!

Вот тут-то и подал мысль ныне уже покойный хитроумный старик Никодим Суслин. Он предложил в зимнее время, когда сугробы подваливали под крыши и в пору было только перебежать к соседу, чтобы скоротать вечерок за махрой, заняться резанием деревянных ложек, так как с ложками в те времена было туго. Сам Суслин резать ложки не умел, но зато знал другого старика, жившего в конце деревни, который в молодости

умел их резать, за что и прозван был «ложкарем», откуда у него и фамилия пошла Ложкарев. Тот согласился на такой промысел: «А чего в самом деле — и людям подмога, и себе прибыль!» И вскоре вокруг него собралось с десяток стариков да ребят, и работа закипела. Правление колхоза без особой огласки поставило на берегу Старицы небольшой сарай, обеспечило мастеров всякими ножами, благо кузня была своя. Старик же Ложкарев научил своих подмастерьев, как обрубить из баклуши топориком, теслить теслоу, острагивать липу ножом и резать кривым резакон, а черенок и коковку, другим словом сказать — набалдашник, точить пилою от руки.

Года два промысел шел ходко, и колхоз получал негласный доход, не ахти, конечно, какой, но все же, и стал постепенно обзаводиться кое-каким инвентарем, свиноферму завел, купил стекло для парниковых рам, но основное — помог вдовам-солдаткам, а их было немало, оставшимся с детьми, да и так покупал что и по мелочи для хозяйства, — деньжата каждую неделю набегали. И все бы шло хорошо, но время не стояло на месте, и страна наряду с большими делами успевала делать и свои малые. В магазинах появились в свободной продаже сначала алюминиевые, а потом и из нержавеющей стали ложки, и деревянным пришел конец. Это теперь они как сувениры в почете, а в то время такими известны не были. И постепенно ложкарный промысел в Заклинье угас. Но идея не померкла. Где-то все время теплилась. Поэтому с такой готовностью и откликнулись на предложение Сбытчика открыть деревообделочный цех как бы в подспорье колхозу. Тем более что ремесла и промыслы в то время поощрялись не только со стороны районного руководства, но и вышестоящего. И однажды к старому, заброшенному сараю, где когда-то ложкарили старики и в ненастье тискались парни с девушками, подъехала колхозная машина, с нее сняли небольшой станок и внесли его в сарай. К этому времени местный электрик протянул уже туда провод. Станок установили. Михаил Семенович зажал в патрон подвернувшуюся под руку деревянную коловашку. Включил станок и тут же, на виду у всех, сделал деревянный шар, отрезал его и вручил председателю колхоза, в дальнейшем снятому за пьянку, Шитову Павлу Николаевичу. Тот повертел шар, ощущая его суховатую теплоту, и передал близстоящему.

— Добро, ой добро! — отозвался Николай Васин, рассматривая шар (это он был близстоящим), и с интересом посмотрел на малоподвижного, даже как бы скучающего человека, который так быстро из чурки сделал вещь.

С этого дня и началось процветание цеха, и с каждым днем дела шли все веселее. Уже через полгода шумели пять станков, а там с каждым месяцем появлялось их все больше, и теперь они шумят уже в двух длинных сараях. И когда наступает утро,

то к ним со всех концов деревни тянется народ, или, как любовно называет его Михаил Семенович, «новый рабочий класс».

— День добрый, Михаил Семенович! — поздоровался со Сбытчиком Васин и приносил кепку.

— Здравствуй, здравствуй, — ровным, без интонации, голосом сказал Сбытчик, — что это, никак у меня часы спешат? Уже полчаса как приступили к работе, по моим.

— Сестра приехала, — виновато пояснил Николай Васин. — Туда-сюда...

— А я и не знал, что у тебя сестра есть.

— Есть, есть... Как же. Считаю, чуть не два десятка лет не виделся. Вот и задержался.

— Ничего, ничего, ты работник старательный. Наверстаешь, как говорится, упущенное.

— Это не беспокойтесь. Если что, я согласный и на вечер остаться.

— А я и не беспокоюсь, знаю. Между прочим, придется и на самом деле вечерка два-три прихватить. Заказчик поторапливает, к тому же обещает новый заказик подкинуть. Так что уж придется, Николай Петрович.

— Это с удовольствием.

— Да, а вот такого, к сожалению, удовольствия я не вижу у нашего председателя. Надо бы еще пяток человек во второй цех, а он, наоборот, ведет линию на сокращение.

— Ой, зря он это делает. Откуда и доход, как не из цеха. Не будь цеха, совсем другая была бы картина. А сейчас добро. Ой, добро, Михаил Семенович. И хорошо, что ты вернулся. Без тебя ну прямо все повалилось...

— Так ведь старался. И сейчас стараюсь.

— Добро, добро, Михаил Семенович.

— Да нет, мало доброго. Трудно мне. Заказов много, и все выгодные, а приходится отказываться.

— Чего ж так?

— Я уже говорил, Климов — это новый председатель — не желает, чтоб цех развивался. Делает ставку на землю. А что вам земля? Много она вам дала радости?

— Ну!

— Время идет вперед, и то, что было хорошо вчера, сегодня уже не годится. Диалектика. А он пытается против ветра струю пустить. Ну, что ж, сам обрызгается...

— Это уж точно, — засмеялся Николай Васин.

— Да, многого не понимает новый председатель, — глядя себе под ноги, в раздумье сказал Михаил Семенович.

— При Павле Николаевиче лучше было? — проникаясь сочувствием к Сбытчику, человеку, который не только за себя, но и за народ переживает, спросил Николай Васин, оглядывая по-нурую фигуру собеседника.

— Лучше не лучше, но если спят за пьянство, то о чем и речь. А вообще-то, конечно, легче было, теперь же новому надо все доказывать, убеждать, чтобы он поверил в мою искренность, честность намерений...

И замолчал, вспомнив, как месяца два назад, когда только приступил к делам новый председатель, примерно такой же разговор вел с женой...

Они шли берегом Старицы. Был май, и все уже зеленело, цвело, и при каждом дуновении ветра молодая гляцевитая листва шумела, и в воде отражалось солнце, разбитое течением на множество бликов. У воды тянулася песчаная коса, и, казалось бы, здесь было все для отдыха, но жена, тяжело опираясь на его руку, капризно говорила о том, что ей хочется на юг, в Пущунду, что там уже можно купаться, там купаются, загорают, а тут еще холодно.

— Я хочу моря...

— Потерпи темного.

— Зачем? Поедем теперь.

— Сейчас пельзя.

— Из-за того, что пришел новый?

— Да. Придется ему все доказывать, убеждать, чтобы он поверил в мою искренность, честность намерений.

— Ужасно.

— Ничего. Пусть только подпишет договора. А как подпишет, сразу же вступит в силу закон производственной необходимости.

— Что это значит?

— Это значит, что он будет есть с моей руки.

Новый председатель подписал. Но пока еще есть с руки Сбытчика не собирался. Противился ценою немалых потерь для себя, да и для колхоза тоже...

— Ты ведь член правления, Николай Петрович, к тому же коммунист, как-нибудь завел бы разговор со своими соседями, дружками о том, что цех — это перспективное дело. В нем ваше будущее. Какая у вас земля? Это разве массивы? Теперь все измеряется глобальными масштабами. И хотите вы или не хотите, но придет такой день, когда на месте вашего цеха, нынешнего, появится громадный деревообрабатывающий комбинат. К этому все идет. Если хочешь, исторически, — не мигая, тяжеломерно поглядел Михаил Семенович на Васиша.

— Так это, конечно...

— Ну вот... Иди, а то я тебя задержал. Если что скажет бригадир, ответь ему: я тебя задержал. Да, еще передай токарькам, в этом квартале премнальные будут... Иди, иди. А я к председателю. Попробую еще раз его убедить.

— Тогда благополучного вам свершения, — пожелал ему Васиша, а сам про себя подумал: «Черт побери, до чего же сложно все. Вроде и Сбытчик прав, а до этого, вроде, председатель

был прав. Вот и попробуй разберись! Сбытчику-то легко, он грамотный, и председатель тоже институт кончал, а вот тут который как я — черта лысого поймет. А Михаилу Семеновичу что, у него язык подвешен, он и председателя, если захочет, переговорит. Ему это запросто...»

Но нет, неверно, трудно было ходить Михаилу Семеновичу к председателю. С первой же встречи они поняли друг друга, поняли, что они антиподы, и это открытие определило их отношения на все последующее.

— Не дожидаясь особого приглашения, сам явился, — так начал тогда свой первый разговор Михаил Семенович с председателем. — Заведующий производством подсобного цеха, — представился он и протянул руку — не с раскрытой ладонью, а со сложенными в щепоть пальцами.

Председатель, прижмурившись, поглядел на него и не сразу, но все же протянул ему свою руку, и его рука оказалась крепкой, с сухими, жесткими пальцами.

— Садитесь, — сказал он твердо и четко. — Меня зовут Иван Дмитриевич Климов.

— Это я знаю, хотя и не был на выборном собрании.

— Почему?

— Так ведь я же не колхозник. По вольному найму. По договору работаю здесь.

— Это что-то новое для деревни, — сказал председатель и с любопытством оглядел и лицо, и фигуру Михаила Семеновича.

— Прогресс! — развел короткими руками Михаил Семенович.

— Вот как? Любопытно... Но слушаю вас.

Михаил Семенович достал из кожаной папки несколько договоров, положил их перед Климовым.

— С предприятиями все оговорено, условия для нас хорошие, требуется только ваше утверждение. Подпись.

— А что за предприятия?

— Разные артели, если говорить о бобинах. Трикотажные артели. Подрозетники же нужны некоторым предприятиям, производящим ремонт своих зданий, — ответил Михаил Семенович таким тоном, каким обычно говорят, чтобы не показать своей заинтересованности.

— А в чем заключаются хорошие для нас условия?

— Ну, взять хотя бы подрозетники. Впрочем, удобнее было бы об этом говорить в цеху. Вы там были? Пройдемте.

В цеху гудели станки, сухо шелестели из-под резцов стружки. В солнечном луче плавал толстый пыльный столб. Кисло-пахло свежей древесиной. Человек пятнадцать мужчин и женщин, склонившись над станками, вытачивали тонкие кружки из дерева.

— Вот это и есть подрозетники, — сказал Михаил Семенович,

беря из большой кучи один кружок.— В магазинах он стоит две копейки, но не всегда предприятие может купить его за наличный расчет. У нас определены отношения на безналичных расчетах. По пять копеек за штуку. Вот почему я и сказал: условия для нас хорошие. Это все пяточки,— Михаил Семенович показал на несколько куч, высившихся у станков.— Горы пяточков. А из пяточков рубли. Из рублей сотни. Кстати, ваш предшественник на эти пяточки хотел построить новый клуб.

— Так-так...— медленно переводя взгляд с кучи на кучу дровяшек, а потом с токаря на токаря, промолвил председатель.— Сколько же у вас всего работает людей?

— На сегодня — сорок три. Но дело расширяется, потребуется еще рабочая сила. Весьма перспективная отрасль в нашем колхозе. Наиболее доходная уже сейчас.

— Так-так... Наиболее доходная уже сейчас.

— Совершенно правильно. Я отвечаю за свои слова.

— Не сомневаюсь. Но подписать договора воздержусь.

— То есть почему же? Время не ждет. Заказчик установил определенные сроки.

— А зачем вы ставите себя перед заказчиком в такое зависимое положение?

— Да ведь потому, что он диктует свои условия.

— Он не может их диктовать, потому что зависим от характера финансовых расчетов. Вы — хозяин положения. Только вы можете дать ему продукцию по безналичному расчету. Поэтому ничего не случится, если я не буду спешить с подписанием договоров.

— Не понимаю, совершенно не понимаю,— взволновался Михаил Семенович.— Зачем? Для чего?

— Ну, хотя бы для того, чтобы вникнуть в суть вашего производства.

— Почему моего? Это колхозное!

— Ну, а если колхозное, то и я за колхозное.

— Простите меня, но вы начинаете рубить тот сук, на котором сидите.

— На котором я сижу — это земля.

— Земля? Спросите людей, и они вам скажут, как их на протяжении десятилетий кормила земля. Неужели вы не знаете, что сама по себе земля — убыточная область хозяйства в колхозной системе. И что только за счет вот таких подсобных цехов можно поднять рентабельность всего хозяйства. Этим, только этим можно объяснить во многих колхозах, в том числе и гигантах, наличие широкоразвитых подсобных производств. Есть в некоторых колхозах даже целые заводы, приносящие миллионы доходов. Одни делают краски...

— А делать краски входит в их обязанность?

— Это инициатива...

— С которой надо всеми силами бороться, — жестко сказал Климов, выходя из цеха.

— Все же я вам не советовал бы спешить. Спросите главного бухгалтера, какой доход приносит земля и какой — цех, и вам станет ясно, на какого коня надо ставить.

— Здесь не бега.

— Это я в порядке сравнения.

— А я в порядке предупреждения.

И с этой минуты стена холодной неприязни друг к другу встала между ними. И каждый понял, что им не ужиться. Потому что один из них по своей натуре был созидатель, думающий не столько о себе, сколько об обществе, в котором он жил и ради которого жил; другой же был разрушитель, то есть человек, берущий из жизни все лучшее только для себя и совершенно не думающий об интересах общества, в котором он жил. И если первый боролся с просчетами, неполадками в нашей жизни, то второй использовал их, чтобы нажиться. И хотя, казалось бы, фактов к такому обоюдному недоброжелательству, а точнее — антагонизму, еще не было, но то, что принято называть впечатлением от первой встречи, было, и это впечатление не сулило ничего хорошего ни тому ни другому.

— Как относился Шитов к тому, что цех гиперболически растет и поглощает рабочую силу с полей и ферм? — спросил Климов, глядя на Михаила Семеновича уже с явной неприязнью.

— Положительно, — подчеркнуто твердо ответил Михаил Семенович, не уходя от взгляда председателя.

— Поэтомю он и пьянствовал. Теперь несколько слов о том, что земля убыточна. Чушь. Лучшие колхозы процветают только за счет правильного использования земли. И если у них есть собственные производства, хотя бы и заводы, то это заводы, производящие не краски и разные деревяшки, а изготовляющие варенья, соленья, окорока, рыбные консервы — словом, то, что даст земля. А теперь позвоните, пожалуйста, главного бухгалтера с нужными для нашего разговора документами.

Главный бухгалтер, курносый, бритый старик в очках, не заглядывая в бумаги, доложил, что доход от цеха составляет шестьдесят два процента от общего дохода колхоза.

— Вы что думаете, я себе беру этот доход? — с обидой в голосе сказал Михаил Семенович. Он еще не терял надежды вернуться к себе председателем.

Но теперь, что бы он ни сказал, хотя бы и правду, Климов уже ничего не принимал.

— Не приписывайте мне вздорных мыслей! — резко сказал Климов и устоял на главбуха. — Вы находите правильным такое соотношение дохода к полям и фермам?

— Видите ли, если бы не успешная работа цеха, и главным образом деятельность Михаила Семеновича, то весьма бедствен-

ным было бы положение у нас. Я уже не говорю о том, какие заработки у рабочих, не в пример колхозникам. Вдвое, а то и втрое выше. Некоторые выгоняют до двухсот рублей.

— И это вы считаете нормальным, чтобы одни получали вдвое меньше, а другие вдвое больше? В одном и том же колхозе.

— А тут уж ничего не поделаешь. Кто в цеху, тот и больше, потому что работа более выгодная.

— Вы экономист?

— Специального образования у меня нет, но я бухгалтер, и постольку поскольку...

— Я тоже не экономист, но черное от белого сумею отличить. Разве вам не понятно, что перекачка рабочей силы с полей в цех губительно сказывается на развитии всего сельского хозяйства в целом?

— Моя область — финансы, — сухо ответил главбух.

— Ну, если только финансы, тогда подготовьте справку за прошлый год и за это полугодие о доходах по всем отраслям нашего хозяйства.

— Слушаю.

— И пожалуйста, поскорее.

Когда главный бухгалтер вышел, осторожно прикрыв за собой дверь, Климов внимательно посмотрел на Михаила Семеновича, как бы стараясь еще глубже понять сидящего перед ним человека, занесенного непостижимым ветром судьбы в этот глубинный колхоз, и спросил:

— Ну, а что вы скажете о такой практике — или находите нормальным приоритет цеха над землей?

Михаил Семенович пожал плечами и, грустно улыбувшись, ответил:

— Вы должны сами понять, я отвечаю за работу цеха, и тут никто не может меня упрекнуть. Я работал с полной отдачей всех своих сил. И, как вы слышали, преуспел. Вы теперь знаете, какой доход приносит цех. Шестьдесят два процента. Это не баран чихнул... Простите за сравнение. И если уж вы спросили меня, то позвольте и мне вас спросить: что будет с договорами? Судя по всему, вы не очень-то расположены их подписывать. Воздерживаетесь временно или надолго?

— Это будет зависеть, сколько у нас денег на текущем счету.

— Пригласить главного бухгалтера?

— Пригласите.

— Двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят два рубля девятнадцать копеек, — еще в дверях начал докладывать главбух. — И еще, позвольте, — он протянул руку к телефонной трубке, набрал номер. — Людочка, пожалуйста, райбанк... Это Игнатий Сергеевич? Будьте уж так любезны, посмотрите, нет ли каких поступлений на наш счет... Есть, да? Какая сумма? Три тысячи

двенадцать рублей? Откуда? Из Куйбышева, благодарю вас... Ну вот, к основной сумме следует прибавить еще и эту.

— Это что, перечисление по работе цеха? — спросил Михаил Семенович, хотя отлично знал, что из Куйбышева может быть только такое перечисление.

— Да, это за бобины, — ответил главбух.

— Кстати, очень выгодный заказчик, — заметил Михаил Семенович.

Климов отлично понимал, в чей огород летят камешки.

— Скажите, — спросил он главбуха, — на какое время нам хватит этих денег?

— Вы имеете в виду только зарплату?

— Все!

— Ну, учитывая, что сейчас такая пора, когда еще нечего сдавать государству или везти на рынок...

— На какое время нам хватит этих денег? До сдачи сена государству хватит?

— Сено не тот продукт...

— Молоко?

— Сдаем ежедневно, но этих денег и для одной первой бригады не хватит... Если хотите на откровенность, товарищ Климов, то я на вашем месте не спешил бы расправляться с цехом. Он, конечно, не главная отрасль в нашем колхозе, но главная статья дохода. И, смею вас заверить, от земли мы не станем богаты, нет. Верьте мне, я тут родился и живу всю жизнь, знаю.

— А я и не пытаюсь вас оспаривать. Верю вам. Но поймите, если все колхозы будут производить не хлеб и мясо, а всякие деревяшки и краски, — взгляд в сторону Сбытчика, — то позволительно спросить, что будет есть народ, скажем, через пять или десять лет?

— Но ведь можно и сохраняя меру, именно как подсобное, — робко заметил Сбытчик, в душе совершенно не робея.

— Об этом и речь. Давайте договора. — Климов взял их от Михаила Семеновича и стал просматривать. — Черт возьми, никогда бы не подумал, что в наше время могут быть такие шараги — трикотажная артель «Светлое будущее», а эта — имени Ленинского комсомола. Черт те что!

— Напрасно иронизируете, Иван Дмитриевич. Это такие же госпредприятия, как и все другие, — сказал Михаил Семенович.

— Не думаю. Давайте условимся: больше не заключать новых договоров, полагаю, нам и этих вполне хватит.

— Дело ваше, но, как правило, не все, конечно, но какая-то часть старых договоров закрывается, так что всегда возникает необходимость искать новых заказчиков.

— Воздержимся от новых.

— Ну, что ж, пожалуйста, тем более что я собираюсь идти в отпуск. Думаю, сейчас самое подходящее время.

— Не возражаю.— Климов подписал договора.— Какой вам полагается отпуск?

— Месячный.

— Это оговорено в соглашении? — спросил Климов главбуха.

— Да.

— Так-так, ну тогда давайте заявление.

Михаил Семенович тут же достал его из кармана.

— Ого, какая оперативность. На всякий случай взяли или специально заготовили?

— Я человек предусмотрительный,— улыбаясь одним ртом, ответил Михаил Семенович.

— Ну-ну,— качнул головой Климов и подписал заявление.— Произведите начисление.

— Слушаю,— сказал главбух.

— Благодарю вас,— подчеркнуто вежливо ответил Михаил Семенович, как бы говоря: «Вы меня обижаете, а напрасно, разве вы не видите, какой я хороший человек». Он еще и теперь не терял надежды склонить на свою сторону председателя. Сколько таких людей попадалось на его пути, и многих, очень многих постепенно приручал он, и они привыкали к нему, и он входил к ним в доверие.— Буду надеяться, что к моему возвращению из отпуска вы смените гнев на милость и по отношению к цеху,— мягко, как бы упрасывая, сказал Михаил Семенович.

— Неужели вы ничего не поняли? — искренне удивился Климов.— Или притворяетесь таким ягнечком?

Михаил Семенович мог многое стерпеть, но не любил, когда на него повышали голос. Сдержанно, чтобы не выдать своей ненависти к этому ортодоксу, он сказал:

— Я все понял. Но вы не учитываете закона производственной необходимости.

— Это что еще за закон?

— Может, в науке его и не существует, но если только его нарушить, то это то же самое, как перерезать жилу в живом организме. Может вся кровь вытечь. До свидания!

Климов еле сдержался, чтобы не послать его к черту. Гад! Уже сюда, в колхоз, прополз, использовав какой-то наш просчет. Да, вся жизнь вот таких жучков на наших просчетах. Вся их философия строится на наших просчетах. Они только и ждут какой-нибудь нашей ошибки или недодумки... Ну, вот теперь, пожалуй, настала пора поговорить и с парторгом.

— Так что, Зоя Филипповна, не нравится мне вся эта история с быстрорастущим и развивающимся деревообрабатывающим цехом,— сказал ей Климов, как только она уселась против него и, как обычно, живо и с интересом оглядела его лицо.— И удивляюсь, как вы могли не заметить этого уродливого факта в жизни вашего колхоза.

Зоя Филипповна придвинула стул ближе к столу, погладила пальцем телефонную трубку и негромко, но быстро стала говорить, не повышая и не понижая голоса, держа его на какой-то одной линии.

— Если говорить по совести, я обращала внимание вашего предшественника, товарища Шитова, но, посудите сами, сколько мы ни старались,— это он мне ответил,— как ни стремился, чтобы получить большие урожаи, рекордные падои, все равно толку было мало. А тут пошли деньги, и какие! И сразу зазвенела копейка в колхозной кассе. И настроение поднялось у народа. И действительно, ведь вы учтите, не только на зарплату или на развитие цеха пошли деньги, но и на развитие всего хозяйства. Запланировали на будущий год механизировать ферму. Установим электродойку — старая вышла из строя. Клуб намечали новый построить. Теперь, судите сами, с повышением расценок на труд доярок фермы перестали приносить тот доход, какой приносили раньше. Их заработок теперь до полутора тысяч рублей в месяц. А у других и выше. Это ведь надо тысячу литров сдать государству, чтобы только одной доярке выкормить на зарплату. А у нас двенадцать доярок. Вот и считайте. А кроме того, ветеринар, зоотехник, рабочие по кормодобыче, сторож, телятницы, управленческий аппарат, бригадир. Разве может все это обеспечить ферма? Поэтому наш цех, как никто, выручает нас. Это находка, буквально находка. Тем более что мы совершенно не подотчетны перед районным руководством за его деятельность. Никакого плана нам не спускают; и ничего от нас не требуют. Да, да, его продукция совершенно не планируется! И это нам позволяет развивать цеховое хозяйство, а денежные средства тратить по своему усмотрению. Вы человек новый, еще не во всем разобрались, но поживете, поработаете и сами убедитесь, что без цеха нам никак. Это я вам говорю — учетчик. А я многое учитываю. Только теперь, как говорится, мы и зажили. И если вы против цеха, то совершенно напрасно. Вряд ли вас кто поддержит, потому что ведь в каждой семье, в каждом доме есть человек, работающий в цехе, а это значит, есть работник, приносящий домой до двухсот рублей в месяц. Нет, не думаю, чтобы вы нашли поддержку среди наших рабочих. Не думаю. А если говорить...

— Вы всегда так много говорите? — остановил Зою Филипповну Климов, с любопытством взглядываясь в нежный овал ее лица, в разгоревшиеся от волнения щеки.

— Вы меня спросили, и я ответила,— несколько обижено сказала Зоя Филипповна,— могу вообще не отвечать. Мне говорили про вас, что вы резки, теперь я на собственном примере убедилась. И, должна вам сказать со всей прямоотой, это не лучшее ваше качество. Нет, оно не украшает руководителя, тем более когда мы говорим о демократии. Надо не только словами, но

и личным примером подкреплять эти слова. И вы, если хотите завоевать расположение к вам членов нашей артели, если хотите, чтобы ваш авторитет был высок, как и подобает быть авторитету руководителя, то вы должны...

Климов поднял руку и покачал ею, как бы останавливая сидящую перед ним женщину. В его узких, широко расставленных глазах сквозила усмешка, снисходительная к человеческой глупости, но не настолько, чтобы примириться с нею.

Зоя Филипповна замолчала.

— Вы же прекрасно знаете, что сюда я забрел не на огонек, а послан райкомом партии. Не думайте, что я прыгал до потолка от восторга, получив сюда назначение. Между прочим, до вашего колхоза я работал прорабом на крупном строительстве. Жил с семьей в трехкомнатной квартире, жил неплохо. А вот теперь здесь одни. Семью не могу перевезти только потому, что дочь учится в техникуме, а сын готовится в институт... Но партии надо было, и я здесь. Поэтому буду просить вас помогать мне, а не уговаривать и тем более мешать. Договорились? А теперь по существу. Все ваши беды идут оттого, что вы видите главный источник дохода и благосостояния колхоза в цехе, а надо видеть в самом сельском хозяйстве...

— Но я же объясняла вам! Только благодаря цеху мы и жили!

— Когда я говорил о ваших бедах, то имел в виду райком. Ведь если там узнают, то сразу же прихлопнут вашу лавочку. Неужели вы этого не понимаете? Или, думаете, за такие дела вас наградят переходящим знаменем? Я лично убежден в обратном. Да, совершенно в обратном. Поэтому, пока еще райком не узнал, побеседуйте с коммунистами. Нет, не на общем собрании, а так, ну хотя бы во время уплаты членских взносов, о том, что партийной организации надо ориентировать народ не на цех, а на плановое развитие всех отраслей сельского хозяйства...

Вошел главный бухгалтер. Присогнувшись, положил перед Климовым листок бумаги.

— Вы не ошиблись? — спросил Климов.

— Никак нет. Все до копейки.

— Семьсот восемьдесят рублей?

— Да. И шестьдесят девять копеек... Тут и зарплата, и отпускные...

— Он что, министр, что ли?

— Это от меня не зависящее. Такая уж была договоренность у Шитова с ним. И мы отступить не можем.

— Ну уж и не можем, — постукивая в раздумье карандашом по столу, сказал Климов. — Можем. Все в наших руках, и хорошее и плохое. Ну, а как вы думаете? — спросил он Зою Филипповну. — Вам не кажется слишком того... эта цифиря?

— Если была договоренность... И потом, он же получает из расчета заключенных договоров. Чем больше заключит, тем больше и получит. Значит, он заключил достаточно, если получилась такая сумма. Кроме основной зарплаты, у него еще набегают и от премиальных, и еще прогрессивка. И к тому же отпускные в этой сумме. Так что я лично не вижу здесь ничего такого, что смущает вас. И вообще, почему вы так подозрительно относитесь?

— Ну, вот уж и подозрительно,— усмехнулся Климов.— Просто слишком непривычная для меня сумма. Или у вас все столько получают? И вы столько же?

— Ну, что вы! У меня всего восемьдесят рублей оклад.

— Ну, вот видите... Нет, как угодно, но во мне каждая жилка протестует против такого дорогооплачиваемого специалиста. К тому же, с одной стороны, дело подналажено, а с другой — не будем его развивать. Так что есть смысл освободиться от услуг господина Сбытчика!

— Как это у вас, извините, все легко решается, Иван Дмитриевич,— заметил главбух.— Ведь так недолго под корень пустить всю финансовую обеспеченность. Поручить недолго. Бывали такие примеры. Налаживать трудно.

— Ну, я думаю, с помощью товарища парторга наладим.

— Тут надо подумать, с кондачка решать нельзя,— сказала Зоя Филипповна.

— Я бы на вашем месте не спешил расставаться с Михаилом Семеновичем. Пусть идет в отпуск, а за это время можно все спокойно обдумать,— сказал главбух.

— Ну нет, у меня слишком мало времени, чтобы о нем думать в течение месяца. Да и зачем думать-то? Найдем расторопного малого на его место, который будет работать рублем за сто плюс командировочные.

— Решительный вы человек,— сказал главбух, и было непонятно, осуждает он или восхищается.

— Вы что же, хотите уволить Михаила Семеновича? — словно только сейчас до нее дошло, воскликнула Зоя Филипповна.

— Точно.

— Причина? — спросил главбух.

— Любая.

— С выплатой выходного пособия?

— Ну нет, это слишком большая роскошь.

— Но он сам по собственному желанию может и не уйти.

— Уйдет. Он же человек достаточно опытный. Думаю, это ему не в новинку.

— Как все получается у нас нехорошо,— расстроено сказала Зоя Филипповна.

— А именно?

— Приходит новый человек и рушит то, что создавалось до него. И считает себя правым, в то время как все были убеждены, что жили и работали правильно.

— Вы недовольны мною?

— Да. Тем, как вы, не советуясь ни с кем, я бы сказала диктаторски, решаете все и рушите налаженное!

— У вас не в ту сторону налаженное. И в этом виноваты вы. В первую очередь. Потому что экономика — это та же идеология. А вам и то и другое подведомственно.

— Ну, конечно, новый руководитель никогда не бывает виноват. Всегда виноват старый. Но потом приходит опять новый, и старый новый оказывается виноватым...

— Это уже женский спор, а я в нем не участник.

— Вот как! — Зоя Филипповна вспыхнула. — И все же на вашем месте эти вопросы я обсудила хотя бы на партийном бюро, если уж не на партсобрании, прежде чем принимать такие ответственные решения.

— Непременно. Только на партбюро будем обсуждать другие вопросы. А такими, как освобождение от Сбытчика, вряд ли стоит занимать коммунистов.

— Мне можно идти? — спросил главбух.

— Да, идите.

— До свидания! — сказал главбух и сразу же направился к Михаилу Семеновичу.

У него с ним были не то чтобы какие-то дружеские отношения, нет, но заходить к нему он любил, — Михаил Семенович был добр на угощение. У него всегда была столичная водка, а то и коньячок, а то и ром бывал. И главбух, не особенно-то избалованный местным сельмагом, в котором большей частью водилась «краснота», то есть красное вино эстонского производства в больших трехлитровых посудинах, укупоренных, как маринад, жестяной крышкой, всегда с удовольствием вытягивал рюмку-другую, не отказывался и от третьей, если Михаил Семенович предлагал. А он предлагал, хотя сам и не был большим охотником до выпивки. Так, рюмочку за компанию. Но не только поэтому у него всегда водилось вино. Рюмка-другая, выпитая гостем, развязывала язык, и Михаил Семенович узнавал все, что ему было нужно и не нужно знать.

Снимал он жилье у бабки Прасковьи, одинокой, скрюченной чуть ли не до земли старухи, потерявшей в войну трех сыновей и мужа. На фасаде ее дома пламенело четыре звезды. Михаил Семенович из уважения к ней сам, лично, покрасил звезды светящейся краской.пустила Прасковья его не ради денег, а потому, что уж очень тоскливо ей было одной в пустом доме. И радовалась, когда приезжала Ирина Аркадьевна, и не знала, чем побаловать девочек, и была готова все переделать за постоялку, и белье перестирать, и полы вымыть, и прибрать за девочками,

и все это бесплатно. «Не надо! Не надо! И слушать не хочу! И не обижайте меня!» Лишь бы жильцам было хорошо.

— Можно ли? — пригيبая голову, чтобы не удариться о прилоку, сказал главбух и переступил через высокий порог.

— Да-да, пожалуйста, пожалуйста, Александр Петрович, — тут же отозвался Михаил Семенович и несколько медлительно встал из-за стола. — Счастливый человек, прямо к обеду.

— Нет-нет, благодарствуйте, — низко кланяясь Ирине Аркадьевне, ответил главбух. — Я по весьма конфиденциальному делу. Если позволите на минутку уединиться.

Они прошли в горницу, и там главбух шепотом, то округляя глаза, то отстраняясь от Михаила Семеновича, рассказал все, что услышал в кабинете председателя.

— Очень мне неприятно, Михаил Семенович, по дружеское к вам расположение продиктовало все это вам высказать. Так что уж простите за неприятные вести.

— Что ж делать... Такова судьба подчиненных. Вы не спешите?

Ему было очень неприятно. Не в том смысле, что оставался без работы, нет, работы у него хватало, но жаль было терять хорошо отработанное производство. Тут, как говорится, деньги уже сами к нему текли, только подставляй карман. И времени цех мало требовал, что тоже весьма немаловажно, потому что он осваивал новое дело в крупном совхозе. Поэтому все, что он сказал главбуху, было окрашено в минор, и этому можно было верить, это звучало искренне.

Нет, главбух никуда не спешил. Домой, а что его ждет дома? Старая, сварливая жена...

— Нет-нет, никуда я не спешу.

— Тогда я сейчас.

Он ушел на кухню и через минуту вернулся с тарелками и стопками.

— У меня есть бутылочка «Плиски», — сказал он, — вот мы ее и откроем по такому печальному случаю. И уж, пожалуйста, не отказывайтесь. Я вас очень прошу. Побудьте со мной в этот тяжелый для меня час.

Главбух и в уме не держал, чтобы отказаться, он даже несколько удивленно посмотрел на Михаила Семеновича — уж не разыгрывает ли он, — но нет, Михаил Семенович был печально-серьезен.

— О чем разговор, — ответил главбух, радуясь тому, что Сбытчик поставил не рюмки, а стопки, не подозревая того, что такая посуда была поставлена с определенным расчетом, нет, не спонть, до такого низкого уровня еще никогда не падал Михаил Семенович, а просто как следует угостить. Уж коли придется уходить с работы, то надо оставить по себе доброе мнение, чтобы хоть вот этот пьяница, вспоминая его, отзывался уважи-

тельно. Поэтому стопки. И пусть хоть всю бутылку выжрет, черт с ним!

— Не отвальная, но где-то рядом,— грустно улыбнулся одними губами Михаил Семенович.— Привык я к здешним местам, к пейзажу, к людям. Полюбил. А теперь... Будьте здоровы, Александр Петрович! Я к вам всегда относился с уважением. Желаю вам здоровья и легкой работы с новым председателем!

Главбух выпил и, растроганный до слез, приложив руки к груди, сказал:

— Если бы вы знали, как все это мне неприятно. Это же уму непостижимо! И как мы бессильны и беспомощны. Ну то есть некуда даже пожаловаться. В райком? Но оттуда же его и прислали. К народу апеллировать? Но что народ? Он молчит. Вечно молчит! Каждый за свою шкуру трясется. Так поговорить с кем — вроде согласи, но дальше ни шагу. Происходит, Михаил Семенович, что-то непонятное. Сознание довольно высокое, каждый отдает отчет в происходящем, и вместе с тем чудовищное равнодушие.

— Да, да, но кушайте, кушайте. Эти сардины, в отличие от всех остальных, знамениты тем, что приготовлены не из мороженой рыбки, а прямо там, в океане, из свеженькой. Такие сардины не купите. Их мне подарил один мой очень хороший друг. Работает на судне. Удивительно тонки по вкусу. Попробуйте.

Александр Петрович попробовал, не нашел никакой разницы с теми сардинами, которые, хотя и редко, все же приходилось есть, но сделал вид, что нашел разницу, и даже чмокнул губами, а про себя подумал: «Живут же люди! Какой-то приятель подарил сардины. А тут всю жизнь прощелкал на счетах, и хоть бы какая собака брюкву бросила. Ни черта!» Он уже подзахмелел, а подзахмелев, всегда видел свою жизнь неуютной, а себя обиденным удачей. О счастье он давно уже не думал, будучи твердо уверенным, что такового не существует. Удача — дело другое! Кому подвернется удача, тому и «Москвич» выпадает на лотерейный билет. А счастья нет...

— Счастья нет! — сказал главбух.

Михаил Семенович развел руками и наполнил стопку главбуху.

— Благодарю вас! — сказал главбух. Он любил выпить и не скрывал. А что еще ему оставалось? Жизнь пошла на закат. От будущего, кроме старости, болезни и смерти, ждать нечего. Да, да, все позади. Так почему бы и не выпить? А тут еще единственного человека отнимают, который всегда не откажет в стопке вина.— Будьте здоровы, Михаил Семенович, и пусть тот согнется в дугу, кто обидит вас. Но только скажу одно: сами не подавайте заявление, пусть он увольняется. Тогда за вами выходное пособие. А оно не маленькое, что ни что, а сотенки две набе-

рется. А денежки нужны. Помню ваши слова: «Деньги — это удобство!» Лучше не скажешь.

— Конечно, я не буду спешить, но что он имел в виду, когда сказал, что я достаточно опытный? И за что он вообще на меня взъелся? Я честно работал! Я даже начинаю бояться его. Не в том смысле, что он может что-нибудь, как в старые времена, а так просто, устроит какую-нибудь каку. А кому нужна кака?

— Главное, не подавайте сами заявления, — как все подзахмелевшие люди, упрямо сказал главбух.

Михаил Семенович налил ему еще стопку, небрежно чокнулся, но сам пить не стал. Бухгалтер же выпил с удовольствием, подцепил на вилку несколько сардин и, размазывая по усам желтое масло, сказал:

— И чего ему нужно, сволочи? Свалился на нашу голову. Жили люди, так на вот тебе!

На что Михаил Семенович ничего не ответил, как видно, он не был расположен к разговору. Налил еще стопку главбуху. Тот выпил и скосил глаз на остаток в бутылке. Там было на донышке.

— Ну что ж, пора и восвосяи, — подымаясь, сказал главбух и поглядел на полную стопку Сбытчика. — Если не возражаете, заодно уж... — и показал пальцем на стопку.

— Пейте, пейте, — любезно разрешил Михаил Семенович. — Я ведь не очень здоров и только ради такого печального случая пригубил.

Главбух выдохнул, влил в себя последнюю стопку, потряс головой и, не прощаясь, пошел домой. И сразу же в горницу вошла Ирина Аркадьевна.

— Зачем он приходил? — спросила она, стараясь по выражению лица мужа догадаться, насколько серьезное известие принес главбух. Но, как всегда, лицо Сбытчика было эпически спокойно, и она ничего на нем не прочла. — Скажи.

— Однажды я видел, как щука заглотала щуку чуть меньше себя и никак не могла уйти на дно, чтобы там не торопясь переварить ее, и плавала поверху. И доплавалась до того, что ее взяли голыми руками. Так и новый председатель. Он хочет заглотать меня, но от этого сам подохнет. Он совершенно не знает системы нашего дела. У нас, снабженцев, свой код... — Вот когда прорвалось то, что так долго сдерживал в себе Михаил Семенович. Он даже брызгал слюной. Да, теперь перед женой ему нечего было скрывать. — Я знаю эту породу — сами не живут и другим не дают жить. Но рано патешка запела, как бы кошечка не съела...

— Что случилось?

— Он уволил меня.

— Вот как! Действительно из простаков. Ты очень огорчен?

— Вообще конечно. Терять такое место! Но я не привык пускать слюнявика. Пусть этим занимаются другие, а мое дело впе-

реди. Итак, я в отпуску. Тут он допустил ошибку. Нельзя было отпускать меня. Надо было заставить поработать еще две недели, чтобы за это время я успел сдать дела новому человеку. Он не учел этого. А коли так, то я в отпуску. Значит, пока он не спохватился, надо, не теряя ни минуты, собираться и завтра чуть свет в путь... Но каков новый пред, а?

— А ты говорил, он будет есть с твоей руки.

— Ну и что? Или я сказал, что он не будет есть? Вы, женщины, хороший народ, только у вас нет терпения. Терпение же та гиря, которая всегда перетянет. Пошли старуху за Толиком.

После этого они занялись сбором вещей. Их не так уж было и много — самое необходимое. Укладывали в чемоданы, изредка переговариваясь, но уже не касаясь происшедшего события. Они не любили мусолить одну и ту же тему.

— Прибыл! — появляясь на пороге горницы, сказал парень лет двадцати пяти с веселой улыбкой на свежем, чистом лице. — Здравствуйте, Ирина Аркадьевна, не видал еще вас!

— Здравствуй, Толик! — мягко улыбнулась жена Сбытчика.

— В отпуск? — оглядывая чемоданы, спросил Толик.

— Да: Завтра пораньше, часов так в пять, выедем.

— Понятно. А если я прихвачу у бабуриков овощи?

— Бери.

— Продукции не будет?

— На этот раз нет.

— Понятно. — Он с улыбкой глядел на своего шефа, готовый выполнить любой его приказ. Да и как иначе, если только благодаря Михаилу Семеновичу он увидел жизнь. В каких только не побывал городах, по каким только не ездил дорогам. Узнал вкус ресторанной еды, интим гостиничных номеров, мимолетные знакомства с девушками, оставляющие приятный следок воспоминаний. — Больше никаких приказаний не будет, шеф?

— Нет. Можешь идти.

Но не прошло и десяти минут, как он ушел, явился Климов.

— Извините за внезапное вторжение.

— Ну что вы, какой разговор. Я вас слушаю.

— Вам придется задержаться на несколько дней.

— Вот как! А почему?

— Да так, появились некоторые производственные соображения.

— Какие же?

— Завтра утром все объясню. Сейчас уже поздно.

— Ну что вы, всего девятый час...

— Завтра, завтра. — И ушел, вежливо поклонившись Ирине Аркадьевне.

— Я ни разу не видала его вблизи. Довольно интересный мужчина. Только уж больно официален.

— А ты хочешь, чтобы он еще шутил, увольняя твоего мужа?

— По-моему, совсем наоборот. Он тебя оставляет на работе. А этот старый пьяница наболтал чего нет.

— Ах, Ирина, Ирина, ты со мной живешь пятнадцать лет, но не стала мудрее. Он торопится, не до конца продумывает. Как шахматист он наверняка неважнецкий. Но в конце концов принимает правильное решение. Он уволит меня через две недели. Ровно через две недели с завтрашнего дня, чтобы не платить выходного пособия.

— И еще так вежливо поклонился мне.

— Ну и что. Я ему тоже улыбался. Но значит ли это, что я к нему готов прийти на день рождения с подарками?

— А как же Толик? Машина?

— Значит, не поедет. Пусть это будет ему первая заноза от председателя.

И Толик не поехал. И первая заноза царапнула его сердце.

— Это почему же? — спросил он Михаила Семеновича, когда тот вышел из избы на крыльцо.

Было раннее утро. Солнце еще только-только оторвалось от земли, распаренное, словно после бани, и, вздымаясь в небо, всплывало красным шаром. И на песке, и на траве, и на цветах, и на ступеньках крыльца лежала серая холодная роса. Машина, обихоженная еще накануне, чистенькая, будто новая, стояла против дома. В ее кузове, вплотную один к другому, стояло несколько мешков с огурцами. И Толик, спросив Михаила Семеновича, почему же не поедет, поглядел на мешки, будто на пасажиров.

— Да потому, Толик, что меня увольняют, — с мягкой улыбкой ответил Михаил Семенович.

— Как это? — даже испугался Толик.

— Да так... Теперь у тебя будет другой сбытчик. Хорошо, если такой же добрый, как я.

— На черта он мне сдался!

— Ну, тебя спрашивать новый председатель не будет. Это все решается без нашего ведома и согласия. Так что гони машину обратно.

— А чего же с овощами делать?

— Вернуть и объяснить.

— Чего объяснить?

— Ну, кто виноват. Не ты же?

— Нет.

— Ну вот и объясни, что не ты виноват, а кто-то другой виноват.

— Понятно.

— И не забудь с такой же готовностью приехать сюда через две недели, когда я уже буду уволен.

— А за что же вас уволили?

— Для вашего колхоза я оказался очень дорогим.

Точно такой же вопрос и почти такой же ответ прозвучали в кабинете председателя.

— За что же вы его уволили? — спросил Климова Захар Найденов, смуглый расторопный кладовщик колхоза, которого председатель метил на место Сбытчика.

— Слишком уж он дорог нам, — ответил Климов. — Я думаю, вы согласитесь то же самое делать рублей за сто, не считая командировочных?

— Смешно вы говорите, Иван Дмитриевич. Ведь тут надо понимать, а я что? Михаил-то Семенович опытный. У него все на мази. А я как голый.

И у вас будет все как на мази. Новых договоров мы не будем заключать, так что вам и заказчиков новых искать не надо. Будете только продлевать старые. Адреса этих шарашкиных артелей есть. Ничего мудреного.

— Не знаю, прямо не знаю...

— И знать нечего. А сейчас идите к Сбытчику и все адреса, договора, куда, чего разузнайте и действуйте.

— Как-то псевдобно... — Захар Найденов поскреб небритую щеку. — Да и зачем это мне?

— Ну вот, опять двадцать пять! Надо! Понимаете, надо! Что же будет, вы откажетесь, другой откажется, куда это годится! И поостроже с ним, потому что с вас будет спрос.

— Да ни к чему мне, честное слово! Ну его к ляху! — неожиданно вскричал кладовщик. — Какой я, к черту, сбытчик.

Но председатель не стал его слушать, углубился в чтение какой-то бумаги. Потом зазвонил телефон, и он стал с кем-то разговаривать. Захар Найденов постоял, поскреб еще раз небритую щеку, подумал, что надо бы добриться, тем более теперь, когда назначен заведующим производством подсобного цеха, и, понимая, что дело с ним уже решенное, побрел из кабинета.

— У меня договоров нет, они в бухгалтерии, — сказал ему Михаил Семенович, как только он занкнулся о сдаче дел. — И адреса там. У меня ничего нет.

— Ну, может, что присоветуете мне... Вы уж простите меня. Я и спом-духом не ведал. Вызывает сегодня прямо из кладовой Иван Дмитрич, я думал, по какому такому делу, а оно вот какое дело...

— Какая мне разница. Не вы, Захар Афанасьевич, так был бы другой. Но я не знаю, чем могу быть вам полезен. Я все документы сдаю в бухгалтерню. Продукция в цеху. Но там ответственный за все бригадир.

— Тогда чего же мне от вас принимать? Чего-то принять должен я.

— Мне сдавать нечего. И советовать нечего. А вообще-то я еще некоторое время побуду здесь, так что приходите, спрашивайте.

— За это спасибо. Непременно, ежели что... — Захар Найденов неумело поклонился и заспешил в цех, толком еще не понимая, хорошо или плохо все, что приключилось с ним в это утро. Жил себе, жил человек, выдавал стекло, фанеру, гвозди, олифу, клей, краски и прочую москатель — и во сне не чуял, что станет на место Сбытчика. Найденов удивлялся, но удивляться, собственно, было нечему — такова уж была заведенная в районе практика. Так направили Климова на новую работу, так Климов направил на новую работу Захара Найденова. И ничего тут удивительного не было. Для Климова. Но не для заклиновцев. Как только они узнали, что Сбытчик снят и на его место поставлен Найденов, так сразу же остановили свои станки и обступили нового зава.

— Тебе чего в этом деле? — спросил Найденова Николай Васин. — Зачем вскочил на место Михаила Семеновича?

— А чего я мог, ежели председатель приказал, — поеживаясь под суровыми взглядами токарей, ответил Захар Найденов.

— Смотри какой исполнительный. Ты брось, давай начистоту! С какой такой стати тебя к нам кинули?

— Да ты что? Я и сном-духом не ведал, вызвал меня Иван Дмитрич и говорит, что Сбытчик уволен, и велел мне тут же от него дела принимать. Я ж отказывался, да разве он слушает. А по мне, провались ты и работа такая!

— За что уволен Михайла Семеныч?

— Денег много получал. Одних отпускных ему причитается около восьмисот рублей, — словно оправдываясь, сказал Захар Найденов.

— Ни хрена! — воскликнул Сеня Кудимов, в прошлом тракторист. — Это мне надо четыре месяца вкалывать за такие-то деньги.

— За какие такие, за малые, что ли? По двести рублей когда ты, где получал? Ежели б не Михаил Семенович, никто б из нас не видал таких заработков, а теперь добро! Чего ж нам паяться на его деньги!

— А тебе сколь положено? — спросил Найденова высокий костлявый старик Самсонов, тот самый, который в молодости играл на сцене. Он спросил и тут же закашлял и согнулся до земли.

— Сто!

— И то много! — махнул рукой Самсонов. — Кладовщиком-то сколь получал?

— Да провались ты и с делом таким! Больно мне надо! Председатель велел, а я что? — вскричал Найденов.

— Председатель. Он наприказывает! — наскочил на него Самсонов и тут же согнулся до земли от нового приступа кашля. Откашлявшись и отхаркавшись, добавил: — И черт приносит их

на нашу шею. Не спросят, не посоветуются, а шлют. Примай, и никаких веревок. Жизнь!

Николай Васин вытер руки ветошкой, снял передник и пошагал из цеха. Ему непременно надо было узнать все досконально. Почему и за что уволен Михаил Семенович. Что за чертова жизнь на самом деле! Увольняют, принимают какие-то решения и ни с кем не обсудят, словом не перекинутся. Прав Петька Самсонов, ей-ей прав! Вертят, как хотят, только успевай поворачиваться. Карусель, а не линия!

Михаила Семеновича он застал дома, тот читал какую-то толстую книгу.

— Почему вы спрашиваете меня? Спрашивайте вашего председателя, — сказал он Васину, присевшему на порожек. — Получаю много денег? Но я не позже как на прошлой неделе поднял с земли две тысячи и отдал колхозу. Только нагнулся — и все, нате! Пусть будет, как хочет товарищ Климов.

— Что Климов? Он наломает дров и умотает. Не первый такой, а нам жить. Ой, худо это! Только-только начали жить полюдски, и вот на тебе. Но я этого дела так не оставлю. Я пойду к парторгу. Чего она думает? Чего она попустительствует! Это мы тоже можем. Знаем не только свои обязанности, но и права, хотя с нами и не считаются. Знаем!

Михаил Семенович довольно спокойно выслушал всю эту речь, не очень-то веря в боевую настроенность оратора, а точнее, зная, что весь его боевой дух только до дверей кабинета председателя, если не до калитки. Но на всякий случай подбодрил Николая Петровича:

— Конечно, кто же, как не вы, может замолвить за меня слово. А что касается денег, так ведь сколько я договоров заключал, столько и премиальных. Разве я знал, что надо меньше? Я о таком не думал. Исходил из интересов колхоза. Если б не было столько договоров, разве так бы вы жили...

— Какой разговор! И долдонить нечего. Добро, ой добро стали жить, и опять на вот тебе, все летит. Но это мы еще посмотрим. Еще поглядим!

Он стукнул кепкой о колено, лихо накиннул ее на затылок и зашагал к парторгу. Конечно, в контору он вошел не таким боевитым, каким был у Михаила Семеновича, но все же не уронил своего достоинства, когда распахнул дверь в канцелярию, где сидела Зоя Филипповна.

— Здравствуйте, Зоя Филипповна! — громко сказал он еще с порога и приложил руку к кепке. И, только уже после этого снизив громкость, спросил: — Это что же делается? Как-то вроде и нехорошо, товарищ парторг.

— А что такое? — спросила Зоя Филипповна и оглядела все лицо Васина, словно что отыскивая на нем. — Да вы садитесь.

Васин сел на краешек стула.

— Интересуюсь не только я, но и ребята из цеха: это за какие такие дела Сбытчика уволили? По чему по такому?

— Распоряжение председателя.

— Понятно, не мое. А вы что, согласные? — уловив в тоне Зои Филипповны намек на усмешливость, спросил Николай Петрович.

— Конечно, зарплата у Михаила Семеновича страшно завышенная.

— Ну так, а вы потолковали, может, он согласный на меньшую? Зачем увольнять-то сразу?

— Это вы правы... Действительно, может, он согласился бы и на меньшую зарплату. Идемте к председателю. — Она живо собрала бумаги, сунула их в ящик стола и, поправив волосы, пошла впереди Николая Василья. Он поспешил за ней, стараясь подладиться под ее мелкий шаг.

— Очень хорошо, Иван Дмитриевич, что мы вас застали, — сразу же начала Зоя Филипповна, как только вошла к Климову.

— Что такое? — недовольным голосом спросил Климов, глядя на оживленное лицо Зои Филипповны.

— Говорите, товарищ Василья.

— Так я же вам все обсказал, теперь вы это самое... — не ожидая, что ему придется докладывать председателю, в замешательстве сказал Николай Петрович.

— Говорите, говорите...

— Ну, тогда вот, хотелось бы узнать, товарищ председатель, почему же вот это такое, увольняете людей и ни с кем не советуетесь...

— Каких людей?

— Да вот Михаила Семеновича.

— А зачем он нам такой дорогой? Я полагаю, Найденков прекрасно справится с работой, и в колхозной кассе останется порядка трех тысяч экономии в год. Это что, вас не устраивает?

— Не об этом речь. Но только и Михаил Семенович мог бы за такие деньги, как и Найденков, работать бы.

— Он отказался. Я говорил с ним.

— А-а... Я этого не знал. Он не сказал мне.

— Так о чем мне советоваться?

— Да нет, тогда все ясно... Чего уж... Извините, — неловко отступил к дверям Николай Петрович.

— А вы что хотели сказать? — спросил Климов Зою Филипповну.

— Товарищ пожаловался мне. Вернее, обратился, вот я и хотела все сразу же выяснить. И пришла к вам. Тем более что и для меня было совершенно неизвестно, что Михаил Семенович не согласился на ваши условия. Если бы я знала, то, естественно, сама бы все объяснила товарищу, но я не знала, поэтому и пришла.

— Вот что, чтобы по мелочам мне вас не информировать, дайте ваш стол сюда, ко мне в кабинет. Будете здесь работать. Заодно и ко мне лучше присмотритесь, а я к вам. Товарищ, помогите перенести стол, — сказал Климов Николаю Петровичу.

— Есть! — с готовностью ответил тот и поспешил из кабинета за столом парторга, в душе ругая себя за то, что сунулся не в свое дело. Будто не знает, что начальство всегда объяснит так, что и крыть нечем. Если б был в курсе, тогда другой резон, а то, вишь, и парторг-то не знает, так куда ж тут такому, как он, который торчит целыми днями в цеху да дома. Откуда ему знать все тонкости-то! А и Сбытчик тоже хорош. Нет чтобы все досконально передать, что, мол, отказался от меньшей зарплаты, — так нет, молчит, будто огурец в рот сунул. Только человека ставит в неловкое положение, черт толстый! Ну, хрен с ним...

— Посторонись! — крикнул Николай Васин, неся стол ногами вперед. — Парень, открой дверь! Шире!

И стол втехал в кабинет председателя и встал на то место, какое было указано председателем. Жаль только, что Климова в эту минуту уже не было в кабинете. Васину почему-то подумалось, что было бы ой как добро, если бы председатель увидел, как он быстро и ловко выполнил его поручение.

Но председателя не было, он переходил улицу, направляясь в гараж. И надо ж, чтобы непременно в эту минуту попался ему на глаза персональный шофер Сбытчика Толк Веселов, слонявшийся по двору в поисках полдюймовой гайки.

— А этот паренек чем занимается? — спросил Климов у главного механика.

— Он в личном распоряжении Михаила Семеновича. Нам не докладывается. Куда, что — сам решает. Если только какой ремонт, тогда уж к нам идет, — ответил механик и позвал Толика. — Вот, Толик, это наш новый председатель правления колхоза, чтобы ты знал. А то ходишь и не здороваешься. — Главный механик был рослый, сильный, и потому голос его всегда звучал благодушно, и, что бы он ни говорил, хоть даже с подковырочкой, обижаться или сердиться как-то даже и в голову не приходило. Не пришло и Толику.

— Здравствуйте, — сказал он председателю, но сказал сухо, потому что первая заноза саднила сердце, хотя об этой занозе Климов ничего не знал.

— Чего это вы тут делаете? — с интересом разглядывая парня, который находился в личном распоряжении Сбытчика, спросил Климов.

- Гайку ищу.
- Нашли?
- Нет еще...
- Какую вам надо гайку?
- Полдюймовую.

— У вас есть полдюймовая гайка? — спросил Климов у механика.

— Найдется.

— Дайте ему, а то ведь он целый день проходит. Что тебе, Толик, еще нужно?

— Больше ничего.

— Машина-то где?

— А во дворе у меня.

— Непорядок, надо, чтобы она стояла здесь, в гараже. А то ведь и дождем ее мочит, наверно. Навеса-то нет, или она рядом с коровой стоит?

— Я ее брезентом закрываю,— глухо ответил Толик.

— Ну вот, пригони сюда машину, здесь прихватишь народ, придут из цеха, и поедешь в первую бригаду. Будешь возить зеленую подкормку.

— Я этим не занимаюсь. У меня другой профиль,— побледнев, ответил Толик.

— Через пятнадцать минут должен быть здесь, через полчаса на ферме. Действуйте!

— А если я не согласен!

— Тогда сдадите машину механику и пойдете пешком в ту же первую бригаду,— спокойно ответил Климов. Да, в таких случаях он не горячился. Он обладал чертами настоящего организатора. А организаторы, как правило, люди с крепкими нервами и по пустякам их не расходуют.

«Зараза! — подумал Толик.— Вот гад! Теперь и до меня добрался». Так в его сердце вошла вторая заноза. Она долго будет саднить, до тех пор, пока не произойдут некоторые важные события. Но о них несколько позже.

«А кому же я теперь буду подчиняться? Кто будет моим шефом?» — подумал Толик и повернулся обратно к председателю.

— Я что же, напостоянно в первую бригаду, или как? — спросил он, хмуро глядя на председателя.

— В распоряжении Захара Афанасьевича Найденкова, но только в те дни, когда будете заняты у него, а в остальные — в распоряжении главного механика.

— Значит, теперь мой шеф — Захар Найденков. Сила!

— А чем же он хуже вашего Сбытчика?

— Сравнили! — хохотнул Толик.

— Честно говоря, мне бы не хотелось и сравнивать Захара Афанасьевича с вашим дельцом. Но неужели он вам нравится? За что?

— За все.— Толик исподлобья взглянул на председателя.— Только он не делец, а нормальный дядька, каких поискать. Он и в другом месте не пропадет, а вот вам без него, с Захаркой Найденковым, будет затычка.

— Послушай,— доверительно сказал Климов,— тебе очень не хочется работать в бригаде?

— А кому захочется возить навоз да в минералке мазаться?

— Но ведь кому-то надо.

— Ну, кому надо, тот пусть и вкалывает, а у меня особой охоты нет.

— Значит, ты лучше других. Чем же это, если не секрет?

К ним подошел механик. Толик взял гайку, подкинул ее на ладони и, усмехаясь, пошел к воротам.

— Ты мне не ответил! — крикнул вдогон Климов.

Толик обернулся.

— А нам некогда. Чао! — И потряс рукой.

Нет, он не пошел к своей машине,— была еще надежда на нового шефа.

Его он нашел на складе. Найденков знакомился с продукцией — вертел в руках бобины, подрозетники, вникал в чертежи, попутно расспрашивал бригадира, что к чему, как.

— Товарищ шеф, в ваше распоряжение прибыл! — лихо отрапортовал Толик своему новому начальнику.

— Чего еще за шеф,— снисходительно, как на маленького, поглядел Найденков.

— А как же, теперь вы мой самый непосредственный шеф! — светло глядя в глаза Найденкову, ответил Толик.

— Ну, коли шеф, так шеф. Чего делаешь?

— Да вот председатель направил в первую бригаду — зеленую подкормку на ферму возить,— стал объяснять Толик, как ему казалось, с таким расчетом, чтобы Найденков тут же возмутился — как это, мол, так, без его ведома распоряжаются его личным шофером. По крайней мере Михаил Семенович повел бы себя именно так. Но Найденкова это несколько не задело.

— Ну давай, вози,— ответил он.— Когда будешь нужен, скажу. А пока там вкалывай.

— Раньше такого порядка не было,— сказал Толик,— Михаил Семенович ни за что бы не допустил.

— Мало ли что, то — Сбытчик... А потом и в сам деле, чем баклуши бить, хоть принесешь пользу! Давай сполняй, что сказал председатель. Он ведь тоже соображает.

Толик, ругая во все концы и председателя, и нового шефа, пошлепал к своей машине и через несколько минут гнал ее всю, разгоняя с дороги всполошенно оравших кур, вздымая такую завесу из пыли, что она поднялась выше деревни.

«Гады! Вы еще Толика не знаете. Я покажу вам, как вкалывать! Не на того нарвались. К ним вежливенько, как полагается: товарищ шеф, с полным уважением. А он так. Ну и мы так!»

Найденков же продолжал вникать в суть дела. Оно и действительно оказалось не таким уж сложным,— настолько, что ни разу не пришлось обратиться за разъяснениями к Михаилу Семено-

вичу, чему Найденков был особенно рад. По своей русской природе он во все любил выпить сам.

Когда набралось достаточное количество бобин и подрозетников — чтобы не гонять машину вполгруза, а за один рейс развезти продукцию заказчикам, — Найденков доложил председателю о том, что может отбыть.

— Ну, как говорится, ни пуха ни пера, — улыбаясь, сказал Климов. Оказывается, он умел и улыбаться. И улыбка у него была приятная, поднимающая уголки губ, и, что совсем хорошо, когда он улыбался, то глаза у него лучились, и все лицо от этого становилось молодым и добродушным. — Двигай, двигай, Захар Афанасьевич. Предлагай заказчикам продлить договора, но чтобы деньги, аванс, обязательно тут же перечисляли на наш счет. До осени осталось недолго, а там обойдемся и без цеховых денег.

— Значит, решили ликвидировать производство? — пытаюсь проникнуть в замыслы председателя, спросил Найденков.

— Не полностью. Один цех оставим. Пусть пенсионеры, если пожелают, трудятся. Школьники в канкулы могут. Ну, а всерьез эту отрасль, конечно, никак нельзя допускать. Наша задача в другом — хлеб, лен, мясо, молоко давать стране. А деревяшек и без нас наделают. Ну, давай, двигай!

Захар Найденков откашлялся, поправил фуражку и сел в кабину рядом с Толиком.

Толик даже не посмотрел на него. Гады! Завсегда по пути он прихватывал от старух в это время щавель, редиску, зеленый лук. А тут на вот тебе, шеф называется, сам не мог решить, к председателю направил, а тот только того и ждал, чтобы запретить. А как без денег жить в чужом месте? И гостиница, и ресторан, и другое чего... Что же, в машине спать, горбушку жевать?.. Ну, ладно, вы еще узнаете Толика! Еще пожалеете!

Захара Найденкова не было ровно три недели. За это время он побывал в нескольких областях. На юге дошел до Воронежской, а на севере до Вологодской. Всю продукцию до последней штучки вручил заказчикам, но ни одного договора не сумел продлить. На все свои предложения и даже просьбы получал один и тот же ответ: «Нет, нет, в пролонгации не нуждаемся. Достаточно. Спасибо!»

— Ну, может, чего другое вам надо, мы наготовим с полным нашим удовольствием, — на свой страх и риск предлагал Найденков.

— Нет, нет. Считайте договор закрытым. До свидания!

Весь обратный путь Найденков был мрачен, зато Толик весело насвистывал, а когда надоело свистать, включал транзистор и ставил его под самое ухо Найденкову, чтобы тот малость поразвлекался.

— Так что вот, — Захар Найденков развел руками, пытаюсь

показать Климову, какое у него вышло безнадежное дело.— Не хотят. Не надо, говорят, про-лон-гаццо,— старательно выговорил он новое для себя слово.

— Та-ак...— озадаченно протянул Климов.— Вот, значит, как... Понятно. Ну что ж, иди отдыхай. Да не переживай очень-то. Водитель много работал?

— Досталось.

— Пусть и он отдыхает. Дня два хватит?

— За глаза.

— Ничего паренек-то?

— Да так-то ничего, поизбаловал его малость Сбытчик. К гостинице, вишь, привык. Ну, мы и в Доме приезжих хранила задавали будь здоров... Только вот съездил-то я неудачно.

— Ты здесь ни при чем. Отдыхай.

— Слыхали? — сказал Климов, как только Найденков вышел.

— Слыхала, — ответила Зоя Филипповна.

— Ну, вот вам и случай, чтобы как следует проработать меня. Но, честно говоря, никак не полагал, а все потому, что недооценил способностей Сбытчика.

— Об этом вам говорили, — холодно заметила Зоя Филипповна.

— Об этом мне не говорили, — в раздумье сказал Климов.— Но дело и не в этом. А вот как дальше быть? Откровенно говоря, так быстро я не хотел сворачивать нашу шаругу. Теперь понятно, о каком таком законе производственной необходимости он болтал. Самую главную жилку перерезал.

— О чем вы?

— О своем просчете.

— Что же вы думаете делать?

Климов промолчал.

— Да, поторопился вы уволить Михаила Семеновича.

— Хоть и через год бы уволили, все равно была бы такая эффектная концовка. Он жучок и, по всей вероятности, с такими же жучками дело имел. Поэтому они так единодушно и отказали нам в продлении договоров.

— Предполагать можно все что угодно.

— Тоже верно.

— Но все же что вы думаете делать? Не знаю, о какой вы говорили жилке, но денег, которые у нас есть, ненадолго хватит. Вы сами должны понимать, что финансирование, то есть способность к оплате всех видов расходов, в том числе и зарплаты, а это один из самых важнейших фондов, который должен быть всегда обеспечен...

— Знаю, знаю, знаю,— остановил Зою Филипповну Климов.— Чувствую, начинаете набирать силу. Еще немного, и на партбюро протянете. И правы будете.

— Вы еще способны шутить!

— Да нет, не очень способен. Ведь мне придется ехать к Сбытчику на поклон.

— Да что вы!

— Честно. Иначе никак. Вот уж он на мне отоспится... Но дело опять же не в этом, а в том, чтобы он согласился вернуться.

— Да вы что, Иван Дмитриевич! На посмешище хотите себя поставить?

— Пусть лучше смеются, чем камнями забрасывают. Иного выхода нет... А честно говоря, страшно не хочется к нему ехать.

И только тут Зоя Филипповна заметила какое-то несоответствие между словами, которые звучали довольно благодушно, и выраженном лица Климова с приспущенной на глаз тяжелой бровью.

— Хотите, я съезжу? — предложила она.

— Ни за что! Авторитет парторга для меня выше, чем авторитет административного руководителя. Ну, а кроме того — я виноват, я и должен исправить свою ошибку.

Климов думал, что Сбытчик будет удивлен, увидя его. Нет. Было похоже, будто Михаил Семенович ждал его.

— Входите, входите, — любезно пригласил он. — Раздевайтесь. Вешайте сюда ваш плащик.

— Я наслежу, — не очень-то ловко себя чувствуя от такого радушного приема, сказал Климов, — на улице дождь.

— Да, наша ленинградская погода... А вы снимайте ботинки, вот туфли. Раньше носили калоши, было очень удобно, снял — и вся грязь у вешалки. А теперь всю грязь милые гости тащат в дом, так мы завели для гостей домашние туфли. Пожалуйста!

Пришлось присесть на корточки, расшнуровать ботинки и, как в музее, надеть растоптанные, со смятым задником туфли. В этом было что-то унизительное, но Климов подавил в себе это чувство, боясь, что оно перерастет в неприязнь, и пошел за Сбытчиком в боковую комнату.

Михаил Семенович усадил его в кресло с поролоновым сиденьем, подвинул к нему торшер с баром и достал оттуда длинную бутылку с красивой этикеткой.

— Приятель вернулся из-за границы. Презентовал на днях. — показывая бутылку Климову, сказал Михаил Семенович. — Это виски «Белая лошадь». Не приходилось пробовать?

— Нет.

— Ну вот, сейчас и попробуем. — Он налил в маленькие рюмочки. — За границей пьют виски с содовой водой. Но у нас, в России, не принято развлекать...

— И у нас развлекают, — не желая соглашаться, сказал

Климов. Он не хотел соглашаться потому, что чувствовал в этом некую уступку, а уступать он не хотел. Разговор с этим дельцом должен был идти хотя бы на равных.

Михаил Семенович засмеялся.

— Вы имеете в виду продавцов, которые этим занимаются?

— Нет. Имею в виду себя.

— Хотите с содовой? Но у меня, к сожалению, нет.

— Ну, не велика беда. Я ведь приехал к вам не виски пить.

Вы понимаете?

— Я так и полагал, иначе зачем бы вы, действительно, ко мне приехали. Но долг хозяина...

— Буду с вами откровенен. Найденков, которого я назначил на ваше место, не смог пролонгировать ни одного договора.

— Этого следовало ожидать.

— Да. Насколько я понимаю, у вас много своих людей. Есть они и в тех артелях, с которыми у нас заключены договора.

— Не говорите глупости,— спокойно сказал Михаил Семенович и отпил крохотный глоточек виски.— Надо просто уметь работать. Вы думаете, что я прихожу к новому человеку, кладу ему на стол деревяшку, он за нее хватается и тут же заключает договор? Нет. Он даже не хочет глядеть на меня, но я начинаю его убеждать, доказываю все преимущества, если он завяжет отношения именно с нашим цехом, говорю ему массу всяких слов, и он в конце концов соглашается. А что ваш Найденков? Он в своей кладовой совсем разучился говорить, а вы хотите, чтобы он стал дипломатом.— Михаил Семенович повертел в пальцах ножку рюмки, посмотрел виски на свет и поставил рюмку на стол.— Надо уметь работать.

— Это верно,— не сразу сказал Климов.— Я пришел к вам просить вернуться на работу.

Михаил Семенович искоса взглянул на председателя и совершенно серьезно, по-деловому, спросил:

— На какое время зовете обратно?

— На год. Не меньше.

— Значит, вы все же не отказываетесь от своей затеи закрыть цех?

— В том виде, в каком он существует сейчас, да.

— Не понимаю я вас, Иван Дмитриевич. Зачем это вам?

— Я уже объяснял.

— Я помню. Но это все высокие материи. Я даже не буду говорить, что ваш колхоз — это песчинка в общем хозяйстве страны. Не буду говорить, потому что вы мне ответите, что из песчинок гора. Все это мы знаем. Я хочу вам сказать о другом. Не будьте большим католиком, чем папа римский. Пока есть возможность, то есть пока не прихлопнули такого рода предприятия, как наш цех, пользуйтесь каждым часом. Потому что каждый час — это деньги. Или вы против них?

— При других обстоятельствах я бы не стал даже разговаривать с вами на эту тему. Ведь совершенно же очевидно, что то, что дорого мне, для вас никакой ценности не представляет. Но вы нужны нам, и поэтому я приведу вам только два примера, чтобы вы поняли, как далеко зашло дело с вашим цехом. На днях я узнал, что мой предшественник умолял старух выйти в поле драть лен. Умолял. Потому что вся полноценная рабочая сила была у вас в цеху.

— А, бросьте вы с вашим льном! Какой от него был доход? Вы как ребенок, ей-богу!

— Ну действительно, до чего же мы с вами разные! Всё! Хватит об этом! Отвечайте на мое предложение.

— Ответить недолго. Но я хочу знать, зачем мне возвращаться к умирающему?

— Чтобы помочь колхозу.

— Занятный вы человек, товарищ председатель. Ведь вы же меня выгнали, а теперь пришли просить, чтобы я помог колхозу.

— Ну да, не мне же, а колхозу! — повысил голос Климов. — Со мной вы можете не здороваться, можете ненавидеть меня, но есть государственное дело, и тут нельзя сводить свои личные счёты.

— Ого как! Значит, всякое самолюбие побоку. Тебя могут унижать, обижать, но если только коснулось общественного интереса, то ты должен все свои обиды засунуть в задний карман штанов. Очень мило!

— Что вам от меня надо? Чтобы я признал себя неправым по отношению к вам? Признаю. Да это и так ясно, если я у вас, здесь.

— А что это мне дает?

— А что вам нужно? Я пришел по делу. О деле и давайте говорить.

— Предположим, я не вернусь.

— Ну, что ж, на какое-то время нам будет трудно. Но это совершенно не значит, что колхоз погибнет.

— Предположим, я решил вернуться.

— Об этом и речь.

— На каких условиях?

— А какие бы вы хотели?

— Прежде... — Михаил Семенович лукаво взглянул на Климова. — И плюс путевка на юг за счет колхоза. Со всей передрагой расшатались нервы.

— Насчет путевки не решаю, надо посоветоваться с членами правления.

— Неприятно будет советоваться?

— А это вас не касается.

— Ну, зачем же так сердито? Конечно, будет неприятно выслушивать всякие справедливые нарекания. Так не беспокой-

тес. Я пошутил. Мне не нужна от вас путевка. Но отпуск нужен. Все же отдохнуть необходимо.

Ровно через месяц Михаил Семенович приехал в колхоз. Он и вида не показал, что обижен или рад своему возвращению, нет, как будто ничего и не случилось. Прошел в цех, повертел в руках бобины, велел Толику привести в порядок машину, сказав ему, что только с его ведома могут распоряжаться им, на что Толик выразил свой полный восторг диким криком «ура!» и не попенился тремя ведами отмыть кузов от минералки, которую возил последнее время.

И вскоре услышал заветную команду:

— Ну, завтра в путь. Чтоб все было как на солнышке!

И еще с вечера собрал свой чемодан, с которым всегда ездил. Забежал к старухам, чтоб приготовили к утру овощи на продажу.

— Ой, хорошо-то! Ой, родной ты наш! — обрадовались бабки.— Да сколько же можно-то?

— А вали сколько есть! Только чтоб все чистенько, культурненько, в мешках и корзинах, как полагается,— командовал Толик.

— Да уж сделаем, все сделаем. Не впервой. Как скажешь, так и сделаем!

— Условия прежние. Возражений нет?

— Да уж ладно, ладно, не будем дорожиться. Как скажешь, как скажешь, не обидишь.

— Не обижу, всем жить надо! Сам живи и другим давай!

— Так, милый, так...

— И никак иначе. Деньги — это удобство! Кто против них, могу взять себе!

— Ну Толик! Ну Толик! Уморишь ведь...

И снова пошла для Толика жизнь, которая была и раньше. А была она такой.

Раным-рано он объезжал всех старух, которые готовили на продажу со своего огорода овощи, забирал в кузов их продукцию, выгадывая среди бобин и подрозетников и им местечко под солнцем, потом подворачивал к дому, где жил Михаил Семенович, и негромко, как было условлено, стучал пальцем в окно. И Михаил Семенович тут же выходил из дому.

И уже после этого Толик на хорошей скорости гнал машину по шоссе. И она весело, легко рвалась вперед, отбрасывая километры. Врывалась в районный центр, словно вкопанная останавливалась у рынка, где уже Толика ждали свои люди. Они снимали старушечьи мешки и корзины, платили Толику что полагалось. Он тут же, чтобы не спутать, в один карман клал выручку для бабок, в другой — для себя. И машина мчалась дальше.

На эти деньги Михаил Семенович не претендовал, хотя мог и запретить заниматься подобной коммерцией. Но у него было

два девиза: «Живи сам и не мешай жить другому!» и «Деньги — это удобство!», и, следуя первому девизу, не мешал жить Толику, тем самым позволяя воспользоваться и вторым девизом, за что Толик был ему предан, как говорится, душой и телом.

Хорошо было гнать машину на доброй скорости по гладкому шоссе. В кабине звучала приятная музыка, пели знаменитые певцы, дикторы сообщали о погоде, комментаторы о футбольных матчах! А на ветровое стекло все время набегало новое: леса, реки, поля, деревни, и это новое оставалось позади, и другое новое набегало, словно из будущего, и этому новому не было конца, пока мчалась машина.

Приезжали они в город, где находился заказчик. Да заказчики всегда находились в городах. И это было особенно приятно. Машина подъезжала к гостинице. Михаил Семенович снимал два номера, об этом ему ничего не стоило договориться с администратором. Два номера для того, чтобы не мешать друг другу. Как правило, в день приезда Михаил Семенович принимал ванну и ложился отдыхать. Толик же, умывшись, доставал из чемодана расклешенные брюки, капроновую модную курточку на молнии и, чувствуя себя молодым и красивым, выходил на улицу. Неторопливо шел в парк и там на танцевальной площадке знакомился с хорошей девчонкой. После чего приглашал ее в ресторан. Угощал шампанским, фруктами и, случалось, приводил в свой номер, заранее сунув плитку шоколада коридорной, чтоб не возражала. И тогда на другой день Михаил Семенович не очень поторапливал его: И это также ценил Толик.

С возвращением Сбытчика снова наладилась такая жизнь. И Толик был рад и счастлив. Но Михаил Семенович знал: как только подспеет урожай, председатель сразу же начнет ущемлять цеха, все настойчивее сужать их размах, перебрасывая рабочую силу на поля. И постепенно замрет деловой дух предприятия. Замрет... Но замрет ли? Да и когда это будет? Может, и не так скоро. Да и не так все просто... И тут он подумал о том, что не зря вернулся в колхоз, и не только потому, что ему нельзя уходить с работы с осложнениями, ибо такая у него специфическая деятельность, а еще и потому, что есть надежда — люди уже привыкли к достатку. А ведь достаток — это удобство!

МИЛЫЙ ТЫ МОЙ!..

В небольшой деревушке Кятицы, отскочившей в сторону от центральной усадьбы колхоза, появился новый человек в темных защитных очках, нейлоновой куртке и кожаном кепи. Жить он стал у Елизаветы, одинокой крепкой женщины, лет шестидесяти. На ее вопрос: «Кто ты?» — ответил: «Пенсионер».

— А чего сюда пожаловал?

— Да так, решил лето провести в деревне.

— Зачем же? — оглядывая гладкое лицо постояльца, спросила Елизавета.

— Отдыхать.

— А чего ж тогда в дом отдыха или в санаторию не поехал?

— А вот решил здесь, у вас, — подправляя пилочкой заломившийся ноготь на левой руке, ответил постоялец. Звали его Вениамин Александрович.

— А чего у нас? Родни у тебя тут никакой, всякому вчуже. Одинокий, что ли?

— Женат.

— А чего ж тогда один? — Елизавета пытливо всматривалась в постояльца, шуря когда-то большие, но теперь прижмуренные частой сеткой морщин поблекшие глаза.

— Жена осталась у сына, помогает воспитывать внука, — сухохотаво ответил он, как видно, не очень-то расположенный ко всякого рода расспросам.

— А может, чего натворил да жена выгнала? — никак не беря в толк появление этого человека в ее доме, да и вообще в деревне, все больше терялась в догадках Елизавета.

— Ну, с какой же стати. Да и разве я похож на такого, кого выгоняют? — Вениамин Александрович убрал пилочку в красный футлярчик и сдержанно усмехнулся, видимо что-то подумав про себя. Был он аккуратен причесан, с розовой иросвечивающей кожей головы, пахнувший одеколоном.

Елизавета попыталась заглянуть ему в глаза, но темные стекла не позволили.

— Ума не приложу, чёго тебе у нас, — сказала она и оправила на широкой мощной груди цветастое платье.

— Молочка бы стаканчик, — сказал Вениамин Александрович.

— А чего стаканчик, не покупное. Свое. Пей хоть литру. — Елизавета принесла из сеней трехлитровую стеклянную банку с молоком и отошла к плите, время от времени поглядывая испытующе на постояльца.

Постоялец наполнил до краев большую эмалированную кружку густым, желтоватым молоком и стал с удовольствием пить, постукивая пальцами о край стола.

Зиму он пережил тревожно. Нет-нет, ничего такого не произошло, чтобы уж очень переживать, но все же... Был своего рода творческий кризис, когда и в голове, и в сердце пусто, будто и не он автор двух романов и повести. И хотя он ежедневно высиживал за письменным столом свои установленные три часа, работалось худо. Поначалу он не понимал — почему это? Но позднее разобрался. Депрессия шла оттого, что багаж его жизненных впечатлений поиссяк, и тогда он решил, что ему не мешало бы обогатиться новым свежим материалом. Так сказать, познать сегодняшний день. О рабочем классе были им написаны два романа, о работниках торговли повесть. Почему бы теперь не прикоснуться к новой теме? И надумал поехать в деревню. Из газет и радио он знал, что за последние годы жизнь на селе наладилась. И вот он в Кятицах, неподалеку от центральной усадьбы колхоза, где есть магазин, клуб, библиотека, парикмахерская. Деревня стоит в стороне от шумного шоссе, по которому с ревом и грохотом проносятся груженные машины, трещат мопеды и мотоциклы. Здесь тихо. Прежде чем определиться на постой, Вениамин Александрович выбрал такой дом, чтобы ни детворы, ни многолюдья. И вот дом Елизаветы Николаевны, одинокой вдовы. Хозяйка опрятна, что тоже немаловажно. Правда, несколько ярковато одета. Но стоит ли на такую мелочь обращать внимание? И Вениамин Александрович не придал этому значения, что, впрочем, сыграло свою роль в дальнейшем.

Попив молока, Вениамин Александрович вышел на улицу. Был апрель с весело бегущими ручьями, наполненными быстрой, прозрачной, ледяной водой. Еще утром лежал снег. Он искрился на солнце, но вот его уже нет, а есть эта веселая, животворная вода. И уже зеленеют пригорки, и на высокой березе свистит скворец, ублажая свою подругу. И мягкий ветер налетает с полей и, как большая бабочка теплыми крыльями, похлопывает по щекам Вениамица Александровича.

«Так, так...» — мысленно отмечал Вениамин Александрович, стараясь запомнить все окружающее, идя по деревенской улице.

Ему нравились два ряда домов, обшитых вагонкой, окрашенных масляной краской в разные цвета, отчего вид у деревни был молодой и нарядный. «Это хорошо! Чем больше встречу положительного, тем легче писать книгу», — думал Вениамин Александрович и всеми клеточками своего существа чувствовал, как приподымается настроение и создается уверенность, что здесь он наберется добрых впечатлений и напишет хорошую книгу о колхозной деревне. Ту самую, на которую заключен договор с издательством и получен аванс и уже частично прожит.

Встретив пожилую женщину с авоськой, набитой буханками хлеба, он поздоровался. Женщина ответно сказала: «Здравствуйте», — поклонилась и прошла мимо.

«Пригодится, все пригодится. Любая деталь,— думал Вениамин Александрович, обходя лужи,— случается, что вроде бы ничего значительного и нет в этом, а потом такая деталь оказывается очень кстати. А вот и еще деталь!» — Это относилось к высокому парню, быстро шагавшему по дороге. Он шел, ничего не замечая, погруженный в какие-то свои заботы. Вениамин Александрович замедлил шаг и заметил в парне нечто странное,— в его чуть притянутой к правому плечу голове, в кривой неподвижной улыбке, похожей на застывший оскал. «Не дай бог повстречаться ночью наедине»,— невольно подумал Вениамин Александрович, отходя в сторону.

Парень быстро миновал его, прошел еще несколько метров, затем вдруг резко остановился, круто, под прямым углом, пересек дорогу и прислонил ухо к телеграфному столбу.

«Странно...» — удивился Вениамин Александрович и тут же обернулся на слабый старческий голос.

— Подойди ко мне! Подойди! — звал его старик, сидевший у стены своего дома на лавке.

Вениамин Александрович подошел. Поздоровался.

— Здравствуй, здравствуй, милый ты мой!.. Худо мне, худо. Сядь.

Старик был сух и немощен, с узким, на клин стесанным лицом, плешивый. Глядел на Вениамина Александровича и плачущим голосом говорил:

— Скорей бы к Палаше, милый ты мой...

— А где она? — присаживаясь на некотором отдалении от старика, спросил Вениамин Александрович.

— Ой, и не спрашивай. Умерла она. А заболела в самый Новый год. Наготовила всего, стол накрыла, говорит: «Евстигнеюшка, может, встанешь?» А я больной, больной... «Только ради тебя, милая ты моя»,— ответил ей. И кое-как по стеночке да по ейной руке добрался до стола. Сел. Отдышаться не могу. Плачу: на свою немощь; и Палаша плачет. А в углу елочка стоит. «Зажги, говорю, свечи, а свет погаси, так посидим». Стала она зажигать, да, видно, что-то вспомнила. Детей вспомнила, милый ты мой! Ведь пятеро у нас детей-то, а с нами никого. Тронх-то разметало по Сибири да по Уралу, а двое-то, милый ты мой, близко. В Белых Ключах живут. Не едут. Не едут.— Старик смахнул со щеки слезу.— Может, вспомнила Палаша деток-то, расстроилась да и упала, ноги у ней отнялись. Как подымал ее, не сказать. У самого силы никакой. Поставлю ей одну ногу. «Держись, держись, говорю, милая». Потом другую поставлю. Чтоб поднялась она, к постели прошла. Да где, падает, падает, милый ты мой! Так я ее волоком, волоком к постели. А уж как подымал, как она сама цеплялась, так это никаким словом не сказать. И позвать некого. У всех в домах веселье. Все Новый год ждут. А мы, двое несчастных, так-то... Как прошла ночь — не помню. Чтоб не заго-

релась елка да пожару не было, погасил я свечи-то. Так в темноте и пробыли. Обхватили друг дружку и плачем. А тьма, конца-края нет. Уснула она, а у меня и сна нет. Светать стало, как очнулась. Спрашиваю: «Как ты?» — «Ничего», — отвечает. А у самой язык уж плохо ворочается и рукой совсем не владеет. Ладно, Танюшка, хорошая девушка, заглянула с праздником поздравить. А у нас вот он какой праздник. Побежала она за Катериной Петровной, фельдшершей нашей. Та как глынула на Палашу, так и говорит: телеграмму давать надо. Дочке да сыну, чтоб ехали. Приехали они, а ей уж совсем худо. Руки отнялись, лицо сползло, но понимает еще, да и сказать хоть и кое-как, но еще может. Дочка-то и спрашивает: «Чего вам, мама, надо?» — «Ничего, отвечает, не надо». А дочка ей: «Скажите, мама, как нам жить?» А Палаша-то, милый ты мой, поглядела на нее и говорит: «Сами большие, знаете как». С тем и померла. А меня вот оставила. Сын с дочкой уехали, а я тут. Удушье мучит. Сначала одну таблетку принимал, а теперь уже и три не помогают. На воздух выйду, будто полегче. А как почувствую приступ, так домой. А ноги совсем не могут, не подчиняются. Так я на карачках, да лбом дверь-то отворяю, милый ты мой. Лбом! Умереть бы, умереть. Зачем жить-то? Зачем?.. — рыдающим голосом закончил старик.

Вениамин Александрович недоуменно глядел на него, не зная, что сказать. В другое время он, конечно, нашел бы нужные слова сочувствия и сострадания, но теперь, как бы запрограммировав себя только на восприятие положительного, даже подосадовал на старика — так не вовремя и не к месту он подвернулся.

— Чем же вам помочь? — спросил он. — Может, в дом перебраться?

— Успею, милый ты мой, успею... А ты посиди. Посиди со мной. Худо мне, худо! Никому не нужен. Забыт, позаброшен...

Вениамин Александрович глядел на него и с каждой минутой чувствовал себя все скованнее. Утешать? Но чем, как? И сидеть молча неудобно. Уйти? Тоже как-то нехорошо... И все же, еще немного посидев, извинился, сославшись на занятость, и ушел.

«Какая жестокость! — думал он, возвращаясь домой. — Конечно, для памяти этот трагический монолог стоит занести в записную книжку, но вряд ли он пригодится».

Дома Елизавета словно только и ждала, когда он вернется. Сразу же приступила к дальнейшим вопросам.

— А какая ж у тебя пенсия? — спросила она.

— Пенсия? — До пенсии Вениамину Александровичу было еще три года. Но уж коли назвался пенсионером, так покашливай. — Сто двадцать.

— Это за что ж тебе такую большую отвалили? — ахнула Елизавета.

— За работу.

— Всяк работает. Я вот тоже погнула спину, а всего двадцать шесть положили. Кем же ты был? Поди, начальником?

— Начальником.

— Оно и видно... А семья-то большая?

— Семья-то большая, да всех мужиков-то сын да вот я,— мрачно пошутил Вениамин Александрович.

— Какая ж большая? Вот нас у отца было восьмеро, да бабушка, да их двое. А тут чего... Да поди-ка и сын неплохо зарабатывает?

— Работает,— уклонился от более точного ответа Вениамин Александрович.

— А как без работы. Без работы нельзя... Слышь-ко, а може, твоя баба сюда приедет? — пытливо взглянула на постояльца Елизавета.

— Нет, не приедет.

— Тогда так, а то я не больно люблю, когда в доме чужая баба. Ну, а коли не будет, так и живи. Може, рыбу ловить станешь? На речке ельца помногу берут в эту пору. А то песюка у камней налавливают.

— Это что еще за песюка?

— А есть така рыба. По дну ходит.

— Впервые слышу. Впрочем, я предпочитаю покупать.

— Да где купить-то? Разве кто продаст! А сам-то что же, леишься или не можешь?

— Почему же, могу. Только ведь на это время нужно.

— А куда тебе его девать? Сиди и сиди с удой. Глядишь, и пымаешь. И меня угостишь. Давно уж свеженькой не едала. А ране, когда в семье жила, отец жив был или хоть и муж, куда как ладно было. Переметы ставили, судак попадал... Порыбаль, порыбаль, а то чем же я тебя буду кормить? Молоком да картошкой. Ну, яйца. А больше ничего. Мяса не достанешь. Если уж кто резать станет, а так и думать нечего. Да кто теперь, по весне, резать будет. Правда, другой раз в лавке сыр бывает, а так чтобы мяса или колбасы — и в помине нет. Консервы рыбные есть, да я их не обожаю. А тебе, если хочца, купи. У меня жил один командированный, так он покупал. Ничего, ел. Меня другой раз угощал, да я брезгую. В железе лежит, чего хорошего. А он ел.

— А как же ваши местные живут? Что же, и мяса не видят?

— Зачем не видят! У каждого боров, а то два. Овец держат. Да и курам замена бывает. Наши сытые. Это раньше, чтоб деньгами обзавестись на обувку или одежду, на базар возили то борова, то бычка али овцу. А теперь у каждого своего заработка хватает. Вон доярки по сто пятьдесят да по сто восемьдесят зарабатывают в месяц. Зачем они будут продавать?

— Мне мясо не обязательно. Молоко, овощи — и достаточно.

— Ну, конечно, если не работать, так хватит... А сын-то по какой части? — как бы между прочим спросила Елизавета.

— Он химик.

— По удобреньям, значит. А у меня дочка в Перми живет. Хоть бы, говорю, внука или внучку заслала мне, а то все одна да одна... Теперь, правда, уж свыклась. А ране дико было. Ну-ко смолоду без мужика. Тридцати еще не было, как овдовела. А была здоровая. Кровь во мне так и играла. Всего час посплю, и опять на весь день, как заведенная. Да я теперь еще крепкая, что руки, что ноги... А баба-то у тебя злая? — внезапно спросила Елизавета.

— Зачем же, мы живем дружно.

— А это одно другому не мешает.

С ночи подул ветер. Все сильнее, порывами, а наутро нагнал дождя с мокрым снегом. И под его шелест сиротливо закачались былки прошлогодних трав. Потом дождь перестал, зато повалили тяжелыми хлопьями снег. Он плотно и старательно, словно ватой, обкладывал сырую землю. В воздухе стало мозгло. Неприютно закружили над пустым полем вороны. И вся деревня, с ее полями, далеким лесом, показалась Вениамину Александровичу в этот час той классической русской деревней, которую он знал по школьным хрестоматиям. А тут еще этот старик, со своим: «Милый ты мой!..»

Все утро не выходил он из головы. И где-то уже задорила мысль: а что, взять да и написать об этом несчастном старике повесть. О том, как он просыпается с одной и той же скорбной мыслью, что никого нет рядом, что дети его забыли, а здоровье плохое. И еще написать о том, как женился, как родился первенец, потом другие; как ушел на войну. И после войны. И как разлетелись дети, забыли. «Волнительная может получиться повесть», — подумал Вениамин Александрович, но тут же вспомнил главного редактора издательства. Представил, как тот поморщится, узнав, что за повесть, и скажет:

«Зачем это? Мало чего не бывает в жизни».

«Да ведь это правда», — скажет ему Вениамин Александрович.

«Правда? Допустим. Но смотря как ее показать. Где та неувловимая грань между критиканством и тем, что необходимо для совершенствования нашей жизни?»

Вениамин Александрович в раздумье постучал пальцами о край стола.

«Нет-нет, не надо осложнять себе жизнь. Но... Но и так нельзя это дело оставить. Надо что-то предпринять... Напишу-ка я письмо».

И он написал письмо, в котором крепко отругал и сына, и

дочь старика за то, что они забыли своего отца. И пригрозил им обратиться по месту их работы, если они не помогут больному старику.

Написав письмо, Вениамин Александрович направился к Сидельцу — так прозвали местные старика.

— Милый ты мой! — тут же вскинулся с постели Сиделец и протянул к нему руки.

В доме густо стоял тяжелый нечистоплотный дух. Вениамин Александрович стремительно прошел к окну, открыл форточку.

— Я на минуту, на одну минуту! Дайте мне адрес вашего сына или дочери. Я им написал письмо.

— Вон у «телека» конверт, там адрес сына. Там... Возьми, милый ты мой...

Вениамин Александрович взял у телевизора конверт, списал обратный адрес.

— Как зовут сына?

— Коля. Николаем... Евстигнеев он, Евстигнеев. А по отцу, значит, Иваныч.

Вениамин Александрович, не дыша, выскочил на улицу.

Там по-прежнему было неуютно. Шел дождь. И вдруг захотелось в город. В свой кабинет. К торшеру. К книгам. И с недоумением подумалось: зачем он здесь? Неужели ни о чем другом не нашлось бы написать там, в городе? Зачем было ехать сюда, в эту глушь? Глупость... Глупость. Хватило бы материала и в городе. Можно бы о бытовом обслуживании. Совершенно нетронутая тема. Или о дружинниках... И он уже досадовал, что приехал сюда. Еще больше настроение испортилось, когда побывал в библиотеке.

Там, кроме библиотекарки, никого не было.

— Как тихо у вас,— поздоровавшись, сказал Вениамин Александрович.

— Весна. В это время да и летом — всегда тихо. Люди на полях.

Вениамин Александрович прошел к полке советской литературы. Сколько здесь было знакомых писательских имен, и больших и малых, известных и неизвестных. Он отыскал свою книгу. «Орлиное племя» — так называлась его повесть. Он взял ее и с грустью убедился, что ни у кого еще в руках она не побывала, хотя прошло со дня выпуска более трех лет.

— Как видно, у вас не так уж много книголюбов? — спросил он.

— Да. Зимой, знаете, еще брали почаше.

«Вот так,— идя домой, думал Вениамин Александрович,— стараешься, расходуешь серое вещество, а на поверку оказывается, твои книги и не читают. Надо будет об этом поговорить на собрании. Впрочем, не стоит. Против самого себя же может и обернуться».

— А я тебе жареной картошки со свиной приговорила, — приветливо сообщила Елизавета, как только он переступил порог. — Садись-ка, поешь... Надо же, у Мосиных свинья ногу сломала, ну и прирезали. Вот и разжились мяском.

«Обязательно надо с деталями! — досадуя, поморщился Вениамин Александрович, присаживаясь к столу. — А, впрочем, вкусно». Он съел все и попросил добавки.

— Я знала, что тебе понравится. Ладно, что Машка ихняя только огулялась, а если б супоросая...

— Не надо, не надо! — затряс руками Вениамин Александрович и поспешно прошел в свою комнату.

Вечер он провел довольно скучно и лег спать по-деревенски, когда чуть стало смеркаться. Но долго не мог уснуть — храпела хозяйка. Ночью часто просыпался, видя во сне какое-то нагромождение из своих книг, которые рассыпались, а он их все укладывал в какую-то пирамиду, и ничего у него не получалось. А рядом возвышался сфинкс и смотрел на него. Окончательно проснулся от чего-то мешавшего ему. Открыл глаза и увидел у постели, в ногах, того самого парня с притянутой к правому плечу головой и неподвижным оскалом на лице.

— Чего тебе? — несколько встревоженно спросил Вениамин Александрович.

Парень не ответил, продолжал все так же неотрывно глядеть на него.

— Если хозяйку, то она в огороде, — натягивая на себя одеяло, сказал Вениамин Александрович.

Но и на это парень ничего не сказал, продолжал все с той же окаменелой улыбкой глядеть на Вениamina Александровича неподвижными глазами.

— Чего тебе надо? — уже страхась, вскрикнул Вениамин Александрович и вскочил на пол.

— С кем это ты? — донесся из кухни голос Елизаветы.

— Какой-то парень пришел. К вам, наверно! — срывающимся голосом крикнул Вениамин Александрович.

Елизавета заглянула в комнату. Увидела постояльца, торопливо сующего ноги в штаны, посмотрела на парня.

— А, Миша пришел, — певуче сказала она. — А я и не видала, как же это ты миновал меня?

Но и тут парень промолчал.

Елизавета прошла к буфету и вернулась с конфетой.

— На-ко.

Парень, не глядя, взял конфету, сунул в карман, но ничего и тут в лице у него не изменилось.

— Вот так и будет стоять хоть час, пока не спросишь, — Елизавета чуть повысила голос: — Куда идешь, Миша?

— Куда идешь, Миша? — глухим, неразвитым голосом повторил парень, тут же повернулся и вышел.

Вениамин Александрович недоуменно поглядел на Елизавету.

— Не в своем уме он,— пояснила она.— Давно, еще мальчонкой, ездил с отцом в лес. Отошел от него и пропал. Сколько батька ни звал, ни искал — не мог найти. Через три дня сыскали его, с солдатами да из других деревень с народом. Вот с тех пор и тронулся. Ну-ко, сам посуди, трое суток в лесу одному. Вон уж какой вырос, а все не в себе. Другой раз все дома обойдет. Встанет молчком и стоит. Ничего не просит, никого не трогает. Что спросишь, не отвечает. А как скажешь: «Куда идешь, Миша?» тут же повторит и уйдет. А то у столба встанет, ухо приложит, слушает. Все равно как ребенок...

«Куда идешь, Миша?» — записал Вениамин Александрович, так, на всякий случай, хотя и сознавал: вряд ли пригодится такой Миша для будущей повести.

Сидя у окна в ожидании завтрака, Вениамин Александрович понаблюдал за какими-то серебристыми птичками, стремительно летавшими высоко в небе. И записал это. Затем поглядел на улицу и записал: «Вдоль дороги шагают столбы».

— Ну и храпел же ты седни, Вениамин Лександрыч,— сказала Елизавета, усаживаясь с постояльцем за стол,— как баба-то твоя терпит.

— А мы с ней в разных комнатах спим,— сухо ответил Вениамин Александрович. Ему претил этот грубый ее тон, но терпел, куда ж денешься!

— Так и я с тобой не в одной комнате сплю. А вся измучилась. Ну-ка, ночью в самый сон разбудил.

— Да ведь ты тоже храпишь, да еще как! — пошел в наступление Вениамин Александрович.

— Так я дома: Я — хозяйка, могу и храпеть,— засмеялась Елизавета.— А ты горазд, ой горазд храпеть. Уж думала, можа, задыхаешься.

После завтрака Вениамин Александрович вышел из дому, и тут к нему подошел сосед, молодой мужик Николай Медведев. Был он высок, белокур, синеглаз, руки засунуты в карманы блестящих от мазута штанов. Подошел и строго спросил:

— Ты чего сюда приехал?

На Вениамина Александровича пахнуло тяжелым перегаром водки и табака.

— Отдыхать,— отстраняясь, ответил он.

— А где буду я отдыхать? У тебя?

— Я же не к вам приехал, а в деревню. Приезжайте в наш город. Отдыхайте.

— Вижу, за словом в карман не полезешь. Но здесь живем мы — колхозники. Чего тебе у нас?

— А чего вы грубите? Вы же совсем меня не знаете.

— А чего мне тебя знать. Чего сюда приехал?

— Я уже ответил,— сказал Вениамин Александрович и хотел было уйти, но Медведев придержал его за руку.

— Ты что, капиталист, на всем готовом жить? Привык, чтоб тебя кормили другие?

— Я не понимаю,— в растерянности произнес Вениамин Александрович.

— Чего не понимаешь?

С той стороны улицы к ним подошел Степан Тихонов, с черным от загара лицом и белой шеей, видневшейся в ворота ру-бахи.

— Привет! — Он подал негибаемую ладонь сначала Николаю Медведеву, потом Вениамину Александровичу. Но ни на того, ни на другого не посмотрел, глядел в конец улицы, будто высматривая там кого. — О чем речь?

— Боб не посадил, а приехал к нам жить,— сказал Николай Медведев.

— Он, Коля, пенсионер. На заслуженном отдыхе.

— Вижу, за словом в карман не полезешь. Но все равно боб должен посадить...

— У него нет своей земли, Коля.

— Ну и хрен с ним! — выругался Коля и пошел домой.

— Надолго? — спросил Тихонов, глядя теперь в другой конец деревни, словно чего там отыскал.

— На все лето.

— Кем до пенсии был?

— Геологом,— чтобы отвязаться, сказал Вениамин Александрович, хотя геологом никогда не был.

— Понятно. Нефть. В каких местах?

— Во многих,— многозначительно ответил Вениамин Александрович. И эту многозначительность понял Тихонов.

— Ясно. Государственная тайна. Молчу.

— Хорошо здесь у вас,— сказал Вениамин Александрович.

— Где? — быстро оглянулся Тихонов.

— Вообще.

Степан Тихонов на этот раз медленно осмотрелся и ничего не сказал.

— Кем вы работаете? — помолчав, спросил Вениамин Александрович.

— Куда пошлют.

— Что же, у вас нет определенной специальности?

— Наоборот. Любую работу делаю.

— Ах вот как. А Николай Медведев?

— Колька-то? Он механизатор. И на комбайне, и на тракторе, и на машине. На чем хошь. И на косилке. А чего вам?

— Да так, просто поинтересовался...

— А-а... Он парень толковый. Только шебуршить любит, обо-бо если поддавши.

— У вас шрам на щеке. Восвали?

— А кто не восвал? У нас полдеревни выбито. Сходи на кладбище, обелиск увидишь. С четырех сторон именами заполнено. Все погибшие в войну. Кто на фронтах, кто в партизанах. Тут нас тоже не щадили. А ты где, на каком фронте был?

— На Западном.

— В каких частях? — живо взглянул Тихонов на Вениамина Александровича.

— В интендантстве.

— А-а,— тут же утратил интерес к разговору Тихонов и стал закуривать.

К ним подошла согнутая в дугу старуха с берестяным лукошком, прикрытым чистой тряпицей.

— Слышь-ко, беженец,— сказала она, с трудом заглядывая в лицо Вениамину Александровичу.

— Здорово, тетка Дуня! — сказал ей Тихонов.

— Здравствуй, Степушка. Слышь-ко, беженец, возьми-ка у меня десяток яиц. Свежие, прямо с-под куры.

— А зачем мне? Я у хозяйки столуюсь.

— Ну и что,— сказал Тихонов,— сгодятся и эти. А тебе куда деньги-то? — спросил он старуху.

— Ой, Степушка, да рази им места не найдется.

— Это ты верно. Хотя, говорят, при коммунизме их и не будет. Так, товарищ геолог?

— Хорошо, я возьму, только больше не приносите.

— А ягоду? Земляника у меня. Скоро пора подоспеет, как не принести. Принесу.— Тетка Авдотья завязала рубль в угол платка.— А ты переложил яйца-то, а лукошко мне отдай.

— Так ты и отдай хозяйке,— сказал Вениамин Александрович.

— Нет уж, знаю я твою Лизавету. Неси сам.

Вениамин Александрович понес сам.

— Вот яйца купил,— сказал он Елизавете.— Надо освободить лукошко.

— Ну и освобождай, коли купил,— неодобрительно кинув взгляд на лукошко, сказала Елизавета.

— А почему так сердито?

— А как же еще прикажете? Или мои яйца тебе не по вкусу пришлись?

— Да нет, просто как-то неудобно было отказаться.

— Неудобно,— с лязгом переставляя кастрюлю на плите, сердито сказала Елизавета.— А чего про меня скажут? Что, мол, постыльца голодом морю.

— Ну кто так скажет?

— Да та же Авдотья и скажет! А мне чего тогда говорить?

— Ну, извини, не предусмотрел такого поворота. Не сердись.

— Была нужда сердиться. По мне хоть и молоко бери у нее, только уж тогда и съезжай к ней.

— Да ты что? Я просто не мог отказать ей, уж больно она несчастная.

— Будешь несчастная, коли без отца-матери двоих внучат подымают.

— Ну вот, а ты меня коришь.

— Чего мне тебя корить? Кто ты мне? Ни сват, ни брат.

— Ну-ну, ладно, ведь я пожалел ее, и всё. А где же отец, мать ребятишек?

— Зять нафулиганил, в тюрьме сидит. А дочка прошлой зимой померла. Вот Авдотья и мыкается. Да еще и хвораю. А была куда тебе! После войны в одной упряжке со мной ходила. Загоняла меня.

— Как — в одной упряжке?

— А лошадей не было, так на себе пахали. Ревматизма у ней. Сначала лютиком лечилась. Приложит к больному месту, во какой пузырь вздует. Помогало. Ну, а теперь у ней кожа старая, так и лютик не помогает. Ну, чего стоишь, выкладывай на подоконник, да неси лукошко-то. Поди ждет человек.

Вениамин Александрович усмешливо качнул головой на такое к себе обращение и пошел к тетке Авдотье. В сенях он встретился с высокой девушкой в легком плащике, в резиновых сапожках.

— Вот, пожалуйста,— отдал Вениамин Александрович лукошко старухе.

— Так я тебе принесу, принесу ягод-то,— пообещала тетка Дуня.

— Нет-нет, вы уж с моей хозяйкой договаривайтесь. Если она возьмет, не возражаю, но только с ней.

— Во как Лизка приструнила беженца,— всплеснула шутиливо руками тетка Дуня,— вот так бы вас всех, мужиков, надо.

— Окромя меня,— затаптывая окуроч, сказал Степан Тихонов,— я сознательный. А ты с чего взяла, что данный товарищ — беженец?

— А как же не беженец, если к нам бобылем прискакал. Знать, дома своего нету,— ответила тетка Дуня.

— Аргумент. Хоть в КВН тебя, тетка Дуня. Но, однако, сам стоишь и дело стоит. Покудова.

— Так я принесу,— еще раз пообещала тетка Дуня,— а Лизку не слушай. Кто она тебе, чтобы слушать? Своей головой живи.

Вениамин Александрович вернулся к себе.

Елизавета с девушкой сидели в кухне. На постояльца они и внимания не обратили, продолжали свой разговор, громко, не стесняясь.

— Так когда же он свадьбу-то намечает? — заинтересованно спросила Елизавета.

— А он и не думает, — ответила девушка.

Из окна падал на нее ровный свет, от которого не бывает тени. Лицо у девушки было, как говорят, точеное, с большими глазами, чуть вздернутым носом и ровной строчкой белых зубов.

«Недурна, недурна», — отметил про себя Вениамин Александрович, проходя в свою комнату.

— Эх, Танька, Танька, — пожалела Елизавета, — хорошая ты девка, всем удалась, а только характеру у тебя нету. Мужика, а особо парня, надо в руках держать. Чтоб как телок за тобой ходил.

— А зачем мне телок?

— Это к слову. Но к слову верному, чтоб самой телкой не быть.

— Ладно, может, и наладится. Так-то ведь хороший он...

— Куда как хороший! Тебе уж, поди, двадцать будет?

— В мае.

— Ну, вон каки года. Другие уж ребят за стол сажают, а у тебя еще и солнышко не вставало.

— А что делать-то?.. Тут уж ничего не сделаешь.

— Не любит он тебя.

— Не знаю. То бежит ко мне, то нос задирает. То опять ласковый.

— Ласковый. Оходить бы его, черта, хорошим колом, тогда бы и взаправду стал ласковым...

Вениамин Александрович еле успевал записывать разговор. Сам, сам материал к нему шел! Чего же и желать лучшего. Теперь только бы еще парня повидать, и вон он — сюжетный узел. Накручивай и разматывай.

— Так заходите, тетя Лиза.

— Спасибо, милая. Только вон огурцы уж по третьему листу пошли, так с ними сколько делов. Ну-ко, сними пленку, да полей, да натяни, а их у меня шесть гряд.

— Ну, вечером. Отдохнуть тоже надо.

— Приду, приду, а как же. Кланяйся матке. Приду, приду. Татьяна ушла. Елизавета походила по кухне.

— Лександрыч, не спишь ли?

— Нет-нет, — закрывая толстую тетрадь, ответил Вениамин Александрович.

— Можя, чай вскипятить? Аль молока попьешь? А то уйду на огород.

— Молочка выпью. А кто это был? — выходя на кухню, спросил Вениамин Александрович.

— Танюшка. Хорошая девушка, а вот судьбы нет. Треплется с ей парень один, а жениться велит погодить. Парней-то мало, вот и выкобенивается: — Елизавета обернулась к окну, загляну-

ла.— Ой, чего это он, дурной, делает-то! — вскрикнула она.

Вениамин Александрович тоже взглянул.

По дороге с трудом вышагивала лошадь, запряженная в телегу. К задку телеги была привязана за морду и рога крупная корова черно-белой масти. Она упиралась, мотала головой, вставала на дыбы. На телеге стоял здоровый мужик и со всего размаху хлестал лошадь концами вожжей. Та рвалась вперед, но ее сдерживала корова. Тогда мужик бил и корову и дико, безобразно орал, так что было слышно даже через двойные рамы.

— Прекратите! — выбегая на улицу, закричал Вениамин Александрович.

— Чего? — тупо взглянул на Вениамина Александровича мужик.

— Как вам не стыдно так обращаться с животным!

— Чего стыдно! Она, зараза, замучила меня. По пять раз со стада бегит на день. Какого терпежу хватит?

К ним подошел маленький, сухой, как подросток, старик. Поглядел на корову. По ее крупному телу волна за волной шла дрожь, а из широких темных ноздрей, пенясь, пузырилась кровь.

— Надо б прирезать, — неожиданно басовым голосом сказал старик.

— Ни хрена. Очухается, — ответил пастух.

— Сумлеваюсь. Снял бы веревку.

Веревка крест-накрест большим узлом туго затягивала корове голову.

— Сбегит.

— Теперь не сбегит. Теперь уж она вся тут, — сказал старик и примолк, обернувшись на торопливый стук мотоцикла.

К ним на красной «Яве» подкатил председатель колхоза, в кепке и галстук, в резиновых сапогах.

— Так, — сразу поняв, в чем дело, произнес он, — сними веревку.

— Счас, счас, — с подленькой готовностью засуетился пастух, — только никакого терпежу не было, Василий Сергенч. То в лес убегает, то в кусты. Так я решил ее в стадо доставить, а она вон как... завалилась... — Пастух снял веревку, и тогда стало видно на переносье и скулах содранную кожу.

— Так. За зверство пойдешь под суд, — жестко сказал председатель. — Вы свидетели. — Он поглядел на старика и на Вениамина Александровича.

— Ты че, какой я свидетель, — тут же отказался старик. — Иду, лежит корова, а больше ничего не ведаю.

— А вы? — председатель посмотрел на Вениамина Александровича. На него смотрел и пастух тяжелым, подминающим взглядом.

— Я, собственно... Здесь посторонний, вообще-то... — стал разводить руками Вениамин Александрович.

— Понятно. И без свидетелей обойдемся. Освежевать. Кожу на склад.— И, сев на мотоцикл, председатель тут же дал газ и умчался.

— У, зараза! — выругался пастух.— Геннадий, принеси нож,— сказал он старику.

— Это можно,— ответил тот.

Вениамин Александрович пошел домой.

— От дурной, ну и дурной! — негодовала Елизавета на кухне,— это ж надо так стянуть морду. Да ей и дыху не было. Самому бы носатому черту так скрутить.— И осеклась — в избу вошел пастух.

— Дай-ка напиться,— сказал он Елизавете и заговорщицки подмигнул Вениамину Александровичу.

— Бери сам да пей,— недружелюбно ответила Елизавета.

Пастух почерпнул ковш воды, напился и еще раз подмигнул Вениамину Александровичу.

— Верно, друже, сам не раз бывал в передрягах? — сказал он.— Молодца, что не встрял в это дело. Захаживай ко мне, если что. Мой дом в соседней деревне, третий справа,— и уже совсем přátельски подмигнул.

— За что это он тебя так нахваливал? — подозрительно поглядывая на постояльца, спросила Елизавета, как только вышел пастух.

— Не знаю,— резко ответил Вениамин Александрович и ушел в свою комнату.

«Черт знает что такое! — в раздражении думал он.— Чего еще не хватало, в сообщники зачислил... Да, вот она, жизнь, без всякой редактуры...»

Он долго сидел у окна в бездействии, думая о том, как все же жизнь полна всякими неожиданностями. И большей частью такими, которые совершенно не нужны ему как писателю. И на самом деле, зачем ему эта дикая сцена расправы с коровой? Напиши, и обвинят в натурализме, в искажении образа сельского труженика. А если он есть, этот пастух? Впрочем, типичен ли? Он есть, но он не характерен. Да-да, это все рецидивы прошлого... А корова?.. Черт, корова-то пропала. Ужасная, конечно, сцена. Натуралистична. Да-да, натуралистична. Так что уж лучше и не касаться ее. Да, лучше не касаться...»

Поуспокоившись, Вениамин Александрович раскрыл тетрадь и, глядя в окно, выходящее на огород, записал: «Сегодня тепло. Над цветками кружат бабочки. На небе ни облачка».

В последующие дни Вениамин Александрович занимался изучением труда на полях, на фермах. Побывал на птичнике. Ради досконального изучения заглянул в контору правления колхоза. Удивился, увидав среди лучших работников портрет Николая Медведова. Оказывается, он на пахоте перевыполнил норму на двадцать процентов. Вот тебе и на! А груб, непомерно груб!..

Подумал было потолковать с председателем колхоза о выполнении посевных работ, но отказался от этой мысли, понимая, что ему, как пенсионеру, вряд ли будет рассказывать председатель, а раскрывать свое инкогнито пока еще было рано. Впрочем, не так уж важно знать, как работают люди. Нужно другое — их характеры, взаимоотношения, психология. Поэтому надо больше расспрашивать Елизавету, через нее доходить до основного.

— Ох, и дотошный ты! — как-то рассмеялась Елизавета. — И все-то тебе знать надобно. Ну баба, чисто баба, да и то не каждая!

— Да ведь надо о чем-то говорить с тобой, — сказал Вениамин Александрович. — Ну, давай о грибах, о рыбе.

— А что о рыбе? Все ходишь, ходишь, а рыбы не ловишь. Где хоть пропадаешь-то?

— Да нигде, просто гуляю.

— Как барин все одно... А я вот гляжу на тебя, уж сколько живешь у меня, а чего-то из дому не пишут тебе.

— А чего мне писать?

— Как чего, письма. Или уж и думать забыли?

— Просто нет необходимости. Я написал, а им не обязательно, чтобы отвечать. Если что случится, сообщат.

— А может, и сообщать не о ком?

— Почему же не о ком? Я ведь сказал, у меня и жена, и сын, и даже внук.

— Мало ли чего наболтаешь, — усмехнулась Елизавета.

Нет, не верила она ему. Чего-то вертит беженец, и, пожалуй, — самый настоящий бедолага. Поди-ка выгнали из дому, вот и обретается, где придется. И, жалея его своим неизрасходованным бабьим сердцем и приглядываясь к его не такой уж и старой фигуре, находила, что он еще мужик хоть куда, хотя и не первый сорт. Да и где его возьмешь, первый-то, когда у самой полный мешок прожитых лет...

— Странный ты человек, Елизавета Николаевна, почему ты не веришь мне?

— Верю всякому зверю. Верю ежу, а тебе погожу, — игриво улыбнулась Елизавета.

— Ну что ж, дело твое. А я у тебя вот что хотел спросить. А что у вас зимой в клубе, кроме кино, бывает?

— Артисты другой раз приезжают. А то и наши бабы концерт устраивают. Я тоже в хоре пою.

— Ну?

— А как же. У меня хороший голос.

— Весело вам тут жить?

— Весело не весело, а скучать не приходится. «Телек» у многих. Живем.

— А твой отец чем занимался?

— Крестьянствовал, чем же еще. Вот дед, тот в отхожие промыслы ходил, а отец уж нет, все в колхозе. До самой смерти. Он хромой был, его и на войну не взяли. Правда, партизанам помогал. А муж, тот в первый год и погиб. С тех пор и одна. И никого у меня не было...

— Никого? — аккуратно выбирая из банки ставриду в томате, машинально спросил Вениамин Александрович.

— Никого. Истинный Христос! Другие бабы, не все, но были и такие — не блюли себя. То с одним мужиком, то с другим схлестнутся. А я нет.

— Чего ж так? Живой о живом думает.

— Это так, да ведь надо не трепать себя. Чтоб уважали. Вот хоть и ты, узнал бы, что я вертихвостка, что сказал бы? — Елизавета пытливо прищурилась.

— Ну, конечно, легкомыслие не украшает человека.

— Вот то-то... А ты не хошь ли в баньку сходить? Пора бы уже, — что-то думая про себя, спросила Елизавета.

— С удовольствием.

— Ну, так и стоплю.

— Хорошо, а я пока погуляю.

— Погуляй, погуляй...

Медленно, очень медленно шло познание деревенской жизни. Казалось бы, все на виду. И на самом деле все на виду. Но только внешнее проявление жизни, а что за стенами домов? О чем думают люди? Какими живут интересами? Каков их внутренний мир? Как узнать? Как сблизиться так, чтобы люди стали с ним откровенны? Ох, как нужно было все это Вениамину Александровичу, но сблизиться, запросто завести с ними разговор никак ему было невозможно. И все же он пытался. Как-то пришел к конторе колхоза ранним утром. Возле конторы стояло несколько машин. Шоферы сидели на лавках в скверике. Курили, толковали меж собой. Были тут и трактористы, и полеводы. И среди них Степан Тихонов.

— Чего ждете? — спросил его Вениамин Александрович. Спросил больше из вежливости, чтобы показать свое благорасположение, но тут же сразу вмешался Николай Медведев.

— О, все ему надо знать. Только ходит и выспрашивает. Ты кто, шпион? А может, Фантомас? А? Фантомас? — Мужики засмеялись. Медведев, одобренный этим смешком, еще больше завелся: — Нет, ты скажи, чего приперся сюда? Боб не посадил, а живешь?

Вениамин Александрович осуждающе покачал головой и отошел. Уходил и чувствовал, как мужики усмешливо глядят ему вслед.

Пробовал говорить с Сидельцем, но тот только одно и знал: «Скорей бы к Палаше, милый ты мой!» Подсел на лавочке к тетке Дуне, возле ее дома. И поговорил-то всего немного, каких-

нибудь десяток минут, и сразу же о том стало известно. «Чего это ты к Дуныхе-то лезешь? — сказала дома Елизавета. — Чего тебе от нее надо? Или съезжать надумал?» Еле убедил, что просто так присел.

Теперь он старался больше подмечать, то какую-нибудь уличную сценку, то картинку природы, надеясь, что сюжет сам со временем придет к нему. В конце концов, можно на сельском материале написать и о любви. Тематически с заявкой расхождения не будет.

Побродив по полям и кое-что записав для памяти, он вернулся домой.

Его уже ждала баня.

— Воды горячей много, лей не жалея. Каменка каленая. Смотри, не ошпарься, когда поддавать будешь, — наставляла Елизавета, собирая ему мочалку и мыло. — Веник в предбаннике.

— Да я ведь не любитель париться. Собственно, больше в ванной мылся.

— Да что же это за баня без веника? Нет, ты уж попарься, чтоб потом всю грязь с кожи выгнало. А так что это и за мытье, — как всегда напрямую, что думала, то и сказала Елизавета.

— Ладно-ладно, попарюсь...

Как у многих в Кятицах, у Елизаветы баня топилась «по-черному». Вениамин Александрович разделся в предбаннике и, осторожно, стараясь не коснуться закопченных стен, сел на чисто вымытую широкую лавку. Оглянулся, потрогал пальцем стенку. К его удивлению, палец не испачкался.

От маленькой каменки, расположенной чуть выше пола, несло зноем. Вениамин Александрович почерпнул из бочки горячей воды и плеснул на каменку. И тут же камни словно взорвались, раздался гул, рокот, шипение, треск, и вся баня наполнилась мутным, горячим паром. Вениамин Александрович инстинктивно отпрянул, прижался к стене и тут же втянул голову, — раскаленным воздухом стало хватать за уши. Зато, когда пар разошелся по всей баньке, наступила размягчающая парная благодать. Вениамин Александрович поднял на лавку ноги, затем лег, заложив руки за голову. И в таком положении пробыл несколько минут. Затем, вспомнив, что в предбаннике лежит веник, поднялся и, приоткрыв дверь, достал его. После чего еще немного кинул горячей воды на каменку, и снова последовал взрыв, и снова горячей волной охватило его. И тут он стал похлопывать себя веником. Но от такого похлопывания ему стало неприятно. Жесткие листья царапали кожу, и он, отбросив веник и продолжая лежать, испытывал благодное состояние разнеженности и какого-то физического откровения. «А веник совершенно ни к чему, — думал он, — совершенно...» Потом он мылся, не жалея воды, не глядя, куда она льется, — не то что у себя дома, ко-

гда мылся в ванне. Обливался из шайки и чуть ли не вымахал всю бочку горячей воды. «Хо-ро-шо! — восторгался он. — Хо-ро-шо!» И это чувство восторженной чистоты облегченного тела не покидало его и в предбаннике.

Вернулся он домой посвежевший, распаренный, испытывая блаженно-томное состояние.

— С легким паром тебя, — приветствовала его Елизавета.

— Спасибо, спасибо... Благодарю.

— Хорошо ли попарился-то?

— Хорошо, хорошо. Только мне не очень понравился твой веник. Жесткий, да и листва почти сразу вся осыпалась.

— Это почему же? Я на другой день после Петрова дня веники наготовила. Не может он осыпаться.

— Осыпался, осыпался. Но дело не в этом. Хорошо помылся. Боялся, что баня пачкается, а она чистая.

— Чего ей пачкаться? И лавка намытая, и дух чистый. Чего ей быть не чистой? А веник, чего ж это веник? — она прошла в баню и вскоре вернулась. — Да ты что, или никогда не парился?

— По совести сказать, в первый раз, — ложась на кровать, ответил Вениамин Александрович.

— То-то, я вижу, и веник нераспаренный. Ты никак сухим и настегивал себя?

— Какой дала.

— Ой, умру, — ахнула Елизавета, — кому сказать, так обхочутся. Да его надо было кипятком обдать да подержать в тазу, чтоб размяк, чтоб лист отошел. Тогда баня-то березовым духом наполнится. Ах ты, право, бедолага-беженец... Ну да ладно, отдыхай. И так добро распарился.

Вениамин Александрович, испытывая незнакомое доселе чувство размягчающего томления, лежал в постели, разметав руки и ноги. Лежал и умиленно думал: «И в деревне могут быть свои прелести. Кому рассказать, что я был в бане «по-черному», не поверят. А если и поверят, то никак не примут всерьез, что я мог наслаждаться. И действительно, сам бы не поверил, если бы не испытал. Удивительно, весьма удивительно. Надо будет написать домой. Пусть Евгения посмеется...»

Когда он поостыл и сменил намокшую от пота рубаху на свежую и вышел в кухню, его ожидал сюрприз. На столе возвышался графин, окруженный тарелками с грибами в сметане и картошкой, залитой яйцами.

— Садись-ка, садись, Вениамин Александрович, — улыбочиво сказала Елизавета. — Ну-ка, давай после баньки-то. После баньки сам бог велел, — усаживаясь рядом с Вениамином Александровичем, говорила Елизавета, наливая в стаканчики.

— Да ведь я не пью.

— А ты и не пей, а только выпей. Пьют-то пьяницы, а мы выпьем, — и чокнулась с постояльцем. — С легким паром тебя.

— Спасибо, только я, право...

— Пей, пей, чего там! — Елизавета сложила губы в трубочку, будто собиралась свистеть, медленно вытянула весь стаканчик мутноватой жидкости и стала быстро закусывать.

Вениамин Александрович отпил небольшой глоток, и, морщась, спросил:

— Что это?

— Самогонка, — просто ответила Елизавета. — Да ты пей, пей, лучше ее ничего нету. Чистая, с сахару. Не то что там с дерева или кака химия. Пей!

Вениамин Александрович качнул головой и отпил половину стаканчика.

— Да ты что, ровно и не мужик. Нет уж, тяни до дна!

Вытянул.

Елизавета покраснелась, глаза у нее повлажнели, и вся она как-то пообмякла.

— Что же, так ты и станешь тут жить один, а жена там? — заглядывая в лицо постояльцу, спросила Елизавета.

— Да, так придется.

— И не заскучаешь без бабы-то?

— Пока не скучаю.

— Значит, мало к ней тянешься. Или, хоть и долдонишь, что и жена у тебя и сын, а чего-то не верится. Чего-то у тебя не так. Можя, один ты, а? Ты не скрытничай. Всякое бывает в жизни. А у меня, если захочешь, живи сколько надо.

— Ты как-то странно говоришь.

— А чего странного? Дом, сам видишь, большой, обихожен. Хозяйство в порядке. Чего еще? Вот, погоди, огород поспеет, и огурец свой, и редиска, и ягода земляника, черна смородина, яблоки. Да живи не тужи. — Елизавета говорила и не сводила своих повлажневших глаз с Вениамина Александровича. Ей нравился бледный, продолговатый брус его лица, тонкий нос, точно деливший лицо надвое. Нравилось и то, что постоялец обходителен, не пьяница — так почему бы ему и не жить у нее, почему бы и не пригреть бедолагу. Так думала Елизавета.

Вениамин же Александрович хотя и видел, что Елизавета не верит в существование его семьи, — и на самом деле, чего он затесался сюда один? — как-то не придавал особого значения ее рассуждениям. Ему было хорошо и уютно. Поэтому, после бани да выпитой стопки, он только размягченно улыбался, почти не слушая болтовни хозяйки.

— Да ты выпей, выпей, — угощала его Елизавета. — Первая колом, вторая соколом. Так говорят. Да на-ко рыжичка, на-ко. — Она выбрала несколько самых крепких рыжиков на тарелку Вениамина Александровича, и он, удивляясь сам себе, выпил еще стопку, подзахмелел и уже каким-то новым взглядом поглядел на хозяйку. «Была бы помоложе, не миновать мимолетного ро-

мана», — подумал он, в то же время и мысли не допуская, что между ними что-либо может произойти.

А Елизавета все больше тянулась к постояльцу. Она понимала: «Венимин Александрыч» — последний шанс на замужество.

— Я здоровая. У меня что руки, что ноги — крепкие. Вот ты сам посчитай, сколь годов я одна, если мой муж погиб в начале войны. Вот тебе крест истинный, никого не было! — Елизавета перекрестилась. — Или не веришь?

— Почему же, верю.

— Да и с Иваном-то много ли пожила. Все уж и забылось, будто и не было.

— Неужели никого и не было?

— Вот тебе истинный крест! Как девушка!

Венимин Александрович рассмеялся: хороша девушка!

— Верно тебе говорю. Да и где здесь мужика достанешь? Кои вернулись тогда с войны, так к своим бабам, а молодым-то зачем я? Вот и сохранилась. — Она налила еще по стопке.

— Нет-нет, — запротестовал Венимин Александрович и поднял вверх ладони. — Я буду совсем пьяный.

— Велико дело. Постель-то рядом... Пей, пей.

— Я никогда не пил самогона... Но по запаху он несколько напоминает виски.

— Ну и пей, коли напоминает.

Елизавета чокнулась, и они выпили.

— Ты вот возьми мою руку... У других дряблая, а у меня, как кость. Крутая, — она озорно повела взглядом на Венимина Александровича. — Потрогай, потрогай...

«Черт возьми, а ведь она меня соблазняет! — весело подумал Венимин Александрович. — Ну и пусть, все это может пригодиться».

— Ты послушай, что скажу тебе, — сжимая тонкие пальцы постояльца, придвинулась поближе Елизавета. — Жила у нас беженка, после войны примкнула. И вот недавно в соседнюю деревню замуж вышла. А ей шестьдесят восемь нонче стукнуло. Так я спросила, живешь ли с мужиком-то? А как же, говорит, со всей любовью живем. А ему семьдесят. А тоже крепкий еще, крепкий. Но тебя послабже будет. Намного послабже. — Елизавета еще ближе придвинулась к Венимину Александровичу. Это ему уже не понравилось.

— У меня что-то голова кружится, — сказал он. — Я пойду. Спасибо за угощение.

Он прошел в свою комнату и лег на постель.

И на самом деле голова у него кружилась. Он закрыл глаза и хотел уснуть. Но не тут-то было. Елизавета по-своему поняла его «головокружение». Она присела на край кровати и ласково сказала:

— Умаялся...— И потрогала его волосы.— Реденькие, а мягкие, и седых еще мало.

Вениамин Александрович отвел ее руку.

— Это совершенно не обязательно... И на самом деле, у меня кружится голова. Я хочу спать.

Елизавета с укором поглядела на него.

— Да-да, мне нужно отдохнуть.

— Дрыхни, коли так! — сказала Елизавета и ушла, зло хлопнув дверью.

Но наутро она и виду не показала, что сердится на постояльца. Будто ничего и не было накануне.

— Эх, дрожжей-то нет, а то спекла бы я тебе ватрушкү. Ты бы написал в город кому, пусть пришлют.

— Да и в городе не всегда бывают.

— Ну-у? — недоверчиво протянула Елизавета.— Это что же, и пирога не спечь? Врешь ты!

— Да нет, не вру. Бывают, но с перебоями.

— А чего ж так?

— Говорят, брагу варить станут да самогон гнать.

— Ну, верю, если так говоришь... Да как-нибудь расстарюсь, уж угощу тебя ватрушкой.

— Скажи, пожалуйста, а как вы жили до коллективизации? — безо всякого перехода спросил Вениамин Александрович.

— Как жили, обыкновенно.

— Ну, лучше или хуже, чем теперь?

— Скажешь еще. Да как же можно такое сравнивать?

— Значит, теперь лучше?

— Знамо, лучше.

— А вот раньше, говорят, хороводы водили. С песнями по улице гуляли. А теперь вот этого не видно.

— Так ведь тогда и парней и девок-то было, а теперь где они?.. Весело жили,— помолчав, сказала Елизавета.— И хороводы водили, и на посиделках собирались, и песни пели. Теперь этого нет.

— Жалеешь?

— А как не жалеть? Молодая была. А и крепкая, крепкая, как рспа, была! — с внезапно вспыхнувшим задором сказала Елизавета.— Что руки, что ноги...

— Да-да,— поспешно согласился Вениамин Александрович.— Однако пойду. Погуляю.

— Гуляй, гуляй,— отставая, отозвалась Елизавета и вздохнула. «И чего он бежит от меня? Чем я худа ему?» — с обидой подумала она.

«Так, будем наблюдать жизнь»,— энергично выходя на улицу и оглядываясь на все стороны, подумал Вениамин Александрович. Но, к своему сожалению, сколько он ни вглядывался, наблюдать, собственно, было нечего. Как и всегда, утром и днем

деревня затихала. Все были на работе. Кто на полях, кто на фермах или на своих огородах. И только вечером начиналось оживление. Шли в клуб. Прогуливались по шоссе. Сидели на лавочках, возле своих домов, отдыхая после работы. Так и в этот день в деревне было пусто. Только куда-то озабоченно прошагал Миша. Да возле своего крыльца грелся на солнышке Сиделец.

«Ну что ж; пройдем в библиотеку, прочитаем газеты, посмотрим журналы»,— решил Вениамин Александрович.

Там, как и в прошлый раз, кроме библиотекарки, никого не было. Но это и к стати, никто не мешал. Просматривая «Литературку», наткнулся на сообщение о смерти знакомого поэта. «Ведь и не стар был,— с грустью подумал Вениамин Александрович,— а вот уже и нет... Будет день, когда и обо мне появится вот такое же сообщение. А, черт возьми-то, на юг бы уехать! — внезапно возникло желание, и он представил громадное море, горячий галечный берег, десятки знакомых писателей, загорающих, плавающих у берега. И так захотелось туда из этой дыры, как он окрестил про себя Кятицы.— Но ничего, ничего, еще месяц, ну от силы полтора, наберу материал и махну на юг. Да-да, на юг». Это его и успокоило и примирило с неизбежностью еще пожить в Кятицах.

А вечером повезло. Он стал невольным свидетелем сцены, разыгранной Таней и, по всей вероятности, тем самым парнем.

Среднего росточка парень с волосами, отращенными до плеч, пьянковой походкой подошел к Таниному дому и бесцеремонно стал барабанить в стекло.

— Чего тебе? — вскоре раздался сипловатый голос Таниной матери.

— Позови Танюху!

— Чего? — мгновенно вскипела мать и тут же выскочила на крыльцо.— Чего шляешься в такую пору? Чего тебе от нее надо? Парень подошел к ней.

— Ты, тетка Степанида, не шуми. Ясно? У нас с ней свои счета-расчеты. Ясно?

— Да я вот сейчас...— завертелась на месте Степанида, отыскивая, чем бы огреть парня, но тут на крыльцо вышла Таня.

— Мама, иди домой,— сказала она.

— Да ты что!

— Ну, прошу, иди...— сказала Таня. И когда мать ушла, сказала парню: — Ну, что тебе, Колечка?

— А то не знаешь,— сказал Колечка и пьяно полез за пазуху Тани.

Вениамин Александрович наблюдал эту сцену, стоя в вечерней тени старой ивы. Его не видели, зато он все видел прекрасно. Нет, у него и тени неловкости не было, что он подсматривает.

— Убери руку! — гневно вскричала Таня.

— Но, но..

— Ну!

— Да брось ты.— Колечка потянул к себе Таню, обхватил ее, прижал к себе и понес к сараю.

— Да ну тебя! — вырвалась Таня.— Только одно и знаешь! И не приходи больше! И не подходи ко мне!

— Ну и дура,— глухо сказал Колечка.— Я же подойду, кто еще-то подойдет...

«Чудесный, чудесный эпизод,— радостно думал Вениамин Александрович, возвращаясь домой.— Тут уж не так трудно и домыслить. И проблемка есть. Правда, не первой свежести, но, однако, парней в деревне мало, вот они и набивают себе цену. А Таню жаль, искренне жаль. Хороша девица!»

Он долго думал, лежа в постели, как бы так половчее уложить сюжет, и уснул незаметно и так крепко, что и храп Елизаветы не помешал.

— Ну-ка, попробуй,— доставая из духовки противень с румяными ватрушками, сказала Елизавета.— Таких в городе не поешь. Разве такой творог достанешь... На-ко! — Она положила на тарелку несколько ватрушек и подвинула их к Вениамину Александровичу.

— А где же ты достала дрожжи? — любопытствовал он.

— Достала, мир-то не без добрых людей. Ешь. Я вот как-нибудь угощу тебя рыбником. Дай бог, разживусь лещом, вот где вкуснота!

— Никогда не пробовал.

— Ну! Был бы с бабой, могла бы спечь, а коли бобыль, так где уж.

Вениамин Александрович рассмеялся.

— Вот вбила себе, что я бобыль. Да есть, есть у меня баба! Больше тридцати лет, как женат!

— Ну, можа, и не врешь,— вздохнула Елизавета.— Если не в труд, сходи в магазин за хлебом. А я на огород...

В магазине продавалось все. Продукты, вина, парфюмерия, ткани, обувь, велосипеды, напильники, гвозди, пилы, стекло, электроприборы, часы, табак, стаканы, спички, расчески и многое-многое другое.

Как и всегда, к прилавку тянулась небольшая очередь. Несколько старух и два подвыпивших мужика, Николай Медведев и длинноносый пастух.

— Фантомас явился! — скосив на Вениамина Александровича тяжелый глаз, сказал Медведев и отвернулся, не желая его видеть.

— Не согласен,— сказал пастух.— Это мужик настоящий. Здоров! — он протянул руку Вениамину Александровичу, и то-

му ничего не оставалось, как ответно протянуть свою.— Ты знаешь, как он меня выручил? Не видал ничего, говорит, и точка! А сам все видел. А ты говоришь — Фантомас.

— Фантомас, Фантомас,— не согласился Медведев,— давай бери бутылку, и пойдем.

— Слушай, друг,— потянулся пастух к Вениамину Александровичу,— давай с нами, а? Портвейн. Годится?

— Нет-нет, благодарю,— поспешно отказался Вениамин Александрович.

— Пойдем,— попросил пастух.

— Да отвяжись ты от него,— махнул рукой Медведев и вышел из магазина.

— Ну, тогда так... А то пошли, а? — все еще надеясь уговорить Вениамина Александровича, сказал пастух.

— Нет-нет.

— Ну, тогда держи,— и пастух опять сунул Вениамину Александровичу руку и вышел.

В отличие от городских покупателей, сельские хорошо знают друг друга, поэтому магазин для них является еще и местом встреч, где они могут сообщить последние новости, посоветоваться, пройтись на чей-либо счет. Часто случается, что в разговор вступает продавец, и тогда все, кто есть в магазине, начинают слушать с преувеличенным вниманием, и ахать, и охать, и смеяться, чтобы как можно лучше выразить свое уважительное отношение к продавцу, хотя он может нести бог знает какую чушь. Потому что от продавца многое зависит. Он может нелюбимому человеку вместо хорошего хлеба сунуть обгорелый. Может до государственного часа продать бутылку водки, а может и не продать, смотря какой на него найдет стих. Продавец в деревне фигура серьезная.

— Эт все так, так,— говорил продавец старухе, навалясь грудью на прилавок.— Но, однако, Лукерья, и то поймем в виду, если и впредь так будет, то навряд ли Клавдея допустит его обратно. Не из таковых она, не из таковых, чтоб обратно в хомут лезть.

— Верно, верно, Василий Петрович,— угодливо соглашалась старуха,— тут уж так. Так, вот уж верно-то!

— Но бросим взгляд с другой стороны,— любовался сам на себя продавец. Был он в очках, с большими залысынами, круглый и крепкий.— А куда деваться Клавдее без него?

— Верно, верно... Вот уж истинно,— тут же согласилась старуха.

И все остальные старухи закачали головами, удивляясь уму и прозорливости продавца.

— Хотя, если опять же посмотреть с другой стороны-то... — продавец откинулся к полкам и поднял палец.

Но тут вмешался Вениамин Александрович.

— Вы бы одновременно с разговорами и работали, — сказал он.

Все обернулись к нему.

— А ты кто такой, что лезешь не в свое дело? — сказала одна из самых старых старух, с обвислыми плечами.

— Эт так, эт так, — согласился продавец. И этим словно дал команду — старухи накинулись на Вениамина Александровича.

— Ездют тут всякие!

— Гляди-ка, слова не скажи! Беженец, а туда же!

— Все вот такие и есть они! Тьфу!

— Эт так, эт так, — подкинул жарку продавец, но все же стал отпускать покупателей.

Одни уходили, другие приходили.

— Буханку хлеба, — сказал Вениамин Александрович, когда очередь дошла до него.

Продавец заглянул под прилавок и достал буханку с черной отвалившейся коркой.

— У вас что, все такие? — спросил Вениамин Александрович.

— Какие привезли, такие и есть.

— Тогда еще одну, — процедил Вениамин Александрович. Как он ненавидел сейчас и этого продавца, и старух, которые набросились на него, и пастуха, пожавшего ему руку. Он даже обтер пальцы. «Скобари!» — выругался в душе он.

Продавец нагнулся и, пошуровав там, достал еще такую же горелую буханку.

— Безобразие! — вскричал Вениамин Александрович.

— Эт так, эт так, — неприязненно глядя на него, сказал продавец:

Дома Елизавета как увидела сожженный хлеб, так тут же и спросила:

— Ты чего, уж не повздорил ли с продавцом?

— Сделал замечание, чтоб не болтал, а работал.

— Да зачем же ты полез? Тьфу ты! Ведь теперь придется мне всегда ходить самой, иначе доброго хлеба не есть. Да и то навряд смилостивится. Знает, поди-ка, что ты у меня живешь... Знаешь что, — Елизавета отчужденно взглянула на постояльца и часто-часто заморгала, — съезжай-ка ты отсюда!

— То есть как это? — растерялся Вениамин Александрович.

— А так, что съезжай от меня куда хошь... И чтоб сегодня!

— Да ты постой, постой...

— Нечего мне стоять. Давай отсюда! К тебе, как к беженцу, пожалели, а ты тут... Ну тебя. Давай, давай!

— Но ведь я еще до конца месяца не дожил...

— А вот забирай свои и деньги, не больно-то и нужны. Давай, давай! Больно-то нужен ты здесь!

Вениамин Александрович криво усмехнулся.

— Ну что ж...

Через полчаса он шагал к автобусной остановке.

— Милый ты мой! — неожиданно донеслось до него. Это звал к себе Сиделец, но Вениамин Александрович только махнул рукой в его сторону. И потрусил к остановке. К ней подходил автобус.

Перед выездом из деревни дорогу пересек своим четким шагом Миша, свернул под прямым углом к телеграфному столбу и приложил ухо.

Это было последнее, что неприятно резануло Вениамина Александровича. «Слава богу, все позади», — облегченно вздохнул он. И подумал о том, что еще не конец лета, еще можно успеть в другую деревню, в хорошую. «Другие находят, и я найду. А эта плохая. Да, плохая», — утешал он себя.

За окном мелькали кусты, потянулось торфяное болото, его сменил лес, и вдруг открылись поля — просторные, покрытые свежей зеленью. Им не было конца и края. Они раскинулись по обеим сторонам дороги, и казалось, машина плывет в этом зеленом море. И все эти поля были того самого колхоза, из которого уезжал Вениамин Александрович. Да, это были его земли. Это он понял из оживленного разговора пассажиров. И тут его осенило, что кто-то же все это сделал: вспахал землю, засеял ее зерном, семенами. Ведь не само же вошло! А он не узнал этих людей, даже не полюбопытствовал, хотя и видел их фотографии на Доске почета. Конечно, надо бы познакомиться с ними, увидеть их в процессе труда, но откуда он мог знать, что они столько земли обработали... И тут Вениамина Александровича охватило чувство беспокойства, даже тревоги, — стало не по себе от мысли, а что, если сидящие с ним рядом в автобусе догадаются, кто он! Но нет, никому до него не было дела. И он успокоился.

А автобус шел и шел и все дальше увозил его от деревни с непонятным названием Кятицы.

СОДЕРЖАНИЕ

ДВЕ ЖИЗНИ. Роман	3
НЕНУЖНАЯ СЛАВА. Повесть	241
ДЕРЕВЯННЫЕ ПЯТАЧКИ. Повесть	285
МИЛЫЙ ТЫ МОЙ!.. Повесть	323

Сергей Алексеевич Воронин
«ДВЕ ЖИЗНИ»

Редактор С. В. Молва
Художник О. В. Титов
Художественный редактор О. И. Маслаков
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор С. А. Батюто

Сдано в набор 08.10.79. Подписано к печати 28.12.79.
Формат 60×90^{1/16}. Бумага газетная. Гарнитура литерат.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22. Уч.-изд. л. 23.05. Ти-
раж 700 000 экз. Заказ № 620. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023,
Ленинград, Фонтанка, 59.

Ордена Трудового Красного Знамени типография изда-
тельства ЦК КП Белоруссии. Минск, Ленинский про-
спект, 79.

Воронин С. А.
В 75 Две жизни. Роман. Повести. Л., Лениздат, 1980.
352 стр.

В одготомник писателя С. А. Воронина включены роман «Две жизни» и повести: «Непужвая слава», «Деревянные пятакки», «Милый ты мой!..»

В $\frac{70302 \ 4702010200-035}{M \ 171(03)-80}$ без обьявл.